В. И. Буганов, А. П. Богданов

Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви

Политиздат

ВОПЇА СТЫИ БЕЖЇЙ ЏЖЕ
ДУ МЇСО ЇНОЗЕМЦЫ РА
АЬТЬ

СОЛОВЕЦКІЙ
МИТЫРЬ

ратни цы

Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви

В. И. Буганов, А. П. Богданов

Бунтари и правдоискатели

В Русской православной церкви

Москва
Издательство
политической литературы
1991

ББК 86.372
Б90

На форзацах впервые воспроизводятся иллюстрации из уникальной лицевой рукописи «История об отцах и страдальцах соловецких» старообрядца Семена Денисова, хранящейся в Мазуринском собрании Центрального государственного архива древних актов СССР.

На шмуцтитулах использованы заставки изданий Московского печатного двора XVII века.

Буганов В. И., Богданов А. П.

Б90 Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви.— М.: Политиздат, 1991.— 526 с.: ил.
ISBN 5—250—01235—3

Авторы книги, ученые-историки, рассказывают о драматических моментах в истории русской православной церкви с XIV по XX в. Герои повествования — верующие, которые в поисках правды вошли в столкновение с церковной организацией и диктатом самодержавного государства. Читатели узнают о взглядах и судьбе митрополита Филиппа Колычева, выступившего против террора Ивана Грозного, и проповедника «правды угнетенных» Феодосия Косого, познакомятся с патриархом Никоном, с монахами осажденного правительственными войсками Соловецкого монастыря. Героями книги являются староверы-некрасовцы, московский лекарь-еретик Д. Е. Тверитинов, крепостной мыслитель Федор Подшивалов и, наконец, историк русской церкви, профессор духовной академии Н. Ф. Каптерев.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Б $\frac{0403000000—051}{079(02)—91}$ 85—91 ББК 86.372

ISBN 5—250—01235—3 © В. И. Буганов, А. П. Богданов, 1991 г.

Предисловие

Широкий общественный интерес к Русской православной церкви, ее истории, месте в жизни народа со времен принятия христианства, ее роли в формировании и развитии национальной культуры — объясним и глубоко закономерен. Семидесятилетние попытки объяснить государственную, общественную и культурную историю России без учета феномена православия или с чисто негативным к нему отношением оказались явно неудовлетворительными. Неконструктивной представляется и обратная волна в общественном сознании, связывающая с церковью и ее организацией все достижения русской общественной мысли и культуры, придавшие этой мысли и культуре мировое значение. Только объективное и полное знание истории Русской православной церкви в ее отношении к государству, обществу и личности, может принести реальную пользу, равно духовную и гражданскую.

Более чем тысячелетняя история православия на Руси доказала его жизнеспособность, широкие возможности развития, в основе которого всегда лежит конфликт. Столкновение мнений и убеждений, личностей, общественных движений и организационных структур, наконец церкви и государства — при всем своем драматизме и подчас же-

стокости служило движению вперед. Но наша книга — не системное исследование истории церкви в обществе и государстве, а историко-художественное повествование, призванное раскрыть перед читателем драматические страницы церковной истории через призму конкретных личностей, участников и свидетелей событий.

Такой личностный подход мы избрали не случайно. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс, приступая к своим исследованиям, критиковали современных им историков за склонность опираться на надуманные исторические абстракции. В противовес этому ученые заявляли, что в историческом исследовании их интересует прежде всего изучение «реального жизненного процесса и деятельности индивидов каждой отдельной эпохи». «...Исходной точкой,— писали Маркс и Энгельс,— являются действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса» *. Портреты таких «действительно деятельных людей», деятельных не только в политической или социальной борьбе, но и в сфере духа, мы и предлагаем в этой книге, охватывающей события с XIV до начала XX века.

Разумеется, все, что мы рассказываем, основывается на тщательно проанализированных исторических источниках, информативность которых подчас приходит в столкновение с беллетристической формой повествования. Лишь небольшие, отрывочные рассказы посвящены еретикам, вольнодумцам, церковным деятелям первых веков истории русской церкви. Больше и подробнее мы можем рассказать о движении стригольников, развернувшемся с середины XIV столетия и оставившем глубокий след в русской духовной мысли. Еще более мощный отзвук имело движение новгородских и московских еретиков конца XV века, жестоко разгромленное великокняжеской и церков-

---

* *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 26, 25.

ной властью в начале следующего столетия. Но гуманистическое направление духовной мысли не было уничтожено на кострах доморощенной инквизиции. Феодосий Косой и многие другие вольнодумцы продолжали дело своих казненных предшественников, не позволяя православию загнить в болоте стяжательства и бездуховности.

Не следует думать, что православные правдоискатели и бунтари принадлежали лишь к светским сословиям или низшим слоям церковной иерархии. Дикие репрессии Ивана Грозного встретили мужественное противодействие московских митрополитов — Германа Полева и особенно Филиппа Колычева, святого великомученика, справедливо заслужившего признательность русского народа. Погибший в борьбе с опричниной, митрополит Филипп дал истории яркий пример гражданского мужества.

К настоящему времени ученые накопили достаточно материалов, чтобы восстановить внутренний портрет одной из наиболее сложных и загадочных личностей Русской православной церкви — патриарха Никона. Вслед за нами читатель может совершить попытку разобраться в характере и убеждениях человека, восставшего против вековой зависимости церкви от государственной власти и, несмотря на свою огромную волю и энергию, потерпевшего жестокое поражение в борьбе за суверенитет Русской православной церкви. Взглянуть на события и исторических деятелей «бунташного века» глазами Никона особенно полезно для преодоления односторонних оценок «великого государя святейшего патриарха», его соратников и врагов.

В беломорскую твердыню старой веры ведет нас хроника жизни архимандрита Никанора — видного участника знаменитого Соловецкого восстания от его начала до разгрома, казненного вместе с последними защитниками монастыря. Здесь мы сталкиваемся с оборотной, жестокой и кровавой стороной реформ Никона, но главное — с людьми, защищавшими последний островок русской вольной жизни, попранной на остальной территории огромного го-

сударства железной пятой самодержавия и духовным гнетом покорной ему церковной иерархии. Жизнь и убеждения Никанора и его соратников помогают зримо представить себе причины, по которым сверхмощный карательный аппарат не смог разгромить и поставить на колени участников массовых антицерковных движений, которые после никонианских реформ стали постоянным и значительным фактором русской духовной жизни.

Жизнь и борьба Игната Некрасова, его товарищей — участников восстания Булавина и их потомков, продолжавших защищать свои убеждения на Кубани и в Добрудже, на Эносе и Майносе на протяжении столетий, показали, насколько твердой и непоколебимой может быть воля людей, противопоставивших свои христианские убеждения гнету и насилию церковных и светских властей, отстаивающих в религиозной форме честь и достоинство верующей души. Некрасовцы стали примером, достойным подражания для всех, кому дороги чувства правды, справедливости и добра.

Реформы Петра I, объявившие, в частности, о свободе вероисповедания, лишь на время некоторой неразберихи при их проведении ослабили строгий контроль над душами верующих. Духовное, евангельское христианство врача Дмитрия Евдокимовича Тверитинова с товарищами свободно проповедовалось в Москве до тех пор, пока церковные и светские власти были отвлечены другими делами. Знакомясь со взглядами Тверитинова, его друзей и врагов, мы побываем в застенках Преображенского приказа и на диспутах в домах знати, на заседаниях правительствующего Сената и в «темных закоулках» власти, постараемся понять духовное состояние столичного общества накануне создания Святейшего Синода — государственного департамента военно-полицейской империи.

Служебное положение, в которое была поставлена православная церковная организация силами крепостнического государства, вело передовых мыслителей к от-

казу от христианства в целом. Страшный крепостнический гнет порождал крайние формы духовного протеста. Закономерность этого процесса хорошо видна в опыте жизни крепостного повара Федора Подшивалова, кровавыми слезами и неизмеримыми страданиями окупившего свой отказ от христианского смирения и создавшего учение о «Новом свете» — царстве свободы, равенства и братства, достойном человеческой природы. Желание видеть в России государство правды дорого обошлось апостолу освобождения от крепостнического и церковного гнета, но его духовный опыт и пророческие предупреждения остаются актуальными до сего дня.

Николай Федорович Каптерев, профессор Московской духовной академии, многие десятилетия отдал борьбе за объективное, основанное на изучении документов освещение сложных проблем истории Русской православной церкви. Ученый дожил до крушения церковного департамента самодержавного государства и полного общественного признания своих взглядов. Позади остались доносы и цензурные преследования, лишения ученой степени и рассыпанные наборы публикаций. Фундаментальные монографии профессора легли в основу и некоторых разделов нашей книги. Рассказом о научном подвиге Каптерева мы завершаем очерки о правдоискателях и бунтарях Русской православной церкви, подчеркивая неразрывность традиции объективного познания ее сложной истории.

О древнерусских церковных бунтарях, новгородских и московских еретиках, митрополите Филиппе, Феодосии Косом и их современниках, о казаках-некрасовцах рассказывает в этой книге доктор исторических наук профессор В. И. Буганов. Повествования о патриархе Никоне и Соловецком восстании, Дмитрии Тверитинове и Федоре Подшивалове, о профессоре Н. Ф. Каптереве, введение принадлежит перу кандидата исторических наук А. П. Богданова.

Глава 1

Первые еретики на Руси

Казнь стригольников.
Посох Стефана Пермского

Широко известны факты народных восстаний, которые начались в Древней Руси чуть ли не со времени появления и распространения отношений господства и подчинения между князьями, боярами и их приспешниками, с одной стороны, и зависимыми от них, эксплуатируемыми ими людьми, с другой. Таковы движения 1024 года в Суздальской земле, 1068—1071 годов в Киевской, народные восстания киевлян 1113 года, в Новгороде 1209 года и другие. Черты народного восстания видны в известных событиях 945 года, связанных с гибелью Игоря, великого князя киевского, и его дружины при сборе тройной дани в Древлянской земле. Поздняя летопись говорит о восстании новгородцев против властей в 989 году в связи с введением христианства в Новгородской земле.

Когда идет речь о классовой борьбе, естественно возникает вопрос о том, как относились народные, эксплуатируемые низы к духовенству, особенно высшему, будь то черное или белое,— ведь оно составляло часть класса феодалов, жило за счет простых людей, получало и умножало имущество, доходы — земли и крестьян, дань и поборы с населения. Оно же идеологически освящало господство феодалов, светских и духовных, т. е. и свое собст-

венное. Разумеется, смерды и ремесленники, закупы и изгои прекрасно понимали все это и недаром восставали не только против бояр и ростовщиков, князей и посадников, но и против поддерживавших их епископов и прочих иерархов. Недаром волхвы, как это было, к примеру, в Суздальской земле в 1024 году, вели недовольных против богачей в голодные годы, а простолюдины не всегда хотели принять новую веру с ее церковной организацией и десятиной, поборами и насилиями. Летописи, описывая народные возмущения, неоднократно упоминают о том, как возмущенные «простецы», «меньшие люди» сопротивляются князьям, боярам и одновременно «князьям церкви» — епископам, архимандритам и прочим. И это понятно: те и другие единым фронтом противостоят недовольным, обиженным людям.

Выступления низов против насильственной христианизации, эксплуатации, насилия феодалов, светских и духовных, со временем дополняются собственно антицерковными выступлениями, настроениями, высказываниями. Источники XIII—XV веков приводят немало сведений о борьбе крестьян против монастырей, захватывавших их земли. Яркими проявлениями выступлений против официальной православной церкви стали реформационные движения. Начало их относится к концу XIII—XIV столетию. Это — пора антиордынских восстаний, происходивших в разных местах — Новгороде, Ярославле, Ростове, Суздале, Твери, Курске и др. В этой борьбе, носившей национально-освободительный характер, «ясно различимы,— по словам советского историка А. И. Клибанова,— мотивы социального протеста, и прежде всего против сотрудничавших с оккупантами бояр и верхов духовенства». Имелись и другие причины для недовольства, которое появлялось и нарастало в среде и мирян, и самого духовенства, прежде всего низшего, городского и сельского. Это — поборы в виде податей: подворной с мирян и низших церковнослужителей; со вторых — рождественской (сбор-

ной — епископам за объезд епархии) и «благословенной куницы» (за подтверждение епископом права священников на занятие должности). Помимо прямых налогов брали обязательные пошлины: «поставление по мзде» (за должность), венечная пошлина (за право священников на совершение брачного обряда — в пользу епископа), похоронная пошлина, пошлины на содержание архиерейского управления, с жалованных грамот приходским церквам, с прихожих и отпускных грамот священникам и дьяконам и др. Взимание податей и пошлин доводило нередко до разорения священников, дьяконов, причетников. Не помогала и работа на земельных прирезках, которые они получали от сельских приходов. Многие из них пробавлялись бродяжничеством. По своему положению они близки к сельским и городским низам.

Уже с XI века митрополиты, а затем и другие иерархи сосредоточивают в своих руках земельную собственность. В конце XIII века митрополит, кафедра которого была уже перенесена из Киева на северо-восток, владел большим количеством земель во Владимиро-Суздальском княжестве. Новгородскому архиепископу принадлежало до трети всех церковных земель; в целом же местная церковь владела пятой частью земель в Новгородских пятинах. Немало имели епископы и особенно монастыри, землевладение которых быстро растет в XIV—XV веках. В начале XVI века глава Русской православной церкви имел более 530 сел и деревень. Не гнушались иерархи ростовщичеством.

Все сказанное делает понятным широко распространившееся недовольство простого народа церковью, и она в лице своих высших представителей это хорошо понимала. Еще во второй половине XII века известный проповедник Кирилл Туровский с сокрушением говорил о «недостоинстве» священников. Он же обличал ростовского епископа Федора за «исхищение» имений, ограбления, заточения, «безмилостивные мученья», принуждения к «рабо-

там». А «Предисловие покаянию», памятник домонгольской поры, осуждает недостойных иереев, грубых и невежественных попов, пьяниц и гордецов. Эти «слепые вожаки» недостойны, чтобы к ним ходили для исповеди верующие. Более того, исповедником для них может быть человек, не посвященный в сан, но «духовный» нравственно.

Антицерковное брожение во второй половине XIII века вызвало созыв в 1274 году церковного собора во Владимире. Он вынужден был согласиться с критикой в адрес высшей иерархии, прежде всего в связи с обвинениями в симонии: «... неции от братии нашея дьрзнуша продати священный сан», «никто же благодати Божия не продаеть», «невозможно Богу работати и мамоне». Собор установил твердую плату за возведение в сан священника и дьякона (семь гривен). А от кандидатов требовал целомудренной жизни, знания грамоты. Противопоказаны им лжесвидетельствование, убийство, ростовщичество, «удручение» челяди излишней работой («страдою насилья творя»), голодом и наготою. За кандидатов должны поручиться их духовники, знающие их священники, соседи, «прочие добрые свидетели».

Собор, строго регламентируя процесс поставления в священнический чин, с одной стороны, отвечал, реагировал на антицерковную критику, широко распространенную в народе; с другой — ставил его, этот чин, под строгий контроль иерархов с целью не допустить проникновение в него демократических элементов города и деревни. Собор, к примеру, осудил новгородских дьяконов, т. е. «непосвященных», которые при поддержке простых людей исполняли священнические обязанности: «Повелеваем же отселе в всех церквах ни Апостола части, ни прокимена пети, ни в олтарь входити непосвященному».

Постановления собора, вынужденного считаться с обстановкой, отвечали на протесты многих недовольных по поводу симонии, невежества, пороков духовных иерархов, их безжалостного отношения к зависимым от них людям;

на требование демократизации и удешевления церкви.

На Переяславском соборе, происходившем в начале XIV века, снова речь шла о пороке симонии, который поразил всю русскую церковь сверху донизу. Об этом говорится в некоторых письменных памятниках. Например, в появившемся тогда же Написании монаха Акиндина князю Михаилу Ярославичу тверскому. А Трифоновский сборник, отразивший антицерковные настроения рубежа XIII и XIV столетий, включил сочинения, осуждавшие церковную иерархию. В них, к примеру, говорилось: «Погыбение наипаче бывает от епископ и попов грехов» этих грабителей, лихоимцев, резоимцев, мздоимцев. «Аще ли хощеши уведети о том, иже творяще зла, ти силни суть, но тьрпящии злая — худи!» «Да не входить благоверный в церковь нечестивых, не место бо человека святить, но человек место. Аще ли начнуть нечестивии обладати местом тем,— бежи оттуду, да ся не оскверниши».

В других местах сборника говорится о праве верующих собираться вне церкви, слушать учителей из народа: «Бывают же мнози епископи и попове невегласи, о них же святый сбор рече: аще епископ ли поп поставлен будет невежа,— да извержется! И поставивый и поставленный,— да будет проклят! Бывают же и простии вельми смыслены и мудри, яко подобаеть таковым и попы учити».

Здесь имеются в виду «простии», «певцы» и «чтецы» — церковные причетники. Тем самым миряне и низшие церковнослужители могут стать учителями веры. Согласно этим представлениям, как видно, весьма распространенным в то время, эти люди, «чистые житием», мудрые, смышленые, хотя и «простые», носят в себе бога, в отличие от невеж епископов и попов. Подобные смелые, по сути дела антицерковные, реформационные мотивы исходят из тезиса апостола Павла: «Не весте ли, яко храм божий есте, и дух божий живет в вас».

В этих мыслях, идущих от апостольских поучений, от норм первоначального христианства, проглядывают идеи

религиозного рационализма, индивидуализма, возвышения разума, человеческой личности. В составленном тогда же «Слове о лживых учителях» его автор (возможно, один из составителей Трифоновского сборника) восхваляет книжное учение, обличает невежественных священников, тех, кто, подобно христопродавцу Иуде и безумцу-еретику Арию, «моряще себе и онех гладом душевным», «горе же тому, иже не почитает святых книг писания пред всеми..!»

Автор призывает вести проповедь не в церковных стенах, а под открытым небом; право на нее имеет каждый: «Лепо же есть всем славити бога и проповедати учение его». Не нужно быть святителем, чтобы ставить учителей, проповедников: «Моей не святитель бяше, но святители ставляше и учаше». Он же осуждает священников-наемников, пьяниц, обжор, прислужников перед «властелем», «ловяще у них чаши или некоего взятия; того ради простейшим учением учать и разумное, правое и дивное таять». Такие слепые вожаки «изъучиша... люди не на добро, но на зло»; «ни сами учите,— обращается к ним автор,— но и учащих (тех, кто учит добру.— *В. Б.*) ненавидите».

Божественную истину народу, делает он вывод, должны проповедовать грамотные представители самого народа, например, «чтецы и певчие»; «да аще добре научить и простый,— и то добро»; «послушание есть учение, а внешнии же («непосвященные».— *В. Б.*) суть иже не имуть ни ерейства, ни дьяконьства, но певци или четци суть».

Автор, выражающий демократические взгляды тружеников из простого народа, низшего духовенства (не из его ли рядов вышел он сам?), в своей критике церкви иереев, всех «посвященных» доходит до их отрицания («на всяком месте владыка Христос»). Его смелые взгляды входят в круг реформационных, антицерковных идей. Они аккумулировали стихийно, спонтанно возникавшие на рубеже двух столетий настроения, мысли, характерные для широких кругов мирян, низших церковнослужителей. От-

ражали их недовольство церковью, иерархией, как феодальным институтом. В противовес ей вызревает альтернатива — общество «верных» во главе с учителями из народа, проповедниками добра и правды.

* * *

Мысли, высказанные автором «Слова о лживых учителях» и составителями всего Трифоновского сборника, носили, с точки зрения православных ортодоксов, еретический характер. Нам неизвестно, насколько широкое хождение они имели по градам и весям российским. Можно думать, что немалое: недаром церковные и светские власти созвали, с промежутком менее чем в четыре десятилетия, два собора для обсуждения наболевших вопросов. А они, несомненно, сильно волновали людей, прежде всего «простцов» — паству, мирян, кормивших и поивших своим трудом владык духовных и светских.

Настроения социального протеста, стихийно возникавшие в народных низах, «подпитывали» мысли и чувства таких людей, как автор «Слова о лживых учителях» или составители Трифоновского сборника. С ними генетически связана деятельность русских еретиков, представителей реформационного движения. Они появляются во второй половине XIV века в Новгородско-Псковской земле. Их выступление имело общерусское значение. Именно в это время резко усиливается монастырская колонизация — Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевской обители, его ученики и последователи в разных концах Руси осваивают новые земли. Их активно поддерживает митрополит Алексий. В те времена монастыри имели особножитный устав; в них среди монахов большинство составляли вкладчики (князья, бояре, епископы), которые, продолжая оставаться собственниками, имели личное имущество, распоряжались им по своему усмотрению, часто вели праздный, роскошный образ жизни. Тунеядст-

во, стяжательство, недостойный, почти «мирской» образ жизни таких монахов вызывали резкое осуждение прихожан. В той же второй половине века церковные власти проводят важную реформу — превращают монастыри в общежитные: в них исчезает частная собственность монахов, провозглашается их равенство; все одинаково должны были соблюдать дисциплину, вести нравственный образ жизни. Тот же Сергий, как пишет в его житии Епифаний Премудрый, «заповедал» (запретил) своим монахам собирать милостыню по «весям» и «селам», велел всем им трудиться на себя и обитель. Вызвал тем самым сильное недовольство своих подчиненных.

Реформа привела к замене личного стяжания коллективным, но, несомненно, укрепила монастырскую организацию, способствовала росту монастырского землевладения и политической централизации Руси. Среди прочих причин проведения реформы немаловажное место занимало народное недовольство монастырями, неправедной жизнью монахов.

В этом же русле общественных настроений шло формирование еретических движений, направленных против официальной православной церкви. Первым из них была ересь стригольников. Она прямо выросла из антицерковных настроений и действий мирян, «простцов» конца XIII — первой половины XIV столетия. Уже тогда, и это дает понять тот же Трифоновский сборник, некоторые из них, по нескольку человек, игнорируя церковные храмы и посвященных попов, собирались в домах, читали книги и пели молитвы. Их «общества верных» противостояли официальной церкви. Это была скрытая ересь.

Во второй половине века она превращается в ересь открытую. Уже в 1337 и 1340 годах в Новгороде Великом происходят открытые антицерковные выступления. Примерно три десятилетия с лишним спустя власти обнаруживают ересь в Пскове. Это и были стригольники, или стрижники (так звали непосвященных или «недопосвя-

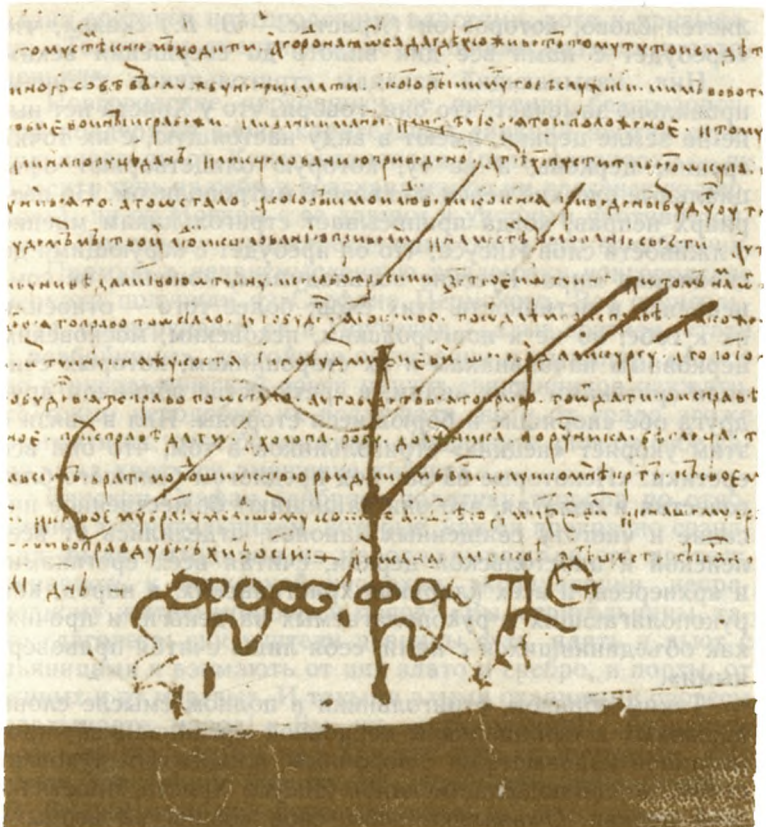
щенных» причетников, имевших на голове, точнее — на гуменце, особую стрижку). О казни их руководителей, двух дьяконов — Карпа и Никиты — и третьего, анонима, сообщают летописи под 1375 годом. Через пять лет в Новгород и Псков приехал из Константинополя архимандрит Дионисий с грамотой патриарха Нила о стригольниках; еще несколько лет спустя (1386 г.) выступает с Поучением против стригольников Стефан Пермский, известный проповедник и просветитель. А в 1416—1427 годах митрополит московский Фотий посвящает тем же еретикам целых четыре послания.

Все церковные сановники в один голос изобличают врагов церкви и веры Христовой, как они называют стригольников. Именно эти обличения позволяют понять взгляды стригольников, от которых до нас ничего не дошло — ни одного слова или поучения.

Патриарх Нил убеждает «нециих», отпадших от церкви. Примирить местное духовенство и простой народ должен был его личный представитель — Дионисий, поскольку новгородский архиепископ, дискредитировавший себя в глазах мирян, ничего не мог сделать. Но и миссия Дионисия не имела успеха — до того был низок авторитет новгородских и псковских иереев в глазах народа. Недаром Нил, получивший ранее сведения о том, упоминает об иереях-мздоимцах (например, епископах, получающих мзду за поставление в сан) и возможном покровительстве им со стороны самого митрополита. И тех, и другого, во имя церкви и патриарха, ее главы, «его же устави бог!», можно и наказать.

Патриарх говорит в своем послании, что эти «неции», т. е. еретики, утверждают: «Ныне Христос не имеет церкви на земле».

Владыка объясняет эти их взгляды: «Следовательно, если вы злословите церковь нашу и отделяетесь от всех нас, как от еретиков, то Христос не имеет на земле ныне церкви, соответствующей вашему учению, и лживым яв-



Подпись митрополита Фотия

ляется слово, которое он (Христос.— *В. Б.)* сказал, что «пребудет с нами все дни вплоть до свершения века».

Нил, называющий взгляды стригольников учением, правильно замечает, что они, говоря, что у Христа нет ныне на земле церкви, имеют в виду настоящую, с их точки зрения, церковь, а не ту, которую олицетворяют официальные русские иереи во главе с митрополитом. Но патриарх неправ, когда приписывает стригольникам мнение о лживости слов Иисуса, что он пребудет с верующими до скончания мира. Русские вольнодумцы, конечно, не сомневались в истинности этих слов; более того — относили их к себе, но не к новгородским, псковским, московским церковным начальникам и их сторонникам, которых считали еретиками. Как видим, в еретичестве обвиняли друг друга обе спорящие и борющиеся стороны. Нил в связи с этим укоряет «нециих»-стригольников в том, что они все еретики: «Некоторые из вас под предлогом большего благочестия и полагая, что они защищают божественное писание и чистоту священных канонов, отделились от вселенской и апостольской церкви, считая всех еретиками: и архиереев, и всех клириков христианских, и народ, как рукополагающих и рукополагаемых за деньги, и прочих, как объединившихся с ними, себя лишь считая правоверными».

Таким образом, стригольники в полном смысле слова порывают с официальной церковной организацией, пропитанной мздоимством, с порочным, продажным духовенством, не соблюдающим канон Иисуса Христа, апостольской церкви. Объявляют себя, свои «общества верных» истинно верующими и соблюдающими божественное писание, апостольские заповеди.

Митрополит Фотий, как и патриарх Нил, призывает стригольников возвратиться в лоно официальной церкви. Но, в отличие от него, не ограничиваясь тезисом о примирении, идет дальше — требует церковного отлучения стригольников, «прочее же по лукавствию их сотворит

Господь». Он благословляет, задним числом, правда, и казни еретиков новгородскими властями, хотя и призывает: «Толико не смертными, но внешними казньми и заточеньми».

Новгородские церковники не получили безоговорочной поддержки своих карательных санкций против стригольников ни от Константинополя (цель патриарха — не бросить тень на себя и возглавляемую им вселенскую церковь), ни от Москвы с ее давним и упорным противостоянием Новгороду, заинтересованностью в его ослаблении.

Прямую и недвусмысленную поддержку новгородские иерархи получили от Стефана Пермского. Все стригольники, подчеркивает он в Поучении,— злые еретики, «тати и разбойницы», достойные осуждения и изгнания: «А кто по стригольнической ереси начнет священников осужати, не токмо неподобно их послушати, но и от града згоже отогнати их; рече бо писание: «Изверзите злое от себе сами, мал квас все вмешение квасит».

Епископ Стефан одобряет политику террора по отношению к стригольникам, которые, как он прекрасно сознавал, были выходцами из народа, выражали его протест, ненависть к церковной иерархии, эксплуатации, неправедному житию монахов и попов: «Вы, стригольницы, тако глаголете: сии учители пьяницы суть, ядять и пьют с пьяницами и взимають от них злато и сребро, и порты, от живых и от мертвых. И такыми злыми окаянными словесы прельщаете народ!.. Вы же, стригольницы, уловляете хрестьян тем словом, еже Христос рече ко апосталам: «Не имете влагалищь (кошельков, сумок для приношений.— *В. Б.*), ни меди при поясех ваших».

Стефан Пермский и ему подобные ортодоксы, убежденные сторонники церковного и монастырского стяжания, не могли, конечно, простить стригольникам, что они своими проповедями смущают народ, поддерживают и разжигают его ненависть к сребролюбцам, эксплуататорам из священного чина. Тем более что понимали и видели —

народ слушает стригольников, верит им: «О стригольницех же неции безумнии глаголють: «Сии не грабят и имения не збирают».

У Стефана к «нециим», под которыми патриарх Нил имел в виду стригольников, отнесены и те «безумнии», которые слушают с сочувствием этих еретиков, восхищаются их бессребреничеством, честностью. Слово социальной правды, которое несли стригольники в среду мирян, вызывает ненависть духовных иерархов — феодалов, мысли которых ярко выражает пермский владыка. Он же негодует по поводу того, что эти еретики, в отличие от его коллег, несут свои молитвы, проповеди «на распутия и на ширины градные» — говорят с народом на путях и городских площадях, «высятся словесы книжными», т. е. книжную премудрость, в том числе и ими самими составляемую, тоже пропагандируют открыто, среди мирских людей.

Нельзя, кажется, сказать более убедительно, чем это делает Стефан Пермский, что стригольники, выходцы из народа, выражали его мысли и чаяния, а народ этот поддерживал их, вместе с ними выступал против привилегий и поборов церковных властей. Это было в полном смысле народное антицерковное, антифеодальное движение, но в церковных одеждах, теологической идеологической оболочке.

Стефан не может не упомянуть, что стригольники, в отличие от властей с их роскошью и мздоимством, вели жизнь честную, аскетическую: «Аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бе веровал ереси их?»

Народ и стригольники открыто не хотели принимать неправедного жития современного им священства. А оно в лице Стефана Пермского при поддержке всех церковных и светских феодалов исходило из того, что духовное звание, основанное на таинстве освящения, рукоположения, идущем от Иисуса Христа, его апостолов, их учеников — патриархов, митрополитов, епископов и других священнослужителей, неподсудно никому, кроме самого священ-

ства. И мздоимцам, святокупцам, эксплуататорам всех мастей из освященного чина это было выгодно, и посему попытки «простцов», еретиков-стригольников поставить под сомнение это их право, привилегию вызывали резкий и властный отпор иерархов и светских господ.

Но стригольники не только сомневались в таком праве иерархов, но и отвергали его. Исходили при этом из простой истины: «достоин или нет» иерей поставления; несомненно, они думали, что многие священники «не по достоянию поставляеми»: «Не достойны-де их службы, яко не нестяжаша, но имения взимають у хрестьян, подаваемое им приношение за живыя и за мертвыя».

Вместо стяжания, недостойного образа жизни они выдвигали принципы честного жития, достоинства человека, сдержанности в потребностях, даже аскетизма. Такой здравый, народный, демократический подход подрывал основы таинства священства, его неприкосновенности для обсуждения и осуждения со стороны частных лиц или групп людей, всего общества. Церковное табу отбрасывалось смело и решительно.

Достоинство человека, его право судить обо всем самому приводят к отрицанию таинства священства, выводу о возможности любому человеку честного жития иметь «дар», «благодать» и выступать в роли вероучителя. Этому-де учили первые апостолы: «Вы же, стригольницы,— возмущается Стефан Пермский,— глаголете, оже Павел и простому человеку повеле учити».

Владыка в ответ говорит им, что Павел говорил это во времена всеобщего язычества, «а не вам то речено бысть». Напоминает слова Григория Богослова: «Овци, не пасите пастухов».

Но, вероятно, псковских вольнодумцев это не смущало. Задолго до них безымянный автор «Слова о лживых учителях», вероятно, возражая на подобные же доводы, резонно замечал: «Егда пастуси възволчаться, тогда подобаеть овци овца паствити».

Стефана, всех «възволчившихся пастухов» возмущало и то, что стригольники, выступавшие с рационалистических и гуманистических позиций, столь же открыто не хотели признавать таинства причащения, крещения, покаяния. Этим таинствам они противопоставляли разумный подход к вере, изучению книг, осмыслению «учения Господня». В противовес попам, которые «морили гладом душевным» своих прихожан, стригольники «почитали» священные книги «перед всеми», писали сами книги, как их упрекает Стефан, «на помощь ереси своей». Но он же не может скрыть их успех в народе в связи с ученостью, разумностью, правдивостью их проповедей: «Изучисте словеса книжная, яже суть сладка слышати хрестьяном, и поставистеся учители народом». «Или бы не от книжнаго писания говорили, никто бы не послушал их».

Книги, написанные стригольниками, церковники постарались уничтожить. Ведь они разоблачали «неподобную жизнь» священства, опираясь на евангельские, апостольские поучения. Недаром епископ, полемизируя с этими сочинениями стригольников, замечает: «Не того деля дал Христос Еуаггелие в мир, чтобы, почитая его, смотрити того слова, чим бы кого укорити».

И стригольники, и их предшественники, как мы могли уже убедиться, мастерски умели на основании Евангелия, Деяний апостолов и других раннехристианских сочинений «укорить» современную им церковь, ее иерархов в забвении и искажении их заветов — честной и праведной жизни, нищелюбия и милосердия, любви к ближнему своему. Критическое отношение русских вольнодумцев к церкви, разоблачение ими ее пороков приводят их к смелым выводам — о дешевой церкви, предоставлении всем «непосвященным», т. е. низшим церковнослужителям и мирянам, возможности и права быть учителем веры, проповедником и тем самым отрицания преимущественного на то права «посвященного» священства. Стригольники критикуют ряд церковных догматов с позиций разумной веры —

таинства посвящения, покаяния и др. Они в своей критике продвинулись далеко вперед в сравнении с безымянными деятелями антицерковного движения конца XIII — начала XIV века. Кроме того, и это еще больше отличает их от предшественников, они объединились, по словам того же пермского епископа, в «съуз неправедны» — общество единомышленников. Это вызвало, естественно, гнев, а за ним репрессии церковных и светских властей. Вождей стригольнического движения в Пскове, в котором участвовали низшие церковнослужители, городская беднота, казнили в 1375 году. Но оно отнюдь не прекратило своего существования.

* * *

Другой центр антицерковного движения в XIV веке — Тверь, город с развитыми ремеслом и торговлей, важный политический и культурный центр. Соперник Москвы в борьбе за политическое первенство, Тверь в лице своих летописцев, политических и духовных деятелей выдвигает идеи объединения русских земель в одно государство. Уже в начале столетия на Переяславском соборе активно выступал против митрополита Петра тверской епископ Андрей. А монах Акиндин в послании 1312 года местному князю Михаилу громил симонию, призывал его вмешаться в дела церкви.

Правда, в Твери не столь сильно проявлялась активность демократических кругов, как в Новгороде и Пскове. В начале столетия с оппозиционных позиций выступает тверской епископ Андрей, в середине и конце — тоже епископы: Федор Добрый и Евфимий Вислень. Но они имели сторонников из рядового священства и мирян.

С именем Федора Доброго, сторонника ориентации на Москву, которая в середине века, можно сказать, определилась как политический лидер Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, связан спор, или «распря», о рае. Происходившая в Твери, она имела отзвуки и в других

землях. Василий Калика, архиепископ Великого Новгорода, выступил с Посланием к Федору Доброму. Его текст включает ряд летописей, и по нему мы можем судить о сути спора, который затрагивал злободневный для тех времен вопрос о чудесах, сверхъестественных явлениях — возможны ли они на грешной земле, на глазах людей?

Уроженец удельного города Кашина, князь которого постоянно соперничал с тверским великим князем и в том находил сочувствие и поддержку Москвы, Федор в 1342 году стал, по настоянию митрополита Феогноста, сидевшего во Владимире (а за его спиной стоял союзник — московский великий князь Симеон Гордый), тверским епископом. Кафедру он занимал без малого два десятка лет. Пять лет спустя после своего назначения епископ примирил тверского властителя Всеволода Александровича и кашинского Василия Михайловича. Более того, первый уступил второму великое княжение и ушел в свой удельный Холм. Оба князя от радости «плакашеся межи собою в любви и в мире»; их чувства разделял, можно не сомневаться, Симеон Иванович московский — вскоре он выдал свою дочь замуж за Василия Михайловича.

Но борьба между тверскими князьями продолжалась, и твердая промосковская и антилитовская позиция Федора стоила ему кафедры — в 1360 году он оставил епископию и ушел в тверской Отрочь монастырь. Там же и преставился в году 1367-м. Положили его рядом с епископом Андреем, оппозиционером начала столетия.

Василий Калика, антимосковски настроенный новгородский владыка, выступил против Федора Доброго, занимавшего промосковскую позицию, и в религиозно-идеологических, богословских вопросах. Архиепископ как ортодокс-мистик исходил из реальности чудес во всем видимом мире. Тверской епископ, наоборот, считал, что земного рая не было; сомнителен и рай небесный. Рай нужно искать, согласно взглядам Федора Доброго, в самом человеке. Это были смелые мысли, исходившие из здравого

смысла, возможностей человека, его разума, нравственного достоинства.

Идеи Федора Доброго, в передаче Василия Калики, весьма любопытны: «Рай погибл, в нем же был Адам». «Аще насади Бог на востоце рай, почьто обретеся во Иерусалиме тело Адаме». «Рай мыслен» — то есть существует в сознании человека.

Тем самым на земле не может быть рая, как, впрочем, и на небе; он — духовен, внутри человека, по апостолу Павлу: «Не весте ли, яко телеса ваша храм суть святаго духа, живущего в вас».

По Калике же, все мысленное, духовное — это ничто, видение. Он, в отличие от Федора, считавшего, что земной рай погиб, как погибает, исчезает и все земное, подверженное смерти, полагал: «Ни едино же, брате, дело Божие тленно есть, но вся дела Божия нетленна суть».

Понятно поэтому, что для новгородского архиепископа вполне возможно земное существование неземного рая. Рационалистически настроенный Федор не мог принять подобный тезис, и, естественно, ортодоксы встретили его позицию в штыки. Инициативу проявил новгородский владыка, и это неудивительно: на северо-западе Руси уже давно появлялись антицерковные настроения, вызревала ересь, в том числе стригольническая. В 1340 году «злии человеци» в Новгороде Великом во время пожара грабили церкви, «а икон и книг не даша носити» (выносить, спасать.— *В. Б.*). А ведь автор «Слова о лживых учителях», тоже, вероятно, новгородец, сообщает о «проповеди», отрицавшей загробные муки для «грешников». В том же направлении шли и высказывания Федора Доброго о «мысленном рае», гибели земного рая.

Любопытно, что митрополит Феогност поддержал Федора в этом споре, как поддержал он и идеи близкого последнему по духу византийца Варлаама, споривше-го во второй четверти века с Паламой (второй из них выступал с позиций истинности чуда, чудесного, напри-

мер, «света фаворского»: Христос воссиял на горе Фаворской, «как солнце», и «ученики его не могли смотреть и приникли к земле», но тем не менее «видели там царство Божие»; Варлаам: свет тот «вещественен и образен... то сгущается и является, то разрешается (разрежается.— *В. Б.*) и ни во что обращается, будучи призраком, дробью и летучкою»; апостолов озарил не сверхъестественный свет, а свет истины).

Рационалистический и логический подход Варлаама и его последователей к проблеме чудесного, сверхъестественного вызвал осуждение ортодоксов в Византии — паламитов, самого императора Иоанна Кантакузина (соборы 1347, 1351, 1358 годов). Варлаам уехал в родную Италию, где был впоследствии учителем Петрарки и Боккаччо. Его гуманистические идеи оказали влияние на деятелей итальянского Возрождения. Знали о них и на Руси.

В конце того же века в Твери случилось другое дело — епископа Евфимия Висленя. Кафедру он занял в 1374 году. Тогда, несомненно, были еще живы воспоминания о «распре о рае», Федоре Добром. Как и его предшественник, Евфимий имел промосковские симпатии. Известно, что в 1375 году, после победного исхода общерусского похода Дмитрия Донского и капитуляции Твери, делегацию тверичей возглавил именно Вислень. Она и приняла условия мира, продиктованные Москвой.

Тверские владетели, светские и духовные, свое недовольство унижением перед Москвой персонифицировали в имени Висленя. С ним же связали они еретические взгляды, выступления против официальных догм — он «воздвизает мятеж и бурю на церковь, яже не приемлет божественая и апостольская церковь, поучает же многых во граде по своим похотем ходити».

Судя по кратким упоминаниям источников, Евфимия поддерживали миряне, давно недовольные церковными порядками, пороками священства. Но власть имущие духовного и светского чина ему этого не простили — на

соборе 1390 года они «извергоша епископа Еуфимия», несмотря на заступничество митрополита Киприана. Однако тверской великий князь Михаил Александрович, опираясь на помощь бояр и духовных владык, настоял на своем, и, несмотря на все попытки митрополита, «не бысть мира и любви, но наипаче вражда и брань велиа воздвизашеся». Евфимия свели с кафедры, на его место назначили Арсения, митрополичьего протодьякона. Но тот долго не решался занять епископское место — миряне, сочувствовавшие его предшественнику, долго не хотели принять нового владыку.

Дело Висленя, как и выступление Федора Доброго, имеет характер необычный, исключительный: и тот, и другой, оба — церковные иерархи, выступили с критикой некоторых церковных догм, самой церкви. Из политических соображений их поддерживали митрополиты Феогност и Киприан, как позднее митрополит Зосима и великий князь Иван III московских еретиков.

* * *

Еретичество обнаружилось и в Ростовской земле. Давшая в XIV веке таких выдающихся деятелей церкви, как Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый, Афанасий Высоцкий и иные, она стала ареной активной общественной жизни, богословских обсуждений, споров. Например, в переведенной с греческого Диоптре, византийском памятнике религиозно-философского содержания, утверждался приоритет материального начала над духовным; духовная, нравственная сфера жизни человека зависима от его мозга, элементов, составляющих самого человека, от внешних условий его существования.

В Ростовской, Суздальско-Нижегородской землях, как и в Новгороде, Твери, полемика по религиозным вопросам так или иначе была связана с борьбой между церковью и ее критиками, еретиками, в частности стригольниками. В

Ростове впервые на Руси появилась ересь антитринитариев с ее критикой принципа троицы, троичности бога, одного из основополагающих в христианском вероучении. Произошло это в 1380-е годы и связано с именем Маркиана.

Житие Иакова, ростовского епископа, канонизированного в 1549 году, сообщает: «При сем святителе был в Ростове еретик Маркиан, армяновер, который учил иконам святым не поклоняться, называя их идолами, и разсеевал много других зловредных мыслей, так что поколебал князя, бояр и народ, «бяже бо зело хитр в словесах и в писании книжном коварен». Св. Иаков, соболезнуя о погибели душ, плененных учением Маркиана, умолил князя и бояр произвесть с этим еретиком прение в собрании духовных и светских лиц.

Маркиан, как и армяне-григориане, отстаивал мысль о единоестественности Иисуса Христа. Но, в отличие от них, отвергал поклонение иконам, считая их идолами, т. е. был одновременно антитринитарием, отрицавшим единосущную троицу, и иконоборцем. Недаром церковники во главе с епископом Иаковом так решительно выступили против него. Об этом говорит служба св. Иакова ростовского: «Мерзкий низложен бысть твоими священными словесы Маркиан и изгнан бысть ради всякаго безместия... Духовным мечем того убил еси».

Церковное священство сумело избавиться от еретика, угрожавшего их положению. Было это в конце 80-х годов. При этом прение-диспут происходил не на общей сходке ростовчан, многие из которых поддерживали Маркиана, а в узком кругу духовных и светских владык. А говорил здесь один епископ; о том, что Маркиан, человек книжный и «зело хитр в словесах», отвечал своему высокопоставленному оппоненту, источники молчат — ему, очевидно, просто не дали слова. В результате местные владетели, не слушая возмутителя спокойствия, опасаясь его проповедей, изгнали Маркиана, лишив его места.

Часть местных вельмож сочувствовала церковному оппозиционеру и вольнодумцу. Очевидно, связано это, как и в Твери, с борьбой группировок, «партий» — промосковской и антимосковской. Ею можно объяснить, среди прочего, и тот факт, что Иакова, поставленного на епископию в 1386 году, князь и ростовские горожане изгнали с кафедры. На его месте оказался Федор, происходивший из ростовских бояр, как и его дядя — знаменитый Сергий Радонежский. Эта кандидатура, таким образом, отвечала интересам Москвы. А она в тех землях, с которыми вела борьбу за политическое первенство в деле объединения Руси, прибирая их к рукам, опиралась на всякие недовольные местной властью, светской и духовной, оппозиционные элементы. К таковым можно отнести и Маркиана, который своими мыслями и делами «поколебал князя, бояр и народ». А его противник, епископ Иаков, добившийся победы над ним, вскоре сам оказался в изгнании. Такими непростыми путями-дорогами развивались события на Руси в сфере церковно-политической и идеологической жизни. Так было в XIV веке в Твери и Ростове. Те же процессы происходили в конце следующего века в Москве.

Глава 2

Новгородские и московские еретики конца XV века

Казнь московских еретиков в 1504 г.
«Лаодикийское послание» Федора Курицына

Вольнодумцы-еретики, несмотря на казни и преследования, продолжали в XV столетии проповедовать свои идеи — отрицали институт церкви, говорили о непосредственной связи верующего с богом, причем сущим только на небе, но не на земле. Ссылались на Евангелие от Матфея: «И отца не зовите себе на земли: един бо есть Отец ваш, иже на небесех».

Иерархи-ортодоксы, в противоположность еретикам, были убеждены в обратном. Митрополит Фотий, ругавший стригольников в своих посланиях 1420-х годов, убеждает: «Бог нашь на небеси и на земли».

«Земное небо» олицетворяется, по Фотию и его сторонникам, в церкви, ее обрядах и установлениях, в деятельности церковных иерархов; тем самым свято все, что от них исходит, в том числе церковная мзда и прочее. Стригольники, которые к тому же отрицали воскресение мертвых, по убеждению ортодоксов,— орудие дьявола.

В конце 80-х годов XV века бесстрашно выступал псковский стригольник чернец Захар. В своих грамотах, рассылаемых по Новгородской и Московской землям, он «лает» новгородского архиепископа Геннадия. Последний снискал недовольство, ненависть многих мирян и церковнослужителей мздоимством и насилиями. Геннадий с яростью реагировал на разоблачения монаха. Однажды,

по словам новгородского владыки, тот Захар дошел до того, что прислал грамоту в Новгород «моему старцу Ионе... на мене с великою лайбою»; «и яз,— продолжает архиепископ и просит митрополита,— с тое грамоты список (копию.— *В. Б.*) тебе, своему господину, отцу, послал; и ты бы меня пожаловал, оборонил от того Захара стригольника».

Этот «ересем началник», по сообщению Геннадия, его самого называл еретиком. Монахи жаловались на Захара: «Перестригл... да причастиа три годы не давал, а сам не причащал же ся».

Как и другие стригольники, его предшественники, жившие за столетие до него, Захар не верил в таинство причащения, отказался от него сам и понуждал к тому же своих коллег-монахов, детей боярских. Далее, обличая всех церковных начальников в симонии, открыто говорил об этом. Когда его призвал к себе для увещеваний архиепископ Геннадий, Захар вел себя смело и независимо:

— О чем ты,— спрашивает его новгородский святитель,— так чинишь, что еси три годы не причащался?

— Грешен есми.

— Ты о чем же еси перестригл детей боярьскых да от государя еси их отвел, а от Бога отлучил, что еси им причастиа не дал три годы?

— А у кого ся причащати? Попы по мзде ставлены, а митрополит и владыкы по мзде же ставлены.

— А се митрополита ставят не по мзде.

— Коли вь Царьград ходил есть в митрополиты ставитися, и он патриарху денги давал. А ныне он бояром посулы (взятки.— *В. Б.*) дает тайно. А владыкы митрополиту дают денги. Ино у кого причащатися?

Захар, как видно, знал, о чем говорил. Архиепископ же, сам большой мздоимец, ничего не мог сказать ему убедительного в ответ. Только и мог добавить в грамоте митрополиту: «И он (Захар.— *В. Б.*) ту свою ересь явил». «И аз познал, что стригольник».

Эти обвинения новгородского владыки, да еще в сообщении главе русской православной церкви, рассчитаны, конечно, на вмешательство, репрессии центральных властей, не только духовных, но и светских. Сам же Геннадий мог сделать пока немногое — перевел Захара из псковского Немчинова монастыря «в пустыню на Горечно». Это была ссылка.

Но Москва, лишь недавно включившая Новгород Великий и его земли в состав своих владений, настороженно относившаяся к новгородской верхушке, поначалу не поддержала Геннадия. Иван III Васильевич, великий князь всея Руси, приказал вернуть Захара из ссылки, но не в его прежнюю обитель, а в Москву. Архиепископ новгородский не скрывал досады и разочарования:

— А ведь то о нем нехто (кто? Зосима митрополит? Кто-то другой? — *В. Б.*) печаловался. А чему тот стригольник великому князю?

Но эти поддержка и сочувствие продолжались недолго. На церковном соборе, состоявшемся в 1490 году с участием высших духовных лиц и бояр великого князя, Захар выступал в качестве обвиняемого, как и другие еретики. Сам митрополит вопрошал и обвинял его: «Захарие, что ради сицевая твориши: преступаеши закон Божий и не велиши ся кланяти иконам святым?»

Вольнодумец, как и в споре с Геннадием, не стушевался, отвечал смело, без утайки, что и передает митрополит в своем Поучении: «Хулу на Господа нашего Иисуса Христа и на его пречистую Богоматерь, да и на великых святителей Петра и Алексеа и Леонтия чудотворцев, и на иных многих святых преподобных отець хулные речи изнесе да и на всю седмь соборов святых отец похули».

Захар и другие еретики, продолжившие традиции вольнодумцев предыдущего столетия, были осуждены и прокляты представителями господствующей церкви. Захар оказался в темнице, где и умер.

Деятельность его говорит об оживлении реформатор-

Церковный собор на еретиков 1490 г.

ского движения в конце XV века. Правда, оно не замирало и в течение всего этого столетия. Об этом говорят послания Фотия, упоминавшиеся выше. А путешественник-венецианец Иоасафато Барбаро, проживший на Дону, в Азове, 16 лет, сообщает об обстановке в Новгороде Великом после его присоединения к Москве: «Верховная власть в Новгороде прежде находилась в руках народа, но законы были весьма недостаточны, и многие из жителей вдались в ересь. Теперь православие едва-едва укореняется, и в управлении заметен также некоторый порядок и правосудие».

Еще в 1410-е, затем в 1450-е годы в церковной среде, в Пскове, Новгороде и Москве, разгорались споры об аллилуйе: как возглашать хвалу богу — трижды (трегубая аллилуйя) или дважды (сугубая аллилуйя)? Ортодоксы, в их числе — митрополит Фотий, псковский священник Иев и другие, выступали за трегубую, поскольку она соответствовала учению о троичности господа: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Сторонники двугубой аллилуйи (Ефросин, монах псковского Снетогорского монастыря, и его сторонники) возносили хвалу Иисусу Христу, воплощавшему одновременно божественное и человеческое начало. Тем самым они нарушали, в глазах ревнителей-ортодоксов, тезис о троичности, триединстве бога, хотя субъективно они, конечно, исповедовали веру в троицу. В отличие от тех и других антитринитарии, Маркиан и подобные ему верили в единого бога, «Творца неба и земли», и потому не троили и не двоили аллилуйю.

Антитринитарии, появившись на Руси в конце XIV столетия, в следующем веке продолжали свою деятельность. Правда, источники молчат о них. Но настояния ортодоксов о непреложности и божественной сущности троицы выдают их тревогу, заставляют догадываться о том, что и кто вызывает их беспокойство. Лишь изредка проскальзывают упоминания об этом еретическом, с точки зрения официальной церкви, учении — то в Пскове, то в Твери появляются в 50-е и 70-е годы его сторонники.

А в самом конце столетия оно ярко проявилось в так называемой «ереси жидовствующих». Дело в том, что в распространении идей антитринитаризма некоторую роль сыграли евреи из купцов, появлявшиеся с запада, из Литвы например, по своим торговым и иным делам в Новгороде Великом и других местах. Новая ересь, возникнув в Новгороде, быстро распространилась по Руси, и это неудивительно — взгляды ее сторонников выражали помыслы и чаяния простого народа.

Недовольство бедных и угнетенных людей иерархами,

монастырями с их богатствами, в первую очередь землями и крестьянами, эксплуатацией этих крестьян и поборами со всех мирян имело серьезные основания. Положение для церкви осложнялось и тем, что Иван III и служилые люди-дворяне нуждались в землях и потому с неодобрением смотрели на их концентрацию в руках иерархов и духовных корпораций. Великий князь не прочь был пополнить земельный фонд казны за счет церковных владений, а дворяне — получить их в свое распоряжение.

Почти все слои русского общества испытывали неприязненные чувства к церкви. Не говоря уже о крестьянах или посадских людях (для них церковные и монастырские люди — конкуренты в торгово-ремесленных делах), даже бояре-вотчинники, владельцы больших земельных угодий, на которые тоже зарились те же дворяне и казна, кивали в сторону церкви, монастырей — их земли, мол, можно и сократить...

В этих сложных и трудных для нее условиях церковь и не думала отступать, сдавать свои позиции. Новгородский архиепископ Геннадий и Иосиф Санин, игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, что к западу от Москвы, оба — убежденные защитники интересов церкви, ее видные идеологи, отдали много сил обличению взглядов и действий своих и господствующей церкви противников, особенно еретиков-антитринитариев.

Судя по их сообщениям, среди новгородских еретиков имелись священнослужители, дети боярские, купцы, простолюдины; среди московских еретиков — купцы, клирошане, простые люди «да иных многих от великого князя двора». Геннадий упоминает также сельских жителей, крестьян: «Да та прелесть здесе распострелася не токмо в граде, но и по селом. А все от попов, которые еретики ставили в попы».

Среди священнослужителей, рядовых и низших рангов, было немало выходцев из «простцов» — крестьян и посадских людей. Их участие в еретическом движении не умень-

шает, а усиливает его демократическую окраску. Это подтверждает Тимофей Вениаминов, один из помощников новгородского архиепископа Геннадия: «В то лето (1489 г.— *В. Б.*) здесе, в преименитом ту Неуполес (Новгороде.— *В. Б.*) мнози священники и диакони и от простых людий диаки явилися сквернители на веру непорочную. Велика беда постигла град сей, и колика тма и туга постиже место се святую веру православия... Нъ вскоре исплънися о Бозе благодати Духа Святааго преосвященный архиепископ Генадие, обнажил их еретичества злодейство, что пострадали диаволским падением и пособием».

Помимо простых людей и священнослужителей, приверженцами нового движения показали себя такие представители верхов, как Елена Стефановна, жена Ивана Ивановича Молодого, старшего сына Ивана III, и великокняжеский дьяк Федор Курицын. Иосиф Волоцкий в послании 1503 года к Митрофану, архимандриту Андроникова монастыря, говорил о широком хождении взглядов реформаторов: «Еретиков умножилося по всем городом».

Во всяком случае, помимо Новгорода Великого и Москвы, антитринитаристское брожение наблюдалось в Твери. В послании Иосифа Волоцкого Вассиану, архимандриту тверского Отроча монастыря (написано до 1478 года), речь идет о троичности божества. Волоцкий игумен упоминает вопросы и недоумения Вассиана: Ветхий завет говорит о едином боге, Новый завет — о троичности бога; как, мол, понять это противоречие? Отвечает: новозаветные свидетельства предпочтительнее ветхозаветных, «яко же и апостол пишет: «Древняя мимо идоша, а вся быша новая», и поучает задних забывати, а на предняя подвизатися, еже есть новаго благодати закон».

Несомненно, вопросы одного и ответы другого иереев вызваны появлением сомнений по вопросу о троичности бога, т. е. новым оживлением еретических взглядов, на этот раз гораздо более широко распространенных. Эти ере-

тики, по замечанию Иосифа, «превращают на свой разум, хотяща троицю утаити».

Вассиан, ставший тверским епископом в 1478 году, через пять лет провозгласил открытие мощей епископа Арсения, боровшегося с еретиками в конце XIV века. Начались прославление его чудес, службы по нем, чтение в церквах его жития, составленного в то же время. Цель всего этого — воздействие на мирян, склонных, очевидно, к проповедям еретиков-антитринитариев.

В беседе с Иваном III, государем всея Руси, волоцкий игумен Иосиф жаловался на еретиков, требовал от него, чтобы он велел сыскать их вину: «И яз ему почял бити челом, чтобы послал в Великий Новгород да и в иные городы да велел обыскивати еретиков».

Правитель согласился с ним: «А однолично пошлю по всем городом да велю обыскивати еретиков да искоренити».

Разговор происходил уже в конце правления Ивана III (о нем Иосиф сообщает в упомянутом послании 1503 года), когда близилась окончательная расправа с еретиками. Характерно, что игумен среди городов, охваченных ересью, выделяет Великий Новгород. Действительно, движение вольнодумцев-антитринитариев зародилось в этих местах.

Еще в 1460-е годы новгородско-псковские земли стали ареной борьбы простых людей против церковных вотчин, судов и поборов. Псковичи забирают у местного владыки часть земельных и водных владений. Митрополит Феодосий в грамоте увещевает «обидящих церковь» (1464 г.). А три года спустя его преемник митрополит Филипп защищает уже не только церковные имения, но и учение православия. Восхваляет храмы божии, напоминает о загробной жизни, несомненно, в ответ на мнения тех, кто отрицает и то, и другое.

Псковский летописец осуждает церковное мздоимство, его конкретного носителя — новгородского архиепископа

Иону. Вносит в свой труд соответствующие рассуждения: «Великий вселенных учитель Павел, апостол Христов, корень всем злым сребролюбием наричает и второе кумиро-служение именуеть, яко творит человек на имение уповати, а не на Божиа упования надеятися... Яко же идолопьрцы тварем поклоняются, а не Богу, тако и сребролюбце на сребро надеются, а не на Бога».

Активным борцом с ересью был новгородский архиепископ Геннадий Гонзов. До этого он — архимандрит Чудова монастыря в московском Кремле. Избрали его 12 декабря 1484 года, а в Новгород он прибыл весной следующего года. Его предшественники ушли с владычного престола не по своей воле. Феофила приказал «поимать» еще в январе 1480 года сам Иван III, поскольку «не хотяше бо той владыка чтобы Новгород был за великим князем» — еще живы были воспоминания о былой вольности «господина Великого Новгорода»; к тому же за два года до этого московские власти конфисковали половину монастырских земельных владений, чем Феофил выражал открытое недовольство. Его отправили в московский Чудов монастырь. Здесь он и скончался через два с половиной года.

17 июля 1483 года на его место избрали Сергия, старца Троице-Сергиева монастыря, ставленника Москвы. Но того не приняли новгородцы — «не хотяху... покоритися ему, что он не по их мысли ходить». Приехав в Новгород, он «многы игумены исъпродаде и многы новыя пошлины введе». Дело закончилось тем, что новый владыка, неугодный своей пастве, через год после избрания ушел из города. Говорил при этом, что он сюда «от Москвы прииде к гражаном (горожанам.— *В. Б.*), яко плененным». О нем пустили слух, что он сошел с ума.

Преемник Сергия, Геннадий, тоже, разумеется, был ставленником Москвы, самого великого князя, исполнял его волю. Пошли вскоре разговоры о том, что за должность новгородского ерхиепископа чудовский архимандрит за-

Иосиф Волоцкий

платил Ивану III две тысячи рублей — огромные по тем временам деньги. Прибыв же на архиепископию, Геннадий пустился во все тяжкие — велел переписать в Новгороде и Пскове церкви, приделы, престолы, попов, наложил на них особую архиепископскую подать. Псковичам и новгородцам это живо напомнило времена злой «татарщины» с «числом» и «численниками». Летописец колоритно описывает это время: «Владыка Генадий присла в Псков боярина своего Безсона и с ним игумена Еуфимья, иже преже в Пскове был ларником, и в той власти много зла народу учини... И мысляше того (Еуфимия.— *В. Б.*) вла-

дыка Генадий вместити архимандритом, в себе место правителем Пскову. И того ради посла его с своим боярином. И веляше описати по всей земли псковской церкви и монастыре; и колико престолов и попов,— и всех в число написати».

Тогда-то псковичи, возмущенные произволом и сребролюбием Геннадия, «не дашася в волю его». Захар, стригольник и участник ереси жидовствующих, рассылает повсюду грамоты с изобличением неправедных действий владыки.

Геннадий ответил ударом на удар. Причем в начавшейся борьбе он имел сильный козырь — прикрывался тем, что защищал нерушимость догм христианства. Правота же Захара и других вольнодумцев-еретиков, обличавших его корыстолюбие, как с полным основанием полагал Геннадий, никого, кроме еретиков, интересовать особенно не будет.

В начале 1487 года, два года спустя после прибытия в Новгород, Геннадий с большим шумом «открывает» ересь в своей епархии, шлет сведения о ней митрополиту и великому князю Ивану III. Какие-то люди, выступившие свидетелями, среди них — поп Наум, порвавший с ересью, рассказали владыке о местных еретиках, назвали их имена. Дополнительные сведения добыл сам Геннадий. Списки еретиков, показания свидетелей, «тетради» еретиков и послание Геннадия вскоре получили в Москве.

Помимо попа Наума, снова перешедшего в официальное православие, среди еретиков упоминаются в разных источниках священнослужители: попы Григорий из Семеновской церкви, Герасим (Ерасим, Ересим, Ереса) из Никольской церкви, его сын дьяк Самсон, дьяк Гридя борисоглебский. Далее идут поп Денис, протопоп Гавриил с Михайловой улицы, протопоп Алексей (ранее — поп с той же улицы), монах псковского Немчинова монастыря Захар; подьячий Алексей Костев, живший на поместье; попы Максим и Василий, дьякон Макар, дьяки Васюк и Самуха.

Иосиф Волоцкий называет еще 11 человек: Ивана Максимова, сына еретика попа Максима и зятя протопопа Алексея; боярина Григория Михайловича Тучина, Лавреша, Михаила Собаку, попа Федора покровского, Якова апостольского, Ивана воскресенского, Юрия Семеновича Долгово, певчих Авдея, Степана, Евдокима Люлиша «и инех многых».

Всего по именам названы 27 человек, в основном они — рядовые попы, низшие, священнослужители. Имелись и светские лица, даже один боярин. Еретическое вольнодумство получило весьма широкое распространение, причем не только в городах, но и в сельской местности.

«Отступиша убо мнози,— сетует Иосиф Волоцкий в послании Нифонту, епископу суздальскому (начало 1490-х годов.— *В. Б.*),— от православныя и непорочныя... веры...; ныне и в домех, и на путех, и на тръжищих иноци и мирьстии и вси сомнятся, вси о вере пытают».

Геннадий и прочие ортодоксы обвиняют новгородских и псковских еретиков во многих преступлениях: они-де не признают божественности Иисуса Христа и богоматери, чудотворцев и чудеса, не поклоняются кресту и иконам, веруют только в Ветхий завет и молятся «по-жидовскы».

Движение антитринитариев некоторые из современников называли «ересью жидовствующих». Иосиф Волоцкий в «Сказании о новоявившейся ереси» (вошло в качестве предисловия в его «Просветитель», или «Книгу на еретики», начало XVI века) сообщает, что в 1470 или 1471 г. в Новгород Великий прибыл литовский князь Михаил Олелькович. В его свите среди прочих был и «жидовин именем Схариа» — «изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологы, живый в граде Киеве». От этого Схарии и других литовских евреев, оказавшихся в Новгороде, и научились еретичеству русские люди — тот Схария, например, «прелсти попа Дениса и в жидовство отведе».

Денис привел к нему протопопа Алексея с Михайловой улицы. От них новую веру восприняли члены их семей, другие родственники, многие «от попов и от диаков, и от простых людей».

Правда, о Схарии и «жидовстве» не упоминает новгородский архиепископ Геннадий в своих посланиях. Но его молчание объяснимо: попа Дениса, «прельщенного» Схарием в ересь, в 1480 году взяли ко двору великого князя в Москву, и потому называть имя «жидовина» в конце 80-х годов было опасно. К тому же Иван III какое-то время в противовес владыке опального Новгорода сочувствовал еретикам.

Но, не упоминая о Схарии, Геннадий пишет о еретиках, как о «жидовская мудръствующих», упоминает о «жидовине», сопровождавшем Михаила Олельковича. Грамоты Ивана III упоминают «Захарью Скара жидовина» — Захария Гвизольфи, «таманского князя», отец которого был генуэзским аристократом, мать — черкешенкой. В конце столетия он жил в Крыму, пытался обратить в свою веру русского посла Д. В. Шеина. Возможно, что Гвизольфи был караим, по вере иудей — «жидовин». Вполне вероятно, что в 1470 или 1471 г. он побывал в Киеве, который тогда принадлежал Литве, а затем в Новгороде Великом с Михаилом Олельковичем. А этот князь был братом матери Елены Стефановны, т. е. дядей снохи Ивана III, тесно связанной с еретиками-антитринитариями, ересью жидовствующих. Великий князь, уезжая в 1480 году из Новгорода, взял с собой в Москву еретиков Дениса и Алексея, и первого из них сделали протопопом Успенского кафедрального собора в Кремле, второго — священником придворного Архангельского собора. Все это весьма показательно для определения позиции и Ивана III, и новгородского архиепископа, вынужденного до поры до времени проявлять некоторую осторожность.

Но Геннадий, нетерпимый вообще и к тому же разъяренный обвинениями в корыстолюбии, уже в 1487 году

переходит в наступление. Помимо материалов на еретиков, направленных в Москву, пишет послания к своим единомышленникам из высшей иерархии — епископам сарскому Прохору, суздальскому Нифонту, пермскому Филофею. Жалуется, что в Москве молчат о еретиках, которых он разоблачает: «обыск... не крепок чинитца», «еретикам ослаба пришла». Просит Нифонта воздействовать на Ивана III и митрополита, «тому делу (о еретиках.— *В. Б.*) исправление учинити». Архиепископ хорошо знал, что его адресат близок к окружению Софьи Палеолог — жены Ивана III, резко отрицательно относившейся к еретикам. Просит о содействии и других иерархов.

Пока длилась эта переписка, Геннадий перешел от слов к действиям — приказал «имати», т. е. арестовать, еретиков. Потом отдал их на поруки. Но они, «выдав» своих поручителей, убежали в Москву, под крепкую, как им казалось, защиту великого князя.

Но она оказалась не такой крепкой и надежной, как рассчитывали вольнодумцы. В начале 1488 года собрался церковный собор. В нем участвовали Иван III, Геронтий и епископы, исключая Геннадия, по сути дела инициатора его созыва. Собор объявил трех новгородских еретиков — Григория, Герасима и Самсона — виновными, приговорил к отлучению от церкви и от сана. Их подвергли гражданской казни — «биша попов ноугородских на торгу кнутьем». После этого боярин И. Кривоборский отвез их к Геннадию в Новгород. Архиепископ получил послание митрополита Геронтия: «И ты, сыну, у собя, в своем зборе, тех обличив да понакажи духовне... чтобы они покаалися и в разум истинны пришли. И толко покаются, да будут достойны милости. А не покаются, и ты их пошли к наместником великого князя, и они их тамо велят казнити градскою казнию по великого князя наказу, как писано в царских правилех».

Вольнодумцев, не всех, а лишь некоторых из них, наказали, но не слишком строго. По словам Иосифа Волоцко-

го, Геронтий, проявляя такую непростительную мягкость, «бояшеся державного» — Ивана III.

Вскоре в Новгород прибыли указанные три еретика и четвертый Гридя, дело которого Геннадий по указанию того же собора должен был доследовать. Архиепископ принялся за всех. Вместе с великокняжескими наместниками, а ими были Яков и Юрий Захарьичи, из бояр Кошкиных, воеводы строгие и беспощадные, он продолжил следствие. Но еретики «всех своих действ позаперлись». Впрочем, потом некоторые из них «действа свои писали сами на себя своими руками».

Великий князь, зная, конечно, о стяжательском характере архиепископа, предупредил его в своей грамоте: «А сстатки бы (имущество.— *В. Б.*) еси поповы Григорьевы и поповы Ересимовы, и Самсонковы диаковы, послав своего человека, а наместьники мои пошлют с твоим человеком своего человека, да велити переписати да, переписав, да список ко мне пришлите».

То же указание повторено и в предвидении возможного розыска других еретиков: «А которых иных попов и диаконов, и диаков, и простых людей в том деле обыщете и дойдут градские казни, и наместники мои велят их казнити, а сстатки их, переписав по тому же, да те списки ко мне пришлите».

Действия Геннадия великий князь поставил под контроль своих наместников в Новгороде; а его возможные поползновения на «животы» еретиков — под свой собственный контроль. О том, что опасения последних имели реальные основания, говорит постановление нового собора — 1490 года, направленное против них: «И вы каки, приехав на Москву, здесе били есте челом государю великому князю на Генадиа архиепископа о том, что, рекши, он вас имал и ковал, и мучил изо имениа, да грабил животы ваши».

Архиепископ и потом продолжает гонения на еретиков-вольнодумцев. Они жаловались на него центральным

властям. Новгородский владыка, со своей стороны, обвиняя еретиков, подробно описывает их преступные, по его убеждению, действия: «...еретикам ослаба пришла, уже ныне наругаютца христьянству: вяжут кресты на во́роны и на воро́ны; многие ведели: ворон деи летает, а кресть на нем вязан деревян; а ворона деи летает, а на ней крест медян. Ино таково наругание: ворон и ворона садятца на стерве и на калу, а крестом по тому волочат».

Далее Геннадий столь же красочно живописует другие «наругания» еретиков, на этот раз с иконами: «А здесе обретох икону у Спаса на Ильине улици: Преображение з деянием, ино в празницех обрезание написано — стоит Василий Кесарийский, да у Спаса руку да ногу отрезал; а на подписи написано: обрезание господа нашего Иисуса Христа».

Колоритна сценка с крестьянином и еретиком Гридей, описанная Геннадием с возмущением и назиданием: «Да с Ояти привели ко мне попа да диака,— и они крестиянину дали крест телник, древо-плакун, да на кресте том вырезан сором женской да и мужской. И христианин де и с тех мест (начал) сохнути да немного болел, да и умерл. А диак сказываетъца племенник Гриди Клочу еретику, что в подлинник (список новгородских еретиков, отправленный в Москву.— *В. Б.*) не писан. И ныне таково есть бесчинство чинитца над церковъю Божиею и над кресты, и над иконами, и над христианьством».

В другом послании тот же архиепископ описывает еще одну сцену с натуры:

— Да здесь Алексейко подьячей на поместие живет да, напився пиян, влез в чясовну, да, сняв с лавицы икону Успение Пречистые, да на нее скверную воду спускал; а иные иконы вверх ногами переворочал. А что пакы безъыменных, ино и числа нет, кое иконы резаны; а не весть.

Поругание еретиками икон, насмешки над крестами говорят, так сказать, о практическом иконоборстве. Оно принимало подчас весьма экзотические простонародные

формы. Вольнодумцы въяве показывали окружающим мирянам, что иконы и кресты бессильны против тех, кто ими пренебрегает, смеется над ними, колет их и режет. Подобные действия, квалифицируемые церковниками-ортодоксами как кощунство, преступление, показывали отрицательное отношение еретиков и многих их сторонников из простого народа к официальной церкви, иерархам с их поборами, грабежами и насилиями.

Наиболее активные новгородские еретики, лидеры движения, как уже упоминалось выше, оказались в Москве. Здесь новгородцы быстро сошлись с московским кружком еретиков, сложившимся в начале 80-х годов. Среди них были виднейшие деятели — великокняжеские дьяки Федор и Иван Волк Курицыны, Елена Стефановна, переписчик книг и редактор Иван Черный и иные.

Об их встречах и беседах стало известно после собора 1488 года. Некоторых вольнодумцев, присланных в Новгород, допрашивали архиепископ Геннадий и наместник Яков Захарьич:

— Были есте на Москве,— спрашивали у Самсона,— с ким ся есте въдворяли? Ведаешь ли, что говорят на Москве?

—Ведаю, господине, как ми не ведати? Ходили есмя завсе к Федору к Курицыну, диаку великого князя. А приходит к нему Олексей протопоп да Истома, да Сверчек, да Ивашко Чрьной, что книгы пишет, да поучаются на православных.

Геннадий, описывающий ход допроса, не сомневается в правдивости слов еретика Самсона: «И коли бы тот смерд того не действовал да к Курицыну не ходил, почему было то ему ведати: что ся у Курицына чинит, кто ли к нему приходит?» Далее Самсон сообщил:

— Да приехал с Федором с Курицыным из Угорской земли (Венгрии, входившей в Священную Римскую империю, Цесарскую землю; Курицын ездил туда с посольством.— *В. Б.*) угрянин, Мартынком зовут.

И здесь Геннадий дает свой комментарий, делает вывод и о Самсоне, и о Курицыне, которого считает, и не без резону, главой еретиков-вольнодумцев: «То он (Самсон.— *В. Б.*) почему уведал того Мартынка, толко бы он у Курицына не водворял ся? А потому: ино Курицын начальник тем злодеем».

Московский кружок вольнодумцев существовал с ведома и даже под покровительством Ивана III: «яз... ведал ереси их» — признавался он лет 15 спустя, около 1503 года, Иосифу Волоцкому. Последний к тому добавляет: «Да и сказал ми,— которую дръжал Алексей протопоп ересь и которую ересь дръжал Федор Курицын».

Московский правитель, как отмечают исследователи, довольно решительно держался с церковниками, действовал при случае свободно и смело — мог дать распоряжение публично выпороть архимандрита Чудова монастыря или перенести из Кремля, когда в нем начались строительные работы, церковь с кладбищем. Точно так же не считался он с иерархами и в своих отношениях с еретиками, которых довольно долго поддерживал. Но отнюдь не из идеологических, так сказать, соображений. Их идеи он, будучи православным христианином, не разделял; попросту им руководил политический расчет: ему нравилось то, что еретики, будь то московские или новгородские, или иные, выступают, как и нестяжатели, против стяжательства духовенства, белого и черного, против их землевладения. Иван III очень хотел бы пополнить земельный фонд казны — из нее эти земли можно раздавать служилым людям, дворянам. Ведь они — главная опора для него, для централизованного государства, во главе которого он стоял и которое нужно было укреплять, двигать вперед. Столь же прагматически Иван III использовал новгородских еретиков в борьбе с властями Новгорода Великого, остатками его былых вольностей, местным сепаратизмом.

Церковные ортодоксы осуждали великого князя. В связи с тем, что происходило в Кремле по указанию Ивана III,

Иосиф Волоцкий пишет обличение
на еретиков

высказывал свое негодование Геннадий: «А ныне беда стала земская да нечесть государская: церкви старые извечные выношены из города вон да и манастыре старые извечные переставлены... Да еще пакы сверх того и кости мертвых выношены на Дорогомилово; ино кости выносили, а телеса ведь туто остались, в персть разошлись... Писано, что будет въскресение мертвых, не велено их с места двигати, опроче тех великых святых, коих Бог прославил чюдесы... А что вынесши церкви да и гробы мертвых да на том месте сад посадити,— а то какова нечесть учинена?»

Новгородский владыка, высказывая недовольство, подразумевает, по сути дела, что великий князь, как и еретики, без почтения относится к храмам божиим и костям мертвых — ведь в Писании-то сказано, что они воскреснут в день божьего суда! Еретики отрицают воскресение мертвых. А тут сам государь... Еретиком его, конечно, не назовешь, не посмеешь...

К тому же митрополит Зосима добавляет масла в огонь, заявляя: «А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то въскресение мертвым? Ничего того несть: умерл кто ин, то умер, по та места и был». Или еще — священное Писание предписывает: «Не клянитеся ни небом, ни землею, ни иною коею клятвою».

Великий же князь своему брату клянется не триединым богом-отцом, сыном и святым духом, как полагалось бы, а иначе, в монотеистическом духе Ветхого завета: «...Землей и небом и богом сильным, творцом всея твари».

Реформаторские, антитринитарные идеи, как видим, проникали в самые верхние эшелоны власти. Но, естественно, это не свидетельствовало о каких-либо серьезных, устойчивых убеждениях того же Ивана III. Правда, более серьезно относились к ним, этим идеям, такие люди из его близкого окружения, как сноха Елена Волошанка, внук Дмитрий, Федор и Иван Волк Курицыны, некоторые другие. Но сам он под влиянием обстоятельств отвернулся от еретиков. А их судьба была весьма печальной.

Геннадий и прочие требовали созыва нового собора. Архиепископ снова пишет послания своим коллегам-единомышленникам. Уговаривает их, чтобы они не допустили споров с еретиками о вере,— те могут «переговорить» ортодоксов, победить их; к тому же на соборе, мол, московское православие объявят истинным, а новгородское осудят, как худое. В послании Иоасафу, бывшему архиепископу ростовскому и ярославскому, он жалуется: «И как, мню, ныне вы положили то дело (против еретиков.— *В. Б.*) ни за

что, как бы вам мнится: Новъгород с Москвою не едино православие».

Все эти возможные последствия собора нужно, по его мнению, во что бы то ни стало предотвратить. А созывать его с одной целью — осудить и наказать всех еретиков, врагов церкви божией: «Да еще люди у нас простые, не умеют по обычным книгом говорити; таки бы о вере никаких речей с ними не плодили; токмо того для учинити собор, что их казнити, жечи да вешати!»

Геннадий, Иосиф Волоцкий, поддерживаемые большинством иерархов, да и светских лиц, вельмож, оппозиционных Ивану III, смело ринулись в бой. Предстояла решительная схватка церкви с великокняжеской властью. Новгородский архиепископ в посланиях, приводя исторические примеры о византийских царях-иконоборцах, еретиках, прозрачно намекает, что таков и Иван III. Ставит вопрос (в послании Зосиме 1490 года) о том, чтобы государь «свою очистил землю» от ересей; и молитву за него и его семью будут возносить, если он обеспечит «всякое благоверие и чистоту».

Ортодоксы составляли поучения к пастве против еретиков, направляли друг другу послания, объединяя свои силы; готовили аргументы против еретиков, искали встреч с книжными, знающими святые книги людьми, например, с нестяжателями. Так, Геннадий спрашивал у Иоасафа: «Да и о том ми отпиши: мощно ли у мене побывати Паисею (Ярославову.— *В. Б.*) да Нилу (Сорскому.— *В. Б.*), о ересях тех было с ними поговорити?»

Осенью 1490 года, в начале сентября, избрали нового митрополита — Зосиму. Геннадию даже не разрешили прибыть на его поставление, и он смог только прислать в Москву «повольную» грамоту, сообщившую о его согласии. Вскоре митрополит направил Геннадию грамоту. Она сильно разочаровала архиепископа. Не было в ней, как он ожидал, безоговорочного осуждения еретиков. Более того, митрополит требовал от него «исповедания», словно бы

сомневаясь в истинности его веры православной. Имелись намеки и на возможные его связи с Литвой — до присоединения Новгорода к Москве в конце 1470-х годов такое у местных вельмож случалось, а в глазах великого князя это было изменой. Геннадия такой тон и намеки преемника Геронтия оскорбили: «А что ми, господине, велишь писати исповедание, ино, господине, исповедание есми положил отцу своему Геронтию митрополиту (умершему в мае 1489 года.— *В. Б.*) да и всему божественному собору... Ниже к Литвы посылаю грамоты (Ни к Литве не посылаю грамот.— *В. Б.*), ни из Литвы ко мне посылают грамот, ни паки литовские ставленики служат в моей архиепископьи».

17 октября 1490 года Зосима вынужден созвать новый церковный собор. Прибыли архиепископ ростовский Тихон, епископы — Нифонт суздальский, Прохор сарский, Вассиан тверской, Филофей пермский, Симеон рязанский. Геннадию опять не разрешил явиться великий князь — до того был рассержен на него за нападки на близких ему еретиков и, осторожно, правда, намеками, дал ему понять, что и на него самого. Новгородец же, добиваясь приглашения (ведь он — главный обвинитель еретиков!), писал о том к епископам: «Да чтобы есте отцю нашему митрополиту поговорили да с ним и великому князю, чтобы по мене однолично прислал».

Переходил даже к угрозам, предупреждал: «А толко князь великий хотя не хочет по мене прислати, а вы без мене не имете дела делать никакова».

Геннадий писал и к митрополиту, и к другим участникам собора, убеждал их в своей правоте, в необходимости строго наказать еретиков. Большинство епископов, как он хорошо знал, придерживаются его позиции. И он не ошибся, даже в тех, мысли которых ему были не до конца ведомы (например, Вассиан тверской, Тихон ростовский, Симеон рязанский). Это стало ясно еще до собора.

Епископы решили отслужить молебен за упокой души великих князей и великих княгинь. Избрали для этого Ар-

хангельский собор, в котором служил «еретический поп» Денис, привезенный лет десять тому назад из Новгорода самим великим князем. Вольнодумец-священник ждал в священническом облачении. Но епископы заявили ему принародно: «Изыди, человече, изо олтаря, недостоин еси соборне служити с святыми епископы! Пришли на вас (Дениса и других еретиков.— *В. Б.*) речи недобры еще при Геронтии, митрополите всея Руси, а и не на одного тебе. Да и списки дел ваших и грамоты от Генадиа, архиепископа новогородского, пришли на вас».

Епископы, сказав такие слова и изгнав из собора Дениса, открыто показали, на чьей они стороне. Это поняли, конечно, и еретики, и митрополит Зосима, и Иван III. Геннадий, с которым солидаризировались епископы, мог торжествовать еще до собора. Ему тут же сообщили о происшедшем, по их же, несомненно, инициативе — все они держали единый фронт.

Правда, Денис, изгоняемый из храма, пытался оправдываться, «да на Генадиа... туто же речи хулныа глаголаше». Но епископы не слушали его выпады против их собрата и единомышленника. А на следующее утро они же и другие приглашенные церковники собрались во дворе митрополита. Им читали материалы по делу о еретиках.

Еще через день, 17 октября, состоялось официальное открытие собора. Великий князь не пришел, «в свое место прислал бояр своих» — И. Ю. Патрикеева, Ю. З. Кошкина, Б. В. Кутузова, дьяка А. Майка. Тем не менее он дал согласие на разбор вины еретиков — споры духовных пастырей, напряженность в их отношениях ему, очевидно, наскучили. К тому же проповеди и действия еретиков обостряли обстановку вокруг Новгорода и Литвы, куда некоторые из них бежали от преследований. А назревала война с Великим княжеством Литовским из-за древних русских земель по юго-западному пограничью. Еще в марте скончался старший сын великого князя Иван Иванович, и в наследники сначала прочили не его сына Дмитрия от Елены Волошан-

ки, т. е. внука Ивана III, а младшего сына Ивана III — Василия, который вместе с матерью Софьей Палеолог занимал резко антиеретические позиции.

На соборе сначала прочитали обвинительное заключение, присланное Геннадием новгородским. Допросили девять еретиков — Захара, Дениса, протопопа Гавриила, попов Максима, Василия, дьякона Макара, дьяков Гридю, Васюка (зять Дениса), Самуху. Затем заслушали свидетелей, причем только московских; новгородских не пригласили.

Все материалы получил Иван III. Он должен был сказать свое слово и решить дело. Великий князь пришел на собор «с многыми своими боляры и дьякы». По его указанию снова читали списки и грамоты от Геннадия, записи допросов обвиняемых и свидетелей, а также соборное постановление, составленное накануне.

Основательно ознакомившись со всеми материалами, «велел князь великий своему отцю Зосиме митрополиту възрети в святыя правила о их ересех, что о них пишет». Это и было сделано. Затем состоялся приговор. Еретиков отлучили от церкви за хулу на Иисуса Христа и богоматерь, на святые иконы.

Иван III утвердил этот приговор, но самих еретиков, вместо их «градского» наказания, приказал передать Геннадию. А их московских единомышленников (Ф. Курицын и другие, из окружения Елены Волошанки) вообще вывел из-под удара.

Геннадий в связи с этим выразил свое недовольство. Писал митрополиту Зосиме и приводил в пример испанскую инквизицию. Прислал в столицу речи Г. фон Турна, имперского посла,— о «шпанском короле, как он свою очистил землю» от еретиков с помощью инквизиторов. Правда, архиепископ, несмотря на противодействие великого князя, добился осуждения ереси, еретиков и присылки их к нему, но только еретиков новгородских. Ему не удалось доказать необходимость наказания московских воль-

нодумцев, тех, «кто по них поруку держал или кто у них печальник, и кто ни будет последовал их прелести» — эта обширная карательная программа не осуществилась. Если бы великий князь согласился, то она охватила бы широкий круг людей, не только собственно еретиков, но и их поручителей, сочувствующих, помогавших им, всех их последователей. Не прошли и другие предложения и требования неистового Геннадия — отлучить тех иерархов, которые совершали службы вместе с еретиками; посмертно проклясть еретиков Алексея, Ивана Черного, Истому; рассмотреть обвинения против Курицына, Сверчка, Алексея Костева, Мартына-угрянина; главное же — предать смертной казни осужденных собором еретиков.

Из девяти еретиков, преданных церковному проклятию (а это — высшая мера церковного наказания), двух направили в заточение: Захара в Суздаль, Дениса в Галич. Остальные прибыли в Новгород. В 40 верстах от города их, по распоряжению Геннадия, посадили задом наперед на лошадей, надели на головы «шлемы берестены остры, яко бесовъскыя, а еловцы (верхушки шлемов.— *В. Б.*) мачальны, а венцы соломены, с сеном смешаны, а мишени писаны на шлемах чернилом: «Се есть сатанино въинство».

Архиепископ велел водить несчастных еретиков в таком виде по городу, встречным плевать в них и говорить: «Се врази божии и христианьстии хулницы!»

После этой унизительной, в полном смысле слова инквизиционной процедуры сожгли берестяные шлемы. Весь спектакль должен был, по убеждению описавшего его Иосифа Волоцкого, «устрашити нечестивыя и безбожныа еретики, и не токмо сим, но и прочим ужаса и страха исполнен позор, поне [же], на сих зряще, уцеломудрятся».

Финал расправы описан в летописях: архиепископ «овех велел жечи на Духовском поли, а инех торговой казни предати, а овех в заточение посла, а инии в Литву

збежали, а инии в немци». Денис и Захар умерли в заточении.

Компромиссный, относительно мягкий приговор собора — следствие позиции Ивана III и его помощников. Интересно, что он, осудив иконоборчество еретиков, их неверие в крест, посты, чудотворцев, святость отцов церкви, хулу на вселенские соборы, на самих Христа с Богородицей (непризнание Христа сыном божиим, его воскресения, вознесения), празднование субботы, а не воскресенья, не упомянул об их антитринитаризме. Но умеренность приговора в значительной степени — и заслуга самих еретиков. Вольнодумцы, как и во время следствия в Новгороде (1488 г.), смело вели себя на соборе в Москве: не признали себя виновными, повторяли обвинения в адрес Геннадия, который подвергал их пыткам, грабил «животы».

Все же собор 1490 года нанес сильный удар по вольнодумцам, реформационному движению. Геннадию и другим иерархам удалось разгромить его новгородский центр. Иван III, с большим предубеждением относившийся к Новгороду, быстро каравший всякую крамолу, исходившую из него, действительную и мнимую, недаром согласился выдать Геннадию местных еретиков. Помимо прочего, его расчет, можно думать, заключался и в том, чтобы решительные меры против них были приняты не в Москве, а в Новгороде, самим Геннадием — пусть он и его приспешники берут на себя всю тяжесть народного недовольства и осуждения.

Расправы 1490 года, не такие уж обширные, не остановили еретического движения. Через два года его приверженцы ликовали — пошел 7000-й год (по византийскому летосчислению — от сотворения мира), и, вопреки предсказаниям ортодоксальной церкви, конец мира не наступил. А вожди еретиков говорили в свое время, и не раз, что ничего подобного не будет. Как не состоится и второе пришествие Христа, которого они считали не богом, а сыном

человеческим, подобного людям. Отрицая конец мира, они тем самым отрицали и его начало, т. е. выдвигали идеи вечности всего сущего.

Рационалистические, гуманистические идеи русских реформаторов подрывали устои официальной церкви, и недаром она на них ополчалась с такой непримиримостью. Правда, в конце XV столетия борьбу с ними ей не удалось довести до конца. Предстояли новые сражения.

...Быстро прошло десятилетие после 7000-го года. Оно было заполнено важными для России событиями — войнами с Великим княжеством Литовским за возвращение пограничных русских княжеств на юго-западе, принятием общерусского Судебника 1497 года, борьбой придворных и церковных группировок. В начале XVI столетия определилась победа тех, кто группировался вокруг Василия, сына Ивана III и Софьи Палеолог, его второй жены. 11 апреля 1502 года великий князь подверг опале внука Дмитрия и его мать Елену Волошанку, жену Ивана Ивановича, своего старшего сына от первой, умершей жены, бывшей тверской княжны. Через несколько дней Василия Ивановича отец «благословил и посадил на великое княжение Володимерьское и Московское и учинил его всеа Руси самодержцем». Сын стал соправителем Ивана III, умершего спустя три года.

Длительные и тяжелые войны остро поставили вопрос об обеспечении землей служилых людей — дворян, основной военной силы государства. Земельные раздачи после присоединения новгородских и тверских владений решили проблему ненадолго. Иван III давно вынашивал замысел секуляризации (ликвидации) монастырского землевладения и нашел в этом поддержку у членов кружка московских вольнодумцев при внуке Дмитрии, нестяжателей во главе с Нилом Сорским.

Церковный собор, состоявшийся в конце лета — начале осени 1503 года, хотя и принял некоторые решения, упо-

Новгородский Юрьев монастырь

рядочившие церковное благочиние (запрет священствовать вдовым попам; инокам и инокиням проживать в совместных монастырях, «святителям» брать мзду за поставление в сан священников), но лишить церковь и монастыри земельных владений отказался. Ивану III не удалось осуществить свою программу секуляризации.

За этой неудачей последовали репрессии против вольнодумцев во главе с братьями Курицыными. Новгородский еретик дьяк Самсон во время пыток, еще после собора 1488 года, сознался: «Курицын началник всем тем злодеем».

Выдающиеся государственные деятели, дипломаты, оба брата Курицыны были весьма образованными людьми. Ездили с посольскими поручениями в зарубежные страны, вели переговоры с иностранными представителями в Москве. Федор Васильевич написал два сочинения — Повесть о Дракуле и Лаодикийское послание; Иван Волк Васильевич переписал Кормчую — свод византийских и русских законов, правил. Близок к ним Иван Черный, переписавший обширный Еллинский летописец, Лествицу Иоанна Лествичника. Для них и их сторонников характерны вольнодумные взгляды о самовластии души (свободе воли), праве человека на свободу, протест против продажности духовенства, поклонения кумирам. Они разоблачали лжепророков — современных им священников.

Уже весной 1503 года Иван III в разговоре с Иосифом Волоцким обещал провести новое преследование еретиков-вольнодумцев. Волоцкий игумен впоследствии поведал об этом: «Великий князь говорил со мною наедине о церковных делех. Да после того почял говорити о новгородцких еретикех... Да и сказал ми,— которую дръжал Алексей протопоп ересь и которую ересь дръжал Федор Курицын»: «Однолично пошлю по всем городом да велю обыскивати еретиков да искоренити».

Собор 1504 года с участием Ивана III, его наследника Василия III, митрополита Симона и других иерархов вынес решение суровое и жестокое: «И обыскаша еретиков, повелеша их, лихих, смертною казнию казнити. И сожгоша в клетке диака Волка Курицына да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова декабря 27. А Некрасу Рукавова повелеша язык урезати, и в Новегороде в Великом сожгоша его. И тое же зимы архимандрита Касияна урьевскаго (новгородского Юрьева монастыря.— *В. Б.*) сожгоша и его брата, иных многих еретиков сожгоша. А иных в заточение разослаша, а иных по манастырем».

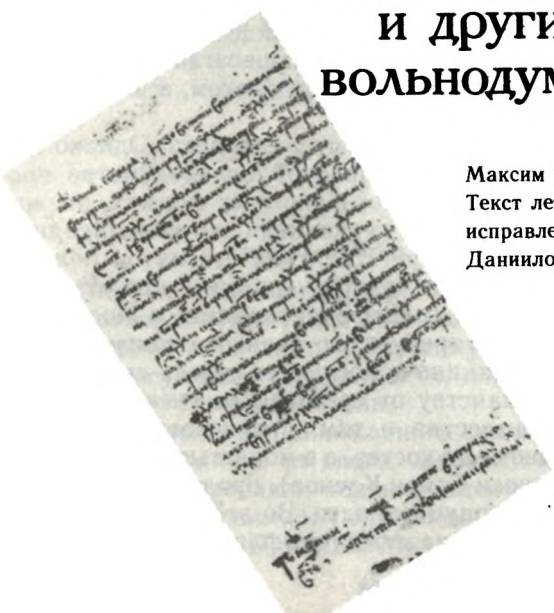
Власти, светские и духовные, разгромили кружки вольнодумцев, включавших представителей священства и кня-

жеского двора. Ведь взгляды, которым одно время сочувствовали Иван III и митрополит Зосима, в конце концов способствовали ослаблению позиций господствующей церкви. А с этим не могли, в условиях народного недовольства, социального протеста, мириться и светские властители. Еретиков истребили на кострах. Но их идеи возродились в 20—30-е годы того же столетия.

ГРБНЬ МАКА
МЪ ГРЕКЪ

Глава 3

Феодосий Косой и другие вольнодумцы

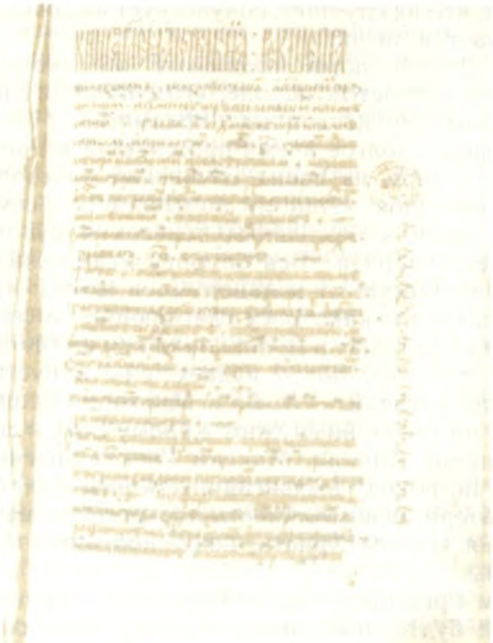


Максим Грек.
Текст летописи,
исправленный митрополитом
Даниилом

После костров, на которых в начале столетия погибли самые яркие и активные еретики, официальная церковь торжествовала победу. Ортодоксы, недавно выступавшие в роли оппозиционеров светской власти, теперь, в лице виднейшего своего идеолога Иосифа Волоцкого, провозглашали: «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, а властию же подобен есть вышняму Богу».

Ересь как будто перестала существовать. Однако при отсутствии ее открытых проявлений вольнодумство продолжало существовать тайно, в скрытых формах, прежде всего в народной среде. И церковники это улавливали: в предисловии к Хронографу 1512 года его автор полемизирует с теми, «неправе мудрствующими», кто отрицает троичность бога, т. е. с антитринитариями; а Иосиф Волоцкий в 1511 году требует от великого князя нового сыска над еретиками, иначе последует гибель «всему православному христианству от еретических учений».

Сохранились известия о том, что некоторые видные еретики, попавшие не на костер, а в монастырское заключение (например, купец Семен Кленов), продолжали распространять свои вольнодумные идеи. Во втором десятилетии XVI века велась полемика между осифлянами и нестяжате-



Кормчая Вассиана Патрикеева

лями: первые требовали разоблачения и наказания, вплоть до смертного, оставшихся еретиков, вторые подходили к этому иначе. «Мы же противу сему речем, яко подобает еретиков осуждати и проклинати, и заточати по святому писанию»,— утверждали они.

Нестяжатели, не принимавшие, как и осифляне, учения еретиков, в отличие от своих оппонентов говорили о недопустимости предания вольнодумцев смерти. О том, что вопрос о них не снимался с повестки дня, говорят обличения митрополитов Даниила, Макария и др. по адресу ере-

тиков и тех, кто их слушает, сочувствует им, пьет и ест с ними, заступается за них.

Летописи той поры сообщают об иконоборческих настроениях в простом народе, его сомнениях в святости мощей, прочих «рукотворных» предметов. Максим Грек, монах с Афона, долгое время проживший в России, полемизирует в одном из своих сочинений со сторонниками подобных взглядов: «Аще ли помышляете, несмысленнии разумом,— како в бездушных телесех и рукотворенных вещех чудеса творити? Вся бо Богу възможна».

Он же защищает от вольнодумцев иконы: «Пакы еще еретицы глаголют: како Богу глаголющу: не сотвори себе Бог сребрян и Бог злат и не поклонишися им? К сему же мы отвещаем: глаголет Бог о иудеех, иже в пустыне телец злат слияша (отлили.— *В. Б.*)... Мы же не идолы творим, ни тельцы, ни юнцы, но служим живому Богу и святым его.

Митрополит Даниил, Максим Грек и другие спорят с еретиками по поводу выдвигавшихся ими идей о несвятости богоматери, невозможности воскресения мертвых, вочеловечения Иисуса Христа, ненужности его искупительной жертвы.

Максим Грек пишет сочинения против еретиков. Одно из них как будто приурочено к церковному собору 1520 года, осудившему ересь некоего Исаака, который выступал против монастырского землевладения, стяжания. Его доводы объективно смыкаются с тем, что говорили по этому вопросу вольнодумцы-еретики.

С таких же позиций выступает Вассиан Патрикеев, виднейший публицист, родом из Гедиминовичей: монахи должны трудиться сами, не владеть селами и крестьянами, считает он, еретиков следует заточать в темницы, отлучать от церкви, но не казнить. Он упрекает осифлян: «Разум есть ваш осудити неповиннаго».

С гуманистических позиций выступал в первой трети XVI столетия Федор Иванович Карпов, один из видных дипломатов при дворе великого князя Василия III. Образо-

ванный для своего времени человек, он интересовался астрономией и медициной, много размышлял о природе и человеке, происхождении Земли и смысле жизни. Мучило его собственное несовершенство — в послании к Максиму Греку он пишет о своих сомнениях и мучениях: «Изнемогаю умом, в глубину впад сомнения».

Человеческое общежитие должно строиться, по его разумению, на «правде» и «законе» — он выдвигает идеал своего рода правового государства; иначе «сильный будет угнетать слабого»: «В нынешние времена мнози начальники на своих подвластных и сирых не призирают».

Под начальниками он разумеет богатых и сильных бояр, княжат. Сам Карпов выражает взгляды, интересы дворянства. По его мнению, правитель-самодержец должен управлять «грозою правды и закона» и милосердием, ибо правда без милости — мучительство, а милость без правды — малодушие.

В кружок гуманистов, помимо Карпова, Максима Грека, входили и другие образованные люди, государственные деятели — Николай Булев (Любчанин — из Любека), Дмитрий Герасимов, Мисюрь Мунехин, Еремей Трусов, Яков Шишкин и другие. Это была та среда, которая сохранила идеи вольнодумцев конца XV — начала XVI века, передала их следующему поколению передовых людей, мыслителей.

* * *

Середина XVI века — пора нового и, пожалуй, последнего подъема русского реформационного движения. Его представители унаследовали идеи вольнодумцев-реформаторов XIV — первой половины XVI столетия, развили их дальше, вплоть до выдвижения радикальных требований.

Старец Артемий, служивший в Псково-Печерском монастыре и Порфирьеве пустыни, продолжил традиции Нила Сорского, своего учителя, Вассиана Патрикеева и других нестяжателей. Среди его учеников на Белоозере

были Феодосий Косой, Игнатий, Вассиан. В его кружок входили и другие — Порфирий, Иоасаф Белобаев и т. д. Имя Артемия, его идеи стали известны влиятельному протопопу Сильвестру, духовнику царя Ивана IV, а также самому царю. Старец убеждает царя, чтобы тот начал «села отнимати у монастырей».

Артемия вызывали в Москву, назначали игуменом Троице-Сергиева монастыря «по братцкому прошению и по государеву велению». Молодой царь «зело любяще и многаше беседоваше» с Артемием. Но старца с его нестяжательскими устремлениями не приняли монахи той обители, куда он прибыл игуменом. Через полгода ему пришлось удалиться на Белоозеро. Но начались новые неприятности — доносы церковников на него и его ученика Порфирия. Их обвиняли в вольнодумных, еретических идеях — несогласии с сочинениями Иосифа Волоцкого, в частности по вопросу о троице, «потаковке» еретикам, «латынам», «Лютеровой ереси». К тому же другой вольнодумец — Матвей Башкин — на церковном соборе конца 1553 года сказал об Артемии как о своем единомышленнике. Старца в конце января следующего года отлучили от церкви и сослали в Соловецкий монастырь.

Царь, митрополит и другие иерархи, свидетели не сумели доказать «еретичество» Артемия, несмотря на то, что в его взглядах, помимо проповеди нестяжания и аскетизма, заметны такие моменты, как равнодушие к посту и другим обрядам, почитанию мощей святых.

Артемий говорит, что человек должен быть разумным, всю жизнь учиться, понимать, что не все «писания» истинны. Если люди не понимают «разум божественных писаний», то возникает ересь — ложные писания воспринимают за истинные. «Писаниа много, но не вся божественна суть» — таков его рационалистический, критический подход к святоотеческим сочинениям, преданиям. Он же в духе идей Федора Карпова призывал властителя к «правде и кротости». Эти его мысли развивали позднее,

но с других позиций, Иван Пересветов (за «правду», против царской «кротости») и Андрей Курбский (царская власть должна быть «милостивой»).

Матвей Семенович Башкин, оговоривший на соборе Артемия, происходил из небогатых дворян — мелкопоместных детей боярских Переяславского уезда. Зачисленный в 1550 году в «избранную тысячу», он мог в дальнейшем сделать блестящую карьеру на военном или гражданском поприще. Но его увлекало другое: собрав вокруг себя группу единомышленников, он проповедует евангельские заповеди любви к ближнему, бессребреничества. Поставив вопрос об отмене холопства, кабальной зависимости, перешел к делу — «изодрал» кабальные документы на зависимых от него людей.

Башкин продолжал традиции вольнодумцев прежних времен — отрицает как идолов иконы с изображениями Иисуса Христа, богоматери и святых. Христа он считает простым человеком, не признает троичность божества. Сочиняет молитву «к единому началу, Бога отца единого написал, а сына и святого духа отставил». Церковь, в его представлении,— не здание, строение, а «собрание верных».

Не признает Башкин и церковного покаяния, вместо него — лучше верующему отказаться от дурных дел. То же самое — и в отношении постановлений вселенских соборов: они, по его суждению, свидетельствуют о политических притязаниях церкви.

По доносу духовника Башкина арестовали. Обвинили в «лютерских ересех» и допрашивали с применением пыток. Предали анафеме — церковному проклятию, сослали в Иосифо-Волоколамский монастырь. Ему вменили следующие преступления: Башкин и другие еретики «хулили» Иисуса Христа, которого «неравна его Отцу поведуют»; причастие считают простым хлебом и вином; отрицают необходимость церкви («верных собор есть токмо церкви»), иконопочитания (иконы «идолы окоянии наричют»), покая-

ния («как престанет грех творити, аще у священника и не покается, то несть ему греха»), священного писания и святоотеческой литературы («вся Божественая писание баснословие наричют»); извращенно толкуют Евангелие и Апостол.

В кружок Башкина входили братья Борисовы-Бороздины из тверских дворян и другие единомышленники. Все они, как и глава кружка, пострадали после решений церковного собора. Известно, например, что Ивана Тимофеевича Борисова-Бороздина сослали в Валаамов монастырь, откуда он бежал в Швецию.

* * *

Наибольшим радикализмом отличалось «новое» или «рабье» учение Феодосия Косого, ученика Артемия. Он выступил против господствующей церкви и социального неравенства. Происходивший из холопов, т. е. самых обездоленных низов общества, Феодосий бежал из Москвы, от своего владельца, на Белоозеро. Зиновий Отенский, яростный ортодокс и противник еретиков, ученик Максима Грека, написал два сочинения против Косого — «Истины показание к вопросившим о новом учении» и «Послание многословное». Во втором из них он сообщает, что Феодосий бежал вместе с другими «рабами». Еще будучи в Москве, он смущал своих товарищей по неволе.

Феодосий и его товарищи, ставшие учениками «мудра учителя», постриглись в разных монастырях, «убояша же ся,— добавляет в связи с этим Зиновий Отенский,— мук от господий своих»: владельцы могли сыскать и наказать их, пострижение помогло избежать этого. Новообращенные попали к Артемию в Порфирьеву пустынь.

Позднее Феодосий Косой, Игнатий, Вассиан и прочие их сподвижники перешли в Кириллов Новоозерский монастырь, к югу от Белоозера. Отсюда они и начали проповедовать «новое учение». Влияние Косого, его взглядов

возрастает. Интересно, что и его бывший владелец сочувствовал ему.

В начале 50-х годов о «ереси» Феодосия Косого заговорили в придворных верхах. Она получила распространение в простом народе, который испытывал в те годы тяжелые лишения. В конце 40-х годов страну постиг сильнейших голод. Возросли налоги и повинности феодалам. Досаждали «неправедные суды». Зиновий пишет о нищете, частых гладах, жестокосердии «имущих», которые «принуди же на подвластных истязовати множайшая дани паче первых» (т. е. больше прежних даней — налогов, поборов — налагали на своих подданных). Летом 1552 года случился небывалый мор — в одной Новгородской земле умерло от 100 до 280 тысяч человек!

Учение Феодосия Косого отражало недовольство социальных низов, городской и сельской бедноты тяготами жизни. Недаром Зиновий Отенский именовал его «рабьим учением». Косой, по его представлению, хотел «нищете своей изобрести поможение», и потому якобы многие верят ему, как своему собрату. «Люди простыа нравом» прельщались проповедями еретиков, т. к. они прямо и резко обличали церковь с ее догмами.

Феодосий Косой и его сторонники отрицали троичность бога: «Един есть бог... и един бог сотвори небо и землю», «несть писано в законе троицы, разве единого бога». В Иисусе Христе они видели простого человека, а не бога, воплотившегося в нем. В своих проповедях Феодосий Косой, учивший словом и не писавший на бумаге, строит цепь рассуждений с позиций здравого смысла:

Бог создал все сущее словом, потому и человека он мог обновить словом же, а не воплощением в сына божия.

Зачем бог захотел воплотиться в человека?

Разве может бог родиться от земной женщины, как обычный смертный?

Чтобы помочь человеку, бог мог послать другого человека.

Говорят об обновлении человечества, а люди и до, и после Иисуса Христа одинаково рождаются, живут и умирают.

Зиновий Отенский, негодуя по поводу этих рассуждений Косого, говорит о его «самобытной ереси» — вольнодумцы считают, что небо, земля, все живое не создано богом, а «самобытны», т. е. извечны, или появились из природы — воздуха, воды: «Самобытно было или от воздуха рожено животное родоначальных искони». «От воздуха родоначальником быти, поне же от воздушных туч некогда и жита нарождишася, некогда же и пепел, иногда же и крохи серебряныя одождишася, яко же есть от летописных книг слышати; но и ныне некогда на безводней земли после многаго дождя рыбы мертвы обретошася».

Исходя из здравого смысла — наблюдений над природными явлениями, чтения «летописных книг», в которых они же описываются,— Косой высказывает материалистические догадки: об изначальности мира, постоянной смене форм жизни.

В своих толкованиях священных текстов Феодосий обращался к Ветхому завету — Пятикнижию Моисееву. Использовал также Евангелие и Апостол; из святоотеческой литературы — лишь некоторые труды Василия Великого, Ионна Златоуста и Григория Богослова, основную же ее массу отвергал, как человеческое предание: «Книгы святых отец и правила церковная ложным писанием именують».

Истинная вера, по Косому, основана на Евангелии; в нем и Апостоле отсутствуют церковные «правила» — «человеческие предания», составленные епископами. Ссылался он и на то, что седьмой вселенский собор якобы проклял составление новых книг. Посему и сам он излагал свое учение устно, «несть писал ни единоя книги». Все церковные обряды, таинства (крещение, причащение), посты, приношения в церковь и прочее он отрицал, как те же человеческие предания. То же — с самой церковью

и ее службами, иконами и молитвами. Ведь при апостолах не было никакой церкви. Лишь позднее появились «кумирницы... и златокумирницы», иконы; создатели храмов и икон — человекослужители, идолослужители. Иконы — не сам бог, и поклоняться им не следует.

Поклонение кресту — тоже идолопоклонство; бог ведь ненавидит крест, на котором убит его сын; поклонение дереву, из которого сделан крест, не есть вера в бога, а противоречит ей.

Соблюдение поста, по Феодосию,— проявление внешнего благочестия; важнее — быть милосердным.

Косой столь же решительно не признавал бессмертия и загробной жизни, «чудес» святых и их мощей; поклонение им — идолослужение, обожествление мертвых. Те, кто это делает, «отводят люди от Бога к мертвецем»; «живии,— ссылается он на пророка,— от мертвых помощи взыскують». После апостолов,— уверен Феодосий,— никто уже не мог делать чудеса и пророчествовать.

Смелый вольнодумец и обличитель, Косой лишал церковь и ее служителей святого ореола, возможности воздействовать на верующих. Иерархов и простых священников считал ложными учителями — учат по человеческому преданию, а не по священному писанию; они — стяжатели, ведущие праздную жизнь: «Епископи и попы — ложнии учители, идольстии жерцы и маньяки. Посему ложнии учители епископи и попы, поне же учат — книг в руку не держать... Живут попы и епископи не по Еуангелию, ложнии учителье, имениа збирают и ядят, и пиють много».

Ссылаясь на Писание, Косой называет священников фарисеями, лицемерами. Они «повелевают себе послушати и земских (светских.— *В. Б.*) властей боятися, и дани даяти им». Духовные и светские властители, тем самым, одинаково берут дани с народа. Епископы мучат и преследуют «нас» (т. е. тех, кто исповедует новое, истинное учение), отвергают евангельскую заповедь любви к

ближнему; «именующе еретики, нас мучат... гонят нас за истину». Поэтому не следует повиноваться епископам — гонителям истины: «Поне же мы истину знаем паче всех, и того ради нас гонят».

По сути дела Феодосий Косой отрицает церковную иерархию, монашество, церковно-монастырское землевладение. Монашество — это тоже человеческое предание. Евангелие и Апостол его не упоминают. Вслед за Максимом Греком, Вассианом Патрикеевым, ссылаясь на их доводы, он, по словам Зиновия Отенского, «учаху же... преже хулити монастыри, оклеветающе их, яко села имяху». Более того, монастыри-землевладельцы нарушают заповедь господню: «Монастыри заповеди преступающе нестяжания, имеют села».

Вольнодумец называет имена иерархов-стяжателей: игуменов белоозерского Кирилла, боровского Пафнутия, троицкого Никона. Антиеретические же сочинения Иосифа Волоцкого — Просветитель и устав монастырского жития — считает «законопреступными», поскольку написаны они после седьмого вселенского собора, запретившего якобы «писати книг».

Итоговая мысль вольнодумца в его критике духовных и земских властителей носит весьма радикальный характер: «Не подобаеть же в христианох властем быть». Он призывает не повиноваться властям, не вносить подати («дани»); «не подобает же повиноватися властем и попом».

Как немецкие повстанцы во время Крестьянской войны 1525 г. оправдывали свои действия ссылками на освобождение Моисея и евреев от ига фараонов, так и Косой прибегал к аналогичным доводам: «Зело свободу улучи Косой,— повествует Зиновий о его бегстве от владельца,— мужеством и разумом своим...; а яже притяжа имения у господина,— мзда есть работы его, поне же и израильтяне, бежаще Египта, взяша египитское богатство разумом за мзду работы своея».

Тот же автор, который не может не отметить «мужество и разум» Феодосия Косого, воздает должное, сам того, конечно, не желая, критикуя их, всем его последователям: «Ныне же видим вас не нищих духом, но... възносящася на вся власти и владычества, учиненыя Богом. Не любите Богом поставленыя царьскиа и святительскиа чиноначальникы, ни хощете владоми быти от господей, ни наставлятися от духовных пастырей и учителей, лукаве глаголюще и безбожне, яко несть требы быти начальством в христианстве».

Непризнание всех властей, господ имело у Косого все то же основание — они идут от «человеческого предания», а не от заповедей Христовых и апостолов. Потому «не подобает покланятися не токмо умершим (мощам святых и др.— *В. Б.*), но ниже живым». Подобная позиция вольнодумцев делала их, в глазах ортодоксов — Зиновия Отенского и иных, не только церковными, но и земскими, государственными преступниками: «Вы же не точию еретикы, но и законопреступницы...; тем же по градскому и царьскому суду с разбойники и с изменникы... равно гонимы быти должни есте».

«Не подобаеть... воевати» — еще одна смелая мысль Феодосия Косого, тоже отражавшая интересы простого народа, страдавшего от войн, усобиц бояр и князей, военных поборов и мобилизаций, разорений и гибели горожан и крестьян.

Свои рационалистические, гуманистические воззрения Косой и его единомышленники основывают на идеалах первоначального христианства — любви к ближнему, милосердии. Все люди равны перед богом: «Иже суть в всех языкох, яко вси людие едино суть у Бога,— и татарове, и немцы, и прочии языцы... Вси веры в всех землях одинакы».

Таким образом, все народы и веры равны. Исключительность православной веры, проповедуемую официальной церковью, Косой и другие еретики не признавали.

Столь же решительно выступают они за имущественное равенство, за общность имущества. Такие порядки они вводили в своих общинах.

Себя они считали представителями «духовного разума», восходящего, в противовес «человеческому преданию», к «божественной правде», т. е. истинной правде, идеалу первоначальных христиан. Это — истинное человеческое в человеке, приближающее его к богу. То же, что идет от человеческого предания, дали мертвые традиции, ложные авторитеты. Верующий, человек с «духовным разумом»,— не раб, а сын божий, как Христос. «Мы — сынове божии» — так говорил Феодосий Косой; все — равны, независимы, не покоряются властям, господам, традициям, даже власти родителей. Во всем этом Косой и его сподвижники сходны с Мартином Лютером и лютеранами. Зиновий Отенский в Слове о Никите недаром сближает двух реформаторов — пишет о «ереси лукавого Феодосия Косого с единомысленники его, обновляющих немецкое злословие Мартиновы ереси». А по словам А. Курбского, Артемия, учителя Косого, обвиняли в лютеранстве.

Свои мысли и дела сторонники Феодосия обсуждали не в церквах, а в «худых домах», «домах жительственных». Так ведь и делали апостолы: «Писано,— говорил Косой,— апостолом на горницу въсходили, а не в церковь, не беаху бо церкви при апостолех».

В их молитвенных домах не было никаких украшений, икон и других предметов для «болванного поклонения». Не молились, ибо «молитва оное единое, еже от неправды отступити»; «Бог сердца чиста токмо истязуеть, а не молитвы». За братской трапезой, по примеру Иисуса Христа и его учеников, преломляли хлеб, дружески беседовали — осуждали церковные и светские власти, охраняемые ими порядки, которые они не принимали.

Собрания вольнодумцев-феодосиан носили тайный характер — ввиду преследований и казней со стороны властей, хотя и это их не смущало: «Яко же жидове и мучитилие

древле апостолов гоняху, тако и нас ныне гонять заблужшии, поне же мы истину знаем паче всех; и того ради нас гонять».

Проповеди феодосиан находили сочувствие и отклик среди простых людей, к которым они и были обращены,— верующие стекались к «распутиам и худым домам», дабы «тамо взысковати по еретикох и расколниках». Так говорит Зиновий Отенский об этих «сонмищах учительства кривовернаго», зло обыгрывая прозвище Феодосия, учителя многих людей, собиравшихся на проповеди его самого и других феодосиан, которые они произносили не только в домах бедняков, но и по дорогам.

Сторонники Феодосия несли его слово, «рабье учение», по градам и весям Руси — в Москву и Новгород Великий, Старую Руссу и другие города, местечки и селения, прежде всего северо-западной России.

Распространение реформационных, освободительных идей происходило в обстановке обострения народных лишений, социального протеста (Московское восстание 1547 года, восстания во Пскове и других городах, побеги крестьян и холопов). Это не могло не напугать московские власти. Последовали аресты вольнодумцев, сначала Башкина со сторонниками, суд над ними и высылка. Затем схватили (1554 год) Феодосия Косого и его последователей. Но он и несколько феодосиан сумели бежать из-под стражи; сам Феодосий «приласкав же ся хранящим, прием послабление от них и бежав». Они оказались в Литве, и здесь Косой по-прежнему, и небезуспешно, продолжает проповедовать свои взгляды, прежде всего среди белорусского населения. Он жил здесь довольно долго, сбросил с себя монашескую одежду, женился на литовской еврейке. Последний факт знаменателен: Косого и его сторонников их современники обвиняли в приверженности «ереси жидовствующих» — взглядов новгородских и московских вольнодумцев конца XV — начала XVI века. И те и другие испытали влияние некоторых заезжих представи-

телей реформационной мысли из числа евреев. К тому же ряд идей заимствовали из Ветхого завета.

Один из учеников Косого, Фома, успешно проповедовал в Полоцке. По сообщению Андрея Венгерского, польского хрониста XVII века, тот Фома «возвысился в сане и через некоторое время был направлен в Полоцк, где уже начало распространяться чистое учение, для наставления и укрепления там верных в истинном учении и благочестии. В этой должности он в продолжение ряда лет стойко и твердо сеял и утверждал распространяемое учение».

Его деятельность, как представителя реформационного движения, трагически оборвалась в 1563 году, почти десятилетие спустя после бегства вместе с Косым из Москвы,— после взятия в этом году Полоцка Иван Грозный повелел утопить проповедника Фому. Но местные жители «в скором времени пригласили из Литвы и Польши наставников слова божия и глашатаев чистой веры». В молитвенном доме, тогда же построенном, священники-реформаторы обращались с проповедями к прихожанам, проводили богослужения. Какой-то иностранец, противник реформаторов, заметил: «Когда уже однажды брошены были семена лжеучения, чорт принес московских чернецов, которые подлили того же яда».

Витебский дьякон Козьма Колодынский, из белорусских последователей Феодосия Косого, написал в середине XVI века политический памфлет — Письмо половца Ивана Смеры великому князю Владимиру. В нем, используя образы исторического прошлого (греки, братья-христиане, их преследование), он осуждает рабство, богатых, угнетающих своих «бедных братьев». Надеется, что «последнее поколение блистательно освободит себя от всего этого».

Воззрения Косого и феодосиан — высший этап гуманистической, реформационной мысли в России. Облеченная в религиозную форму, она, и в этом состоит глубокое

диалектическое противоречие, вела к определенной секуляризации общественного сознания. Новизна учения состоит в отрицании частной собственности, утверждении общности имущества, устроении царства божьего на земле.

Феодосиане учили, ссылаясь на апостолов: «При апостолех во Иерусалиме ученики их продаяху села, а не куповаху, еже нестяжание им имети назнаменует Лука... И ни един же что от имений своих глаголаша свое быти, но бяху им вся обща (Деяния апостолов, IV, 32)... Не бяше бо нищ ни един в них: елицы бо господне селом или домовом бяху, продающе, приношаху цены продаемых и полагаху при ногах апостол; даяшеся же коемуждо, его же аще требоваше (там же, IV, 34—35)».

Сторонников Косого, следовавших в этом апостольским заветам, Зиновий Отенский не одобряет: «Видите же еретиков онех,— на колику гордость взяшася, паче же безумие, яко безстудне дръзати апостолом уподоблятися и имениа учеников своих ногами (к своим ногам.— *В. Б.*) взимати».

Сами феодосиане призывали последователей к себе, в свои общины: «Аще кто нашь разум имееть, то брат духовный и чадо есть и к нам подобаеть приносити имениа».

Если приношение в церковь, по их представлениям,— грех, то приношение в общину «братьев духовных», «сынов божьих» — их общее достояние. «Несть требы быти начальством в христианстве» — исповедовали феодосиане, хотевшие равной доли каждому в общем имуществе. Это и было осуществлением «царства божиего» на практике, на земле, а не в загробном мире.

Феодосий Косой, выдвинувший такие радикальные идеи, отразил в своем «новом учении» извечные мечты угнетенных о «правде», равенстве, справедливости. А. И. Клибанов, сближающий «рабье учение» Феодосия Косого с учением Мюнцера, справедливо считает первое из них «идеологическим переворотом» в русской общественной мысли.

Святій Филиппъ
Митрополитъ

Глава 4

Митрополит Филипп и Иван Грозный

Митрополит Филипп. Опричник

Духовные и светские власти быстро и решительно расправились с вольнодумцами-еретиками. Это соответствовало их общим интересам: предотвратить взрыв социального недовольства народных низов, на этот раз под флагом религиозным. Кроме того, во второй половине 50-х годов приближалась война за Ливонию. С образованием в конце предыдущего столетия единого Российского государства одной из его важнейших внешнеполитических задач стало возвращение русских земель в Восточной Прибалтике, у Финского залива, получение выхода к Балтийскому морю и тем самым к торговым путям в Западную Европу. Между тем власти с возмущением узнавали о бегстве некоторых еретиков во владения Великого княжества Литовского, в Швецию и Ливонию. О связях русских еретиков с реформаторами из Центральной Европы еще при Иване III они тоже, конечно, были хорошо осведомлены.

Реформационное движение удалось разгромить, и власти как будто могли быть спокойны. Вскоре, в 1558 году началась Ливонская война. Действиям русских армий поначалу сопутствовал успех — удалось захватить часть Ливонии и других земель, в 1563 году взять древний русский город Полоцк. Но падение правительства А. Ф. Ада-

Житие митрополита Филиппа

шева («Избранная рада»), опалы и казни, бегство некоторых князей и бояр (А. М. Курбский и др.) от расправ за рубеж осложнили обстановку. Война затягивалась, на смену победам в 60-е годы пришли поражения. Царь Иван Грозный, с детства мстительный и жестокий, долго вынужден был прислушиваться к мнению видных государственных деятелей, оскорблявших его тираническую натуру, но затаил злобу на «обидчиков». При малейшей возможности он мстил им, и это создавало атмосферу неуверенности

и страха. Недовольных было много, и молодой царь, зная это, вместе со своими подручными повсюду вынюхивал крамолу, карал врагов, действительных и, еще больше, мнимых.

С введением в начале 1565 года опричнины репрессии усилились. Среди бояр снова распространяются недовольство царем, настроения в пользу князя Владимира Андреевича Старицкого. Иван Грозный через своих агентов-соглядатаев внимательно следил за всем, что говорили в Боярской думе. Накануне введения опричнины он вспоминал о «заговоре» бояр в пользу его двоюродного брата (1553 г.): «И оттоле бысть вражда велия·государю с князем Володимером Ондреевичем, а в боярех смута и мятеж, а царству почала быти во всем скудость».

В конце июня 1566 года Грозный созвал земский собор, который в начале следующего месяца вынес решение — не заключать мир с Литвой (в это время велись переговоры о прекращении войны из-за Ливонии и заключении мира), продолжать войну. Одновременно часть бояр и дворян потребовала от царя отменить опричнину, прекратить казни. В ответ последовали расправы — из двадцати бояр и окольничих, участвовавших в соборе, в последующие годы казнили девятерых, одного постригли в монахи. Погибли два царских казначея, печатник, более трети приказных дьяков и подьячих.

Недовольство испытывали не только многие бояре и князья, но и часть церковных иерархов. Еще во времена деда царя Ивана Грозного — великого князя Ивана III и его сына Василия III между светскими и духовными властителями не раз случались разногласия, а то и резкие столкновения. Претензии «священства» на моральное руководство мирской властью вызывали раздражение и отпор великих князей. Хотя светские властители в целом поддерживали, и это естественно, духовных феодалов (жаловали им земли и крестьян, судебные и податные льготы), но постоянно стремились ослабить их позиции в земельных и прочих делах.

Внук и сын обоих правителей воспринял от них подобный курс. Иван Грозный, с одной стороны, опирался на церковь в проводимой им политике централизации государства, в борьбе с реформационным движением и другими формами протеста низов; с другой — ограничивал рост церковно-монастырского землевладения, иммунитетные права духовных пастырей. С расширением репрессий, особенно после разделения страны на опричнину и земщину, царю пришлось столкнуться лицом к лицу с оппозиционерами не только из числа светских вельмож, но и церковных иерархов. Многих из них он подозревал в тайных симпатиях к старицкому удельному князю, в желании посадить его на царский трон. Измена мерещилась ему повсюду.

Царю доносили, что литовский король Сигизмунд II склоняет к бегству в Литву знатнейших русских бояр — И. П. Федорова-Челяднина, фактического главу земской Боярской думы; князей М. И. Воротынского, выдающегося полководца, И. Д. Бельского и И. Ф. Мстиславского. Дело было весной 1567 года. Незадолго до того, в феврале, король пожаловал князю-беглецу Курбскому из своих владений целый город Ковель со всеми доходами. То же обещал и другим перебежчикам. Убеждая их, боярам напоминали о «жестокосердии нерассудительном» царя Грозного, его гонениях «без правды» на вельмож, разделении страны на опричнину и земщину. Речь шла, собственно говоря, о мятеже против царя земских бояр и их сторонников. И. П. Федоров-Челяднин, в это время уже попавший у царя в опалу, сидел воеводой в Полоцке, недавно отвоеванном у Литвы. Сюда шли к нему тайные грамоты от короля и его гетмана Ходкевича. Однако лазутчика, прибывшего из Вильно, Федоров выдал Грозному. Быть эмигрантом он не захотел.

От имени князей Воротынского, Бельского и Мстиславского королю направили ругательные письма, в составлении которых весьма заметно участие Ивана Грозного.

Добавили кое-что и словами: с ними к королю поехал И. Козлов, присланный им с письмами русским боярам. Это происходило летом того же года. Царь, как видно, в это время не верил в измену Федорова и трех князей.

Тогда же у озера и крепости Суши, около Полоцка, литовский отряд разгромил русских воевод, посланных Федоровым. Козлова, не успевшего добраться до Литвы, схватили и посадили на кол. Начались военные приготовления — новые наборы в опричное войско. Грозный и другие руководители опричнины готовятся к возобновлению террора, в котором видели испытанное средство наведения порядка.

Царь испытывает явное беспокойство, неуверенность. Тем же летом поползли слухи, что он посетил Кирилло-Белозерский монастырь, вел какие-то разговоры со старцами о своем пострижении в монахи. Оппозиционеры воспрянули духом. Прикидывали, кто будет царем в случае отречения Ивана IV. Старомосковская знать, занимавшая сильные позиции в земской Боярской думе, снова думает о Владимире Старицком, человеке, впрочем, недалеком и неспособном. Многое зависело от И. П. Федорова-Челяднина, главы влиятельной группировки в земщине, конюшего, что-то вроде блюстителя царского престола в экстренных ситуациях. Например, в начале опричнины, когда Иван Грозный удалился в Александрову слободу, Федоров возглавлял в Москве правительство из семи бояр — семибоярщину. Человек рассудительный и справедливый, к тому же, в отличие от многих других вельмож, не бравший взяток, он пользовался популярностью в простом народе.

По московским улицам и домам, в армии открыто говорили о заговоре земских бояр, о предстоящей смуте. Царю об этом сообщали, и он пребывал в постоянной тревоге. В первый день нового года, 1 сентября, Грозный дал тайную аудиенцию английскому посланнику и купцу Антонию Дженкинсону. Предложил английской королеве

военный союз двух стран и, что было совсем необычно (это посол вскоре отметил в своем ноябрьском отчете), просил дать ему убежище в Англии — «для сбережения себя и своей жизни», чтобы «жить там и иметь убежище без опасности, пока беда не минует, Бог не устроит иначе». В Вологде начали даже строить суда, чтобы царь с семьей мог плыть в «поморские страны». Обо всем тоже стало известно в земщине. Здесь ликовали. А опричники затаились, ожидая,— что же еще сделает их повелитель, бездушный и нервный. Главное же: что будет с ними, если к власти придет Владимир Андреевич, а с ним — его сторонники из земщины?

...Победа литовцев под Сушей подвигла их к новому походу. Король направил армию к русской границе, в Борисов она пришла в декабре. А в конце сентября из Москвы на северо-запад, к ливонской границе вышли две русские армии — опричная и земская. В начале ноября они объединились. Но царь, возглавлявший опричное войско и весь поход, уже в середине месяца оставил армию и спешно уехал («погнал» на перекладных лошадях) в Александрову слободу. Перед отъездом собрал бояр и объяснил отмену похода распутицей, помешавшей подвезти осадные орудия, и многочисленностью литовской армии.

На самом деле причина была иной. Иван Васильевич получил известие о заговоре против него земских бояр и дворян во главе с Федоровым. Существовал ли он в действительности, сказать трудно. Но недовольство, негодование против насилий и казней опричников и Ивана Грозного получили в земщине широкое распространение. Некоторые земские бояре, очевидно, вели о том разговоры, причем снова высказывались за воцарение Владимира Андреевича. Но он-то и выдал заговорщиков, рассказал о тех словах, которые говорили в его присутствии некоторые из земских дворян во время похода. Старицкий князь, помимо прочего и весьма трусливый, побежал к двоюродному брату, чтобы на всякий случай

выгородить себя, спасти свою жизнь, когда дело дойдет до дыбы и плахи.

Началось следствие — в ход пошли и оговоры Старицкого, и письма Сигизмунда II к русским деятелям из земщины. Федорова царь сослал в Коломну, наложил на него огромный штраф — богатейший вельможа России, чтобы заплатить его, вынужден был отдать все свое состояние, продать драгоценную посуду, платье и прочее; при отъезде в ссылку просил у богатых монахов дать ему коня.

Снова начались опричные репрессии и погромы. Убивали сторонников Старицких или тех, кто когда-то служил у них, был как-то с ними связан. Среди них оказались и высшие церковные иерархи — сами митрополиты.

Еще 19 мая 1566 года, незадолго до начала работы земского собора, митрополичью кафедру оставил Афанасий — преемник известного Макария, умершего почти за два с половиной года до его такого серьезного решения (31 декабря 1563 г.). Об ушедшем на покой иерархе в верхах говорили, что он сделал так «за немощь великую». За пределами же дворца о митрополите, в свое время духовнике Андрее Протопопове, доверенном лице царя, близко стоявшем и к Адашеву, «Избранной раде», судили и рядили по-иному: недоволен-де старец тем, что царь и его «кромешники» многие насилия творят христианам. Один из иноземцев, А. Шлихтинг, бывший в то время в России, говорит о том же: «Некоторые знатные лица и вместе верховный священнослужитель сочли нужным для себя вразумить тирана воздерживаться от столь жестокого пролития крови».

Известно, что в декабре 1564 года, когда Грозный в гневе уехал в Александрову слободу и вскоре завел свою опричнину, Афанасий заступался перед ним за бояр и московских горожан. Но сам к нему не поехал, а послал Пимена, архиепископа новгородского. Очевидно, он был недоволен тем, что репрессии затронули близких ему людей из правящих верхов. Потому же за полгода до своего

отъезда царь упразднил податные привилегии митрополичьей кафедры.

На вакантный митрополичий престол царь своей волей посадил Германа, в миру — Григория Полева. Отец его Федор Иванович, в монашестве Филофей, в 1553 году проводил следствие по делу еретика-вольнодумца Матвея Башкина. Оба они, отец и сын, стали в 30-е годы послушниками Иосифо-Волоколамского монастыря. Как и все Полевы, они — обедневшие потомки смоленских князей, т. е. Рюриковичи, издавна были связаны со старицкими князьями. В 1551 году Германа назначили архимандритом старицкого Успенского монастыря, через два с половиной года — казначеем Волоколамского монастыря. Именно он привез в свою обитель того же Башкина. Через два года Герман стал архимандритом Свияжского монастыря, а 12 марта 1564 года — казанским архиепископом.

Когда Афанасий оставил кафедру, Герман был в Москве, позднее участвовал в земском соборе. Выбор царя остановился на нем по ряду причин: он долго служил в Волоколамском монастыре — цитадели правоверного осифлянства, показал себя ревнителем православия в недавно завоеванном Казанском крае, где сменил архимандрита Гурия Руготина, бывшего игумена того же Волоколамского монастыря, доверенное лицо царя Грозного.

Но новопоставленный митрополит совершенно неожиданно для монарха произнес поучение: царя-де ждет страшный суд за содеянные им дела, грехи. Имелись в виду, конечно, опричные насилия. Герман, очевидно, хотел разогнать тучи, нависавшие над князем Старицким и его двором. Кроме того, митрополит и «Максима Философа (М. Грека.— *В. Б.*) мало нечто, отчасти учения причастен был»; а ведь среди учеников афонского монаха были Сильвестр и Андрей Курбский, входившие в «Избранную раду», давно попавшую в опалу у мнительного деспота. Царь не стерпел обличения, и Германа, пробыв-

шего на митрополии всего два дня, тут же, по его, Грозного, воле, свели с нее.

Требовалась новая кандидатура, и царь призвал Филиппа, соловецкого игумена. Он долго убеждал его, и тот наконец согласился. В миру его звали Федором Степановичем, и происходил он из знатной старомосковской фамилии бояр Колычевых, от младшей ее ветви. Как и Романовы, давшие России менее половины столетия спустя новую династию, Колычевы вели свое происхождение от Андрея Кобылы. Их род стал известен в ту пору, когда князья московские вели борьбу за политическое первенство на Руси, объединение ее земель. Федор Колыч, внук Кобылы, жил во второй половине XIV столетия, в эпоху Калитовичей — детей и внуков Ивана Даниловича московско-владимирского, имел немалые земельные владения. Его потомки в XVI веке, а их было довольно много, служили и московским государям, и старицким удельным князьям.

Последнее обстоятельство привело к печальным последствиям для многих сторонников старицкого двора, в том числе и некоторых Колычевых. Для некоторых из них после «поимания» (ареста) в 1537 году князя Андрея Ивановича Старицкого, отца Владимира Андреевича и дяди Ивана Грозного, закончилась карьера, а то и жизнь. Правда, позднее некоторые из Колычевых заняли видное положение — вошли в Боярскую думу, в опричнину грозного царя. Но всякий раз, когда обострялась ситуация при дворе, их близость к Старице, давняя и не столь давняя, проновгородские симпатии обходились им дорого. В опалах и казнях погибли, по данным А. А. Зимина, 11 Колычевых. Но в то же время около десятка представителей этого рода входили в опричную гвардию Ивана IV.

Федор Степанович Колычев родился 11 февраля 1507 года. Его отец Степан Иванович около 1495 года владел поместьем в Деревской пятине Новгородской земли, участвовал в дипломатических переговорах со Швецией, за

что, вероятно, и получил любопытное прозвище — Стенстур (в Швеции Стен Стур старший был правителем страны, регентом в 1470—1497, 1501—1503 годах; Стен Стур младший — в 1512—1520 годах). Умер он до 1561 года, когда его сын Федор, будущий митрополит Филипп, сделал вклад по «его душе» в Соловецкий монастырь.

В детстве и юности Федор Колычев познает «книжное учение» и правила «воинской храбрости». Служит при дворе великого князя в Москве. Но весной 1537 года в связи, очевидно, с «поиманием» Андрея Старицкого, бежит из столицы и спасает тем самым свою жизнь. В селении Кижи на Онежском озере, где ему пришлось скрываться, 30-летний Федор пасет скот у местного крестьянина. Затем перебирается еще дальше на север — в Соловецкий монастырь. Некоторое время пожив в нем без пострига, потом становится монахом; а лет через десять, в 1546 или 1547 году,— игуменом этой обители.

На Соловках еще весной 1538 года, когда Федор Колычев только появился в этих местах, случился сильный пожар, и «монастырь згорел весь до основания». Через год московские власти, чтобы снова поставить его на ноги, пожаловали монастырю земли в Выгозерской волости. Еще через два года разрешили специальной льготной грамотой продавать без уплаты пошлин шесть тысяч пудов соли.

С приходом Филиппа на игуменство монастырь получает еще бóльшие льготы. Царь и правительство Адашева освобождают от податей монастырское подворье в Новгороде Великом; количество беспошлинно продаваемой соли довели до 10 тыс. пудов. Если многие монастыри в мае 1547 года лишились своих судебных и иных привилегий, то Соловецкому их оставили. Через три года игумен Филипп получил от Ивана IV две деревни в той же Выгозерской волости, при них — восемь соляных варниц; островок на р. Суме с тремя непашенными дворами. Местные крестьяне одну часть податей давали в казну, дру-

гую — Соловецкой обители. Правда, в июне 1555 года монастырь заставили платить пошлины с продажи соли. Но тут же царь пожаловал братии 26 деревень в Сумской волости (некогда ими владела Марфа Борецкая — вдова новгородского посадника до присоединения Новгорода к Москве), а также 33 варницы.

Получал монастырь и другие дары — земли и крестьян, деньги и утварь, колокола и прочее. Монастырь богател и рос, число монахов в нем дошло до двух сотен. Доходы и пожалования, весьма немалые, дали возможность братии и игумену, а у него обнаружились незаурядные таланты энергичного организатора, рачительного хозяина, предприимчивого и целеустремленного, развернуть обширную деятельность. Они придумывали одно за другим всякие технические и иные приспособления — то сеялку с десятью решетами, на которой работал только один старец; то чаны и трубы для варки кваса, который «сам сольется изо всех щанов, да вверх подоимут, ино трубою пойдет в монастырь, да и в погреб сам льется, да и по бочкам разойдется сам во всем». Устроили ветряные мельницы с мехами, и обитатели монастыря перестали вручную веять рожь. На выделке кирпича людей, которые «глину мяли», заменили «коньми».

При нем же, игумене Германе, на Соловках создали сложную систему каналов, соединяющих многочисленные озера; она до сих пор изумляет посетителей этих мест. Устраивал, обновлял игумен промыслы — соляной, железоделательный (о кирпичном уже сказано); водяные мельницы. Особое же внимание и усердие проявлял он к строительству каменных зданий. При нем построили Успенскую церковь, Преображенский собор, трапезную, келарню с мукосейней и хлебопекарней, хлебный и квасный погреба.

Соловецкий монастырь при Германе достиг больших успехов. Но достигались они немалым напряжением сил монахов, служебников и, главное, эксплуатацией крестьян,

принадлежавших обители. Когда начиналось (май 1552 года) возведение Преображенского собора, монахи удивлялись, спрашивали игумена: «О, отче... откуда имаши злато на воздвижение великия церкви?»

Автор жития святого Германа (конец XVI века), описывающий эту сцену, добавляет о тех же монахах, недовольных большим размахом строительства и трат: «Аще и не хотяще, но покоряющеся наставнику своему».

Но больше, разумеется, страдали крестьяне. Весной 1556 года жители села Пузырево Бежецкого Верха, полученного монастырем на помин души от И. В. Полева, послали к игумену Герману челобитчика — крестьянина Клевнева. Тот жаловался на соловецких приказчиков: они берут с них, крестьян, оброк и пошлины сверх положенного по окладам и жалованным грамотам. Один из них давал им взаймы хлеб под высокие проценты («в насоп») — на два третий (т. е. 33% от данного взаймы); кроме того, требовал давать поминки, пахать пашню «сверх окладу» и др. Игумен и соборные старцы специальной грамотой от 2 мая 1561 года упорядочивают повинности и взносы крестьян. Три с половиной года спустя по челобитью крестьян и наемных работников (казаков) Сумской волости то же происходит с раскладом («разрубом») повинностей между ними. Монастырские власти ограничивали размеры солеварения своих крестьян.

Историки спорят о том, был ли Филипп осифлянином или нестяжателем. Судя по тому, как он заботился о хозяйстве, богатстве монастыря, округлении его владений, вряд ли он был сторонником монастырского нестяжания. Уже будучи митрополитом, он шлет послание в Соловецкий монастырь с сообщением о вкладе новгородца Тучка Цветного — тот передает обители свой двор и сад, но просит это его владение обелить от оброка и сохранить за ним до его смерти. В другом послании Филипп дает наставление о том, чтобы монахи вычистили пруд, недавно выкопанный (для этого посылает из своих средств десять руб-

лей): «А покинути его (не довести до конца работу с прудом.— *В. Б.*), ино от Бога будет грех, а от людей сором. А жаль прежних трудов и убытков. А уже готов и плотина сделана, только вычистить».

Далее он говорит, что в пруду следует развести рыбу. Для всех работ «людей наймовати и хлебом кормити своим».

Филипп периодически посещал Москву. Участвовал в заседаниях Стоглавого собора, встречался с царем. К нему хорошо относились руководители «Избранной рады». А протопоп Сильвестр, влиятельнейший при дворе человек, попав в опалу (1560 год), оказался в Кирилло-Белозерском монастыре, потом в Соловецком, где и скончался, по словам Н. М. Карамзина, «любимый, уважаемый Филиппом». Сюда же еще раньше, в 1554 году, сослали Артемия, троицкого игумена, обвиненного в ереси. Он «побежал с Соловков» в Литву. Когда же его судили на соборе в Москве, два соловецких старца, Феодорит и Иоасаф Белобаев, отказались дать против него показания.

Поскольку за Филиппа высказались царь и Освященный собор, он стал в мае 1566 года главой русской церкви. С далекого Белого моря направился в Москву. При подъезде к Великому Новгороду, «яко три поприща», его встретила с дарами делегация жителей города. Они просили заступничества Филиппа перед царем, который давно, с 30-х годов, не любил их город, что-то готовил против него: «Уже слуху належащу, яко царь гнев держит на град сей».

Дело в том, что еще в 1537 году, во время событий, связанных с борьбой Андрея Ивановича Старицкого с Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного, опальный князь вместе с другими «изменниками», т. е. своими сторонниками, хотел бежать в Новгород. Но его перехватили, «поймали», и он оказался в темнице. После того «заговора», и с годами все более, правитель держал свою нелюбовь, а потом и гнев на этот, как он полагал, центр измены и сепаратизма.

Те события были очень памятны и Филиппу: ведь из-за них он бежал со службы на великокняжеском дворе и постригся в монахи. Очевидно, просьбы и моления новгородцев многое сказали его сердцу и уму.

В Москву он приехал сразу после окончания заседаний Земского собора (последний день его работы — 2 июля). Обстановка была накаленной — только что группа соборных депутатов, бояр и дворян, потребовала от царя отмены опричнины. Иван Грозный и не думал уступать их требованиям.

Влиятельная группировка земских бояр во главе с И. П. Федоровым, над которым нависла угроза, и другие недовольные, а их было много, обратили свои взоры и помыслы к новопоставленному митрополиту. Приговор об его избрании состоялся 20 июля. И Филипп, человек решительный, твердый и суровый, потребовал, как сообщает этот документ, «чтобы царь и великий князь отставил опришнину. А не отставит царь и великий князь опришнины, и ему в митрополитех быти невозможно».

Последовали уговоры, но соловецкий игумен твердил, что его не убедит и решение собора и что царь должен сделать то, что он требует. Но тот, поначалу рассердившись, все же «гнев свой отложил» и, в свою очередь, потребовал от Филиппа, «чтобы в опришнину и в царьской домовой обиход не вступался, а на митрополью бы ставился».

В конце концов освященный собор и бояре уговорили Филиппа, и он согласился. В соборном приговоре зафиксировали два условия, своего рода компромисс между царем и митрополитом: «В опришнину ему (митрополиту.— *В. Б.*) и в царьской домовой обиход не въступатися, а по поставленьи за (из-за.— *В. Б.*) опришнину и за царьской домовой обиход митропольи не оставливати» и «чтобы митрополит советовал бы с царем и великим князем».

Когда царь заводил опричнину, то есть года за полтора до этих событий, он поставил условие: иерархи и вся зем-

щина должны отказаться от «печалования» за опальных и казнимых им «изменников». Теперь монарх делал по вопросу о «печаловании», «советовании» уступку, впрочем только на словах: с одной стороны, и до этого ходатайства, поручительства за опальных имели место (например, при митрополите Афанасии — за князя М. И. Воротынского); с другой — все эти «печалования» и раньше и позднее не мешали Грозному казнить и вешать по собственной прихоти и усмотрению.

24 июля Филиппа ввели на митрополичий двор, днем позднее состоялось торжественное поставление на престол. Вскоре новый владыка отдает распоряжения о поставлении архиереев — в епархии Полоцкую (сюда архиепископом он назначил Афанасия, бывшего кирилло-белозерского игумена и суздальского епископа — из князей Палецких с простарицкими симпатиями и антиопричными настроениями), Ростовскую (своего казначея Корнилия), Тверскую, Казанскую, Суздальскую и др.

Филипп встречается с Грозным и наедине, тайно убеждает, уговаривает его не совершать новых казней, отменить опричнину. В посланиях монастырям приказывает молиться за царя, который «за святые церкви» воюет против Ливонии и Литвы. Его заступничество оттянуло на целый год решение по делу о боярине Федорове.

По Житию Филиппа, к нему пришли «неции... благоразумнии истиннии правителие и искусние мужие, и от первых велмож, и весь народ» и просили «с великим рыданием» заступиться за опального боярина, который «смерть пред очима имуще и глаголати не могуще». Митрополит не мог не согласиться с просящими: «Бог не попустит до конца пребыти прелести сей».

Но опричные бесчинства продолжались — «кромешники» царя без следствия и суда рубили головы неугодным ему людям. Митрополит сознает свое бессилие. Подумывает о том, чтобы оставить кафедру и вернуться в родную Соловецкую обитель. Пишет туда печальное послание в

январе 1568 года. Но месяца три спустя митрополит дает бой гневливому и неуравновешенному царю. 22 марта, по сообщению Новгородской летописи, он бросает вызов: «Учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати о опришнины».

Дело происходило в Успенском соборе московского Кремля. Владыка вел службу, когда вошел царь «со всем своим воиньством, вооружен весь, наго оружие нося», т. е. с обнаженным оружием в руках. Опричники явились из Александровой слободы в Москву. Одеты все были в черные кафтаны и шапки. Столичные жители испуганно жались по своим подворьям, «видеша бо внезапу царствующий град весь облежащь; и, слышати страшно, явися той царь со всем своим воинством вооружен, наго оружие нося, едино лице и нрав имея». Так говорит о том дне Житие Филиппа.

Митрополит, увидев вошедших в храм насильников, отнюдь не испугался; напротив, стал обличать царя: «От начала убо несть слышано благочестивым царем свою им державу возмущати... За олтарем неповинно кровь льется христианская, и напрасно умирают... Не имаши бо на земли вышши себе, подобает бо ти, яко смертну, не возноситься, но, аки Богу, не гневатися... Ниже при твоих праотец сие бывало, еже твориши, ни во иноязыцех тако обреташеся... Престани от такового начинания... надобеть царство твое соединяти, но не разделяти, твоя бо есть едина держава. Люди своя в соединение устрой».

Грозный, разгневанный публичным обличением, отвечал резко, указывая на «измену» своих подданных, их замыслы против него, самодержца: «Что тебе, черньцу, до наших царьских советов дело? Того ли не веси: мене мои же хотят поглотити?.. И ближнии мои отдалече мене сташа и нуждахуся (понуждаются.— *В. Б.*), ищущеи душу мою и ищущеи злая мне».

Сходно передают обличительную речь Филиппа современники — иностранцы Таубе и Крузе: «До каких пор бу-

дешь ты проливать без вины кровь верных людей и христиан?.. Татары, и язычники, и весь свет может сказать, что у всех народов есть законы и право, только в России их нет... Подумай о том, что, хотя Бог поднял тебя в мире, но все же ты смертный человек, и он взыщет с тебя за невинную кровь, пролитую твоими руками».

Спор между митрополитом и царем принял открытую и резкую форму, и монарх в ярости ударил посохом в пол: «Я был слишком мягок к тебе, митрополит, к твоим сообщникам и моей стране, но теперь вы у меня взвоете!»

Все же он просил благословения у владыки — трижды! И всякий раз Филипп отказывал! С негодованием царь Иван, Малюта Скуратов, Василий Грязной и другие подручные тирана покинули собор. Филипп одержал моральную победу над Грозным. Перед его уходом заявил, что и впредь не будет молчать, ибо его молчание «всеродную наносит смерть».

О том, что произошло в главном соборе Российского царства, быстро узнали и заговорили все — и в земщине, и в опричнине. Царь и его приспешники, особенно понуждал их к тому боярин А. Д. Басманов, глава опричной Боярской думы, ответили террором — уже на следующий день после диспута в соборе опричники ворвались на двор митрополита, схватили и отвели в темницу его главных советников, приближенных. Через несколько дней всех этих старцев провели по улицам Москвы и железными батогами забили до смерти. То же делали с многими слугами столичных бояр, стольников и других придворных.

Казнили и близких Ивану Петровичу Федорову людей, его советников. Грозный, Скуратов, Ловчиков с отрядами свирепствовали в его коломенских и новгородских имениях. Синодик опальных царя Ивана сохранил записи об этих погромах: «В Ивановском Большом отделано 17 человек да 14 человек ручным усечением конец прияша... В Бежецком Верху отделано Ивановых людей 65 человек да 12 человек, скончавшихся ручным усечением».

Одних слуг рубили саблями, других запирали в избы на барском дворе, подрывая их порохом. Все в имениях жгли, грабили, рубили скот, спускали воду. Людей пытали, требовали назвать имена «сообщников», казнили без следствия и суда. Всего по «делу» Федорова убили до 130—150 дворян, приказных служителей, около 300 холопов. Погибли и некоторые из Колычевых, родственников митрополита, многие видные военачальники, администраторы — из Морозовых, Шеиных, Сабуровых, Образцовых, Карповых и прочих. Были убиты дьяки И. Г. Выродков, прославившийся при взятии Казани (1552 год), П. И. Шерефединов и др., государственный казначей Х. Ю. Тютин.

Летом того же года обострилась международная обстановка. Россия оказалась в полной изоляции. Назревала война с Турцией и Крымом, которые потребовали, чтобы Грозный отказался от Казани и Астрахани. Литовцы, не приняв новых предложений русских о мирных переговорах, 28 сентября штурмом взяли крепость Улу, в 40 верстах от Полоцка. Швеция, разорвав договор с Россией, готовилась к войне против нее. Английская королева не захотела заключить военный союз с русским царем.

Положение для Грозного становилось очень трудным, и митрополит, используя момент, снова во время службы в том же Успенском соборе повторяет призыв к отмене опричнины: «Отнюду же солнце в небеси, несть се слышано благочестивым царем свою им державу возмущати».

28 июля Филипп в третий раз поднимает гневный голос протеста. В тот день он служил в Новодевичьем монастыре. В соборе стояли царь и «кромешники». В толпе молящихся митрополит приметил опричника в тафье — шапочке восточного покроя. Не выдержал: «Се ли подобает благочестивому царю агаряньский закон держати?»

Царь, женатый в то время на черкешенке Марии Темрюковне Черкасской, окруженный придворными из тех же черкесов и татар, разгневался не на шутку. Вскоре

отдал приказ готовить суд над «клятвопреступником» — ведь митрополит преступал клятву, данную при вступлении в должность: не вмешиваться в опричные дела, в его, царя, «домовый обиход». Создали комиссию для посылки в Соловецкий монастырь — она должна была собрать материал о «порочном поведении» Филиппа. Самого митрополита от дел отстранили, отослали в Богоявленский монастырь, что в Китай-городе, за Ветошным рядом (торгом). Комиссию возглавили суздальский епископ Пафнутий, андрониевский архимандрит Феодосий, опричник князь Василий Темкин-Ростовский, дьяк Дмитрий Пивов. В нее же включили «многих от воиньскаго чину» — служилых детей боярских.

Митрополит, удалившись от дел, в отличие от митрополита Афанасия, отказался сложить сан — ведь при избрании на престол два года назад в соборном приговоре было записано обязательство: «по поставленьи за опришнину и за царской домовой обиход митропольи не оставливати».

Царь торопил работу следственной комиссии. Находясь в августе в своей Александровой слободе, готовил суд над строптивым владыкой. Новгородскому архиепископу Пимену шлет письмо, просит срочно прибыть в Москву — тот должен готовить собор для суда над Филиппом.

Комиссия прибыла в Соловки осенью, в сентябре. Опечатала казну. Опрашивала свидетелей, точнее — лжесвидетелей, среди них — соловецкого игумена Паисия, ученика Филиппа. Ему как будто обещали сан епископа, и он дал показания против своего учителя. Обвинения выглядели шаткими, неубедительными; еще до Соловков, в Москве, следователи пытались добыть данные у певчего одного из соборов Кремля, тоже лжесвидетеля, но получился конфуз. Теперь боялись того же.

Приближался суд. Чтобы обеспечить нужный для себя исход судилища, Грозный наносит удар по земской Боярской думе, возглавляемой Федоровым. 11 сентября в парад-

ных помещениях царского дворца собрали по повелению Грозного бояр и дворян, земских и опричных. Привели опального боярина. Грозный приказал ему надеть царские одежды и сесть на трон. Тот вынужден был исполнить приказ.

Иван Васильевич снял шапку, встал на колени и смиренно обратился к нему. «Ты имеешь то, что искал,— рассказывает об этом А. Шлихтинг,— к чему стремился, чтобы быть великим князем Московии и занять мое место. Вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал».

Разыграв недостойный фарс, а царь был большим любителем подобного скоморошества, он подал знак, и опричники набросились на несчастного боярина. Убив его, выволокли труп из Кремля, бросили на навозную кучу у реки Неглинной, где проходила граница между опричниной и земщиной Москвы.

Грозный в присутствии членов Боярской думы и других лиц обвинил Федорова в том, что он будто бы организовал заговор против него, хотел занять царский трон. Он лукавил, конечно: прекрасно знал, что разговоры в этом плане среди бояр и простолюдинов ведутся не о Федорове, а о Владимире Андреевиче Старицком. Двоюродный брат сам рассказал ему об этом. Но царю в этот момент важно было бросить тень на влиятельного главу земской Боярской думы, запугать его.

После убийства Федорова последовали казни его сторонников в Думе — в Москве и по другим городам убивали многих людей, в том числе шестерых Колычевых. Троюродному брату митрополита Филиппа Михаилу Колычеву, окольничему, ближайшему сподвижнику Федорова по Думе, отсекли голову, и царь велел, зашив ее в мешок, отвезти к опальному владыке в монастырь. Но «преломить его душу» накануне суда, на что надеялся тиран, ему не удалось.

Вскоре созвали собор. Филипп накануне сумел как будто убедить иерархов, его участников, сообща выступить

против опричнины. Но как только начались заседания, от единства ничего не осталось. Одни епископы безмолвствовали «страха ради», другие были убежденными противниками митрополита (новгородский Пимен, рязанский Филофей, особенно царский духовник Евстафий — «яве и втаи» доносил на Филиппа). Большинство участников собора, по Житию Филиппа, откуда взяты эти сведения, «ни по Филиппе поборающе, ниже по цари, но яко царь восхощет, тако и они»; «никто не смеяше противу что рещи, что царя о том умолити и, кто его возмущает, тем бы запретити».

Боярская дума после недавнего кровопускания тоже молчала, не протестовала. Она выслушала показания Паисия, соловецкого игумена, и еще десятерых монахов, привезенных в Москву. Потом те же свидетели-оговорщики из Соловков «изнесли» свои «многословные речи» против Филиппа перед собором. В нем участвовали Боярская дума, Освященный собор, представители дворянства.

Стойкий и храбрый митрополит отверг все обвинения, снова обвинял царя, требовал отменить опричнину. Убедившись, что члены собора не на его стороне, он заявил, что оставляет митрополичий престол. Но не таков был царь, чтобы с миром отпустить свою жертву. Не признал его отречения, и судилище продолжалось. 4 ноября собор признал его виновным в «порочной жизни» и лишил сана.

Таубе и Крузе сообщают, что царь настоял, чтобы Филипп, надев одежды, провел последнюю службу. Она состоялась на «великий праздник» 8 ноября в кремлевском соборе при большом стечении народа. И здесь Грозный осуществил свою месть, нанес последний удар: в собор ворвались опричники, и при общем замешательстве Басманов прочитал царский указ о низложении Филиппа. Кромешники-душегубы сорвали с него святительские одежды, посадили в простые сани и отвезли в Богоявленский монастырь.

Вскоре Филипп оказался в «злосмрадной хлевине»,

Патриарх Никон в парадном облачении

ему давали четыре алтына в день на пропитание. Затем отправили в тверской Отрочь монастырь на вечное заточение. Приставили к нему царского соглядатая — С. Кобылина.

Грозный щедро наградил иереев и монастыри, поддержавших его в борьбе со свергнутым митрополитом. Архиепископа же казанского Германа, выступившего в защиту Филиппа, казнили 6 ноября. Через пять дней собор избирает нового митрополита — Кирилла, архимандрита Троице-Сергиева монастыря.

Филипп после низложения прожил недолго, немногим более года. 23 декабря 1569 г. в его обитель явился любимый царский опричник-палач Малюта Скуратов. Царь с войском в это время шел походом на Новгород Великий — карать «изменников». Захотелось ему, как носилась молва в народе, получить благословение бывшего митрополита. Если это так и было, то Грозный разыгрывал очередной

Ферапонтов монастырь

фарс. Филипп, конечно, отказал ему в поддержке нового погрома «кромешников», и вскоре пришел последний его час — Малюта безжалостно задушил непреклонного старца.

Царь после этого сделал «перебор» иерархов, как сторонников покойного Филиппа, так и его противников. Грозный нанес сильный удар церкви, подчинил ее всецело своей самодержавной воле. Митрополита Филиппа русская церковь причислила к лику святых. Каких-нибудь два десятилетия спустя после его мученической кончины безвестный соловецкий монах составляет Житие Филиппа. Сведения о борьбе и смерти мученика заносят в свои труды летописцы. Все они сохранили и донесли до нас память о бесстрашном и гордом правдолюбце, имевшем смелость

выступить против деспота-царя и его кровавой опричнины, сложившем голову за «други своя».

Как и другие институты русского общества, церковь под пятой самодержавной власти пыталась отстаивать свою самостоятельность. В XVII веке Никон, перед тем как занять патриарший престол, перевез останки Филиппа в Москву, заставив нового царя Алексея Михайловича публично осудить злодеяние Ивана Грозного. Однако и судьба Никона была трагична.

Глава 5

Никон

Уход Никона в пустынь. Поставление Никона на патриаршество

В ссылке

В августе одна тысяча шестьсот восемьдесят первого года двое — монах и мирянин — прогуливались в тени аркады новой крепостной стены Кирилло-Белозерского монастыря. Купец в вышитом шелком кафтане добротного аглицкого сукна, перетянутом по обширному животу полосатым персидским кушаком, с живым интересом расспрашивал чернеца, отвечавшего басовитым гласом сквозь густую бороду.

— Нешто сей старец и есть Никон? — вопросил толстяк в тот момент, когда собеседники достаточно удалились от бедного деревянного домика, на крыльце которого в глубокой задумчивости, не замечая окружающей жизни, сидел в креслах болезненно исхудавший, бледный, с землистого оттенка лицом схимонах *. Руки старца лежали на подлокотниках, не в силах держать прислоненный к крыльцу посох, но прямая спина и суровый, тяжелый взгляд глубоко запавших глаз давали почувствовать не

* Схима — высшая степень монашества с наиболее суровыми обетами, свидетельствующими о полном отрешении схимонаха от земного мира, для которого он как бы умирает. Схимник носит особую одежду с символами смерти и воскресения.

усмиренную монашескими обетами гордыню и властность этой задержавшейся на белом свете души.

— Вельми скорбен святейший Никон патриарх,— отвечал инок, подчеркивая голосом патриарший титул, чтобы указать купцу на его невежество, но далее разговорился живее — чувствовалось, что чернец давно хотел излить скопившееся на душе.— Не един год зело томили святейшего лютым заточением зде, в Кириллове, держали безысходно в вельми неугожей от нагревания и угару келье, от чего принял блаженный великую болезнь, едва и житие свое не скончал. Болен святейший патриарх болезнью великою — вставать и на двор выйти не может. Ныне же — тому назад день или вящще — несмотря на болезнь свою поднялся и стал готовиться в путь — неведомо куда. Мы же, зря его так творяща, не стали мешать, ибо видим, что в скорби и беспамятстве пребывает. Уж не один раз начинал собираться — а сегодня сам оделся в свою одежду, убрал власы и бороду, сел в кресла и всем нам, слугам своим, говорит: «Аз готов есмь, а вы чего ради не собираетесь? Смотрите, скоро за нами будут!» Ныне, видишь сам, сидит, ждет неведомо чего.

— Тяжко, видно, пострадал святейший патриарх! — посочувствовал купец с русским сердоболием.— Да и вы, видно, немало перенесли мучений с тех пор, как отправились с ним в заточение.

— Изволь,— ответствовал инок, приглашая богомольца на деревянные лавки в глубине крепостной стены,— расскажу все по ряду.— Купец сел и приготовился слушать историю, которую можно будет многие годы рассказывать друзьям и знакомым в городах, куда забросят его торговые дела.

— Как осудили нас в шестьдесят седьмом году судьи неправедные,— начал монах, по привычке отождествляя себя с опальным патриархом,— с великою скоростью посадили в сани и повлекли зимним путем из царствующего великого града Москвы в Ферапонтов монастырь. Зима

была лютая, теплых же одежд святейший Никон патриарх и мы, сущие с ним воскресенские монахи *, не имели никаких. Только по нескольких днях архимандрит новоспасский Иосиф, видя многострадального Никона от зимы согнетаема, умилился и отдал ему из своех вещей шубу и треух. Прочие же, бывшие с блаженным Никоном, сильно оскорбляемы были от зимней стужи и морозов.

— Святейший, жалея нас, перед каждым городом или селом хотел послать кого-нибудь купить теплые одеяния. Но суровый пристав наш Аггей Алексеевич Шепелев возбранял это с великим прещением и приказывал солдатам всех встречных людей немилостиво разгонять. Через города и веси проезжали мы с великой борзостью, а когда останавливались на ночь или коней кормили — все дворы заранее от людей солдаты очищали.

— В одну из ночей,— продолжал свой рассказ монах,— на таком пустом дворе встретилась нам старушка, что спряталась от солдат в погреб, а когда услышала, что воины ушли и остались в доме только Никон с учениками, вышла. Было ей видение, что едет Никон в заточение в великом утеснении и скудости. Сия же благочестивая, плакав много, вручила святейшему патриарху денег серебряных 20 рублей и довольно одеяний теплых для нас, а наутро вновь в месте тайном скрылась от лютого пристава.

— Гнал Аггей Шепелев сильных царских коней немилосердно. В одну ночь быстрые те кони перевернули возок святейшего Никона, и стукнуло его головой о дерево так сильно, что чуть голову не сорвало. К этой великой ране — не ведаю, случайно или нарочно — и другую наши провожатые прибавили. Не доезжая реки Шексны, гоня ночью с великой скоростью, наехали повозкой на острое дерево

---

* Вместе с Никоном в ссылку были отправлены все монахи Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, сопровождавшие своего владыку и благодетеля на церковный собор 1666—1667 гг.

торчащее, да так, что сани, в которых был святейший Никон патриарх, пронзило насквозь, так же и постланные в них войлоки, дошло до тела самого блаженного — еле жив остался.

— В скорби от ран привезен был святейший в Ферапонтов монастырь, что перед тем незадолго чуть не весь сгорел, и помещен в бывшие больничные кельи, смрадные и закоптелые. Никого не пускали к нам, кроме игумена и келаря. А месяц или более спустя приехал новый пристав зверообразный по имени Стефан Лаврентьевич Наумов. Этот особо лют был к блаженному Никону. В кельях велел все окна заклепать железными решетками накрепко, одни двери оставил под стражей твердой. Стерегли святейшего и нас с ним у всех окон и у двери, не только мимо кельи — близ монастыря никого не пропускали и даже дорогу большую от монастырской ограды перенесли в другое место.

— Блаженный же Никон и в таком озлоблении и утеснении не возроптал: сам дрова носил и по воду под стражей ходил, сам на всех бывших с ним готовил, и в особой церкви за караулами крепкими вместе с нами Бога благодарил. Потом наступило нам некое послабление — решетки сняли и разрешили вокруг монастыря ходить. Святейший патриарх каждый день рыбу ловил на всех своих и монастырскую братию, непрерывно в трудах пребывал. Близ озера Ферапонтовского начал лес рубить и землю расчищать, сажал овощи и хлеб сеял, а посреди озера построил каменный остров. Глубина там была метра четыре — так патриарх с берега на плотах камень возил и возвел твердь более двадцати метров длиной и десяти шириной, а на ней водрузил честный и животворящий Крест Господень!

— Так жили мы и терпели почти девять лет. Много нам было озлоблений от властей предержащих: то пришлют из Москвы мантию архиерейскую и посох у святейшего патриарха забрать, то по доносам допросами досаждают, то товарищей наших по злым наветам в далекие темницы

бросают, то благословения для царя требуют, а блаженный не дает. Уже когда помер царь Алексей Михайлович, вновь дьявол бурю на нас поднял: по нелепым блядословиям прислал патриарх Иоаким злых приставов, да тиранят блаженного. Он же все терпел и благодарил Бога, говоря: «Не поставь, Господи, им этого в грех».

— Долго длились эти мучения, а по прошествии времени настали еще большие. Приехали из Москвы в Ферапонтов монастырь посланные от царя и патриарха чудовский архимандрит Павел и дворянин Иван Афанасьевич Желябужский с товарищами допрашивать святейшего Никона по тремстам статьям лжесоставных обвинений от клеветников и человекоугодников многих. Иван — тот прямо в церкви на блаженного яко лев свирепо рыкал, святейший же Никон отвечал: «Воля Господня да будет и великого государя — не боюсь множества людей, со всех сторон нападающих на меня — если что, и смертно пострадать готов!»

— Допрашивали блаженного по всем статьям подробно, а потом, не дав и в келью зайти, схватили и повезли за крепким караулом в заточение на Белоозеро в Кириллов монастырь. Здесь поместили под стражей в самой угарной келье безысходно, кроме церковной службы. Святейший Никон патриарх и здесь трудился непрестанно в молитвах и заботах о нас, учениках своих, уже болея смертно и головой став вельми скорбен. Так лет пять мы здесь и живем, разве что после многих просьб возвели патриарху новую келью и разрешили по монастырю ходить — да он уж и не может, чаем, близок к смерти. Давеча вон здешний архимандрит Никита написал в Москву патриарху Иоакиму о Никоне блаженном, что близок его последний час и принял он схиму, спрашивая, как над ним чин погребения творить, и как поминать, и где положить тело его,— закончил рассказ монах.

— И что же,— спросил любопытный купец,— ответили из царствующего града, неужто не умилосердились над страдальцем?

— Нисколько,— ответствовал инок,— велено от Иоакима патриарха держать блаженного здесь до смерти, чин погребения над ним сотворить просто, как и прочим рядовым монахам погребение бывает, а тело положить в паперти и поминать вровень с прочей братией.

Монах выглянул из арки в крепостной стене и увидел, что Никон, за которым он присматривал, поднялся из кресел и с трудом, покачиваясь, стоит на крыльце, опираясь на посох, лицом к монастырским воротам. Оставив купца размышлять над услышанным, инок поспешил к опальному патриарху, чтобы не дать ему свалиться с крыльца на мощеную камнем дорожку. Из кельи уже выскочили другие монахи — ученики Никона, взяли его под руки, как водили обычно на церковные службы и выходы. Но учитель не хотел уходить с крыльца.

— Слышите?! — произнес Никон.— Уже скачут за мной посланные от благочестивого царя!

Ничего не слыша, ученики стояли рядом со старцем, ожидая, когда окончится его бред. Так прошло с полчаса — и вдруг за стенами монастыря действительно послышался топот быстро скачущих коней. Он становился все явственнее; вскоре в открытые ворота, успев на ходу обругать караульных стрельцов, влетел бывший стремянный конюх, а ныне столбовой приказчик царя Федора Алексеевича Иван Лукич Чепелев. За ним по одному проскакали в монастырь сопровождающие конные стрельцы, отставшие от лихого предводителя, который уже спешился у палат архимандрита.

Почти немедленно Чепелев, архимандрит Никита, келарь, казначей, ризничий и соборные старцы толпой направились к келье Никона и его учеников, радостно поздравляя своего узника с освобождением. По указу царя и великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца блаженному Никону возвещалась государева милость и благоволение вернуться в свое строение — в Воскресенский Новоиерусалимский мона-

стырь под Москвой. Вернуться из ссылки дозволялось и всем, переносившим вместе с Никоном четырнадцатилетнее заточение.

Оказав подобающую честь царскому имени и поблагодарив по достоинству посланника, Никон, ведомый под руки учениками, удалился в келью. Здесь только ученики увидели, каких трудов стоило святейшему патриарху напряженное ожидание и вставание для приветствия чудесно предвиденного гонца. Войдя в келью, Никон в изнеможении пал на ложе и уже не слышал шума и суеты сборов в дальнюю дорогу. Он вышел из забытья только к вечеру, когда на реке Шексне были приготовлены струги, а монастырский двор заполнен повозками с добром и припасами для освобожденных. Не желая оставаться в Кирилловом монастыре ни минуты, Никон велел трогать.

Ученики бережно усадили патриарха в повозку и первым повезли к реке. За Никоном, со скрипом и криком, двинулся в путь обоз. У реки произошла заминка — больной не мог сам подняться по сходням на высокий борт незагруженного струга. Чтобы занести его в креслах, пришлось положить рядом сходни, принятые с других судов. Наконец с великим трудом Никона посадили на струг. Невзирая на немощь, блаженный отказался спуститься под палубу и остался в шатре на корме, откуда можно было смотреть за погрузкой. Постепенно глаза Никона смыкались. Он еще слышал, как сидевшие рядом с ложем монахи обсуждали новое явленное им чудо с предвещением освобождения и рассуждали о видениях святейшего, когда окружающий мир отступил, давая свободу его собственным мыслям.

Царское прощение

— Видения! — думал Никон.— Их у меня было немало. Вот в Ферапонтове на Святой пост видел себя в превеликих каменных зданиях, и протопоп Московского боль-

шого собора Михаил докладывал будто о освящении церкви — и вместе мы шли из одной палаты в другую и в третью, и чем дальше шли — тем являлись нам палаты красивейшие. В пятой или шестой палате красота строения была неописуемая, отделка великолепная — там внезапно появился юноша благообразный и сказал: «Знаешь ли ты, чье это здание?» Я же отвечал: «Никак, господи мой, не ведаю». А он говорит: «Здание это, что ты видишь, твое есть, что ты создал своим терпением; постарайся совершить весь свой путь. И еще тебе скажу, что сегодня будешь свой хлеб есть»,— произнес юноша и исчез вместе с видением.

И действительно, в тот же день нежданно-негаданно пришел в Ферапонтов обоз из моего строения обители Воскресенской Новоиерусалимской, привез денег 200 рублей, рыбы и иных запасов немало — и десять больших караваев хлеба братского. Так сбылось видение ночи той, что «сегодня будешь свой хлеб есть»! И ведь вернулись все пришедшие здраво в свою обитель, а других всех, кто добровольно приходил к нему из Нового Иерусалима — Памву, Варлаама, Палладия, Маркелла, Мардария, Виссариона, Флавиана и иных много лет по разным заточениям в тяжких оковах гладом томили и горькими мучениями озлобляли, так что некоторые и жизни лишились...

— Но сейчас,— думал Никон,— я не чувствовал, а знал, что гонец придет. Я знал своего врага и надеялся на друзей. Старый гонитель — патриарх Иоаким, не архиерей, а блюдолиз, и в заточении пытался меня уесть: натравил архимандрита Павла с Желябужским, перевел в Кириллов, велел отобрать панагию и серебряные патриаршие печати. Даже Павел сжалился, глядя на мои мучения — просил Иоакима разрешить построить новые кельи, видя смерть мою от келейного угара; патриарх не ответил на эту просьбу, занят он вишь ли! Но остались у меня друзья на Москве, нужно было только терпение.

Глядишь, молодой царь Федор Алексеевич стал приходить в возраст совершенный, стал интересоваться блаженным Никоном: как изгнан и заточен, и за что, и каков был — сам-то меня не помнит, я в Воскресенский раньше его рождения сошел. Зато тетка его благородная царевна Татьяна Михайловна с юности меня зело любила и почитала как отца и пастыря. Говорили мне, что беседует она с молодым царем о Никоне, какое великое святейший попечение имел о доме царском, спасая его от поветрия морового, как, будучи на патриаршем престоле, любовь имел с отцом его Алексеем, и как изгнан был и страдаю в заточении терпеливо.

Слышал царь Федор от тетки и от многих о чудном строении монастыря Воскресенского и великой церкви, которую я основал по образу святой Иерусалимской церкви, где гроб Спасителя и Голгофа святая с иными страстями Христовыми. И что та чудная церковь ныне стоит много лет недостроена, в великом презрении, и что хорошо бы ту святую церковь завершить, а для того дать свободу из заточения строителю ее Никону. Хотя и многими отговариваем был, но отверз царь очи ума своего и поехал взглянуть на Новый Иерусалим, удивился заброшенности столь огромного и совершенного храма, стал жаловать братию милостыней и о строении церкви попечение иметь.

Возлюбил царь Федор место то, стал там почасту бывать и доброжелателей моих слушать — а бояре и Иоаким патриарх все считали его неразумным юношей. Как-то говорил Федор об избрании нового архимандрита и добавил: «Если хотите, чтобы взят был сюда Никон патриарх, основавший обитель и великую эту церковь — подайте мне прошение за вашими руками — если Бог помощи подаст, это дело исправится». Возрадовалась воскресенская братия и немедля подала челобитную государю:

«Помилуй нас, нищих своих богомольцев: подай церкви исполнение, приведи кораблю кормчего, пошли пастыря стаду, приставь голову к телу — христоподражательного

нашего наставника святейшего Никона, что как Моисей провел нас через море мира... повели освободить из Кириллова монастыря в монастырь живоносного Христова Воскресения, растущий в высоту повсеместного прославления, как дерево плодовитое...»

С сей челобитной возвратился царь Федор в Москву и начал мысль свою об освобождении Никона, чтобы тот мог завершить основанный им Новоиерусалимский храм, изъявлять святейшему Иоакиму, патриарху московскому. Никон знал, что Иоаким будет против его освобождения, и действительно, доброжелатели сообщали опальному, что московский патриарх много раз запрещал царю помиловать осужденного собором вселенских патриархов. Царь Федор Алексеевич обратился тогда к собору российских архиереев «с прошением и молением, да будет освобожден из заточения Никон патриарх».

Хоть и боялись архиереи патриарха Иоакима, с насмешкой думал Никон, однако царя боялись еще больше. Сколько ни выступал Иоаким против мысли Федора Алексеевича, а собор постановил меня из заточения взять в Воскресенский монастырь. Все же недооценил царь Федор Иоакима — тот резко отказался утвердить решение собора, и все усилия оказались тщетными. (Еще бы, мелькнуло в мыслях Никона, я и сам не испугался бы отказать царю, как не раз и поступал.)

С теплым чувством вспомнил Никон, как молодой царь, не сумевший уговорить Иоакима, хоть и умолял его вместе с теткой, царевной Татьяной, прислал в Кириллов монастырь собственноручное утешительное послание опальному. Радостно принял он тогда высочайшую весть, что царское величество такое попечение о нем имеет, из заточения освободить желает и дать возможность в монастыре Воскресенском завершить созидание великой церкви. Это был бы первый шаг к прежнему величию, ибо не случайно прибавлял царь в письме, что желает видеть благочестивейшего, «зане слышал о нем от многих, яко премудр зело,

и знаток божественного писания, и истинный рачитель и поборник по святой непорочной вере, и хранитель святых божественных догматов». Не зря боялся моего возвращения Иоаким патриарх! — с гордостью подумал Никон.

Если бы не болезнь царская, давно бы получил я свободу из заточения. А тут и сам разболелся сильно — пришлось принять схиму и надоумить архимандрита Никиту сообщить о моей скорой смерти Иоакиму, да и воскресенскую братию поторопить побить обо мне челом великому государю, чтобы не дать мне напрасной смертью погибнуть. Это должно было подействовать — царь умилился обо мне, а священный собор с Иоакимом патриархом дали ему волю, перестав меня бояться. Думают, что скоро умру — ну уж нет, теперь-то я войду в силу! И не в таких болезнях бывал, не таких, как эта змея Иоаким, недругов осиливал...

Царское обещание

Никон проснулся рано утром, за час до света. Он всегда спал мало. С трудом скинув с себя мягкие беличьи и теплые соболиные покрывала, которыми старательно закутали его ученики, патриарх сполз с ложа и преклонил колена для обычной продолжительной молитвы. По традиции он разделил общую трапезу и даже съел немного хлеба и вареных овощей. Велев откинуть полости шатра, Никон с помощью учеников возлег на ложе и оттуда загоревшимся взором смотрел на памятные издавна берега Шексны, по которым летел слух о его возвращении.

Жители деревень, городков и сел спешили к берегу, чтобы видеть освобожденного страдальца, принять его благословение, поднести путешественникам потребное в дороге. То и дело разные струги каравана приставали к берегам, чтобы принять дары и заплатить за них новостями. Дальнозоркий в старости Никон видел на лицах многих людей слезы. Велев ученику поддерживать его под локоть,

патриарх неустанно благословлял собравшиеся ради его встречи народы.

Временами он впадал в забытье. Тогда ему чудилось, что не было тяжелых десятилетий, и не старец опальный патриарх, а молодой, полный энергии митрополит новгородский плывет во главе каравана к Москве, везя с Соловецких островов мощи Филиппа, митрополита московского и всея Руси, чтобы заставить склониться перед прахом замученного царем архиерея преемника Ивана Грозного на российском престоле — царя Алексея Михайловича.

В своем полубредовом состоянии Никон вдруг почувствовал холод. Да, в 1652 году правильное предчувствие повело его в путь по непогоде. В сопровождении большой свиты царедворцев митрополит новгородский быстро прошел путь от первопрестольной до моря-океана. Даже в устье Онеги ветер поднимал большие валы, но Никон не устрашился вывести целый флот лодей в бурное море. Ужасный шторм унес в пучину лодью с государевым дьяком и дворянами, прочие лодьи были разбиты и выброшены на берег. Немедля Никон сел в новую лодью и вновь повел караван к Соловкам. Он знал, что храним благодатью Божией и не погибнет, пока не исполнит своей миссии — освобождения российской церкви от власти земных владык.

В самое штормовое время, в апреле, взял Никон мощи Филиппа митрополита на Соловках и под плач монахов тронулся с ними к Москве. Не остановили его ветры и морские валы, речные супротивные течения и дорожные грязи. Всюду по дороге в городах и селах выходили встречать святые мощи люди с крестами и иконами. В окружении толп, как триумфатор двигался Никон к столице. И в разгар шествия получил митрополит новгородский сообщение от самого царя Алексея, что умер занимавший предназначенное Никону место патриарх Иосиф, «ожидаем тебя, великого святителя, к выбору».

Не как удобный великому государю кандидат в патриархи пришел он тогда к Москве, но как завоеватель с непобедимым оружием — благодатью Божией и мощами святого Филиппа, чтобы заставить власть светскую всенародно покаяться в притеснениях и оскорблениях, какие она нанесла власти духовной. Огромные толпы народа вышли встречать святые мощи. Все духовенство, включая крайне дряхлого владыку ростовского и ярославского Варлаама, двинулось навстречу Никону. Варлаам скончался, немного не дойдя до мощей. Царь Алексей Михайлович со своим двором не отставал от духовенства, подавая пример благочестия.

И по прошествии десятилетий Никон с восторгом вспоминал, как царь в присутствии бояр, духовенства и бесчисленного множества народа целовал мощи божьего угодника и приветствовал их «пришествие» в Москву, «чтобы разрешить согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя (Филиппа.— *А. Б.*) неразсудно завистию и несдержанною яростию» *.

Преемник кровавого тирана на царском престоле признавал конечную победу мученика над мучителем, духовного пастыря над светским владыкой. «Преклоняю сан свой царский,— обращался Алексей Михайлович к митрополиту Филиппу,— за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение своим к нам пришествием, да уничтожится поношение, которое лежит на нем за твое изгнание; пусть все уверятся, что ты примирился с ним. Умоляю тебя, и честь моего царства преклоняю пред честными твоими мощами, повергаю к молению всю мою власть, приди и прости оскорбившего тебя напрасно...

---

* Признание «согрешений» предшественников на престоле было для российских самодержцев крайне нетипично. Уже в 1666 году на слова Никона, что митрополита Филиппа «мучи царь Иван неправедно», Алексей Михайлович сурово вопрошал: «Для чего он, Никон, такое безчестие и укоризну блаженныя памяти великому государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси написал?!»

Оправдалось на тебе,— продолжал царь речь к мощам,— евангельское слово, за которое ты пострадал, что всякое царство, разделившееся внутри себя, погибнет; и теперь у нас нет прекословящих тебе, нет ныне в твоей пастве никакого разделения». И следом за покаянием перед Филиппом митрополитом самодержец просил благословения у Никона митрополита. Никон с мощами вступил под своды кремлевского Успенского собора, куда три дня непрерывно шли толпы народа, исцеляясь у раки святого и от возлагаемых рук новгородского митрополита, прославляя двух митрополитов — почившего и ныне здравствующего.

Богатые дары получил Никон от государя — села и деревни в доход новгородского Софийского дома — резиденции митрополитов, множество одежд, вид которых мог вспомнить и в старости... Главная же награда — поистине, думал Никон, заслуженная — воспоследовала 25 июля 1652 года, когда на новгородское подворье в Москве явилась к митрополиту толпа духовных и светских чинов звать в Успенский собор вновь избранного патриарха.

«Как они тогда удивились,— усмехнулся старец, предавшийся грезам,— когда я отказался идти. И в другой раз отказался, и в третий, еще решительнее. Пришлось царю послать своих величайших бояр, чтобы и против воли меня привести — тогда пришел. Каково-то было гордому царю со всем народом молить меня много, чтобы изволил я стать патриархом московским и всея Руси. Я же, называясь смиренным, и неразумным, и недостойным пасти стадо овец Христовых, отвечал отказом, доколе царь мне не поклонился до земли и не пал на колени со всем народом, со слезами моля — да буду верховным пастырем всему государству.

— Нынешние холопы и лизоблюды царские, а не архиереи, бегом бы побежали на патриарший престол.— Любовался своим прошлым опальный патриарх.— Я же потребовал у царя и всех клятвы слушаться меня во всем, иначе

не буду патриархом». Слова этой вошедшей в историю речи до сих пор звучали в ушах Никона: «Мы, русские, зовемся христианами, ибо святое евангелие, и вещания святых апостолов, и святых отцов, и всех семи вселенских соборов, правила святых отцов, и царские законы, и церковные догматы — приняли все от православных греческих церквей и святых вселенских патриархов. На деле же не исполняем мы ни заповедей евангельских, ни правил святых апостолов и святых отцов, ни законов благочестивых греческих царей. Если хотите вы, чтобы был я у вас патриархом, то дайте слово и сотворите обет в сей святой соборной и апостольской церкви перед господом и спасителем Иисусом Христом, и пред святым евангелием, и пред пречистой Богородицей, и пред ангелами и всеми святыми. Обещайте, что будете держать евангельские Христовы догматы, и правила святых отцов, и благочестивых царей законы сохраните.

— Если неложно обещаете,— звучал голос Никона в Успенском соборе,— и будете нас слушаться во всем как начальника, и пастыря, и отца краснейшего, что вам говорить буду о Божиих догматах и правилах, за это по желанию и по просьбам вашим не отрекусь от великого архиерейства!»

Усердно и с любовью приняли это поучительное слово царь, бояре, освященный собор и народ — все, что сказано было, обещали перед святым евангелием и иконами выполнять непреложно. Тогда, поставив духовную власть в России на должную высоту, согласился новгородский митрополит вступить на степень высшего архиерейства.

Два меча

Сквозь грезы о прошлом с трудом выплыл Никон к действительности, когда суда его каравана подходили к устью Шексны и корабельщики уже суетились на палубах, готовя струги к выходу на Волгу. Услыхав, что Иван Чепелев

кричит по стругам поворот вправо, вверх по течению, Никон приподнялся на ложе и велел позвать приказчика к себе. Как ни хотел Чепелев идти к Москве избранной им дорогой, патриарх, сохранивший привычку повелевать, несмотря на долгое заточение, добился, чтобы караван повернул вниз, на Ярославль, как когда-то плыл Никон к Москве с мощами святого Филиппа митрополита.

Небольшая эта победа показалась патриарху хорошим предзнаменованием. Он уже не поднимался на ложе, чтобы благословлять собиравшихся на берегах Волги людей, хотя их присутствие помогало недужному сохранять бодрость духа. Никон размышлял о том, что ждет его в конце путешествия. Сделать Новый Иерусалим центром мирового православия вместо опоганенного старого храма — так! Но этого мало — он восстановит свое место в Российском государстве, будет влиять на молодого царя Федора так же, как влиял на юного Алексея. Для этого есть способы — Федор сейчас щедро жертвует на строительство новоиерусалимского храма и в будущем будет его часто посещать. Духовная власть настолько выше мирской, насколько небо выше земли — и он утвердит эту духовную власть в государстве.

Два меча владычества утвердил Христос — духовное и мирское, архиерея и царя. Царь — меч в защиту страны, закона, правды, вдов и сирот на земле. Архиерей же руководит душами и кого свяжет на земле — те будут связаны на небесах; архиерей требует, чтобы царь творил все по православным законам; архиерей самого царя венчает на царство и может связать его по заповедям Божиим; священнослужителю обязан исповедоваться царь, а не наоборот; архиерей может, наконец, выступать против царя, не как против законного владыки, но как против отступившего от закона.

— Духовенство,— думал Никон,— есть люди избранные и помазанные Духом святым. Ясно, что тот, кто обя-

зан мечом приводить людей в покорение архиереям, повинен и сам им послушание иметь. Недаром Господь сотворил на небе два светила — солнце и луну: солнце нам указывает на власть архиереев, оно светит днем, как архиерей душам; меньшее же светило светит ночью, как светская власть телу. Как месяц берет свой свет от солнца, так царь принимает посвящение, помазание и венчание от архиерея, от него берет истиннейшую силу и власть.

— Но в конце концов,— размышлял патриарх,— все связано в этом мире и не может существовать друг без друга. Так, мирские люди ищут у архиереев душевного спасения, а духовные требуют от мирских обороны от неправды и насилия: в этом они не выше один другого, но каждый имеет власть от Бога. Так-то оно так, однако светская власть, высящаяся над духовной в мирских делах, занимается частными отношениями. А в вещах духовных, касающихся всех, великий архиерей выше царя и каждый православный человек обязан архиерею послушанием, потому что он есть отец в вере православной и ему вверена православная церковь.

— По сути, много выше царя иерей сидит,— говорил себе Никон.— Хоть и честен кажется с виду царский престол от приделанных к нему драгоценных камений, обивки и злата — царь подлежит суду как получивший право на земле управлять и иметь высшую власть. Священства же престол поставлен на небесах. Кто это говорит? Сам небесный Царь: «Елика бо аще свяжете на земли, будут связаны на небесех». Что может быть равно такой чести? От земли начало суда приемлет небо, потому что между Богом и человеческим естеством стоит священник, его рука помазует царя и над головой царя. Этим показывает Бог, что священник больший властелин, ибо меньшее от большего благословляется!

— Христос глаголет,— наизусть вспоминал Никон множество подходящих случаю текстов,— «дадеся им всяка власть на небеси и на земли оставляти грехи». Кому

же такая власть дана? Кто не знает, что святым апостолам и преемникам их архиереям, а не царям. Патриарх есть одушевленный образ Христов, делами и словами в себе выражая истину, а митрополиты, и архиепископы, и епископы — образ учеников и апостолов Христовых.

— Если бы так! — Не мог не возразить себе опальный патриарх.— Ныне архиереи, оставя свое священническое достоинство, кланяются царям и князьям владычествующим, и о всем их спрашивают и чести ищут. А что делать, если цари давно поставляют в архиереи лишь тех, кого сами любят? Эти архиереи не избраны суть от Бога и недостойны, они, по писаному, «оставя свет, возлюбили тьму, оставя правый путь, ходят во стезях погибели, осуетишася в помышлениях своих». Мню, что ни один архиерей или пресвитер останется достойным, но устыдится и осудится от святых правил!

Нынешние архиереи позволяют царю Федору перекраивать церковные епархии, только патриарх Иоаким сопротивляется. Дело хорошее и укреплению православия полезное — зачем только, в безумии своем, отдают его в руки светской власти?! Патриарх московский, чая Федора Алексеевича юнцом быть, осмелел, забыл, как дрожал перед отцом его, да не поумнел. Чем сопротивляться укреплению духовной власти и расширению освященного собора — лучше бы взялся за дело и вместо глупых с царем споров сам бы государем во всех церковных делах руководил.

— Ужо,— думал Никон,— пустое место наставника царского будет кому занять, как вернусь я в свое строение — Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим. Честь власти духовной, потерянную этими глупцами и человеколаскателями, вновь возведу на прежнюю высоту. Царь здешним вверен есть — а я небесным. Царь телам вверяем есть — иерей же душам. Царь оставляет долги имениям — священник же долги согрешениям. Тот принуждает — а этот утешает. Тот силой — этот же советом. Тот

оружие материальное имеет — а этот духовное. Тот воюет с супостатами — этот же с началом и миродержателем тьмы века сего! Потому ясно: священство царства преболе есть.

Выбор. Между ревнителями благочестия и греками

В горячечном возбуждении Никон метался на ложе под мехами, мысленно уже вступив в борьбу за душу своего освободителя с сонмом церковных и светских врагов. Вдруг на лице его появилась хитрая усмешка. Тому, кто столь умело сыграл со всем кружком ревнителей благочестия, включая знаменитого Стефана Вонифатьевича и самого царя Алексея Михайловича, не пристало страшиться борьбы с современными измельчавшими иереями во главе с этим недалеким Иоакимом патриархом!

Живое воображение Никона тут же унесло его через многие годы и десятилетия и опустило на берегу Белого моря у устья реки Онеги. Тут он, нищий монах, прощался с рыбаком, перевезшим его с Анзерского острова от гнева начальника тамошней пустыни старца Елиазара. Много дней провели они с рыбаком в море: буря носила их лодку и лишь по счастью прибила к Кий-острову, где Никон в честь спасения поставил крест. «Если Бог восхочет и подаст помощь — здесь устрою монастырь Крестный»,— сказал монах рыбаку, и тот не удивился, ибо знал за человеком великие силы. На берегу Онеги они попрощались, пожали руки, и вскоре маленький парус скрылся между водами и небесами.

Никон же, поправив котомку, двинулся пешком вдоль реки Онеги на юг. Пища вскоре кончилась, и еще десять дней он шел в голоде, питаясь случайной ягодой и грибом. Наконец увидал на противоположном берегу крепкое поморское село. Стал Никон слабым голосом звать людей на том берегу, чтобы перевезли его на свою сторо-

ну, но никто из зажиточных жителей села не откликался. Лишь одна небогатая вдова, услышав голос его, умилилась и послала сына своего за голодным монахом.

Никону было стыдно, что ему нечего дать за перевоз. Поклонился он вдове и сказал: «Сам Господь за вашу ко мне показанную любовь да воздаст». Долго ходил монах по селу, ища, где ему дадут переночевать и поесть, но все его гнали, потому что в Поморье был тогда голод. Пришлось вернуться к доброй вдове, которая и сама скудно жила, однако в дом приняла и накормила. «Если Господь восхочет и жив буду,— сказал, прощаясь наутро, Никон,— всячески потщусь за эту твою милость отплатить». И действительно, он отплатил, когда построил на Кий-острове Крестный монастырь и это село со многими другими к монастырю было отписано. Тогда вдову с детьми Никон велел от всяких податей навечно освободить.

Переночевав у вдовы, пошел Никон дальше и набрел на Кожеозерскую пустынь. Больше он не мог идти и просил у игумена и братии принять его. Они не принимали в свой монастырь без вклада, а у Никона денег не было. Пришлось отдать последние переписанные собственноручно книги: Полуустав и Канонник — тогда его жить приняли. В монастыре Никон служил в церкви священником, но недолго. Томило его желание и привычка уединенной пустынной жизни, и молил он настоятеля и братию, чтобы отпустили жить на особый островок.

Получив благословение, пошел Никон на остров, построил там келью и жил, ловя рыбу. Году в 1643-м, после нескольких лет тихой жизни, приплыли за Никоном братья кожеозерские и просили ради любви Христовой явить к ним милость — быть им новым игуменом вместо умершего, ибо видели разум пустынника и добродетельное его житие. Долго Никон отговаривался, но не смог прошения братии презреть, пошел в Великий Новгород и поставлен был митрополитом Аффонием в игумены Кожеозерской пустыни.

Сойдя с пустынного острова, понял Никон, что отшельническая жизнь кончена и Господь ждет от него подвигов в миру. Так и случилось. Года через три поехал он по монастырским нуждам в Москву и познакомился там со многими людьми, за истинное благочестие в православной церкви поборающими. Особенно сошелся Никон со Стефаном Вонифатьевичем, духовным отцом царя Алексея Михайловича, протопопом кремлевского Благовещенского собора. Сей муж благоразумен, и житием добродетелен, и слово учительное во устах имеющий был истинным наставником молодого царя в вере и душеспасенном житии. Воспитанный в страхе божием, Алексей Михайлович трепетно воспринимал наставления духовника и чуть не каждый день слушал Стефана Вонифатьевича, читавшего ему из Писания, творений святых отцов и избранных житий.

Духовник зело пекся о спасении души благочестивого царя, млада суща, да не совратится ум его на зло. Государь же в сладость слушал его и любил всей душою, как истинного отца. Никон, как и многие тогда, видел печальное состояние церкви российской. Со всех сторон неслись голоса ревнителей об упадке благочестия, церковных беспорядках и нестроениях, которые не мог исправить слабохарактерный патриарх Иосиф. Надежда была на благочестивого царя, который один в целом мире оставался опорой и охранителем вселенского православия, преемником императоров византийских как в царстве, так и в вере.

С царя, убеждал Стефан Вонифатьевич, взыщет Бог за нерадение в делах церковных, от чего и само царство Российское может пострадать, и уже страдает. Как неразумных детей, карает Господь подданных российских, видя церковные беспорядки и нестроения, зазорное поведение священников: лень, небрежение к службе, пьянство и бесчинство. Часто омраченные пьянством вбегают священнослужители безобразно в церковь и отправляют

службы без соблюдения устава и правил, поют и читают сразу в пять-шесть голосов одновременно, чтобы службу, хотя и непонятную никому из-за такого шума, быстрее окончить.

Так же и монахи, любя серебро, и золото, и украшения келейные, и одежды великолепные, желают достигнуть мирской любви пирами и взятками для великоименитых властей, жизнь ведут пьяную, разгульную и развратную. Архиереи же занимают кафедры подвижнической иноческой жизнью неискушенные и от неистовства подчиненных не удерживают, но сами гордостью в роскоши величаются. Удивительно ли, что простые люди светские в церквах бесчинствуют, грубые языческие игрища творят, отнюдь священным чином от того не возбраняемые?!

Видел Никон, как Стефан Вонифатьевич много плакал и рыдал о нестроении церковном, силясь негордым своим учением благочестие в православии укрепить. Всюду искал Стефан добродетельных священников, возвышая их царской милостью всем церковным членам в пример, ставя протопопами в большие и знаменитые храмы, где они могли бы учить народ. Живя в Москве, и сам Никон подружился с людьми из кружка Стефана и часто с ними беседовал об укреплении благочестия.

В Казанском соборе служил отысканный Стефаном в Нижнем Новгороде Иоанн Неронов, заведший у себя вместо шума в службе строгое единогласие, чтобы богослужение всем было внятно. В собор, посреди торга стоящий, множество народу собиралось, и сам царь с семьей приезжал почасту слушать поучения, которыми Неронов отвращал людей от злых обычаев и призывал к добрым делам. Тем же, кто в соборе не мог поместиться, Иоанн написал на стенах церковных поучительные слова в пользу душам прихожан.

Нашел и возвысил Стефан Вонифатьевич и пламенного протопопа Аввакума Петрова, послав его бороться с не-

правдами и пороками в Юрьевец Повольский. В Кострому направлен был ревностный протопоп Даниил. В Муром поставлен неутомимый протопоп Логгин, который по вся дни, ночи и часы проповедовал слово Божие, а церковных мятежников, противящихся преданию святых апостолов, обличал и от стада Христова отгонял. Так же учил людей книжный знаток Лазарь, поп романо-борисоглебский, и другие ревнители благочестия, не раз собиравшиеся в доме Стефана Вонифатьевича и говорившие во дворце перед царем Алексеем Михайловичем об утверждении святых церквей и прекращении всяких бесчинств.

Привел Стефан Вонифатьевич к государю и кожеозерского игумена Никона. Алексей Михайлович был покорен убежденной верой и религиозным рвением своего нового знакомого. Вскоре по желанию царя Никон был посвящен патриархом Иосифом в архимандриты московского Новоспасского монастыря — родового монастыря Романовых.

— Когда же это было? — с трудом вспоминал Никон, ибо в памяти его больше сохранились не даты, но многочисленные совершенные труды.— Давно, около 46-го года. Перво-наперво установил новый архимандрит порядок и благолепие среди новоспасской братии. Главное же — стал надеждой обиженных и защитником правды, ходатаем перед престолом за словесное стадо Христово. Сильно возлюбил молодой царь Алексей душеспасительные беседы с Никоном и повелел ему каждую пятницу к себе приезжать.

— Не с пустыми руками,— вспоминал Никон,— приходил он по пятницам во дворец к заутрени. Каждый случай использовал, чтобы просить государя вдов и сирот спасти от насилия начальствующих. Радуясь возможности лично вершить добрые дела, Алексей Михайлович велел архимандриту специально собирать челобитные обиженных и к нему приносить. Слава справедливого Никона быстро распространилась по Москве. Многие шли к нему в Ново-

спасский монастырь с просьбой о заступничестве, многие обиженные и скорбные по пятницам становились у его пути во дворец, надеясь вручить свои жалобы.

Никон принимал все челобитные, особенно от беззаступных вдов и сирот, и без волокиты сам их государю читал каждую пятницу после утреннего пения. Великий же государь, все те челобитные выслушав, не выходя из церкви, повелевал милостивые свои указы на челобитные писать и решенные дела сам архимандриту вручал. Так Никон делал людям добро и отстаивал мирскую правду по божественным законам три года, сделавшись любимым царским собеседником и в душеспасенных делах помощником.

Тем временем оказалась без пастыря славнейшая новгородская митрополия. Митрополит Аффоний состарился и обеспамятел, потому просил царя и патриарха его от чрезмерных трудов освободить и нашел покой в Спасском Хутынском монастыре. Кто должен был занять его место? Со стороны,— усмехнулся Никон,— все было просто: ради добродетельного и в мире славного жития новоспасского архимандрита, по благоволению великого государя, святейший Иосиф патриарх московский и всея Руси вместе с Освященным собором поставили его в митрополиты Великого Новгорода. Главным было, конечно, желание и благоволение царя, но и поставление на митрополию именно архимандрита монастыря Новоспасского исключительным случаем не было.

Тонкость состояла в том, что он, Никон, становился не просто одним из митрополитов, но первым кандидатом в патриархи на место престарелого Иосифа. Тут уже не просто благорасположение царя и его духовника Стефана Вонифатьевича, но дальний политический расчет просматривался. Удалось архимандриту новоспасскому показать, что именно он, а не какой-либо иной церковный иерарх или ревнитель благочестия из государева окружения принесет наибольшую пользу российскому православию,

что именно он сможет сделать то, чего от него ждут. Он верно тогда решил вопрос, кто и чего ожидает.

Не ревнители благочестия, своими беседами с царем, проповедями и личным примером, а то и обличениями сражавшиеся против уклонения пастырей и прихожан от правого пути, были верным ориентиром. Они стояли за сохранение в традиционном и неповрежденном виде русских церковных обычаев и обрядов, ибо русская церковь была, по их мнению, единственной опорой и защитой чистого православия. Два Рима пали — Москва же, как третий Рим, стоит, и четвертому не быть. Рим католический совратился, Константинополь греческий и все епархии православного Востока больны — там вера православная испроказилась магометанской прелестью от безбожных турок. Лишь Русь сияет совершенным благочестием, как свет солнечный.

В это верили ревнители благочестия и многие россияне. Сам Никон гордился неповрежденностью обрядов российского православия, цветущего под защитой единственного в мире православного царства. Он вместе с большинством русских сомневался в благоверии и благочестии православных, оставшихся на месте рухнувшей Византийской империи, ибо как не повредиться вере под властью иноверцев? Да и украинцы, живущие в государстве католическом, смущаемые в униатство, а по православной церкви подчиненные патриарху константинопольскому, не внушали Никону, как и многим, особого доверия. Не раз в кружке ревнителей благочестия собеседники слыхали от него, что-де греки и малороссы потеряли веру, крепости и добрых нравов у них нет, прельстили их покой и честь, делают то, что им по нраву, а постоянства у них не найти и благочестия нимало нет.

Но говоря так, Никон все более внимательно прислушивался к протопопу Стефану Вонифатьевичу, стал у него в доме завсегдатаем. Они не только обсуждали, кого посоветовать царю послать к патриарху Иосифу

для поставления в митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты, игумены и протопопы. Постепенно Никон начал понимать, что Стефан иначе относится к грекам, чем ревнители, хотя и не стремится немедленно обратить всех в свою веру. Главное же, что царь Алексей Михайлович, как выяснилось, имел сходные со Стефаном взгляды.

Алексей Михайлович с юности любил и почитал православный Восток. Еще его дед, патриарх Филарет Никитич, ставленник иерусалимского патриарха Феофана, оказывал щедрую помощь иерусалимской церкви и приезжавшим оттуда христианам, вел оживленную переписку с патриархами константинопольским, александрийским и антиохийским, радушно принимал греческих иерархов в Москве, пытался открыть греческую школу и даже внес в русские церковнослужебные книги и ритуал несколько исправлений по греческому образцу. Внук вполне унаследовал идею деда о единении русской церкви с греческой.

Мысль эта, как понял Никон, хотя и не навязывалась царем любителям благочестия, имела глубокие корни в сознании самодержца. Если царь московский, как считали ревнители благочестия и весьма значительная часть россиян, является гарантом благоверия и надеждой всего православия, если Российское православное самодержавное государство есть центр и зерно будущего земного царства Христа — не должен ли Алексей Михайлович обновить и утвердить союз православных церквей? Должен — считали самодержец и его советники, даже обязан обеспечить единомыслие церквей в навеки нерушимом союзе.

Не только русские публицисты проповедовали свыше предопределенную миссию самодержавия, но и многочисленные приезжавшие в Москву за милостыней греческие иерархи на все лады говорили об исключительном призвании российского государя в православном мире. Разница состояла лишь в том, что отечественные проповед-

ники «Третьего Рима» и «Нового Израиля» (России) предлагали спасти православие путем распространения древних и «неповрежденных» русских книг и обрядов, тогда как «греки» приписывали именно себе роль «учителей церкви» и распространителей истинной веры.

Алексея Михайловича, насколько понял Никон, более привлекали не обрядовые тонкости (в которые он, правда, стремился вникнуть), а идея унификации как средства достижения полного единства православных церквей. Перед мысленным взором государя уже стояла Украина, а за ней — Константинополь с престолом древних благочестивых греческих царей, преемником и законным наследником которых Алексей Михайлович считал себя сам, поддерживаемый в этой мысли хором придворных и приезжих.

Ты — столп твердый, и утверждение вере, и прибежище всех православных, томящихся под иноверным игом, говорили царю. От тебя ждем мы освобождения и надеемся увидеть, как патриарх московский будет освящать собор святой Софии. От Никона не укрылось, что и сам Алексей Михайлович время от времени проговаривался публично, что хотел бы видеть всех пятерых вселенских патриархов, включая московского, служащими в константинопольской Софии, что Бог взыщет с него, если царь не принесет в жертву войско, казну и даже кровь свою для освобождения православных от власти врагов веры, освобождения, о котором не перестают просить патриархи, архиереи, монахи и бедняки, гонимые великой нуждой и жестокими утеснениями. Еще будучи архимандритом новоспасским, Никон не мог не заметить и конкретных шагов правительства по сближению церквей на подлежащих «освобождению» территориях.

В 1648 году Государев Печатный двор издал книгу игумена киевского Михайловского монастыря Нафанаила, в которой, в частности, опровергалось расхожее для России мнение о потере греками благочестия. Напротив, утверждал автор, греческая церковь хотя и в неволе пре-

бывает, но светится правою верою. Российскому народу патриарха вселенского, архиепископа константинопольского слушать и повиноваться в исправлении книжном и в науке духовной есть польза и великое приобретение, спасительное и вечное. Помимо «Книги о вере» Печатный двор издал тогда славянскую грамматику Мелетия Смотрицкого с обширным и содержательным предисловием, малый Катехизис инициатора обновления украинской православной церкви Петра Могилы и другие южнорусские произведения, подтверждающие авторитет греческой церкви.

Тогда же царь Алексей Михайлович искал на Украине ученых богословов «для своего государева дела»: перевода на славянский язык греческих книг, прежде всего Библии, имеющимся русским переводом которой самодержец и его советники были недовольны. Так же с греческими книгами сверялась Кормчая (свод церковного права), Шестоднев, учительное Евангелие — греческие книги все чаще и в открытую используются для исправления русских. Украинцы Арсений Сатановский, Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий и другие ученые мужи получают признание в Москве, работают над исправлением церковной литературы вместе с греками. В свою очередь русский ученый Арсений Суханов посылается на православный Восток для описания существующих в греческой церкви чинов и поиска древних книг для царской библиотеки.

Никон не без гордости думал, что для бывшего сельского священника и многолетнего пустынного жителя он весьма скоро и верно разобрался в настроениях при московском дворе. Он заметил, например, что всесильный боярин Борис Иванович Морозов, воспитатель царя Алексея и один из богатейших людей России, внезапно начал жаловать киевское духовенство и обращаться за разрешением религиозных вопросов не к своему духовнику, а к приезжим грекам. Учитывая влияние Бориса Ивановича

на внешнеполитический курс, следовало ожидать активизации России на юге и юго-западе (что и произошло).

Еще заметнее была деятельность царского постельничего и доверенного человека Федора Михайловича Ртищева. Тесно связанный со Стефаном Вонифатьевичем, Ртищев вдруг начал возводить под Москвой новый — Андреевский — монастырь. По совету Петра Могилы, митрополита киевского, московский царедворец поселил в монастыре монахов из Киево-Печерского монастыря, «в житии, и в чине, и во чтении, и пении церковном, и келейном правиле изрядных». При поддержке своей сестры Анны Михайловны Ртищев энергично пропагандирует в Москве подозрительное для многих «благочестие» украинского православия, приглашает певчих, переводчиков, учителей в построенное им училище. Сам Федор Михайлович учится греческой грамоте; такое же желание выражает и царь Алексей, старающийся создать в Москве греческую школу, приглашающий переводчиков и учителей с Украины.

Был и еще один фактор, одно влияние, признавать которое Никону внутренне не хотелось. В момент, когда решалось, кто будет вести российскую церковь курсом единения с православным Востоком и Украиной, а проще — кто займет в ближайшем будущем место новгородского митрополита, эту ступень к престолу патриарха московского, в первопрестольную прибыл патриарх иерусалимский Паисий. Искушенный в интригах грек на первой же аудиенции у государя обеспечил себе хороший прием, задев чувствительные струны московских властей.

«Пресвятая Троица,— говорил Паисий,— Отец, Сын и Святой Дух, едино царство и господство, благословит державное ваше царствие! Да умножит вас превыше всех царей, покажет вас победителем и одолетелем видимых противников и невидимых врагов, подобно древним и новым царям: царю Давиду, царю Иезекие и великому царю Константину. Да утвердит вас и умножит лета во глуби-

не старости, сподобит вас благополучно восприять превысочайший престол великого царя Константина, прадеда (т. е. предка.— *А. Б.*) вашего, да освободит народ благочестивых и православных христиан от нечестивых рук, от лютых зверей... Будь новым Моисеем, освободи нас от пленения, как освободил он сынов израилевых от фараонских рук жезлом — так ты знамением честнаго животворящего креста».

Далее патриарх Паисий постарался максимально подтвердить свой любимый тезис, что греки были и есть «учителя веры». Он вел богословские беседы со Стефаном Вонифатьевичем, отвечал на многочисленные вопросы царя, передал патриарху Иосифу древнюю рукопись греческой Кормчей для исправления русской и т. п. Особый интерес Паисий проявил к архимандриту Никону, усмотрев в нем восходящую звезду российской православной церкви. Долгое время потом Никон ограничивал свои воспоминания о Паисии замечанием, что тот укорял его за искажение русскими церковных книг и обрядов, в частности за неправильное сложение перстов при крестном знамении.

Никон не желал признаться себе, что беседы с хитроумным Паисием были и в духовном, и в мирском плане значительно более важны. В конце концов по вопросам церковного церемониала Паисий беседовал и с патриархом Иосифом, он даже договорился с московским первосвященником относительно общего греко-русского ритуала поста на четыредесятницу и времени совершения литургии. С Никоном же Паисий активно искал сближения, стараясь одновременно как можно более поднять его авторитет в глазах царя Алексея Михайловича.

Перед наступлением Великого поста Паисий обратился к самодержцу с заказанным ему богословским рассуждением и, наряду с благими пожеланиями, прибавил: «Еще когда я был при Вашей милости в прошлые дни, говорил я с преподобным архимандритом спасским Никоном, и

полюбилась мне беседа его; и он есть муж благоговейный, и досуж, и верен царствию Вашему. Прошу, да будет свободно приходить к нам беседовать на досуге, без запрещения великого вашего царствия». Такая похвала высокого для царя авторитета, конечно, помогла Никону занять новгородскую митрополию.

А вскоре после того, как Никон был поставлен в митрополиты новгородские, патриарх Паисий послал Алексею Михайловичу такое письмо: «Похваляем благодать, что просветил Вас Дух Святой и избрали Вы такого честного мужа, преподобного инокосвященника и архимандрита господина Никона, и возвело его великое Ваше царствие на святой престол святой митрополии новгородской. Он достоин утверждать церковь Христову и пасти словесных овец Христовых, как глаголет апостол: «Таков нам подобает архиерей» — и будем молить Бога о многолетнем здравии великого Вашего царствия». Со своей стороны Паисий просит разрешить ему почтить Никона мантией из святых мест. Ни о ком другом иерусалимский патриарх подобным образом не высказывался, ни за кого другого из русских не просил.

Помимо воли Никону вспоминались долгие споры с патриархом Паисием в царском дворце — и, более откровенные, с глазу на глаз. То, что греки являются неиссякаемым «источником веры», не казалось Никону убедительным. Напрасно Паисий доказывал, что Русь крестилась от греков, а те крещение приняли от Христа, апостолов и Иакова, брата божия. Это было в Палестине — парировал Никон, а там жили и ныне живут евреи и арабы; к собственно греческой церкви относится Греция, Македония севернее Константинополя, районы Солуня и Афонской горы, где крещение было принято от апостола Андрея, который и Русь первым крестил.

Трудно было Паисию возразить на это, но все же он настаивал, что греческие книги и обряды лучше, потому что православие у греков старее. Верно, говорил Никон,

вы крещение раньше нас приняли, вы старее, только старая одежда требует подкрепления — и паки нова будет и крепка. А у вас ныне многое развалилось, творите не по древнему преданию апостолов и святых отцов, а починить, то есть исправить, не хотите.

Не принимал Никон и ссылки Паисия на множество святых, прославивших греческую церковь, на принадлежащие ей реликвии, на славную историю, включая проведение вселенских соборов. И в нашей земле, отвечал Никон, много прославил Бог угодников своих, мощи их нетленными лежат и чудеса творят. Было у вас множество драгоценных святых реликвий — а ныне они перешли в Москву. Риза спасителя нашего Иисуса Христа теперь у нас и белый клобук, который великий царь Константин сделал отцу своему папе Сильвестру вместо царского венца, носит патриарх всея Руси. От ваших многочисленных храмов и монастырей сейчас только след остался — а в России они роскошью цветут.

«Слышьте, греки, и внимайте,— распалялся в споре Никон,— и не гордитесь, и не называйте себя источником, ибо ныне слово Господне евангельское сбылось на вас: были вы первые, стали последние; а мы были последние, а ныне первые!» «Но четыре восточных патриарха,— сопротивлялся Паисий,— были и остаются высшим авторитетом, без них ни один вопрос веры не может быть разрешен законно и праведно, они есть высший суд в церковных делах!»

«Это только вам, грекам,— парировал Никон,— невозможно ничего делать без четырех патриархов своих, потому что в Константинополе был царь благочестивый один под солнцем и он учинил четырех патриархов, да папу над ними; и те патриархи были в одном царствии под единым царем и на соборы собирались по царскому изволению. А ныне вместо того царя на Москве царь благочестивый, один под солнцем, и царство христианское у нас Бог прославил. Государь наш устроил у себя в своем

царстве вместо папы патриарха в царствующем граде Москве, а вместо ваших четырех патриархов устроил на государственных местах четырех митрополитов».

«Видишь сам,— говорил Никон Паисию,— что нам можно и без четырех патриархов ваших править закон Божий, потому что у нас глава православия — царь православный. Ведь патриарх зовется патриархом потому, что имеет под собой митрополитов, архиепископов и епископов. А у вас на Востоке, скажем, александрийский патриарх имеет два храма во всей епархии — над кем он патриарх? Не имея царя — защитника и о богатстве церкви радетеля — живя между бусурман греки закоснели и благочестие подлинное утратили — как они могут нам быть «источником веры»?!»

По прошествии многих лет Никон нехотя признавался себе, что, вдохновенно излагая Паисию иерусалимскому аргументы ревнителей благочестия, внутренне уже нетвердо стоял на своих позициях. Видимо, хитрый грек понял это, а еще скорее — сумел навести справки о несколько иных разговорах Никона со Стефаном Вонифатьевичем и царем Алексеем Михайловичем. И все же Паисий никогда не смог бы убедить его,— думал престарелый патриарх,— если бы он сам тогда не сделал вывода из одного любопытного аргумента греков. Или все же Паисий подвел его к этому выводу?

«Цари и царства сменяют друг друга,— раздумчиво говорил иерусалимский патриарх.— Так было в ветхозаветные времена, так продолжалось и после пришествия Христова. Все бренно в этом мире, и власть земная не исключение. Еще властвовали над миром римские тираны — а святая церковь уже стояла, уже управлялась епископами. Пала великая греческая империя — но и под владычеством магометан хранится неповрежденно христианство на ее землях, сохраняется благочестие, ибо непоколебимо в гонениях и притеснениях православное священство. Следовательно, священство превыше царства...»

Искра этой мысли упала на подготовленную почву. Никону не требовалось разъяснений. Хоть и не сразу признавшись себе в этом, он принял позицию греков. Нет, он никогда не отрекался от впитанного с детства чувства гордости традициями российского православия. Но если вопрос стоял о первенстве священства перед царством, Никон готов был забыть все обвинения против греков, смириться с их гордыней и использовать ее для укрепления власти архиерея в России. Царь и двор хотят единства с греками — он пойдет еще дальше их, но к своей цели! Греки хотят называться в Москве учителями — он найдет дело этим учителям, но не к унижению, а к конечной славе церкви российской. Епифаний Славинецкий и ученые малороссы горят желанием исправлять русские книги — они будут использованы для создания единых печатных книг, достойных первой и величайшей по значению поместной православной церкви.

На новгородской митрополии

Началом деяний Никона на новгородской митрополии был добрый знак. По торжественном вступлении в Новгород Великий, запомнившемся Никону шумным ликованием прихожан, он немедля отправился за благословением к старому Аффонию в Хутынский монастырь. Величие замыслов освещало тогда его чело — и Аффоний, встав со своего аскетического ложа, сказал: «Благослови мя, патриарше!» «Нет, отче святый, я грешный митрополит, а не патриарх, ты меня благослови»,— говорил Никон Аффонию, думая, что тот путается на старости лет от беспамятства. «Будешь патриархом! — твердо отвечал старец.— Потому благослови меня первым». И, приняв от Никона благословение, сам его благословил.

Вспоминая время своего митрополичьего служения, Никон и по прошествии многих лет не мог разделить деяния светские и церковные — все они сливались в одно дело: утверждение в огромной епархии законов божественных,

христианского во славу Божию благоустроения. Вскоре все узнали, что в его резиденции — Софийском доме — можно найти праведный суд. Сам митрополит слушал дела и разбирал распри, праведно рассуждая соперников и часто милостиво их примиряя. Когда пришел на новгородские земли голод, выделил Никон особую погребную палату и велел каждый день кормить в ней бедняков, сколько бы их ни молило о пропитании, когда двести, когда триста человек и более.

Пропитанием для бедных заведовал муж поистине святой, Вавила-Василий по прозванию Босый (ибо зимой и летом всегда бос ходил). Имел он такой обычай: когда всех нищих за трапезу посадит, тогда смотрит, есть ли у них на шеях кресты, и если у кого-нибудь не найдет — тому дарит свой крест. И всем завещает крест Христов, честное знамение спасения нашего, всегда на шее носить, и, глядя на него, мысленно помнить превеликую и совершенную Христа к нам любовь, и всем сердцем к пострадавшему за нас стремиться.

Каждую неделю по приказу Никона из митрополичьей казны раздавались деньги: старым по две деньги, взрослым по одной, малым и младенцам по полуденьге. А каждое утро приходящим давали по каравaю хлеба. Из личных же своих денег каждый раз раздавал Никон бедным рубль или два. Для тех, кто не мог сам пропитаться и требовал милостивого ухода, устроил митрополит четыре богадельни, испросив у великого государя царя каждой годовое содержание, и сам в эти и старые богадельни часто с милостыней ходил.

Не забывал митрополит и страждущих в темницах. Получил он от царя разрешение рассматривать вины заточенных в тюрьмах. Покаявшихся чистосердечно Никон отпускал на волю, а более всего стремился вырвать из уз людей простых, оскорбленных и заточенных неправедно власть имущими. Борясь за правду,— с гордостью вспоминал Никон,— многих он спас от бед и не напрасно

надзирал за царскими властями, не давая народу обид, налогов и разорения творить. Сам государь Алексей Михайлович, слыша о том, зело радовался, что благоволил Бог в его царствование даровать из духовного чина такого всякому благожелательного человека.

Часто в Великий Новгород приходили царские послания, наполненные мудростью (не от Стефана ли Вонифатьевича?) и любовью к митрополиту. Тогда Алексей Михайлович постоянно изъявлял желание его, Никона, видеть в царствующем граде Москве и наслаждаться благой и сладкой беседой с ним. Не помогали отговорки, что в епархии еще много дел подлежит устроению — каждую зиму царь призывал его в Москву и своим указом подолгу не отпускал. Был я и тогда,— думал Никон,— Священного писания изрядный сказатель, боговдохновенной беседой украшен, глас имел благоприятен и слушающим увеселителен, а непокоряющимся Богу и святой церкви страшен.

Короче говоря — не было тогда не только равного мне архиерея, но и подобного! Не ленясь, как многие, часто сам совершал я литургию в святой Софии Новгородской, особенно по воскресеньям и в праздники. Когда еще никто почти не говорил проповедей — по воскресеньям и праздникам учил народ слову Божию. Ради сладостных тех поучений многие из самых далеких приходов шли к литургии в соборную церковь, слушали сладостное пение, ибо первее всех повелел я в соборной церкви петь греческое и киевское пение. Чтобы люди почитали храм и священный чин, как никто заботился я о церковном украшении, благочинном одеянии и довольном содержании церковнослужителей. Нет, не зря царь Алексей Михайлович удивлялся такому святых Божиих заповедей исполнению и день ото дня ко мне все большую любовь простирал, все желания мои исполняя!

Тогда, вспоминал патриарх, не только в епархии, но и в столице пришлось ему немало потрудиться. Москва кишела разными мнениями, все отстаивали свои взгляды.

Хитроумный патриарх Паисий иерусалимский оставил в России своего подопечного — Арсения Грека,— но тот по доносу других греков был сослан на Соловки. Паисий не оставил стараний об укреплении позиций грекофилов и вскоре прислал в Москву назаретского митрополита Гавриила, знающего славянский язык. Гавриил читал в московских храмах проповеди, переводил книги, беседовал с царем и церковными властями. Никон хорошо помнил настойчивость, с которой грек указывал ему на неисправность русских богослужебных книг и обрядов, требовал сопоставления их с греческими.

Вскоре на помощь Гавриилу Паисий прислал в Москву Гавриила-Власия, митрополита Навпакта и Арты, давно сотрудничавшего с русской разведкой на Востоке и известного своей ученостью. Рекомендованный Паисием как «премудрый учитель и богослов великия церкви Христовы», каких «в нынешних временах в роде нашем не во многих обретается», митрополит был уполномочен «отвечать за нас во всех благочестивых вопросах православныя веры». Аналогичную рекомендацию дал Гавриилу-Власию патриарх константинопольский Иоанникий. Греки оказывали усиленное давление на московское правительство и наедине беседовали с Никоном об исправлении русских церковных книг и обрядов, не забывая о «милостыне» для своих епархий.

Общаясь с греками, царем Алексеем и Стефаном Вонифатьевичем, Никон сохранял добрые и дружеские отношения с кружком ревнителей благочестия, имевшим очень большое влияние. Нетрудно было догадаться, что объединяло столь разных людей, как, например, Аввакум и Федор Ртищев, Стефан Вонифатьевич и Гавриил-Власий. Все они признавали главенство царя Алексея Михайловича над российской церковью и его мессианскую роль для мирового православия. Противником для столь разных по взглядам на церковные книги и обряды людей неожиданно для многих оказался самый безобидный из иерар-

хов, не принадлежавший явно ни к одному направлению — патриарх московский Иосиф.

Патриарх долго молча сносил вмешательство придворных, а особенно царского духовника и ревнителей благочестия в церковные дела. Иосиф видел, что его постепенно оттесняют от управления церковью, лишают даже инициативы в поставлении архиереев, настоятелей монастырей и протопопов. Однако и его терпению пришел конец зимой 1649 года, когда царь указал патриарху провести церковный собор о единогласном пении. Алексей Михайлович недвусмысленно давал понять, что желает утверждения единогласного пения и осуждения церковной службы, исполняемой одновременно множеством голосов, поющих и читающих разные тексты. Патриарх взбунтовался.

Церковный собор, собравшийся в государевом дворце 11 февраля, подавляющим большинством во главе с патриархом постановил, что от введения в некоторых храмах на Москве единогласия учинилась молва великая и православные люди всяких чинов из-за долгого и безвременного пения от церквей Божиих стали отлучаться. Посему собор уложил: как было богослужение во всех приходских церквах прежде — так тому и быть, а вновь ничего не всчинать. Сторонники единогласия были повержены.

Даже Никон, привыкший к шумным спорам в кружке ревнителей благочестия, был поражен взрывом ярости, последовавшим за известием о решении собора. Конечно, патриарх Иосиф был кругом неправ. Еще Иоанн Златоуст в толкованиях на послания апостола Павла порицал службу в несколько голосов одновременно как «беснование», и Иоанн Богослов высказывался сходно. Московский Стоглавый собор в XVI веке запрещал многогласие, «новый исповедник» московский патриарх Гермоген писал о несоответствии многогласия уставу святых отцов и преданию апостольскому, объяснял, что оно «нашего христианского закона чуже».

Укоренение многогласия, ускорявшего церковную служ-

бу, вызывало суровые нарекания благочестивых людей. Против него еще в 1636 году выступали нижегородские священники, тогда же его порицал московский патриарх Иоасаф, позже против многогласия писал окружное послание суздальский архиепископ Серапион, побуждаемый к этому просьбами прихожан своей епархии. Не одну пламенную челобитную от противников многогласия получил и патриарх Иосиф, не возражавший, когда Стефан Вонифатьевич и Федор Ртищев завели единогласное пение в домашних своих церквах, когда то же сделал в Казанском соборе Иоанн Неронов, в Новоспасском монастыре — архимандрит Никон, а затем в своих городах протопопы Аввакум, Лазарь и другие.

Всякому разумному было ясно, что Дух Святой (как писал инок Ефросин) повелевает петь не просто, но разумно, то есть не шумом, не украшением голоса — но чтобы знать поемое самому поющему и слушающим то пение смысл речей можно было ведать. Однако Никон не ожидал, что даже столь сдержанный и тихий человек, как Стефан Вонифатьевич, будет в ярости публично изрыгать проклятия на патриарха, всех архиереев и сам церковный собор, да еще напишет эти ругательства в челобитной к своему духовному сыну царю Алексею Михайловичу. Еще удивительнее было то, что патриарх Иосиф не испугался ни этих проклятий, ни гнева самого государя, но твердо пошел по избранному им пути.

«Благовещенский протопоп Стефан,— писал Иосиф Алексею Михайловичу,— бил челом тебе, государю, на меня, богомольца твоего, и на нас, на весь освященный собор, а говорил, будто в Московском государстве нет церкви Божии, а меня, богомольца твоего, называл волком, а не пастырем. Тако же называл и нас, богомольцев твоих: митрополитов, и архиепископов, и епископа, и весь освященный собор,— бранными словами, и волками, и губителями, и тем нас, богомольцев твоих: меня, патриарха, и нас, богомольцев твоих, освященный собор, бранил и бесчестил.

В Уложенной книге *,— продолжал Иосиф,— написано: кто изречет на соборную и апостольскую церковь какие хульные слова — да смертью умрет. А он, Стефан, не точию на соборную и апостольскую церковь хулу принес и на все Божии церкви — и нас, богомольцев твоих, обесчестил. Милостивый... царь и великий князь Алексей Михайлович!.. Пожалуй нас, богомольцев своих, не вели, государь, своей государевой Уложенной книги нарушить — и вели, государь, нам, богомольцам своим, по правилам святых апостолов и святых отцов и по заповедям прежних благочестивых царей дать на него, Стефана, собор (то есть соборный суд.— *А. Б.*). Царь государь смилуйся!»

Отвага Иосифа объяснялась почти единогласной поддержкой его мнения епископами и приходскими священниками. И так уже большая часть российского духовенства косо смотрела на затеи ревнителей благочестия и страшилась их фанатизма. Истовая, продолжительная церковная служба с единогласным, последовательным пением и чтением, необходимая, как указывал Иосиф, для монастырей, была столь обременительна для обычных прихожан, что многие предпочитали не ходить в церковь **.

* Речь идет о Соборном уложении — кодексе законов, принятом земским собором к 29 января 1649 года и действовавшем два столетия.

** «Мы выходили из церкви, едва волоча ноги от усталости и беспрерывного стояния без отдыха и покоя,— писал православный монах Павел Алеппский, посетивший примерно в это время Москву вместе с антиохийским патриархом Макарием.— Что касается нас, то душа у нас расставалась с телом оттого, что они затягивают обедни и другие службы: мы выходили (из церкви.— *А. Б.*) не иначе как разбитые ногами и с болью в спине, словно нас распинали... Что за крепость в их телах и какие у них железные ноги! — удивлялся Павел россиянам.— Они не устают и не утомляются... Какое терпение и какая выносливость! Несомненно, что все эти люди святые: они превзошли подвижников в пустынях. Мы же вышли измученные усталостью, стоянием на ногах и голодом». Сходно оценивали российское богослужение и другие представители восточного православия, а отечественные священнослужители не переставали жаловаться на прихожан, упорно избегавших подобных испытаний.

Решение собора 1649 года было чрезвычайно опасным,— думал Никон.— Оно опиралось на соображения практического удобства духовенства и прихожан, а не на высший надчеловеческий авторитет. Эдак все будут умствовать, а не исполнять, что приказано! Источники авторитета могут быть разными — это решает власть, которой все обязаны безоговорочно подчиняться. Иначе церковь никогда не сравнится с железно организованным царством. Власть от Бога, а не от людишек, каких-то жалких попов, возомнивших, что на них почивает благодать! Ну погодите, я еще доберусь до вас!

Подспудно, однако, Никон чувствовал, что действия Иосифа и церковного собора полезны для будущего освобождения церкви. Царь и его окружение не могли не почувствовать тогда необходимости иметь на патриаршем престоле не просто единомышленника, но человека, способного скрутить разболтавшееся духовенство, твердой рукой вести церковь по нужному власти курсу. Алексей Михайлович мог защитить Стефана Вонифатьевича от суда, мог не утвердить решения церковного собора, мог продемонстрировать Иосифу свою неприязнь — и сделал это, демонстративно приглашая на службы в дворцовых церквах и соборах, в которых сам принимал участие, митрополита Никона, служившего литургию не только единогласно, но с греческим и киевским пением. Но без решения церковных властей царь не мог заставить священников отказаться от многогласия, не мог помешать им следовать собственному рассуждению, а не указанию свыше.

Позже Никон с раскаянием думал, что не извлек должного урока из споров о церковном пении. Между тем он мог бы — и должен был — увидеть предупреждение в том, как царская власть одолела патриарха Иосифа. Тогда сам Никон был слишком увлечен борьбой, верил в необоримую силу своего духа, в предопределенность высокого пути, чтобы ставить себя на место противника и предвидеть повторяемость событий...

Иосиф был убежден, что русская православная церковь находится в полном единстве с четырьмя восточными патриархами, и потому не мог долго отказывать царю, требовавшему обратиться за разъяснениями о единогласном или многогласном пении к патриарху константинопольскому. Патриарх московский наивно полагал, что, замаскировав главный вопрос среди других вопросов о церковных правилах, сможет получить незаинтересованный, по возможности объективный ответ, учитывающий допустимую разницу в обычаях поместных церквей.

Но не тут-то было. Алексей Михайлович не зря посылал на Восток богатую милостыню, а Посольский приказ не напрасно имел глубокие связи среди константинопольского духовенства и турецких властей. От имени собора константинопольского духовенства в Москву пришел заказанный царем ответ; константинопольский патриарх также лично написал Иосифу, что при богослужении единогласие не только подобает, но и непременно должно быть. Греки не преминули напомнить московскому патриарху, что константинопольская церковь есть источник и начало всем церквам. Престарелый Иосиф сдался.

В 1651 году в Москве был собран новый церковный собор, подчинившийся решениям константинопольского: «Петь во святых Божиих церквах чинно и безмятежно на Москве и по всем градам единогласно... псалмы и псалтирь говорить в один голос тихо и неспешно со всяким вниманием». Тогда Никон не придал большого значения повороту, произошедшему в отношении патриарха Иосифа к грекам, а он был значителен. Церковный собор под председательством патриарха не счел нужным даже упомянуть о решениях константинопольского собора, но демонстративно сослался на русский источник — постановление Стоглавого собора XVI века.

«Потщахся,— заявил патриарх Иосиф,— и изысках в соборном уложении, сиречь в Стоглаве», решение о единогласии. Более того, московский собор принципиально от-

верг на будущее согласование русских церковных книг и обрядов с греческими. «А если кто, гордостью дмяся и будучи от неразумия безумен, сего древнего (Стоглава.— *А. Б.*) и нынешнего нашего соборного уложения учнет превращати, и на свой разум чины церковные претворяти мимо наших древних письменных и печатных книг — и таковой по правилам святых отцов от нашего смирения примет отлучение и извержение».

Не в силах бороться с окружением царя, московский патриарх отвергал официальную грекофилию как оружие светской власти против российского священства. Пройдет время, и Никон должен будет пойти по тому же пути. Тогда он вспомнит вызывавшие прежде насмешку жалобы Иосифа, что «уже третье лето есть биен от свадник, терпя клеветные раны», тогда он сам сможет воскликнуть вслед за предшественником: «Переменить меня, скинуть меня хотят! » Но будет поздно учиться на чужом примере...

Восстание

Патриарх Никон застонал и открыл глаза, не сразу сообразив, где он. Палуба слегка покачивалась под его ложем, сбежавшиеся ученики стояли вокруг, жалостливо глядя на больного. Приняв мановение его руки за приказ поднять с одной стороны полость шатра, монахи подложили подушки под плечи учителя и открыли ему вид на берег, к которому причалило судно. Собравшаяся толпа глухо зашумела и разразилась приветственными криками. Никон отшатнулся, кровь его гулко застучала в ушах. Нет, это не кровь, это два набата вторят друг другу, он узнает их голоса: один голос сторожевой башни Великого Новгорода, другой — соборной церкви Николы Чудотворца на Ярославовом дворище. Они зовут на врага и на сход всех граждан. Это огромное бревно, схваченное сотней рук, вместо тарана бьет в ворота Софийского дома,

ворота дрожат и прогибаются внутрь. Сам он в торжественном облачении стоит посреди опустевшего двора перед готовыми упасть воротами и слышит мстительный рев несметной толпы горожан, нарастающий с каждым ударом.

Никону кажется, что это волна городских восстаний, пронесшаяся над Россией, докатилась до него. Он хочет обернуться к ключнику, чтобы приказать открыть ворота, и не может. В голове сидит неотвязная мысль, хорошо ли он спрятал воеводу князя Федора Андреевича Хилкова и тех дьяков и стрелецких голов, что сумели вырваться из рук новгородцев и добежать до Софийского дома. Многие, которые посланы были воеводой уговаривать граждан, уже побиты или брошены в застенки вместе с немцами, скупавшими по указу боярина Бориса Ивановича Морозова хлеб, мясо и рыбу в голодное время. Шепот об измене, об иноземных шпионах и предателях, что сидят близ царя и хотят выморить Русь голодом, вывезя продовольствие за рубеж, превратился в землетрясение, и пропасть разверзается у ног правителей. Преодолевая это видение, Никон вскидывает руки, и тотчас перепуганные стрельцы выхватывают засовы из ворот.

Дыша яростью, толпа вливается во двор Софийского дома. Напрасно Никон кричит слова Священного писания — страшные голоса заглушают все кругом воплем: «Сей есть самый заступник изменничей и ухранитель!!!» И внезапно, как звери, бросаются на него с дубинами и камнями, повергают на землю, топчут и волокут шепчущего разбитым ртом: «Господи, не поставь им в грех, ибо не ведают, что творят». Никон проваливается во тьму, а когда открывает глаза, видит вокруг себя ноги горожан в простых телятинных сапогах, защищающих его от толпы. Он долго лежит, как мертвый, и объятая страхом своего деяния толпа постепенно рассеивается, не разгромив даже митрополичьих покоев, где в тайном месте скрыт воевода.

Никон чувствует прикосновение многих рук — это дворовые поднимают его и на плечах несут в палаты. Он оттал-

кивает слуг — душа его загорается на подвиг. Духовный пастырь не смеет страшиться смертного убиения, но должен народное колебание успокоить и неповинные души спасти от смерти! Немедленно приказывает Никон звонить в большой колокол святой Софии, благовестить к соборному молебну, посылает привести к нему всех архимандритов и игуменов Великого Новгорода.

Он не намерен отсиживаться на Софийской стороне. Как только собирается духовенство, Никон велит взять честные кресты и иконы и через ворота, через длинный мост над Волховом ведет всех на Торговую сторону, где больше всего шумит и волнуется народ. Идти трудно, кровь с разбитого лица пачкает священную одежду, он отхаркивает ее, не видя протянутого слугой платка. Коекак доковылял Никон до собора Знамения пресвятыя Богородицы и едва смог совершить литургию, сам причастившись святых тайн, которыми принял божественное укрепление к усмирению народа.

Выйдя из собора, он должен был лечь в сани, но запретил себя укрыть и велел везти прямо на Ярославово дворище, к земской и таможенной избам, к площади, где бушевало возмущенное народное собрание. Когда сани выехали к площади и протиснулись сквозь толпу, Никон поднялся и, немало не страшась, заговорил, перекрывая гул и выкрики. «Слышите ли,— говорил он,— я вам правду необинуяся глаголал, ныне же наипаче, ибо готова уже душа моя грешная к смерти — бессмертного источника Христа моего и Бога тело и кровь сподобился уже приять. Не зря, но хотя ваши души как грешный пастырь от возмущающих волков спасти, нарочно к вам пришел. Если зрите во мне какую вину или неправду к царю или Российскому царствию — то мне сказав, убейте меня!» — Злейшие и свирепейшие возмутители не подняли на него руку и толпа один за другим стала расходиться с площади по домам.

Никон же, увидев помощь Божию, повелел вести себя в

Софийский собор и поименно проклял главных бунтовщиков. Но и это не остановило новгородцев. Мня себя сторонниками правого дела и очистителями государства Российского от изменников, написали они царю Алексею Михайловичу челобитную и за многими тысячами подписей послали в Москву. Они освободили из темницы прикованного цепью за шею митрополичьего дворецкого Ивана Жиглова и избрали его себе в воеводы, придав ему в помощь других избранных начальников. А близ Новгорода, особенно в московском направлении, поставили стражу, чтобы от митрополита и государева воеводы писем не пропустить.

Слугам и домочадцам митрополита опасно было ходить по городу. Сам Никон отсиживался с ними на Софийском дворе, но не прекращал борьбы с восстанием. Прежде всего он написал царю послание о спасении воеводы и своих действиях, нашел человека, способного тайными местами бумагу доставить, и послал его в Москву. Не дожидаясь ответа, митрополит вступил в переговоры с богатыми и влиятельными новгородцами, убеждая их ради спасения города склонять народ к повинной перед государем.

Вскоре от Алексея Михайловича Никону были тайно доставлены две грамоты. Одна содержала похвалы его действиям, другая предназначалась для объявления всему народу перед земской избой. Она гласила, что новгородцы, если не хотят быть поголовно преданы смерти, должны просить у митрополита милости и прощения своим великим согрешениям. Если-де митрополит прощения их сподобит — то и его, великого государя, будет к ним милость и отдание вин. Если же так не сотворят — вскоре будут все смерти преданы.

Наступающая на город армия князя Ивана Хованского также способствовала вразумлению восставших. Но решающим оказалось обещание Никона в случае покаяния бунтовщиков добиться у государя полного прощения всем участникам волнений. Церемония покаяния была

обставлена с большой пышностью. Представители города со слезами просили парадно облаченного Никона о заступничестве, большими толпами стекаясь в Софийский собор. После трехчасового поучения митрополит отпустил новгородцам грехи и освободил от проклятия отлученных.

Обнадеженный государевой милостью от Никона, Новгород успокоился, хотя сам митрополит отнюдь не думал о всепрощении. По его указаниям еще до подхода карательной армии без шума были схвачены и заточены в темницы особые бунтовщики числом до трехсот человек. Хованский вступил в город и сообщил Никону, что рассмотрение вопросов о наказаниях народных возмутителей возложено государем на его, митрополита, благорассудие. Проявив милосердие, духовный отец Новгорода одного человека велел обезглавить, Ивана Жиглова с десятком «главных завотчиков» высечь кнутом и сослать навечно в Сибирь, остальных бить батогами и разбросать по тюрьмам, а некоторых, по своему усмотрению, приказал освободить.

Никон обошелся с восставшими столь мягко не случайно. Обстановка была крайне взрывоопасна. После массовых восстаний в столице и других городах в 1648—1649 годах искры народного недовольства тлели повсеместно, а во Пскове до сих пор пылал настоящий пожар народного гнева. Купцы, продававшие хлеб за границу и взвинтившие цены, были перебиты как государственные изменники, воевода брошен в темницу. Прославленный полководец князь Федор Федорович Волконский, вызвавшийся подавить восстание одной силой убеждения и прибывший во Псков без войска, надо думать, раскаивался в этом. С проломленной топором головой он сидел в псковской тюрьме, а его племянник был отправлен в Москву с угрозой, что если не передаст царю требования горожан — те повесят дядю на Ригине-горе. Слух о жестоком подавлении восстания в Новгороде мог помешать усмирению псковичей, которые — кто знает — могли расправиться и с посаженным в подземелье архиепископом.

По совету митрополита командующий карательной армией князь Иван Никитич Хованский посылал во Псков для переговоров множество дворян и горожан. Условия оставались прежними: пусть псковичи вину свою перед государем признают, а государь их милостью пожалует. Сам Никон немало потрудился, составляя послание новоизбранному злохищному совету Пскова и всем гражданам, обещая в случае искреннего раскаяния выступить их заступником перед царем Алексеем Михайловичем. Но то ли на расстоянии его слова действовали хуже, то ли псковичи успели прослышать про «милость» Никона к новгородцам, а ответ он получил дерзкий.

«Передайте своему митрополиту,— заявили псковичи посланцам Никона,— что его мы отписок не слушаем. Будет с него и того, что Новгород обманул, а мы не новгородцы, повинных нам государю слать незачем и вины над собой никакой не ведаем! »

Несмотря на дерзость, к гражданам восставшего Пскова следовало до поры до времени относиться мягко. У всех на памяти была долгая и вполне безуспешная осада города войсками короля Стефана Батория. Учитывая неурядицы с Речью Посполитой и Швецией, не следовало до крайности озлоблять псковичей, выступавших пока с патриотических позиций (обвиняя их в желании от великого государя отступить и поддаться польскому или шведскому королям, Никон лишь поддерживал удобную для правительства версию). Наконец, после Великого разорения XVI века и кровавой Смуты не только духовенство, но и большинство бояр омерзались мысли начинать войну с русским городом. Никон вполне одобрял и поддерживал указ царя и Боярской думы князю Хованскому, который шел ко Пскову для обеспечения мирных переговоров, а «не для боя».

Псковичи, однако, после падения Новгорода не верили в мирные намерения окружившей их город царской армии. Как сообщали Никону лазутчики, восставшие «нисколько

не усомнились». «Хотя бы и бóльшая сила ко Пскову пришла,— заявили они,— так не сдадимся!» Первыми атаковав царские войска, псковичи отбросили их от стен и с великой отвагой день за днем выходили на вылазки, не давая Хованскому передышки.

Никон спешил утихомирить гнев московских властей, уже подумывавших о снаряжении против Пскова великой армии. Ему раньше, чем в столице, стало известно о поддержке псковичей крестьянами, отряды которых практически окружили войско Хованского под городом, и о массовом переходе царских солдат на сторону восставших. Уговоры новгородского митрополита помогли остудить слишком горячие головы в Боярской думе. На переговоры с восставшими был отправлен коломенский епископ Рафаил с большой свитой духовенства.

Псков, как и Новгород, должно было умиротворить священство, а не царство. Переговоры были долгими и трудными, но их успех предопределили милостивые условия, которые священнослужители сумели выговорить у светской власти перед отъездом из столицы. Царь Алексей Михайлович, согласно желанию Никона и его единомышленников в освященном соборе, снимал с псковичей обвинение в государственной измене и позволял объявить им свою милость. Восставшие получали прощение, «не приносяся своих вин», только освободив арестованных и впустив в город нового воеводу. Разумеется, после «утишения» восстания главных смутьянов можно было тайно схватить, но в целом дело закончилось мирно.

Новгородское и псковское восстания 1650 года укрепили славу митрополита Никона в столице и заставили царя Алексея Михайловича окончательно признать его государственные способности. Никон ясно показал самодержцу силу священства в поддержании внутреннего мира, столь драгоценного для России, только оправившейся от гражданской войны и уже вновь сотрясаемой вспыхивавшими то тут, то там народными бунтами. Алексей

Михайлович прекрасно понимал, что если во время одного из восстаний он потерял пуговицу, отверченную излагавшим требования москвичей простолюдином, то при другом стечении обстоятельств мог потерять и голову, что недавно произошло с его братом Карлом *.

Российское правительство, первым в Европе разорвавшее все отношения с цареубийственным английским народом и наиболее последовательно боровшееся за реставрацию Стюартов, не могло не связывать успех парламентского мятежа с жестокой религиозной смутой, много лет потрясавшей островное королевство. Укрепление веры и церкви в православном самодержавном государстве было остро необходимо Алексею Михайловичу не только для внешнеполитических успехов, но и для поддержания трона. В этих условиях, думал Никон, моя попытка не была такой уж безумной...

Расправа с ревнителями и обрядовые реформы

Ранним утром 16 августа 1681 года патриарх Никон очнулся от забытья и, видя себя от болезни вельми изнемогающего, повелел пристать к берегу у монастыря пресвятой Богородицы на Толге, в шести верстах от града Ярославля. Тут причастился он святых тайн от рук своего духовного отца архимандрита Кириллова монастыря Никиты, сопровождавшего бывшего узника в поездке. Ученики Никона скрывали свои слезы, видя патриарха уже шествующего к смерти, ибо он был в сознании и не велел предаваться скорби.

Здесь на берегу вышли встречать Никона игумен монастыря Богородицы с братией. Из них один монах бросил-

* Карл I Стюарт как суверенный государь, именовавшийся в дипломатической переписке «братом» царя Алексея, был казнен в Лондоне 20 января 1649 года.

ся к ногам патриарха со слезами, умильные глаголы ему вещая: «Прости меня, святитель Божий, за то, что во всех поношениях, что ты перенес, повинен я. Я Сергий, бывший архимандрит монастыря Спасо-Ярославского, во время вселенского суда над тобой на соборе при патриархах и на дворе, где ты был в заточении за стражей, досады тебе творил более всех и злобой донимал, собору угождая».

«Все сбылось надо мной,— говорил Сергий, видя, что Никон его не отвергает,— как ты предсказал мне. Извержен был бесчестно из архимандритов и влачу житие свое простым чернецом в сем монастыре. Ныне же после святой божественной литургии и по вкушении братской трапезы возлег я мало уснуть — и внезапно во сне явился мне образ твой, святейшего патриарха, глаголя: «Брат Сергий, восстань, сотворим прощение! » Тут страж монастырский застучал в дверь кельи моей со словами: «Шествует Волгой святейший Никон-патриарх и уже близ монастыря». Игумен и братия пошли навстречу тебе, я же, сие видев и от стража слышав, трепетен был ужаснулся, встал и едва в себя пришел, потек скоро вослед братии и припадаю к ногам твоим, прощения прося!»

Никон подал Сергию прощение, хоть и не видел лица его, глаза отказывались служить. Одно за другим вставали перед патриархом лица его врагов; их фигуры обступали толпой, а ближе всех стояли и склонялись над ним те, от кого он хотел получить сейчас и не ждал прощения — старые друзья, бестрепетно ввергнутые им в пучину немыслимых страданий. «Они должны понять, что я не мог поступать иначе! — думал Никон, раскаяние которого после лихорадочных поисков оправданий сменилось гневом.— Не может стоять царство, управляемое сеймами многонародными, и не должен патриарх, сей образ Христов на земле, давать над собой волю попам гордящимся!»

Скрежеща зубами от ярости, вспоминал Никон, как долго ему приходилось слушать советы ревнителей благо-

честия и кланяться им. Даже и тогда, когда он вез с Соловков мощи святого Филиппа-митрополита, они не видели его превосходства. Аввакум Петров с друзьями просили тогда царя поставить в патриархи простого попа Стефана Вонифатьевича, желая при нем и дальше церковь злочестивым своим советом управлять, а лучше сказать — уничижать. Хорошо еще, что духовник царский увидел непосильность для себя такого служения и отказался в пользу сильного. Пришлось ему, Никону, смирив гордость, кланяться и ласкаться к ревнителям, чтобы и они поддержали просьбу Стефана перед царем поставить на престол патриарший его, Никона.

Сильные любовью царской, привечаемые во дворце и дворах боярских, желали ревнители видеть патриарха в подчинении, как Иосифа, надеялись, что Никон будет строить церковь, внимая прилежно отца Иоанна Неронова и других попов глаголам! Но пришлось им, высокоумным, узнать свое настоящее место. Немедля по вступлении на престол велел Никон не пускать никого из ревнителей и на порог патриарших палат, не то что в Крестовую, где он вершил дела с собранием высоких архиереев как Христос, окруженный апостолами, по одной своей воле и благоусмотрению.

То-то взъярились прежние дружки, то-то подняли вой по всей столице на его самовластие. Да поздно. Недаром он взял клятву с царя и его приближенных слушать патриарха во всем беспрекословно! Напрасно старались ревнители посеять вражду к патриарху новопоставленному, прикидываясь друзьями,— он живо показал, кто есть в церкви действительная власть. Надо было лишь придумать, чтобы они сами дали повод для расправы и не могли надеяться на жалостливое заступничество царя Алексея. Посему перед Великим постом 1653 года повелел патриарх разослать по всем московским церквам свой указ о поклонах и крестном знамении:

«По преданию святых апостол и святых отцов не подо-

бает в церкви метания творити на колени, но в пояс бы вам творить поклоны; еще бы и тремя перстами крестились».

Указ был против древней традиции и отрицал постановление Стоглавого собора, гласившее ясно: «Иже кто не знаменается двемя персты, яко же и Христос, да есть проклят». Никон не желал ставить себя в более легкое положение, чем патриарх Иосиф, восставший против власти ревнителей и сломленный ими. Свой указ как вызов на бой Никон послал первому Иоанну Неронову в Казанский собор. И ревнители дрогнули, поняли, что в России появился новый хозяин церковных дел.

Сердце озябло и ноги задрожали у его бывших товарищей,— доносили Никону. Не в силах противиться указу патриарха и не желая выполнять его, Иоанн Неронов на целую неделю скрылся в Чудов монастырь и, запершись, молился, оставив Казанский собор на бестрепетного Аввакума Петрова. Заговорили ревнители, что зима настает и приспевает время страдания. Воистину так! Заблудшие овцы подняли свой голос против владыки церкви, подали на Никона обличительную челобитную царю — но тот, как и следовало ожидать, отдал ее патриарху. Что же, они заслужили свою участь. По доносу недовольных ревнителями священников Никон велел арестовать попа Логгина. Неронов выступил его защитником и оскорбил Никона вместе со всем освященным собором.

«В Евангелии написано,— кричал тогда Иоанн-протопоп,— что Господь говорил: «Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас». А тебе,— тыкал он пальцем в Никона,— кто хочет добра — тех ты ненавидишь; любишь, жалуешь и слушаешь клеветников и шепотников! Клевета на добрых людей доходит к тебе за пятьсот и за тысячу верст. Восстал ты на своих друзей, а на их место поставил тех, кого раньше называл врагами Божиими и разорителями закона Господня. Обвиняешь людей в том, что они прихожан мучат, а сам беспрестанно и по воскресеньям даже приказываешь бить и мучить. Ныне от тебя боголюб-

цы терпят беды и разорения. Не знаю, почему это собрание называется собором церковным, ибо от него закон Господень терпит укоризны и поношения. Такие соборы были на великих святителей Иоанна Златоустаго и Стефана Сурожскаго!»

Все громче кричали ревнители благочестия, что Никон недостойный патриарх. Но не было среди их голосов голоса Стефана Вонифатьевича и молчал царский дворец. Хоть и жалел царь Алексей Михайлович своих друзей, но против Никона не пошел. Патриарх же содрал с Иоанна Неронова скуфью и, лишив священства, сослал в заточение в Спасо-Каменный монастырь. Лишил он священства и Логгина, который при расстрижении Никону в глаза наплевал, а когда содрали с него однорядку и кафтан — он и рубаху в алтарь патриарху бросил. Даниила Никон расстриг и сослал в Астрахань, а Аввакума с женой и малыми детьми отправил на верную смерть в Сибирь.

Теперь руки Никона были свободны и его не трогали вопли бывших товарищей, долетавшие до Москвы из каменных мешков и сибирских далей. Напрасно писали ревнители благочестия Стефану Вонифатьевичу, царю, царице и придворным, что они, как новые мученики, гонимы и томимы за проповедь христианского закона и учения, за желание спасти души православные. Напрасно обличали реформы Никона и грозили небесными карами за отступление российской церкви от благочестия. Царь запретил подавать себе такие челобитные, его духовник призывал бывших товарищей слушать патриарха без рассуждений и не прекословить ему ни в чем, ибо сам царь положил свою душу и всю Россию на патриархову душу. Правда, писания староверов, как искры, рассыпались по стране, но далеко было еще то время, когда неразумием царя и собранного им лжевселенского собора разгорятся эти искры во всепопаляющее пламя и, как внезапно облитый ледяной водой, расколется камень в основании русской православной церкви.

Получив возможность без помех заняться соединением русских обрядов с греческими, патриарх приступил к делу не торопясь, давая людям привыкнуть к переменам. На соборе русских иерархов в 1654 году он объявил, что время совершения праздничного богослужения, некоторые молитвы, обычаи оставлять царские врата открытыми при литургии, не полагать мощи под престолом при освящении храма и класть антиминс под покровом при евхаристии, употреблять земные поклоны вместо малых в четыредесятницу и разрешать второженцам и троеженцам петь и читать на амвоне — не согласуются с древними русскими и греческими книгами. На этом основании собор постановил, а царь и патриарх утвердили исправления в новопечатных церковнослужебных книгах.

Невелики были утвержденные собором изменения, но и этого было нелегко добиться. Ведь решения собора показывали, что в русской церковной практике — о ужас! — есть новоизобретенные чины и обряды, есть уклонения от истинного благочестия. Недаром Никон собрал на собор лишь сильно зависимых от него церковных иерархов, не случайно строил свои вопросы к собору столь хитроумно: «И о сем прошу решения — новым ли нашим печатным служебникам последовати, или греческим и нашим старым, которые купно обои един чин и устав показуют?» А во избежание разномыслия патриарх просил первым ответить на его вопросы царя Алексея Михайловича. Правда, один человек осмелился выступить против публично объявленного желания царя. Епископ Павел коломенский вздумал не соглашаться с мнением о поклонах, ссылаясь на какие-то старые рукописи! Но уж Никон его укоротил — сослал, законопатил в темницу и огнем сжег на страх всем инакомыслящим,— и наступила тишина и единение в соборе освященном.

Чтобы закрепить успех, немедленно после собора Никон послал грамоту к константинопольскому патриарху Паисию с двадцатью семью вопросами, на которые просил

прислать соборно утвержденный ответ, заранее признавая высший авторитет восточных иерархов в русских церковных делах. Однако дожидаться ответа Никон не стал. Воспользовавшись приездом в Москву антиохийского патриарха Макария и сербского архиепископа Гавриила, он собрал новый собор.

В 1655 году в Неделю православия богослужение в кремлевском Успенском соборе было особенно пышным. В присутствии российских и иностранных архиереев московский патриарх довершил начатую ранее расправу с иконами франкского письма *. Моровую язву, солнечное затмение, разные другие бедствия приписывали россияне отданному Никоном год назад приказанию выцарапывать глаза таким иконам. Народ волновался, в адрес патриарха неслись угрозы. Но не таков был Никон, чтобы отступить с полдороги.

В присутствии царя, придворных и духовенства, при огромном стечении народа патриархи московский и антиохийский предали анафеме и отлучили от церкви всех, кто изготовлял или держал у себя франкские иконы. Показывая народу конфискованные образа, Никон бросал их на пол, разбивая в щепки. При этом он объявлял имена сановников, у которых были найдены преступные изображения. Царь Алексей Михайлович стоял здесь же с непокрытой головой. Лишь когда патриарх довершил свое дело и приказал сжечь обломки, государь тихонько попросил его предать щепки земле, а не огню — Никон соблаговолил согласиться.

После этой расправы патриарх московский произнес проповедь против двоеперстного крещения, утверждая, что оно нигде в мире не употребляется православными, и заставил патриарха Паисия подтвердить свои слова. В тягостном молчании расходились люди с этого богослуже-

---

* Т. е. с западными картинами и иконами, написанными под влиянием западноевропейской живописи.

ния, закончившегося оскорблением всенародных верований, но ни один человек не посмел возразить своему духовному владыке. Можно было открывать церковный собор.

В марте 1655 года на соборе с участием иностранного духовенства Никон решил окончательно закрепить свое решение о последовательном исправлении русских церковнослужебных книг и обрядов. Первым делом, вспоминал опальный патриарх, надо было прочесть грамоту патриарха Паисия, рассказывающую о решениях константинопольского собора. Многословно похвалив своего «возлюбленного брата и сослужебника», константинопольский патриарх благословлял его на устранение разногласий в обрядах, отвечал на все 27 вопросов и указывал на другие подлежащие исправлению нововведения русской церкви.

Здесь мысль Никона, вольно пробегавшая по следам его патриарших дел, стала раздваиваться. Умирающий со страхом увидел, что не может больше затыкать рот своему внутреннему судье:

— Полно обманывать себя. О грамоте патриарха Паисия ты напечатал в Служебнике 1656 года и так долго рассказывал эту историю, что сам поверил в нее. Как могла грамота читаться перед собором, если она пришла в Москву через два месяца после его окончания?

— Верно,— подумав, отвечал Никон.— Но велика ли разница? Для убеждения людей надо было, чтобы решения собора поддержал патриарх константинопольский, да и обвинить Неронова и епископа Павла эта грамота помогла, многие поверили.

— А ты не жалеешь, что оклеветал Неронова и Павла? Ты ведь писал Паисию, что их книги и обряды противны и русской церкви, и греческой, что они вводят совсем новые порядки!

— Они были противны русской православной церкви, потому что не принимали истины, исходящей из уст ее верховного архипастыря.

— Пусть. Но ведь патриарх Паисий не одобрил задуманные тобой исправления книг и обрядов. Напротив, он предостерегал тебя от внесения мелочных раздоров в церковь. Помнишь его слова:

«Ты жалуешься сильно на несогласие в кое-каких порядках, существующих в поместных церквах, и думаешь: не вредят ли эти различные порядки нашей вере? В ответ на это мы похваляем мысль — поелику кто боится впасть в малые погрешности, тот предохраняет себя от великих — но исправляем опасение... Если случится, что какая-нибудь церковь будет отличаться от другой какими-либо порядками, неважными и несущественными для веры, или такими, которые не касаются главных членов веры, а относятся к числу незначительных церковных порядков, каково, например, время совершения литургии или вопрос о том, какими перстами должен благословлять священник, и подобные, то это не должно производить никакого разделения, если только сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, что церковь не с самого начала получила тот устав чинопоследований, который содержит в настоящее время, а мало-помалу... Рабу Господню не подобает устраивать свары (2 Тим. 11 : 24), и особенно в вещах, которые не принадлежат к числу главных, и существенных, и членов веры...»

— Ты хорошо помнишь эти слова, потому что много раз перечитывал грамоту Паисия константинопольского, и все же решился ссылаться на него, исправляя русские книги и обряды!

— Но константинопольский собор поддержал мои решения о том, что более правильно, и я справедливо делал, приближая наши обряды к греческим!

— Разве? Даже ответ о перстосложении при крестном знамении и благословении — а это было самое важное дело московского собора 1656 года — гласил, что русские могут креститься и двумя перстами, как греки — тремя, это дело безразличное, «лишь бы только благословляю-

щий и благословляемый имели в мысли, что это благословение нисходит от Иисуса Христа».

— Исправление книг и обрядов на московском соборе и после него делалось по древним греческим и ветхим славянским книгам, которые между собой согласовались, а в новых московских печатных книгах были против них прегрешения! И без Паисия дело обошлось. Более пятисот греческих книг привез Арсений Суханов с Востока, не менее двухсот книг прислали тогда иерусалимский, антиохийский и александрийский патриархи, восточные митрополиты и архиепископы, еще больше древних рукописей собрано было в России. Прочтя их и рассудив, соборно решили мы исправить многое, в том числе и о правильном перстосложении приговорили.

— Не мог ты обрести в древних книгах троеперстное крестное знамение и благословение, ибо и на древних иконах каждый мог зреть два перста сложенные, и в ветхих славянских и греческих рукописях то же люди читали. Ты на соборе следовал только советам патриарха Макария антиохийского и все правил по его воле и по новым греческим книгам, говоря: «Я русский, сын русского, но мои убеждения и моя вера греческие».

— Я хотел соединиться с восточной церковью во всем, но видел среди архиереев скрытый ропот, упорство в заблуждениях и склонность к неподчинению. Потому и надо было объявить, что мы заранее все старые греческие и славянские книги рассмотрели и нашли их во всем между собой согласными, а в новых греческих книгах и в новых же московских печатных книгах с греческими и славянскими древними нашли немало несогласий и прегрешений.

— А объявив, ты оставил всякое попечение о поиске истины. Только просил Макария антиохийского и других греков не пропускать ни одного отличия русской церковной практики от греческой, чтобы ты мог немедленно и без рассуждений все отечественное переменить.

— Таково было желание и царя Алексея Михайловича с многими боярами. Не один я хотел полного единения с церковью восточной!

— Да, помню, ты один раз только воспротивился мнению Макария, что на Богоявление надо освящать воду дважды.

— И то государь бросился на меня с бранью. «Ты,— говорит,— мужик, блядин сын!» Я говорю: «Я твой духовный отец, зачем ты оскорбляешь меня?!» А он: «Не ты мой отец, а святой патриарх антиохийский воистину мой отец!» Насилу я тогда настоял на своем.

— В действительности ты часто ставил государя на место, когда он вмешивался в твои дела. А исправления книг он вообще не касался. Ты приписал себе эту мысль, явившуюся задолго до тебя, а сам поставил справщиком Арсения Грека, который учился в греческой иезуитской коллегии в Риме, потом был мусульманином, потом униатом, наконец, сидел в заточении за еретичество на Соловках, где ты его и нашел. Да и другие справщики правили книги все больше по новым греческим, которые печатаются в Венеции, Риме, Париже и других неправославных местах. Заявляя, что все русские книги испорчены, ты никогда не проверял, точно ли это так.

— Я всегда требовал, чтобы книги правились по древним славянским и греческим!

— Но не зная греческого, ты не проверял справщиков и во всем полагался на их волю, не слушая тех, кто указывал тебе на их ошибки и заблуждения. Ты воздвиг суровые гонения на тех, кто хотел сказать тебе истину, а сам разрешал издавать книги со старыми чтениями: Триодь Постную 1656 года, Ирмологион 1657 года и другие. Хуже того, в Иверском монастыре с твоего согласия напечатано немало книг старых, с новоисправленными совсем несогласных. Хочешь, я скажу тебе, зачем понадобилось исправление?

— Изыди, Сатана! Я сам отвечу перед Богом за себя

и все российское православие. Не может церковь твердо стоять, если каждый слуга ее рассуждает о древности и новизне, держится привычки, а не послушания архипастырю. Важна не старина, а утвержденность властью, не копание в пыльных бумагах, а повиновение! Нужно было показать наглядно, что истина исходит от архипастыря — и я делал это так, как следует. Чего стоило утвердить одно лишь троеперстное крещение!

Это хороший пример,— думал Никон.— Все было против него: древние книги и иконы, сочинения Максима Грека и митрополита Даниила, решение Стоглавого собора и всенародная привычка. Пришлось собрать еще один церковный собор в феврале 1656 года и заставить Макария антиохийского торжественно опровергнуть сказание о его предшественнике на престоле — святом Мелетии антиохийском. Ловко тогда придумал восточный патриарх, назвав двоеперстие арменоподражательной ересью!

Затем, в неделю православия, на торжественной службе в Успенском соборе Макарий с никейским митрополитом Григорием и сербским архиепископом Гавриилом перед всем духовенством, Государевым двором и народом явили троеперстное крещение и рекли: «Кто иначе, двумя персты крещение и благословение творит — тот проклят есть!» Мало того, когда вскоре прибыл в Москву молдавский митрополит Гедеон, пришлось у него и первых троих взять письменное свидетельство, что православная церковь «предание приняла от начала веры, от святых апостолов, и святых отцов, и святых семи соборов творить знамение честнаго креста тремя первыми перстами правой руки, и кто от православных не творит крест так, по преданию восточной церкви, еже она держит от начала веры даже до днесь — есть еретик и подражатель армянам, и потому отлучен от Отца, и Сына, и Святого Духа и проклят!»

Лишь после этого в апреле был созван собор русских архиереев и патриарх произнес речь о необходимости

исправления русских же чинов и обрядов, особенно об искоренении двоеперстия. Никон сослался на послание константинопольского патриарха Паисия с осуждением двоеперстия, указал на все перечисленные выступления и проклятия, уверил, что двуперстие повелось на Руси совсем недавно, после напечатания в Москве сочинения еретика Феодорита в тексте Псалтири, указал, какого решения от архиереев ожидает он, их владыка (если, конечно, им не улыбается участь Павла коломенского). Только тогда все сторонники двуперстного крестного знамения были соборно отлучены от церкви и прокляты.

— Если я не очень строго следил за последовательностью в исполнении сделанных по моей воле церковных исправлений,— оправдывал себя Никон,— особенно в конце моего короткого правления церковью российской, то лишь потому, что отвлекаем был великим множеством забот, а не от нерадения. Не до мелочей мне было, когда, осаждаемый толпами врагов, видел я, что и государь изменяется ко мне и отступает от законного благочестия!

— А мне помнится,— влезал Никону в душу внутренний враг,— будто ты начал опускать руки в деле церковного исправления уже в 1656 году, после смерти Стефана Вонифатьевича. Не он ли подталкивал тебя ранее к единению с греками? Без него ты что-то не очень стоял за согласие церкви в новоисправлениях.

— Это было позже, и Алексей Михайлович мне за это пенял, кажется, в 1662 году, когда я уже оставил престол патриаршеский и жил в Новом Иерусалиме,— защищался Никон.

— Да нет, ты и будучи патриархом на Москве говаривал, что-де старые и новые исправленные книги равно добры, и по тем, и по другим можно служить.

— Сие говорилось повинующимся мне и склоняющимся перед авторитетом, а не тем, кто самомнением своим гордится — таковых я смирял с яростью праведной!

— Тебе ли говорить об авторитете — когда ты признавал что-либо, кроме властной силы? Для тебя и святые были не в указ, коли находилась у них некая противность твоему суемудрию. Помнишь, как покорившийся тебе Иоанн Неронов в Успенском соборе во время всенощной говорил, что неверно троить аллилуйю и прибавлять «слава тебе Боже», ибо святой Ефросин Псковский, прославленный среди великих святых, так делать не велел? А ты отмахнулся: «Вор-де блядин сын Ефросин!» Произнес хулу на святого, а сам не заметил, что успенский протопоп с братией потом стали петь по-старому: аллилуйю дважды, в третье — «слава тебе Боже».

— Это было незадолго до того, как царь и бояре меня оскорбили и принудили Москву покинуть — не до Ефросина с Нероновым было!

— Нет, возгордел ты, великой духовной властью возношаясь, возлюбил красоту и соблазны мира сего. Помнишь, как велел переменить древний русский клобук на рогатый греческий, мня, что тот больше украсит лицо твое? Ты хорошо знал, какой среди духовенства и прихожан пойдет ропот, коли уничтожить и переменить одеяние первых наших святых архиереев. Потому схитрил — втайне передал готовый новый клобук в алтаре патриарху Макарию антиохийскому...

Патриарх Никон не без удовольствия вспомнил разыгранное в Успенском соборе действо. Клобук он велел изготовить по покрою греческих, но белый и с вышитым над глазами золотом и жемчугом херувимом. Он долго мерил его перед зеркалом и остался очень доволен. В соборе патриарх Макарий с обновой в руках подошел к царскому месту и сказал Алексею Михайловичу:

«Нас четыре восточных патриарха в мире и одеяние у нас одинаковое. С нашего разрешения поставлен брат наш московским патриархом — в равном достоинстве с папой римским, в знак чего отличается от нас белым одеянием. Если угодно твоему царскому величеству, я

желал бы надеть на него этот клобук, который сделал для него, чтобы он носил его подобно нам!»

Царь, своим быстрым умом уловив, что белый клобук на греческий образец свидетельствует о признании особого места московского патриарха в православной церкви, весьма обрадовался и сказал: «Батюшка, добро!» Алексей Михайлович самолично принял от Макария клобук, поцеловал его, просил Никона снять старый убор и надел ему новый, действительно красивый и величественный.

— Видишь, враг,— боролся со своими сомнениями Никон,— что и этим послужил я православной великороссийской церкви, дав ее служителям более роскошное одеяние, свойственное высоте духовного звания. Знаю, ты будешь говорить про мои облачения, посохи, кресты и панагии, что я-де наделал более сотни одеяний и менял их по нескольку раз во время службы. И в этом духовный владыка не должен уступать светскому, но соответственно высоте своего служения должен превосходить самодержца и его кичливых слуг, гордящихся златом и драгоценными одеждами.

На вершине власти

— Бог весть,— думал Никон,— что я не разорил церковь роскошными убранствами служителей ее, но обогатил и возвысил. Никогда еще не жаловалось патриаршему престолу столько земельных угодий, промыслов, рыбных ловель и лесов. Чуть не вдвое увеличил я число принадлежащих святой церкви крестьян. Антихристовы слуги записали в беззаконном своем Уложении, что нельзя-де архиереям и патриарху увеличивать свои земельные имущества, но при мне не только боярские и дворянские роды не осмеливались отказать церкви в земельных пожертвованиях на помин души — сам царь на всякий большой праздник жаловал земли в нарушение своего Уложения. Деньги и драгоценности текли церковным казначеям и

ризничим рекой, всех православных призывал я жертвовать на храмы и монастыри — и небезответны были мои слова.

Правда, архиереи и монастыри жаловались, будто я отнимаю их имущество в пользу патриаршего престола. Но это было лишь справедливо, ибо как в царстве государственные имущества должны много превосходить богатство частных владетелей, так и в церкви престол крайнего архипастыря обязан стоять на крепком основании. К государственной казне цари московские имеют еще имущества дворцовые, семейные, которыми распоряжаются лично как богатейшие люди в стране. Чуть ли не на пустом месте создал я и эту основу патриаршего могущества — милые сердцу монастыри Крестный, Иверский и величайший из них — Воскресенский, Новый Иерусалим. Не понимая моих замыслов, вопили архиереи, у коих я отбирал монастыри, вопили священники на большие поборы в мою казну, староверы обзывали меня волком за то, что князей ослезил, монастыри разорил и простых крестьян тяжкими трудами умучил.

Не было так! На пустом каменном острове начал я строить Крестный монастырь на средства государевы, не изнуряя церковных имуществ. В 1656 году заложил сей беднейший из моих монастырей, а года через четыре к нему было приписано царем крестьян 819 дворов — да больших, северных, в зажиточных селах поморских. Сам, своими трудами собирал я имущества и строил обители мимо патриаршей кафедры, начиная с выбора места и кончая освящением храмов.

Еще новгородским митрополитом приметил Никон на московской дороге место не славно и маложительно, именуемое Валдай, близ него и большое озеро Валдайское с островами, прекрасное и рыбой изобильное. Сильно полюбилось ему место то и озеро — возжелал на большом острове устроить монастырь. Приняв патриарший престол, стал Никон просить государя о Валдайском селе и озере,

Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь

чтобы устроить там обитель пресвятой Богородицы Иверской. Царь же немедленно все, что пожелал патриарх, пожаловал и своей грамотой с золотой печатью утвердил.

Не теряя времени, Никон послал на Валдай людей, выделил значительные денежные средства, церковную утварь и книги. Строительство монастырской ограды, келий и хозяйственных помещений началось незамедлительно. Деревянные постройки, необходимые для организации монастырской жизни, росли как грибы. Особое значение патриарх придавал соборному храму Иверского монастыря, который был задуман красивее, обширнее и выше кремлевского Успенского собора. Чтобы не задержать его постройку, Никон нанял более трехсот каменщиков. Строительство собора было связано с налаживанием кирпичного производства — как только собор был завер-

шен, кирпич пошел на огромные кладовые, каменные кельи и новую ограду.

Собор Иверского монастыря недаром был задуман с таким размахом. Обитель должна была стать одним из крупнейших религиозных центров православия. Прежде всего патриарх повелел митрополиту новгородскому и великолуцкому Макарию перенести в новый храм мощи святого Иакова Боровицкого. Затем Никон самолично поместил в новый монастырь части мощей наиболее почитаемых московских святителей и чудотворцев митрополитов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Затем с Афона была доставлена заказанная Никоном копия с чудотворного образа пресвятой Богородицы Иверской, в честь которой был назван новый монастырь. Это центральное сокровище монастыря и собора было оправлено патриархом в осыпанный драгоценными камнями оклад стоимостью в 14 тысяч рублей!

Пышно организованное шествие иконы с Афона на Валдай сопровождалось многочисленными «чудесами», прославленными, как и остальные сокровища Иверского монастыря, в новосозданной книге «Рай мысленный». Значение святых реликвий патриаршего монастыря подчеркивалось пышностью убранства собора. Один лишь светильник из желтой меди, величиной с большое дерево, с цветами, птицами и, по словам современника, неописуемыми диковинками, заказанный Никоном в Западной Европе, обошелся в круглую сумму. Патриарх позаботился об утвари, облачениях — всем необходимом для ослепительно великолепной церковной службы.

Пожертвования царя и бояр, лепты богомольцев, потоками устремившихся в Иверскую обитель, доходы с приписных сел, подарки самого Никона могли поддержать это великолепие, но патриарх считал необходимым добиться полной экономической самостоятельности нового религиозного центра. Он приписывает к обители несколько мелких монастырей с их владениями, правдами и неправ-

дами добивается передачи Иверскому монастырю десятков сел, рыбных и соляных озер, сам покупает для него множество деревень с крестьянами, налаживает сельское хозяйство, промыслы и торговлю. Иверский монастырь и его торговый двор в Москве (подаренный царем) становятся крупными хозяйственными центрами — и все это в считанные годы патриаршества Никона.

Многие ругали патриарха за такую трату сил и времени на неуместные в его сане увлечения хозяйством, называли скопидомом, наживающимся на слезах бедных людей. «Видит Бог, это не так!» — думал Никон. Он всегда требовал, чтобы крестьяне и работники были довольны условиями труда и платой. Еще Иверский монастырь не обжился, а патриарх уже писал строителю: «Я слышал, что крестьяне и работники скорбят — мало платишь; и тебе бы отнюдь не оскорблять наймом никаких наймитов и даром никого работать не принуждать... Бога ради, будь милостив к братии, и к крестьянам, и ко всем, живущим во святой обители».

Никогда Никон и сам не жадничал на оплату труда бедняков. «Наймом бы тебе, Бога ради, работников не оскорблять,— указывал он, например, иверскому настоятелю.— А если денег не хватит — и тебе бы за деньгами прислать к нам к Москве. А рыбные ловли отдать (в аренду.— *А. Б.*) как можно, чтобы и крестьянам не скорбно было». «А однолично бы вам плотникам давать наем по нашему указу сполна, без убавки,— требовал патриарх в другом послании,— чтобы плотников от дела не отгонять и монастырского строения не остановить». Так же и крестьянам Никон требовал платить за работу по достоинству, в голодные годы приказывал сокращать оброк на тысячу рублей, засчитывать монастырские работы льготно сразу в три тысячи рублей оброка, не брать продовольствия у пострадавших от наводнения и т. п. «А будет, волею Божиею,— завещал патриарх на будущее,— которого года учинится у них, крестьян, хлебный недород

или водное потопление — и вам бы по тому ж делать, бояся Бога, по рассмотрению».

Строительство полностью самостоятельного, не подчиняющегося никому, кроме Никона, не приписанному даже к патриаршей кафедре Иверского монастыря завершилось открытием в нем типографии. В противовес монополии Государева Печатного двора, Иверская печатня начала большими тиражами издавать церковнослужебную литературу, ориентируясь на читательский спрос, планируя экономический эффект. Даже потеряв московскую патриаршую кафедру, Никон имел возможность издавать здесь книги по своему вкусу и убеждениям, продолжая, несмотря на недовольство столичного правительства, именовать себя в этих книгах святейшим патриархом.

Иверский монастырь был задуман не только как база власти Никона, опора его влияния в стране, но как символ единения русского, украинского и греческого православия. На это указывали собранные в нем святыни, об этом говорил и состав братии, куда Никон пригласил с православного Востока греческих монахов, из Киева — ученых книжников и музыкантов, соединив их с россиянами. Однако это был лишь первый, пробный шаг московского патриарха. Убедившись в его успешном осуществлении, Никон задумал соорудить в России обитель, которая стала бы мировым центром православия.

Среди сел, купленных патриархом в Иверский монастырь, было и село Воскресенское, расположенное недалеко от Москвы. Никон приобрел его у дворянина Романа Бобарыкина, с которым потом поссорился и отлучил от церкви. Часто приезжая в Воскресенское наблюдать за хозяйственной деятельностью, патриарх неожиданно для себя подумал, что там неплохо было бы построить монастырь, чтобы жить в монастыре, а не в крестьянских домах. За мыслью вскоре последовало дело: плотники застучали топорами в окрестных лесах, близ реки Истры поднимались к небу маковки монастырской церкви и кельи

монахов. На освящение храма Никон пригласил богобоязненного царя Алексея Михайловича.

Сильно возлюбил царь место сие, сияющее красотой, яко земной рай. Немного отъехав, написал Алексей Михайлович Никону с обратной дороги в Москву, что сам Бог благоволил предназначить это место к созданию монастыря, «понеже прекрасно, подобно Иерусалиму». Как святыню спрятал патриарх царское послание в серебряный ковчег и велел вечно хранить в алтаре монастырского храма. Сам же монастырь, почитая царскую волю, назвал Воскресенским Новым Иерусалимом. И не просто назвал, но послал старца Арсения Суханова, искушенного в греческом и восточных языках, в самый старый Иерусалим сделать план тамошней великой церкви святого Воскресения, созданной благоверной и христолюбивой императрицей Еленой, матерью императора Константина, над Голгофой и иными великими святынями.

По этому плану патриарх Никон повелел возвести в Воскресенском монастыре храм, подобный иерусалимскому, но больше и величественнее, чтобы такой церкви в России и окрестных государствах не обреталось. Ибо Иерусалимский храм от турецких притеснений во многом был испорчен и разорен, а также иными неправославными верами опоганен. Он не мог отныне служить главной святыней правоверным — такая святыня созидалась по воле Никона в Российском государстве.

Как Россия являлась Новым Израилем, землей обетованной, надеждой мира, так Новый Иерусалим, по мысли патриарха, должен был стать духовным центром мирового православия. Русские, греки, сербы, болгары, православные выходцы из Речи Посполитой, Кавказа, представители всех стран и народов собирались Никоном под сень Воскресенского монастыря. Строительство грандиозного храма должно было стать делом всенародным, Новый Иерусалим — богатейшей обителью в России и всем православном мире. В то же время Никон не забывал, что

Воскресенский монастырь, вместе с Крестным и Иверским, является его личным владением, как бы островом духовной власти в Российском царстве. Для укрепления экономической мощи этого острова патриарх приписал к нему еще четырнадцать монастырей и пустыней разных епархий вместе с их землями, угодьями, крестьянами и капиталами; сюда же были отданы земли и крестьяне закрытой Никоном коломенской епархии, доходы с пятидесяти приходских церквей. В Москве патриарх пожертвовал Воскресенскому монастырю бесприходную церковь Вознесения на Панех с принадлежавшими ей землей и лавками, которые обеспечивали московское подворье новой обители. Не жалея денег, покупал Никон новые земли с крестьянами, округляя владения своего феодального удела.

В патриаршем уделе господствовала монастырская власть и монастырский суд, подотчетные только Никону. Он лично проверял счета и руководил хозяйством, набирал иноков, посвящал в дьяконы, иеромонахи и архимандриты, ставил в церкви священников и весь причт, распределял налоги на крестьян, творил суд и расправу, распоряжался доходами. Не только в своем уделе — на всех патриарших землях Никон взял в свои руки суд, отрицая право судить духовных лиц в Монастырском приказе. Его светские чиновники становились и в делах епархиального управления над духовенством, всюду осуществляя волю архипастыря.

Не только в своем уделе — во всей России, с гордостью думал Никон, он был тогда великим государем. Это сказка, будто царь Алексей Михайлович придумал имя Новый Иерусалим — Воскресенский монастырь и храм были задуманы патриархом, ловко подключившим самодержца к своим планам. Так же было и с титулом великого государя святейшего патриарха московского и всея Руси — царь лишь спустя два года по утверждении Никона на престоле стал называть его так, как давно начали называть настоятели монастырей, архиереи, земский собор.

Приписывая царю свои мысли, Никон старался польстить самолюбию самодержца, власть которого все более сосредоточивал в своих руках.

Без его совета царь не предпринимал ни одного важного шага. Богдан Хмельницкий был именно ему более всех благодарен за воодушевление россиян на помощь Украине. На земском соборе 1653 года патриарх настаивал на принятии Украины в российское подданство и объявлении войны Речи Посполитой за православную веру христианскую. Провожая на войну воевод, Никон чествовал их особо торжественным молебном в Успенском соборе, а затем говорил речь проходящим под стенами Кремля войскам и кропил их святой водой.

По патриаршему совету Алексей Михайлович сам возглавил российскую армию, которая во многом благодаря этому успешно продвигалась на запад; Никон споспешествовал и вступлению России в войну со Швецией. Обеспечение военных действий патриарх считал столь же своим, сколь и царским делом. Из своих средств он жертвовал на армию немалые суммы, с монастырей и архиереев собирал для войска хлеб и подводы, организовал производство пищалей, боевых топоров и бердышей, снаряжал воинов, отправляя их на важнейшие театры военных действий.

Непосредственно участвовал патриарх в определении главных направлений наступления русско-украинских войск. Он советовал государю сосредоточить силы на Минском и Виленском направлениях, развивать наступление на Варшаву и Краков, направить экспедиционный корпус на Стокгольм. Никон подталкивал полководцев к активным военным действиям, вел переписку с воеводами, слушавшимися его не меньше, чем самого царя. «Никон, Божиею милостию великий господин и государь», писал к иноземным владыкам и духовным лицам, обеспечивая международные интересы России.

В те годы, когда царь Алексей Михайлович отлучал-

ся из Москвы в действующую армию, патриарх реально заменял его на посту главы государства. Он требовал к докладу бояр и приказных дьяков, лично вникал в делопроизводство центральных учреждений и посылал в них указы, вершил суд и расправу. Никон был главным хранителем царской семьи, которую дважды спас от гибели во время страшных эпидемий, охвативших Москву и многие другие города страны. Он прокладывал новые дороги в объезд зараженных местностей, устраивал заставы и карантины, организовывал дезинфекцию — словом, делал все, чтобы остановить распространение моровой язвы.

Одержав обещанные Никоном победы над польско-литовскими и шведскими войсками, взяв множество городов, несказанно радуясь нечаянному уже спасению своей семьи от эпидемии, уничтожившей почти все население Москвы, царь Алексей Михайлович слезно благодарил Бога и воздавал патриарху великой любовью, с удивлением почитая Никона как ангела Божия и хранителя его дома. Самодержец видел в патриархе как бы второе «я», второго великого государя, надежного соправителя.

Никон с полным правом заявлял в предисловии к Служебнику 1655 года, что Бог даровал России два великих дара — царя и патриарха,— которыми строится церковь и государство. «Следует всем православным народам восхвалить и прославить Бога, яко избрал в начальство и помощь людям сию премудрую двоицу: великого государя царя Алексея Михайловича и великого государя святейшего Никона патриарха, которые праведно преданные им грады украшают и суд праведный творят, всем сущим под ними также творить повелевая. Тем же благословен Бог, в Троице святой славимый, таких великих государей в начальство людям своим избравший! Да даст им, государям, по пророку, желание сердец их, чтобы под единым их государским повелением все повсюду живущие православные народы утешительными песнями славили воздвигшего их истинного Бога нашего!»

Перед новыми огромными каменными палатами воздвигнутого Никоном патриаршего дворца с утра было многолюдно. Толпы священников, ждущих поставления, сновали среди карет и саней знатнейших бояр, полководцев и приказных служащих. Никон решительно отменил старый обычай, когда к патриарху можно было зайти запросто, даже без доклада. Теперь, после утреннего совещания в Боярской думе, услышав звон колокола, возвещавшего об окончании очередной патриаршей службы, виднейшие сановники государства в любое время года и в любую погоду толпились у запертых дверей его дворца, терпеливо дожидаясь, пока владыка не повелит своим служителям впустить посетителей.

Иноземные духовные лица тем временем проходили мимо ожидавших бояр и думных дворян, неторопливо беседовали с Никоном и выходили от него, видя все те же сосредоточенные на предстоящем деле лица. Наконец служитель выходил из патриарших палат и приглашал того или иного сановника к докладу. Со страхом и робостью проникал боярин в хоромы Никона, сняв шапку и сгибаясь в земном поклоне. Патриарх не оборачивался к вошедшему прежде, чем кончит читать про себя «Достойно есть», возведя очи к иконам в красном углу.

Затем Никон садился в кресло и благословлял пришедшего, который вновь кланялся до земли. Стоя перед патриархом, бояре, имевшие право сидеть даже в присутствии царя, докладывали ему все текущие дела и получали от Никона необходимые распоряжения. По окончании приема духовный владыка вновь обращался к иконам и читал молитву, затем благословлял и отпускал посетителя. Даже тогда, когда царь уезжал из Москвы и оставлял вместо себя наместника, наблюдателем над всеми делами был Никон; ни одно важное или незначительное дело Боярской думы не решалось иначе, как с его совета после доклада приказного судьи или дьяка, дожидавшихся этой возможности каждое утро.

Никон видел, каких усилий стоит боярам, привыкшим свободно держать себя с государем, это показное смирение, и намеренно унижал их, стремясь вытравить из первых лиц государства греховную гордыню. Патриарха не зря боялись больше, чем царя,— он не забывал обид и не прощал малейшего неповиновения. Да и как было не трепетать перед человеком, который мог заявить, что «ему и царская помощь негодна и не надобна, я на нее плюю и сморкаю!». Не только Никона, но и посланников его страшились больше, чем царских. Величие патриарха казалось неоспоримым.

Круто установил Никон свою власть среди архиереев российской церкви. Он добился, чтобы практически все высшие иерархи были его ставленниками, но обращался с ними крайне сурово, не как с братией, но как со своими холопами. Воспитание уважения и трепета перед патриаршим саном начиналось на крыльце его дворца, где митрополиты и архиепископы, архимандриты и игумены невзирая на погоду по два и три часа дожидались аудиенции. Никон не считал нужным их выслушивать — он, не стесняясь в выражениях, делал разносы и давал указания, обязательные для исполнения.

Не только русские, но и приезжие архиереи не могли считать себя в безопасности от гнева Никона. Так, он запретил сербскому архиепископу Гавриилу именоваться патриархом (как это делалось по старой традиции), кричал на него, а когда тот поехал из Москвы домой, допустил, чтобы сей архиерей был избит патриаршими крестьянами. Русские же архиереи поставлялись в сан не иначе, как дав обещание ни единого дела не решать без патриаршего ведома, под угрозой «лишения без всякого слова всего священного сана».

«Отец отцов», «крайний святитель» вводил систему жесткого подчинения, ибо не доверял способностям и честности своих ставленников. Российские архиереи были виновны в тяжком положении церкви, до вмешательства

Никона низкопоклонно прислуживавшей властям. Нет, думал патриарх, иерархи должны единодушно слушаться и беспрекословно немедленно повиноваться только высшей духовной власти. Сколько ни бейся с ними — один стар и глуп, другой вообще не ведает, почему он человек, а не бессловесная скотина. Только под железной рукой они могут стать полезными членами церковного организма, орудием духовной власти. Лишь боясь патриарха более всего, архиереи будут блюсти свое священническое достоинство, не кланяясь и не ища чести у царя и князей.

До низшей братии, монахов и простых священников у занятого государственными делами Никона почти не доходили руки. Помня, как он сам, не имея денег, умолял принять его в Кожеозерскую пустынь, патриарх отменил вклады в подчиненных ему монастырях. Попы теперь не должны были платить прежние пошлины за рукоположение, зато желающие занять приход обязаны были приезжать для этого в Москву *. Никон не допускал никаких поблажек нищей поповской братии, делавшихся прежними патриархами, разрешавшими таким попам ночевать в своей хлебне и дожидаться приема в теплых сенях. Служители Никона безжалостно гнали этих оборванцев с крыльца и запирали перед ними ворота патриаршего двора. Люди, пришедшие в Москву за многие сотни и даже тысячи верст, должны были трепетать перед величием главного архипастыря.

Никон немало раздумывал над ролью и местом простых попов и протопопов, которые в своей нищете вызывали презрение, несовместимое со священным саном, и вместе с тем имели наглость, как, например, члены кружка ревнителей благочестия, претендовать на церковную истину. Нет, решительно заявил патриарх, пастырские полномо-

---

* Расходы попов, вынужденных теперь дожидаться рукоположения по 15 и 30 недель в столице и давать взятки патриаршим приказчикам, по жалобам самих священников, увеличились многократно.

чия, дарованные Христом своим ученикам, целиком и полностью относятся к архиереям и никоим образом — к попам. Только поповское самочинство, вошедшее в дурную традицию, заставляет людей верить, будто простой священник может отпускать грехи и накладывать епитимию! Как Христос выше апостолов — так патриарх выше архиереев, и как апостол выше мирян — так архиерей превосходит простых попов и протопопов, считал Никон. Потому и заботиться особо о нуждах наполнявших Россию многочисленных священнослужителей он не считал необходимым.

Патриарх никогда не позволил бы себе признаться, что его тревожат страстные обличительные послания некоторых попов, ходившие по рукам во множестве списков, несмотря на суровые кары тем, у кого они находились, и угрюмое сопротивление его указам забившихся в свои медвежьи углы полунищих приходских священников. Не эта ли угрюмость и плохо скрытая ненависть, читавшаяся в глазах попов и протопопов, игуменов и архимандритов мелких монастырей, заставила его еще в бытность новгородским митрополитом отказаться от поездок по епархии для поучения местного духовенства благочестию? Не потому ли он постарался отгородиться от этих людей запертыми дверями, стражей и целой армией светских приказчиков?

— Нет,— убеждал себя Никон,— без стройной системы подчинения высшему архиерею церковь никогда не сможет занять должное место в государстве, наравне, а то и выше светской власти. Как в царстве все делается именем самодержца, недосягаемого в своем величии для слуг низшего ранга, так и в церкви все должно беспрекословно подчиняться его наместникам, действующим именем великого государя святейшего патриарха.

Темные люди не могли понять, почему, отрицая право суда над духовенством в основанном царем Алексеем Монастырском приказе, он, Никон, сам никогда не сидел на

судейском месте, не выслушивал нудные жалобы попов, изображая из себя отца отцов, но поручил прием челобитных и суд своим наместникам, мирским служилым патриаршего дома. И не только вокруг себя, но и близ архиереев поставил мирских казнителей церковных, чтобы судебные дела не докучали епископам. Только если ранее наместники назначались властью светской, то Никон прибрал их к рукам, сделал слугами и опорой патриаршего престола.

«Почему же ты не заботился одинаково о всей церкви и всех имуществах ее, устраивая за счет других архиереев и епархий свои опричные монастыри? — вопрошал Никона глас сомнения, который все труднее было заставить умолкнуть.— Ведь за малейшее покушение на свою опричнину предавал ты отлучению и проклятию, нисколько не заботясь, что за бесчестье попа и дьякона как за мордвина, черемиса и собаку положено платить пять рублей, так что среди дворян говорилось: «Бей попа, что собаку, лишь бы жив был, да кинь пять рублей!» У тебя и самого попы и протопопы сиживали на цепи, да били их палками, как собак, морили холодом и голодом, ноги ломали дубинами, кнутами кожу сдирали, тюрьмы в Сибири страдальцами переполняли, языки урезали и в срубах живьем жгли!»

«На то,— уверенно отвечал внутреннему судье Никон,— у высшего архиерея есть приказчики, чтобы смирять нерадивых без пощады, дабы другим неповадно было. Зверем, лютым львом, медведем и волком называли меня, призывая благословлять клянущих меня и молиться за творящих мне обиду. Не меня, но святую церковь оскорбляли крикуны-протопопы, сами не смиренные — желали меня смирить! Будто не должен был я сурово наказывать попов-пьяниц, монахов-ленивцев, бесчинных игуменов и архимандритов-казнокрадов, будто не имел права учить дубьем святотатствующих и погрязших в бесовских игрищах крестьян да сечь в назидание распутных женок!

То-то бесились поначалу архимандриты, архиереи и сановники царские, называя меня тираном за епитимии суровые, думая и впредь пренебрегать благочестием, надеясь на свою славу и заступников. Жаловались, что не принимаю я ходатайств ни за кого, но всех равно караю по вине их! Однако вскоре стали меня так бояться, что водворился в церкви мир, тишина и благочиние. Это ли не награда за твердость? А что в алтаре, бывало, клобук с виновного сдирал да своей рукой в ухо бил — ино не отрицаюсь и ныне того творить врагам и бесстрашным людям по образу Христову и по правилам святых апостолов и святых отцов. Не погрешит против истины тот, кто, взяв бич, изгонит из храма прелюбы творящих и иных беззаконников!»

Против царя

«От чего же тогда церковь российская не укрепилась, но после твоего патриаршества впала в смуту и совсем развалилась? — не отставал от Никона некто, кого не удавалось заставить замолчать.— Не потому ли, что сам ты стал более похож на Иоанна Грозного, чем на кроткого святителя Филиппа, поднявшего голос против тирана? И Грозный желал безусловного повиновения, а привел царство к Великому разорению и Смуте. Не с первого ли царя российского взял ты пример, желая быть первым самовластным патриархом?!»

«Нет,— отвечал себе Никон,— не я, но царь самодержавный виновник всех бедствий и нестроений церковных. Государь похитил церковь и все ее достояние под свою власть беззаконно, потому и нас ненавидит, как прелюбодей не может любить законного мужа, но всегда помышляет о нем злое. Разве царь глава церкви? Нет, ее глава Христос, как пишет апостол. Царь не есть, ни быть может главой, но только одним из членов церкви, и потому имеет в ней действовать меньше прав, чем последний чтец. А за

то, что ныне действует через волю Божию, насильством церкви Божии насильствует, все у них отнимает, архиереев, архимандритов и весь священный чин судит — за это сам судим будет Христом.

Дивно есть человеколюбие Бога,— говорил себе престарелый патриарх,— который терпит, чтобы не только сам царь святительскую власть на себя принял, но и слуги его... Православные цари священство почитали выше царства, а не как ныне, когда поносят нас, говоря в лицо: царь один велик, а вас много; если не тот патриарх — монахов много у государя! Монахи — рабы Божии и богомольцы царские, а не рабы, как ныне архиереи и монастыри по царской воле должны нести все мирское тягло и воинствовать, как простые люди...

Царь церковью обладает, священными вещами богатится и питается, хвалится тем, что все церковники: митрополиты, архиепископы и епископы, священники и причетники покоряются, оброки дают, воюют... Говорят, что тишайший государь наш и всесчастливый царь Алексей Михайлович вручил Никону досматривать всяких судеб церковных; вручил Никону не царь досматривать судеб церковных, вручила Никону благодать Святого Духа — но царь патриаршую власть унизил и тем Святого Духа благодать обесчестил, так что без царского указа не может быть ныне поставлен ни один священнослужитель! Даже удавленного или убитого похоронить или молитву во грехе рожденному дать — все по государеву указу... Архиерейство государь не почел, но обесчестил хуже поганых царей...

Да где есть закон и воля Божия,— распалялся Никон,— чтобы царю и вельможам его судить архиереев и прочий священный чин и владеть достоянием церковным?! Где есть закон такой и заповедь, чтобы царю владеть архиереями и прочим священным причтом?! Вельми возлюбил царь духовную свою мать — церковь Божию, только не такой любовью, как Христос. Царь возлюбил

церковь так, как Давид Уриеву жену Вирсавию, и тешится харчем ее со всем своим домом... Все, что собрали прежние архиереи, движимое и недвижимое имущество патриархии, все без всякого страха Божия присвоил царь в потребу себе и сущим с собой, все через божественные законы и заповеди изнасиловал и поработил... Жалованные грамоты церкви от предков своих упразднил, данные церкви Божией и святым монастырям в вечное наследие вещи, слободы, села, озера, варницы соляные, леса многие поотнял...

Ведомо повсюду и всем,— убеждал себя старец,— что царь не любит Господа, понеже не хранит заповеди его и учеников его, понеже не любит нас... И если бы любил Бога государь, то любил бы меня... И то правда, что царское величество расширилось над церковью через все божественные законы и широтой своего орла возгорделось уже на самого Бога. Не на меня единого вознесся царь, но на Бога и закон! От того-то мать его святая великая соборная церковь, которая породила его водою и Духом и на царство помазала, плачет, как сирота последняя и вдова обруганная...

С церковью и весь народ славянороссийский православный страдает люто. Государь царь за единое слово правды языки режет, ноги и руки отсекает, в вечное заточение посылает, забыв о смертном часе и не чая суда Божия... Ты,— мысленно обращался больной Никон к Алексею Михайловичу, не помня уже о его кончине,— всем проповедуешь поститься, а ныне неведомо, кто не постится? Нет хлеба во многих местах и до смерти постятся те, кому нечего есть; никто не помилован от тебя: нищие и маломощные, слепые, хромые, вдовицы и монахини — все данями обложены тяжкими и неисполнимыми, везде на Руси плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание, и нет никого, кто бы веселился в наше время...

Совет Антихриста осуществляется над государством православным, овцы выступают пастырями, ноги притво-

ряются головой, слепцы ведут народы. Духовные лица должны сейчас возревновать древним святым и лучше правды ради умереть, чем беззаконный мирской суд принять. Наступают последние времена. Преступая божественные уставы, царь избирает в архиереи и архимандриты тех, кого любит,— все те не избраны от Бога и недостойны. И все митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, священники и дьяконы вплоть до последнего чина церковного, кто, нарушая божественные правила, под суд царский и прочих мирских людей ходят — по святым божественным канонам извержены суть! Из-за такого беззакония упразднилось в России все святительство, и священство, и христианство — от мала и до велика!

Власть Антихриста не чувственная и видимая, она наступает незаметно, когда мирские власти завладевают церковью, а священнослужители поклоняются царям и князьям. Уже на Руси и храмы Божии не суть храмы. Каков может быть храм Господень под властью царя и его слуг, которые что хотят делают и повелевают? То уже не храм Божий, но мирской дом. Даже в Успенском соборе нет настоящего богослужения, и соборная церковь ныне превращена в вертеп... Ныне антихристы многие были и вижу, что наступает последний час!»

Исход из Москвы

«Скорбью одержим святейший патриарх и уже близко есть смерти!» — услышал Никон, с трудом возвращаясь к действительности из пучины бреда. Тысячи людей, встречавших его на пристани града Ярославля, горестно рыдали. Немногие могли пробиться на струг, чтобы поцеловать руки или ноги неподвижно лежавшего на смертном одре владыки. Даже когда сходни были подняты и струг медленно отошел от пристани, толпа не рассеивалась. Люди шли за судном по берегу Волги, оглашая воздух плачем и причитаниями, прося патриарха о благословении и прощении.

Никону представилось, как он, сложив с себя драгоценное облачение и надев простой черный наряд, оставив патриарший посох и взяв в руки обычную священническую палку, объявил народу, что не будет более на Москве патриархом. Тогда тоже плач и рыдание были велики, долго прихожане держали двери Успенского собора, не желая отпускать своего архипастыря. Никон сидел на нижней ступени патриаршей кафедры, часто вставая и порываясь выйти, но только по приказу боярина Алексея Никитича Трубецкого двери собора растворились. Выйдя на соборную площадь, Никон хотел сесть в свою карету, ибо на Ивановской площади стояла непролазная грязь, но народ растерзал повозку, распряг коня и изрезал сбрую.

Пылая яростью против царя и его сановников, патриарх твердо решил уйти из столицы. Пешком по грязи он пересек Ивановскую площадь; ему подвели царскую карету, но Никон продолжал свой путь пешим до Спасских ворот Кремля, где толпа народа не давала ему прохода и до тех пор держала воротины, пока их не распахнули посланные самодержцем слуги. Сопровождаемый огромными толпами плачущих москвичей, уговаривавших его не покидать столицу, патриарх продолжал шествие через Красную площадь и по Ильинке к своему Воскресенскому подворью. Здесь, благословив и отпустив богобоязненных жителей, Никон провел три дня и три ночи, пока не выбрался из Москвы в двух простых, плетенных из прутьев колясках, на одну из которых погрузил свои вещи.

Никон ехал в Воскресенский монастырь так быстро, что князь Трубецкой, посланный ему вдогонку с царской каретой, встретился с ним только в Новом Иерусалиме. Алексей Никитич как верный слуга царя Алексея Михайловича очень просил патриарха принять карету, но Никон отказался наотрез. Тогда Трубецкой оставил карету в монастырском селе Черневе, где она и стояла многое время, ибо ни царь, ни патриарх ее не брали — в такой вошли задор.

Удалиться с патриаршего престола Никон решил не вдруг. Поначалу, как стал он высшим российским архиереем, царь и бояре по их клятвенному обещанию слушать его во всем служили Христовой церкви праведно. Был молодой Алексей Михайлович кроток и послушлив, так что, когда по прошествии трех лет Никон просил отпустить его с патриаршества, самодержец сильно уговаривал остаться, не зная, как без него церковь управить. Никон снизошел к сей просьбе и пуще прежнего стал обличать сановников и народ за небрежение церковным чином и мирские безобразия, а также и самого царя евангельским и апостольским заповедям учить.

С годами, однако, стал Алексей Михайлович все больше и больше тяготиться суровыми Никона требованиями, почувствовал для власти своей тесноту, стал многие дела по своей воле вершить и по совету с боярами. Царское правительство стало более последовательно соблюдать Соборное Уложение о светском суде над священным чином, вынуждено было в условиях тяжелой войны пополнять казну за счет церковных и монастырских доходов, а главное — сам Алексей Михайлович во многих случаях Никона патриарха перестал слушать, начал даже укорять! Этого унижения священства перед царством патриарх не мог ни спустить, ни перенести. Самолюбие обоих владык страдало.

Прямая распря случилась 6 июля 1658 года. Во дворце самодержца давали пир в честь приехавшего из Грузии царевича Теймураза. Патриарх, вопреки обычаю, не был приглашен. Он был взбешен и отправил в царский дворец своего стряпчего Дмитрия Мещерского, князя известной фамилии. На беду, перед дворцом собралась огромная толпа поглазеть на церемониальное шествие. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, отвечавший за порядок прибытия гостей, рассвирепел, расчищая путь, настолько, что среди народа трахнул палкой по голове и Мещерского.

«Напрасно ты бьешь меня, Богдан Матвеевич,— крикнул князь,— я здесь не просто, но с делом!»

«Да кто ты есть?!» — осведомился осерчавший распорядитель шествия, который, как и многие придворные, был глубоко оскорблен многолетним вмешательством духовенства в государственные дела.

«Я патриарший человек,— отвечал Мещерский,— и с делом прислан».

«Ах ты ... ...— сказал Хитрово, хватив князя палкой по лбу со всей силы, нанеся основательную рану,— не дорожись-де патриархом!»

Как только Мещерский, поддерживаемый под руки какими-то людьми, добрался до патриаршего дворца, тут же, в Кремле, и рассказал, как было дело, Никон написал резкое письмо Алексею Михайловичу, требуя немедленно дать удовлетворение за обиду своего стряпчего. Влияние патриарха и всеобщий страх перед ним были настолько велики, что его послание вручили царю прямо за пиршественным столом. Царь тут же продиктовал ответное послание, что сам расследует это дело и лично увидится с Никоном.

Царский стольник Матюшин принес этот ответ патриарху, но Никон был в слишком большой ярости, чтобы ждать. Он послал стольника обратно, желая немедленного расследования. Алексей Михайлович все еще сидел за столом с царевичем и боярами, но нашел время, чтобы послать Никону еще одно успокоительное письмо. Прочтя его, патриарх с угрозой сказал царскому стольнику: «Волен великий государь мне обороны не дать, а я стану с ним церковью управливаться!»

Однако напрасно готовил Никон суровое поучение отбившемуся от рук самодержцу. Царь не желал более выслушивать нотации, да и бояр шестилетнее владычество Никона порядком утомило: они дружно отговаривали Алексея Михайловича от встречи с патриархом. Никон не шел во дворец — Алексей Михайлович и его двор

не появились на торжественной патриаршей службе 8 июля, в праздник Казанской Божией Матери, на которой обыкновенно присутствовали.

Никон все еще надеялся смирить царя и 10 июля, на праздник Ризы Господней (присланной царю Михаилу Федоровичу персидским шахом) приказал благовестить в большие колокола до тех пор, пока Алексей Михайлович не явится в Успенский собор. Он позабыл, как государь пренебрегал службами патриарха Иосифа, молясь с ним, Никоном, в дворцовых церквах, и был уверен, что благочестие вынудит самодержца преодолеть свою гордыню.

Долго гудели в Кремле большие колокола, призывая сначала на вечерню, а потом на всенощную. Никон был растерян. Его власть великого архиерея, самим Богом поставленная выше царской, растворялась, как дым. Исчезли толпы, с раннего утра собиравшиеся при входе в патриарший дворец. Бояре и дьяки не появлялись с докладами. Не заходили для разговора иноземные архиереи. Попрятались куда-то вечно страшившиеся его гнева митрополиты и архиепископы, архимандриты и игумены. Даже нищие попы, тащившие свои жалкие взятки патриаршим приказным за поставление на место или перемену прихода, разбежались по Москве, ожидая, чем кончится ссора «на верху».

Патриарх вдруг обнаружил, что его освященная саном власть чуть ли не вся была властью царского любимца. Правда, огромные богатства церкви обеспечивали его влияние, но не столь явное и ощутимое, к которому он привык. Огромная армия священнослужителей не помогла бы ему в конфликте с самодержцем, на которого подавляющее большинство, если не все они, возлагали свои надежды в деле защиты церкви и благочестия. Даже архиереев без соизволения царя Никон не мог не то что переменить, но и примерно наказать: патриаршие приказные мигом вспомнили, что законный суд над священнослужителями принадлежит Монастырскому приказу.

Видя, что остался он один и быть ему не у чего — суд и всякое церковное управление приняла на себя царская держава,— дал Никон место гневу. А тут еще после заутрени пришел в Успенский собор князь Григорий Ромодановский и говорит: «Царское величество гневен на тебя, и сего ради к заутрене не пришел, и к святой литургии ожидать себя не повелел». И еще сказал Ромодановский: «Ты царским величеством пренебрег и пишешься великим государем, а у нас один есть великий государь — царь».

«Называюсь я великим государем не самозванно,— отвечал Никон,— так восхотел и повелел мне называться и писаться его царское величество. На то свидетельство имеем мы: грамоты, писанные царского величества рукою».

«Царское величество,— возразил князь Григорий,— почел тебя, как отца и пастыря, но ты не уразумел, и ныне царское величество повелел мне сказать тебе: отныне впредь да не пишешься и не называешься великим государем, а царь почитать тебя впредь не будет!»

Тогда-то и повелел Никон принести в собор простую монашескую рясу, клобук и палку, решив самодержца и всю светскую власть примерно наказать, по евангельскому слову: «Если гонят вас из града, бегите в иной град». Отслужив литургию, по заамвонной молитве прочитал патриарх поучение народу и стал говорить о своем патриаршем недостоинстве, что-де и так он более трех лет не хотел быть в патриархах и только государь его уговорил, а впредь он, конечно, на Москве патриархом быть не желает и идет по смерть свою в монастырь.

От такого невиданного дела пришли прихожане в большое смятение, соборные двери заперли, не выпуская Никона, а сами послали митрополита крутицкого Питирима во дворец сообщить царю о случившемся. Сидя в своем бедном одеянии на ступеньке патриаршего престола, Никон представлял себе переполох во дворце. Даже сейчас он ждал, что царь и его советники образумятся и бросят-

ся умолять высшего архиерея о прощении, что все еще вос-
становится.

И действительно, вскоре в собор вошел виднейший в Думе боярин Алексей Никитич Трубецкой с примирительным государевым словом: «Для чего он патриаршество оставляет, не посоветовавшись с великим государем, и от чьего гоненья, и кто его гонит? И он бы, святейший, патриаршества не оставлял и был по-прежнему».

Но Никону нужно было не примирение, а решительная победа над гордыней самодержца, и он отвечал с показной кротостью: «Оставил я патриаршество собою, а ни от чьего и ни от какого гоненья, государева гнева на меня никакого не бывало. А я о том и прежде государю бил челом и извещал, что мне больше трех лет на патриаршестве не быть». С этими словами подал Никон Трубецкому письмо к царю и велел просить у Алексея Михайловича дать ему келью.

Трубецкой начал было выходить из себя, но сдержался и перед тем, как уйти, попросил у патриарха благословения. «Какое тебе от меня благословение? — ответил Никон.— Я не достоин патриархом быть, если хочешь, сам тебе стану исповедовать грехи свои». «Мне до того какое дело, твою исповедь слушать,— сорвался Трубецкой,— то дело не мое!» Он поспешил во дворец, но вскоре вернулся. По царскому указу князь Алексей Никитич велел открыть соборные врата и вернул Никону его письмо.

«Великий государь велел тебе сказать,— объявил Трубецкой,— чтобы ты патриаршества не оставлял и был по-прежнему. А келий и на патриаршем дворе много, в которой хочешь — в той и живи!»

«Я уж-де слова своего не переменю,— ответствовал оскорбленный таким равнодушием царя Никон,— давно у меня о том обещанье, что патриархом мне не быть!» — И пошел из соборной церкви вон.

Противостояние

Мир не признал Никона — и он порешил от мира отказаться, затворившись в Воскресенском монастыре. Когда вскоре пришел к нему из Москвы царский посланец, тот же князь Трубецкой, то узрел Никона в грубом рубище и железных веригах, умерщвляющего плоть свою воздержанием, постом, молитвой и великими трудами. «Убоялся я того,— объяснил Никон свой отъезд из Москвы,— чтобы мне, больному, в патриархах не умереть; а впредь в патриархах быть не хочу — если захочу быть патриархом, пусть я проклят буду и анафемствован!» С тем Трубецкой и уехал, а царь, оскорбясь, перестал за Никоном людей посылать. На свое место повелел Никон выбрать другого патриарха, а пока благословил ведать церковью митрополита крутицкого Питирима.

Принялся Никон по монастырскому обычаю трудиться — сам на плечах кирпичи носил для строения великой церкви в Новом Иерусалиме, начал окрест монастыря пруды копать и рыбу в них разводить, также мельницы строить, огороды и сады сажать, рубить лес и расчищать поля под пашню, копать на болотах рвы для устройства сенокосов на осушенных местах, работать косой и граблями, сметывать сено в стоги. Во всех работах показывал Никон монахам пример, первым вставая и последним от трудов исходя.

Смирение Никона приносило не только духовные плоды. Царь Алексей Михайлович, видя его не претендующим на власть и умиляясь подвижническим трудам, согласился оставить за Никоном его владения: Воскресенский, Иверский и Крестный монастыри со всеми приписными монастырями, пустынями, церквами, угодьями и промыслами, на которых работало тогда более шести тысяч крестьян. Чтобы доходов хватало на возведение храма в Новом Иерусалиме, самодержец отказался взимать с них государственные налоги и оброки. Он и сам то и

дело присылал Никону милостыню по тысяче и две рублей, жаловал братию снедью от своего стола, делал в пользу Новоиерусалимского храма отчисления с Камских соляных варниц.

Где-то через год после оставления престола, вспоминал Никон, царь прислал к нему гонца предупредить о татарском набеге и просить укрыться в Макариев Калязин монастырь, имевший крепкие стены. Зная нрав Тишайшего, опальный патриарх заподозрил ловушку и ответил резко: «Чем в Калязин идти, лучше мне быть в Зачатейском монастыре, что в Китае-городе в углу!»

— Про который святейший патриарх Зачатейский монастырь говорит, что он лучше Калязина монастыря? — вопросил царский посланный.

— Тот,— ответил Никон,— что на Варварском крестце под горой у Зачатия.

— Так там же тюрьма, а не монастырь,— возразил гонец.

— Вот и возвести великому государю,— сказал Никон,— что иду в Зачатейский монастырь доложить о всяких своих нуждах.

Спешно придя к Москве, он остановился на Иверском подворье и известил царя, что желает беседовать с ним, дать благословение и уйти обратно, как только кончится татарская опасность. Тут царь и бояре перепугались, стали между собой советы держать и в первый день Никона во дворец не пустили. Во второй день, посовещавшись, послали к патриарху думного дьяка Алмаза Иванова вопросить, о чем он хочет говорить с государем. Никон отвечать дьяку отказался и благословения царю заочно не дал; он сильно волновался и ничего не ел до вечера третьего дня, когда после бурных споров во дворце его все же пригласили к государю.

Сопровождаемый толпами народа, ликующего по поводу возвращения архипастыря и отступления крымских татар, Никон прошествовал во дворец. Царь встретил

его на переднем крыльце и сам проводил в палату, где они поговорили о государевой семье, военных делах и душеспасительных вещах, как прежде. Затем Никон пошел к царице и детям Алексея Михайловича, задержавшись на женской половине часов до четырех ночи в молитвах. Ни единого слова о его возвращении произнесено не было. Отказавшись прийти на утренний пир во дворец, Никон на рассвете покинул столицу, где ему на каждом шагу чудились заговоры.

Но враги не отставали от него ни на шаг и чуть было не настигли в самом безопасном, казалось бы, месте: в Крестном монастыре на Белом море, где Никон вершил каменную соборную церковь Воздвижения и копал в диком камне великий колодезь («на Кий-острове скудость воды была преизрядна»). Келейник его Феодосий оказался подосланным крутицким митрополитом Питиримом и чудовским архимандритом Павлом. Они обещали Феодосию сан митрополита великоновгородского, если тот отравит Никона. Однажды Феодосий поднес опальному патриарху питье в хрустальной кружке, да Никон вылил отраву, говоря: «Гораздо мутно питье, налейте свежего». Лишь случайно Феодосий был замечен за приготовлением злоотравного зелья, схвачен и допрошен.

Собственноручное признание агента Питирима и Павла по приказу Никона было отправлено в Москву, туда же отослан и Феодосий со своим сообщником. Царские следователи полностью подтвердили существование заговора на жизнь Никона, но его враги — церковные иерархи — вышли сухими из воды. Казни подвергся один Феодосий. В ответ Никон заявил, что оставил лишь московский патриарший престол, но не отрекался от сана патриарха, что все архиереи, поставленные им на свои степени, должны его почитать, а Питирим крутицкий седалище архиерея великого олюбодействовал незаконно.

Не хотел и царь оставить Никона в покое. Алексей Михайлович крайне обеспокоился доносом дворянина Ро-

мана Бобарыкина, будто бывший патриарх проклинает самодержца и поет на молебне неприличные псалмы: «Да будет двор его пуст, и жена его вдова, и чада его сироты», и подобные. Немедля в Москве был созван собор русских и иностранных архиереев, постановивший сослать Никона в дальнюю и жестокую ссылку; лишь один или два архиерея настаивали на расследовании. Царь согласился с последними.

Верный царский прихвостень Паисий Лигарид, митрополит газский, с толпой духовных лиц и придворных, с воинством полковника Василия Философова окружил Воскресенский монастырь. Они не стали слушать объяснения Никона, что он проклинал не царя, а своего супостата Романа Бобарыкина, оттягавшего в суде часть монастырской земли. На месяц, пока велось жестокое следствие, монастырь был заперт и окружен стражей, а его мирские работники томились в тюрьме в колодках. Следствие ничего не дало, но и впоследствии Новый Иерусалим оставался под стрелецкой охраной.

Никон видел, что его попытка уйти от мира несостоятельна. То и дело в монастырь по новым доносам набегали следователи. Царя особенно волновало пребывание в Новом Иерусалиме множества иноземцев — греков, поляков, украинцев, белорусов, новокрещеных немцев и евреев, монахов и бельцов, с которыми Никон вел довольно откровенные беседы о положении православной церкви в России. Выговоры из Кремля сыпались на Никона один за другим, однако царь не забывал посылать своему бывшему другу и наставнику множество гостинцев, которые Никон делил с братией за общей трапезой.

Эта непоследовательность великого государя склонила Никона к мысли поддаться на уговоры хитроумного царского придворного Никиты Зюзина, писавшего в Новый Иерусалим, что Алексей Михайлович через своих приближенных — Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, Артамона Сергеевича Матвеева и других — выражает

настойчивое желание, чтобы патриарх вновь занял свое место в столице. Никон опасался коварства своих врагов, но в посланиях Зюзина царская воля была изложена весьма убедительно и подробно. Указывалось число, когда патриарх должен прийти к Москве, и время — к воскресной заутрене; говорилось, что Никон должен представиться у городских ворот архимандритом Саввина-Сторожевского монастыря.

В Успенском соборе, сев на патриаршее место и опершись на отставленный им при оставлении кафедры посох святого Петра митрополита, Никон должен был принять одну за другой три делегации царских посланных и наконец взять из их рук ключи от патриаршего дворца. На этом затянувшуюся ссору царя и патриарха считалось возможным прекратить. Не без колебаний Никон все же поддался убеждениям Зюзина и поехал в столицу, выполняя все данные ему от имени царя предписания.

Внезапно появившись в Успенском соборе под пение «Достойно есть», изгнанник целовал иконы, взял прислоненный к патриаршему месту архиерейский жезл и под смятенный шепот духовенства и восторг народа занял свое место. В царском дворце, куда принес весть о неожиданном явлении Никона митрополит ростовский и ярославский Иона, со многими сановниками чуть не приключился удар. Сам Алексей Михайлович заволновался, ибо ничего о посланиях Зюзина не знал — тот думал такой хитростью царя и патриарха помирить. Немедля созвал государь своих бояр и, пока в Успенском соборе пели заутреню, отрядил людей узнать, чего ради и за каким делом святейший в Кремль пришел.

«Принес я мир и благословение великому государю, дому его царскому и всей своей пастве!» — отвечал Никон посланным. Они же, возвратившись, сказали о том великому государю.

И вновь, посовещавшись, послали светские власти и архиереи передать Никону совет: «Возвращайся-де в Вос-

Никон после оставления патриаршего престола

кресенский монастырь, не видя лица царского» (ибо царь боялся встречаться с Никоном). Передали патриарху повеление царево, а он говорит: «Хочу видеть лицо царское и благословить дом его!» Стали посланники укорять Никона, что неправедно, аки тать в нощи пришел, и видеть ему царя невозможно, потому что великий государь призвал в Москву вселенских патриархов и прежде пришествия их к Москве святейшего не примет. Тогда сильно осерчал Никон и говорит:

«Возвестите царскому величеству, что требую его видеть для нужных великих дел!»

Посланные же стояли упорно, отсылая Никона до приезда восточных патриархов, а клир Успенского собора продолжал утреннее пение. Еще не кончилась заутреня, как в третий раз пришли к Никону от царя и сказали:

«Великий государь повелел тебе идти назад в Воскресенский монастырь!» Слышав такое повеление, встал Никон с престола, поклонился святым иконам и, взяв с собой посох Петра митрополита, сел в сани за воротами Кремля. Но прежде чем сесть, отряс он прах со своих ног с Христовыми словами: «Где не приемлют вас — исходите из града того, и прах, прилипший к ногам вашим, отрясайте, свидетельствуя на него; сего ради и я прах, прилипший к ногам моим, отрясаю вам!»

«Ничего,— сказал некий стрелецкий полковник, данный патриарху в стражи,— мы прах сей подметем!»

«Разметет вас сия метла,— молвил Никон, указуя перстом на явившуюся в небесах комету,— что реет на небеси!»

И затем поехал через Каменный мост в Никитские ворота, незадолго до рассвета. Сопровождали патриарха боярин Дмитрий Долгоруков и полковник со стрельцами. Когда выехали за ворота Земляного города, боярин велел остановиться и сказал:

— Государь царь и великий князь (с полным титулованием) велел у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить!

— Бог его простит,— ответствовал Никон,— если не от него смута сия!

— Какая смута, поведай мне? — вопросил боярин.

— Если невинен великий государь в сем моем приезде,— отвечал Никон,— и без его воли сие было — его Бог простит, возвести так великому государю.

Никон поехал дальше, а боярин вернулся во дворец и рассказал, что взял святейший с собой посох Петра митрополита, а когда возражали ему в соборе ключари, заявил: «Я оставил — я и взял, что вам за дело до того!» По сему поводу вновь было у государя с боярами и архиереями великое совещание. Порешили, если тот посох или жезл несет иподьякон — у него отнять. Если же у самого Никона посох в санях или в руках — просить честью и

узнать, что он боярину Долгорукову за городом сказал. А пока не скажет и жезла не отдаст, посланным от него не отходить.

Послали за Никоном вдогон его врагов: Павла, что был архимандритом чудовским, а стал митрополитом сарским и подонским, пришедшего на его место архимандрита Иоакима, окольничего Родиона Стрешнева и думного дьяка Алмаза Иванова с полковником и стрельцами многими. Настигли они патриарха уже в монастырском селе Черневе, он же, в великом огорчении, посоха не отдал и про смуту не известил. Но враги были упорны: два дня держали они Никона в Черневе, не отступая от него ни днем, ни ночью, а вокруг стерегли село многочисленные стрельцы.

Не стерпел Никон такого озлобления — послал врагам посох Петра митрополита с воскресенским архимандритом Герасимом, а царю велел передать письма, которые писал к нему бедный Никита Зюзин. С тем Никона и отпустили восвояси, а во дворце, когда царь прочел письма, началась великая смута. Матвеев и Нащокин долго доказывали государю, что не говорили от его имени с Зюзиным — да и трудно было Алексею Михайловичу поверить, что такие два врага друг с другом в каком-то деле согласно действовали. Разгневался царь на одного Зюзина и повелел его допросить с жестокими пытками.

Как пришли солдаты к Зюзину в дом, жена его Мария, видя мужа схваченным и на пытки влекомым, тут же от горя умерла. Зюзина страшно пытали и порешили казнить смертью, но царь смиловался и сослал его в Казань в самом младшем чине. Из носивших Никону письма Зюзина один — иерей Сысой — был сослан на Соловки, а другой — иподьякон Никита — умер. Тело его было доставлено в Новый Иерусалим. Никон встретил его как великомученика, собственноручно омыл и похоронил в строящемся храме, под лестницей, ведущей на Голгофу.

Видел Никон, что приходят жестокие дни, и еще более

в монашеском подвиге стремился преуспеть. Во всех своих монастырях приказал он странников и богомольцев по три дня каждого вместе со скотами поить и кормить довольно, в монахи всех безвкладно принимать и платье всем казенное давать. В праздники патриарх всегда с братией трапезовал и сам лично всем богомольцам ноги омывал, и не только богомольцам, но и заезжим воинам и путникам, человекам двумстам или тремстам в день.

Ел Никон повседневно вареную капусту с сухарной крошкой, в разрешенные дни — огурцы и уху из малых рыб. Ходил в овчине и грубой шерстяной рясе цвета пепла, в церковь надевал еще мантию из черного сукна. Работал же в простой одежде, подпоясанной широким кожаным поясом, и носил посох из простых ветвей. Часто патриарх днем и ночью рыбу ловил и от своих трудов братию питал. В посты уходил он в специально построенную пустынь и там жестоко плоть свою поклонами, постом и молитвами истязал.

Тем временем власти московские не унимались — все думали, как Никона патриаршества лишить и своего, послушного человека патриархом учинить. Собирал царь на Никона церковные соборы, копил подаваемые на него доносы — но все без дела. Не находили русские архиереи правила, чтобы патриарха законным путем сана лишить, а Никон упорно стоял на том, что покинул патриарший престол временно и от Москвы не в дальние места отошел — как царское величество гнев на милость положит — так святейший и придет назад.

Низвержение

Всего шесть годов правил Никон российской церковью, а распря его с государем и боярами длилась уже более восьми лет. Наконец Алексей Михайлович и его советники исхитрились собрать в Москве множество православных архиереев из разных стран — и среди них двух патриархов:

Паисия александрийского и Макария антиохийского. Полюбовно договорившись с этими архиереями-милостынесобирателями и взяв собственноручные подписки с русских иерархов, великий государь организовал осуждение Никона большим церковным собором. Святейший знал, что приговор предопределен, что его слишком боятся, чтобы оставить на свободе, но не смирился и не сложил оружие.

В конце ноября 1666 года большой военный отряд окружил Новый Иерусалим. Богатые возки въехали на монастырский двор и выгрузили перед кельей патриарха целую делегацию священнослужителей. Шурша дорогими тканями одежд и сверкая драгоценностями, перед одетым в овчину и подпоясанным веревкой Никоном предстали архиепископ псковский Арсений, архимандриты и игумены многих монастырей, стрелецкий полковник и прочие царские посланцы. Торжественно объявив титулы царя и вселенских патриархов, они передали повеление явиться на собор и дать ответ, почему он, Никон, оставил престол.

Никон не отказал себе в удовольствии заметить, что восточные патриархи не знают церковных правил. За архиепископом или епископом, оставившим епархию, полагалось до трех раз присылать двух или трех архиереев, а не каких-то архимандритов и игуменов! Судить же его имеет право либо константинопольский, либо иерусалимский патриарх, которые ставят на патриаршие престолы, а не александрийский, живущий в Египте, и не антиохийский патриарх, обитающий в Дамаске!

В ответ раздались бесчинные вопли, особенно надрывался спасо-ярославский архимандрит Сергий: «Мы тебе не по правилам говорим, а по государсткому указу!» Довольный произведенным впечатлением, Никон заметил, что с ними, чернецами, он и говорить не будет, а архиепископу сказал, что, хотя судить его права не имеют, он придет в Москву обсудить кое-какие духовные дела. Пока приезжие устраивались на гостином дворе и строчили в Москву первые доносы, святейший быстро собрался в дорогу.

Он брал с собой лишь несколько книг и большой крест, который должны были нести перед ним соответственно сану. Затем Никон отслужил заутреню, исповедался и причастился священным елеем. Посланные от церковного собора желали его поторопить «ради государева дела», патриарх же запретил их пускать, сказав: «Я ныне готовлюсь к небесному Царю». Во время торжественной литургии приезжие вновь начали шуметь, особенно архимандрит Сергий, заспоривший о новых книгах и греческом пении. Патриарх велел выдворить Сергия — за ним вышли на крыльцо и другие посланцы собора, крича нелепыми голосами: «Чего ради держишь нас, ни откажешь, ни прикажешь?!» Однако они не могли нарушить чинности службы, во время которой воскресенская братия с особым старанием пела по-гречески, киевским согласием, а Никон говорил поучение о терпении. Причастившись святых тайн и приготовившись к смерти, патриарх сел в простые сани и поехал к Москве.

У креста на Елеонской горе он простился с братией и монастырскими работниками, со слезами провожавшими его от самого монастыря. Был вечер 1 декабря. Несмотря на мороз и ветер, люди долго плакали у Елеонской горы, не чая больше видеть духовного отца своего. А власти нервничали и посылали из Москвы посланца за посланцем. Один из них, архимандрит Филарет, остановил обоз с Никоном за две версты от села Чернева и прочел патриарху выговор великого государя и собора, что-де он посланных обесчестил и к Москве не едет. Другой, архимандрит Иосиф, остановил обоз на темной улице села Чернева. При свете факела он прочел то же, что и Филарет, с прибавлением, что-де Никон и Филарета обесчестил и в Москву не едет. Притом в приказе значилось, что патриарх должен быть в Москве рано утром 3 декабря, за три или четыре часа до света.

«Ах вы,— воскликнул Никон,— лжи и неправды исполненные! Давно ли отошел от нас Филарет — и ныне

здесь — и чем обесчещен? И как это я не еду? Горе вашей лжи и неправде! Не для того ли повелеваете мне ждать ночами с малыми людьми, чтобы так же задушить, как митрополита Филиппа?!»

Действительно, стрельцы задержали Никона в Тушине, поместив до указанного в царской грамоте письма в пустом доме, но полковник, введенный словами патриарха в подозрение, немедленно послал в Москву гонца, и приказ был изменен. За несколько часов до рассвета обоз въезжал в Москву. В Смоленских воротах и на Каменном мосту горели яркие огни — свиту Никона осматривали и пересчитывали, как неприятельский отряд. В Кремле Никольские ворота были захлопнуты перед патриархом «для дела великого государя». Они распахнулись лишь тогда, когда шпионы опознали, а стрельцы схватили верного Никону слугу Иоанна Шушерина.

Похоже было, что чем ближе подступал час суда над патриархом, тем более власти беспокоились. Никона и человек тридцать монахов и мирян, что были оставлены с ним, поместили в углу Кремля на одиноко стоящем дворе, окружив его многочисленной стражей, которая никого и мимо пройти не допускала. А обоз с продуктами, взятыми из Нового Иерусалима, отогнали на Воскресенское подворье, так что Никону и всем бывшим с ним совсем нечего было есть. Так, голодным и бессонным повлекли патриарха на суд, по дороге много раз останавливая его с требованием, чтобы он шел без креста.

Патриарх упорствовал, скороходы так и скакали непрестанно между его санями и дворцом. Видя, что не могут Никона одолеть, члены церковного собора оставили его идти с крестом, но при том постарались всячески досадить. Сани патриарха медленно пробирались между великими толпами народа мимо Благовещенского собора, из врат которого доносилось пение. Никон хотел войти туда помолиться, но двери были захлопнуты перед ним. У паперти стояли богато украшенные упряжки восточных

Грамота иерусалимского патриарха Нектария царю Алексею о возвращении Никона на патриаршество

патриархов, даже кони их были увешаны соболями. Никон принял вызов и приказал поставить рядом с ними свою клячонку и бедные крестьянские санишки.

Далее он пошел пешим, кланяясь каждой церкви, двери которых неизменно запирались. Захлопнулась на глазах у патриарха и дверь Столовой царской палаты, где уже собрались царь, бояре и все архиереи. На открытом месте, не изъявляя никакого беспокойства, простоял Никон около

часа, пока в Столовой спорили — вставать или не вставать при его появлении. Порешили не вставать. Никон, слышавший выкрики сквозь закрытую дверь, усмехнулся. Он вступил в палату, приказав нести впереди себя крест, и все присутствующие, хоть и не хотели, встали.

Царь Алексей Михайлович сохранял вид судьи, стоя на высоком помосте перед своим троном. Слева от трона были устроены сверкающие драгоценностями кресла вселенских патриархов. Перед ними у помоста стоял покрытый златотканым ковром стол с позолоченным ковчежцем и книгами в дорогих переплетах. К нему-то и подошел Никон, спокойно прочел молитву, троекратно поклонился царю, патриархам, в сторону, где стояли вдоль стен архиереи, и в другую — царскому синклиту. Тем временем слуга его поставил патриарший крест справа от престола. Алексей Михайлович, явно стесненный таким соседством, еле шевеля губами и показывая рукой, тихонько просил Никона сесть справа от себя в углу на простую лавку.

Патриарх демонстративно оглянулся вокруг себя, как бы ища места, и громко ответил: «Благочестивый царь, не ведал я твоего намерения и потому места, на котором должен сидеть, с собой не принес, а мое место здесь занято. Но говори, чего ради призвал нас на собранное тобою здесь соборище?» Тогда и слуга Никона осмелел и стал с крестом у стола, прямо перед лицами царя и патриархов. К ужасу собравшихся вскоре поднялся со своего места царь Алексей Михайлович, спустился с помоста и стал на одном уровне с Никоном у стола, прося восточных патриархов рассудить его с покинувшим свой престол архипастырем.

В голове Никона мутилось от голода, ибо он третий день не ел. Патриарх помнил, как Паисий александрийский и Макарий антиохийский задавали ему вопросы через толмача, особенно интересуюясь, зачем он писал о своих делах константинопольскому патриарху Дионисию. Это рассматривалось чуть ли не как государственная измена,

и верные царские клевреты митрополит сарский Павел, митрополит рязанский Иларион и епископ мстиславский Мефодий нелепыми гласами вместе кричали на Никона так, что сами вселенские патриархи пришли в замешательство и отложили заседание на другое утро.

Отведенный вновь на свой двор, Никон просил командиров стражи сообщить царю, что приехавшие с ним люди и он сам помирают голодной смертью, однако ответа не получил. Тогда патриарх велел открыть окна в высокой светлице и стал громко кричать на весь Кремль, как их морят голодом. Стража, затем бояре и сам царь испугались такой огласки. Вскоре на двор к Никону прибыли возы с едой и питьем с царского стола, но патриарх отказался расписываться за полученное:

«Лучше есть яд, поданный с любовью, чем упитанного тельца, поданного с враждой! — заявил он.— Я сего у царя никогда не требовал и не требую, но просил лишь позволения своим людям входить и выходить со двора свободно». Царь был крайне оскорблен и даже жаловался вселенским патриархам, но люди Никона смогли привезти с Воскресенского подворья свои продукты.

Утром 3 декабря на заседании церковного собора стали читать грамоту Никона константинопольскому патриарху, не целиком, но выбирая заранее отмеченные обвинением места. Павел, Иларион и Мефодий сопровождали чтение дикими выкриками и ругательствами, но все остальные светские и духовные люди стояли на своих местах безмолвно. Царь беспокоился все больше и наконец не выдержал:

«Бояре, бояре! — закричал он.— Что вы молчите и меня выдаете, или я вам не надобен?!»

При звуке сих ужасных слов как бы колыхнулся строй бояр, некоторые выступили вперед, но ни от кого не прозвучало ни единого возгласа. Лишь бестрепетный военачальник князь Юрий Алексеевич Долгоруков нашел несколько слов в защиту царя и на уничижение Никона. Алексей Михайлович стал впадать в скорбь, а патриарх сказал:

«О царь! Ты сих предстоящих тебе и собранных на сию сонмицу девять лет вразумлял, и учил, и к этому дню уготовлял, чтобы против нас говорили. Но все напрасно: не только сказать не могут, но и уст отверзнуть, тщетно учились! Однако я тебе, царь, совет даю: если повелишь им в нас бросить камни, то это они вскоре сотворят, а вот оговорить нас, хоть еще девять лет учи, не сумеют».

В ярости бросился царь на престол свой и, спрятав лицо, долго пребывал недвижим. Наконец Алексей Михайлович встал и обратился к премудрому ученому философу Лазарю, архиепископу черниговскому и новгород-северскому, стоявшему в ряду архиереев:

— Лазарь, что ты молчишь и ничего не глаголешь, почто выдаешь меня в деле, в котором я на тебя надеялся?!

— О благочестивый царь,— ответил Лазарь, выступив вперед и благоговейно приложив руки к груди,— как могу против рожна прать и как могу правду оговаривать или ей противиться? — И с этими словами встал на место свое.

Вновь Алексей Михайлович крепко задумался, став у трона и положив руку на уста. Затем подошел близко к Никону и тихо обратился к нему:

— О святейший патриарх, за что ты возложил позор и бесчестие на меня?

— Как? — спросил Никон.

— Когда ты поехал из обители своей сюда,— говорит царь,— то постился, исповедался и причастился, как бы готовясь к смерти и учиняя мне этим великий зазор.

— Истинно, о царь,— отвечал Никон,— я все это сотворил, ожидая себе не только скорби и томления, но и саму смерть.

— О, святче Божий,— стал уверять царь со многими клятвами,— не только мне глаголемое тобой сотворить, но и мыслить нельзя за твои неисчетные благодеяния к дому моему, царице и чадам, когда во время эпидемии ты великими трудами дом мой весь сохранил, как зеницу ока. За это ли твое благодеяние воздать тебе злом? Нет, не

могу так даже помыслить! — И вновь страшными клятвами себя заклял.

— Благочестивый царь,— сказал Никон, удерживая Алексея Михайловича рукой,— не возлагай на себя таких клятв. Верь мне, что ты наведешь на меня все зло и беды, и скорби от тебя готовятся нам зело люты.

К этому Никон добавил, как неправедно обошлись с ним посланные звать его на церковный собор.

— А мне от тебя великий зазор,— возразил Алексей Михайлович,— что ты писал к константинопольскому патриарху Дионисию, всячески укоряя нас.

— Не я, о царь,— ответил Никон,— нанес вам зазор, но более ты сам себе нанес. Я писал брату своему Дионисию духовно и тайно, ты же все свои деяния обличил многим, собранным со всех концов земли.

Самодержец продолжал говорить с патриархом мирно, выражая желание прекратить вражду. Но Никон слишком хорошо знал нрав Тишайшего, чтобы верить его минутному порыву. «Доброе дело выбрал ты, царь, если совершишь его,— заметил патриарх в конце разговора,— но знай, что не будет этого от тебя сделано, ибо гнев ярости твоей, поднявшийся на нас, хочет конец принять». Так Никон и Алексей Михайлович и разошлись к разным концам стола.

Во время чтения грамоты к Дионисию Никон вновь обратился к Алексею Михайловичу, укорив царя за арест Иоанна Шушерина: «Оный жив или повелением твоим умучен, того не ведаю!» Царь еще более смутился, вспомнив, как схваченный Шушерин в беседе с ним наотрез отказался свидетельствовать против патриарха, не испугавшись вечного заточения. Самодержец пытался оправдаться, но услышал, как стоящий тут же с крестом монах Марк говорит про себя: «Сие дело, о благочестивый царь, солгано есть». Этого было достаточно, чтобы царский гнев возобладал над милосердием. На Марка бросились, вырвали у него из рук крест, а крики и обвинения против Никона продолжились до третьего часа ночи.

После этого заседания собора с присутствием Никона прервались на несколько дней. Алексей Михайлович, его сановники и клевреты из архиереев, наконец, жаждущие заслужить обещанную награду вселенские патриархи не хотели рисковать публично состязаться с патриархом московским и всея Руси. Для подкрепления обвинений они хотели вырвать «признания» у грека Дмитрия, переводившего послание Никона Дионисию на греческий. Никон отказался выдать этого человека, приехавшего в его свите и скрывшегося в столице. Когда же царские люди схватили беглеца, Дмитрий, не говоря ни слова, закололся ножом. Властям ничего не оставалось, как попросту сочинить неугодному патриарху приговор, чем они и занялись, совещаясь без обвиняемого.

В то время, когда заседал большой церковный собор, Никон не вполне понимал, сколь глубоко уязвил своих противников. Некоторые его полемические удары были точно рассчитаны — и достигли своей цели. Мало кто ожидал, например, что первейший российский грекофил отвергнет приводимые греками правила их Кормчей книги, на основании которых вселенские патриархи желали осудить патриарха российского.

— Те правила не апостольские, не вселенских и не поместных соборов,— заявил Никон,— я тех правил не приемлю и им не внимаю!

— Те правила приняла святая апостольская церковь! — пытался возразить Никону митрополит крутицкий Павел.

— Нет,— отвечал Никон,— тех правил в русской Кормчей книге нет, а греческие правила не прямые, те правила патриархи от себя самовольно учинили, а не из древних книг! Все, что написано после вселенских соборов,— все враки, потому что печатали те правила еретики. Я же не отрекался от престола, клевещут греки на меня!

Напрасно говорили вселенские патриархи, что их греческие правила святые. Весьма многие из присутствующих

помнили, как уже пытались осудить Никона церковным собором по греческим правилам, а потом Евфимий Чудовский, верный слуга царев, с изумлением обнаружил, что таких правил, на которые ссылались греки, в их греческих книгах вовсе нет! Этот конфуз дорого стоил греческим властям и российскому самодержцу, который вынужден был терпеть Никона еще несколько лет.

Но ныне, заполучив столь авторитетных церковных иерархов православного Востока, царь не желал отступать.

— Ведомо ли тебе,— говорили Никону,— что александрийский патриарх, зде пребывающий, есть судия вселенский?

— На Востоке и суди,— ответствовал Никон.— А я говорю, что в Александрии и в Антиохии патриархов нет! Ежели я живу не в Москве — то они давно не бывали в своих епархиях.

Когда патриарха московского хотели все же заставить слушать греческие правила, он отказался: «Греческие правила не прямые, печатали их еретики».

Российские архиереи, давно принявшие и отстаивавшие реформы Никона-грекофила, весьма ужаснулись, ибо увидели, что сам патриарх стоит на позициях староверов. Но Никон пошел еще дальше, заявив, что судить его может лишь вся вселенная. Он не знал точно, что константинопольский и иерусалимский патриархи отказались давать царю Алексею Михайловичу согласие на осуждение патриарха московского.

Более того, видя, что патриархи александрийский и антиохийский столь увлеклись собиранием милостыни, что оставили свои епархии, не выполняют многие годы обязанности архипастырей и пошли на Русь, чтобы заработать богатые дары, помогая царю против весьма милостивого к грекам патриарха — иерусалимский и константинопольский патриархи данной им властью извергли отступников Паисия и Макария из их сана, а на место их назначили других людей. Недаром так испугались царь и его кле-

вреты послания Никона патриарху константинопольскому, ведь ответь адресат — и вся ложь большого церковного собора в Москве вышла бы наружу.

Несмотря на то что Никона тщательно охраняли, он сумел получить некоторые сведения из царского дворца.

— Ныне тебя, Никона, бывшего патриарха,— заявили в сердцах Паисий и Макарий еще до вынесения приговора,— мы, святейшие патриархи, по правилам святых апостолов и святых отцов извержем, и отселе не будешь патриарх, и священная не действуешь, но будешь как простой монах!

— Сами вы неистинные патриархи,— отвечал Никон,— и слышал я, что на ваших престолах иные патриархи есть! Пусть великий государь укажет про то расследовать, а вы клянитесь на святом Евангелии, что сами патриархи.

— Мы-де истинные патриархи,— отвечали в изрядном смущении греки,— и не изверженные, и не отрекались от престолов своих. Разве-де что турки в наше отсутствие учинили. А если кто-нибудь и дерзнул занять наши престолы неправильно и по принуждению турецкому — так это не патриархи, а прелюбодеи.— Однако клясться на Евангелии Паисий и Макарий отказались.

— С этого часа,— заявил Никон,— свидетельствуюсь Богом, не буду перед вами говорить, буду держать ответ только перед константинопольским и иерусалимским патриархами.

Разумеется, царь Алексей Михайлович и его советники приняли все меры, чтобы выпутаться из этого крайне неприятного положения. Договорившись с турками и свергнув «чересчур» сурового к Паисию и Макарию константинопольского патриарха, русское правительство добилось спустя полгода восстановления председателей большого церковного собора на александрийской и антиохийской кафедрах.

Труднее было с их ближайшим помощником Паисием

Лигаридом, который много лет выдавал себя в Москве за митрополита города Газы, а оказался на поверку изгоем, изверженным из сана и проклятым за связь с католиками. Но и его удалось, правда временно, всего на месяц, «реабилитировать», употребив немалые дипломатические усилия и оделив иерусалимского патриарха щедрой «милостыней».

Это произошло позже, а пока правительство Алексея Михайловича поспешило прекратить соборное обсуждение дела Никона. 12 декабря 1666 года бывшему патриарху был объявлен приговор.

Ни царя, ни большинства светских сановников не было на этой церемонии, проведенной в небольшой надвратной церкви Чудовского монастыря. Зато власти постарались полностью собрать здесь духовных лиц, которые должны были скрепить приговор своими подписями. Не все являлись по своей воле, а вологодского архиепископа Симеона, притворившегося больным, принесли насильно, завернув в ковер: так он и лежал в церкви в углу, плача о неправедном изгнании блаженного Никона. Принуждаемый подписать приговор, Симеон начертал на нем: «Если это истина — да будет так; если же нет истины — я не утверждаю». Понятно, почему царь отказался присутствовать на этом мероприятии!

Когда после бурной перепалки, угроз и сетований приговор был подписан, в церковь ввели Никона. Приговоренный твердо решил продемонстрировать сонмищу неприятелей свое полнейшее безразличие и молчал, пока читали греческий текст, но когда архиепископ рязанский Иларион стал читать русский перевод, Никон заявил, что «Вины его написанные — все ложь и клевета!»

«Убийца, блудник, хищник!» — завопил в ответ Иларион, которого сам же Никон рукоположил в архиереи. Но Никон уже сдержал себя: «Чадо, благодать на устах твоих»,— кротко сказал он Илариону и вновь надолго замолчал. Лишь когда восточные патриархи приказали

снять с изверженного черный монашеский клобук, он отверз уста:

— Чего ради повелевают мне снять клобук?

— Понеже собор сей осудил тебя, и дела твои обличили тебя, и не подобает тебе называться патриархом, ибо ты сам гордостью своей оставил свою паству с клятвой!

— Хоть собор сей и осудил меня неправедно, хоть дела мои не бывшие обличили меня, но священно-монашеский образ я сохраню до исхода души моей. Вы же делайте, что хотите, ибо вы пришельцы здесь, пришли из далечайших стран и с концов земли не для того, чтобы благо или мир сотворить, но пришли из турецкого порабощения как просители, чтобы и себя обеспечить, и туркам дань воздать.

— Вопрошаю вас, откуда вы взяли законы, чтобы так дерзновенно творить? Если бы и был я повинен и осуждения достоин — почему творите сие тайно, как тати? Привели меня в эту малую монастырскую церковь, где нет ни царя, ни всего его синклита, ни всенародного множества Российской земли. Или я по благодати Святого Духа паству свою и пастырский жезл в этой церковке восприял?! Истинно, что и саму эту церковку я построил!

— Я избранием Пресвятого Духа, желанием и прилежным слезным молением царя Алексея Михайловича, после его страшных клятв, засвидетельствованных самим Богом, восприял патриаршество в соборной церкви перед всенародным множеством. И если желаете ныне неправедно меня осудить и извергнуть — идем в церковь, где я восприял пастырский жезл, и если окажусь достоин вашего осуждения, то там что хотите, то и творите!

— Там или здесь — все едино,— ответили вселенские патриархи,— все советом царя и собора архиереев совершается!

И сами восточные патриархи немедленно кинулись на Никона, сняли с него клобук с жемчужным крестом и

драгоценную панагию, усыпанную самоцветами, а Никону дали простой бедный клобук.

— Как вы есть пришельцы и невольники,— сказал Никон,— то разделите драгоценности между собой, может, на некоторое время тем отраду себе обретете!

— О Никон! — сказал приговоренный сам себе, садясь в сани, чтобы отправиться в далекую ссылку.— Это тебе за правду — не говори правды, не теряй дружбы! Если бы приготовлял трапезы драгоценные и с ними вечерял — не приключилось бы тебе сего.

Боясь народного возмущения, в Кремле не объявили о низвержении и ссылке Никона. С него даже не сняли архиерейскую мантию и не отняли посоха. Лишь сопровождавшие низвергнутого патриарха архимандриты, особенно спасо-ярославский Сергий, кричали на него, требуя молчать, а стрельцы хватали тех, кто проявлял к Никону сочувствие. Царь так и не появился, но прислал с Родионом Стрешневым деньги и теплую одежду ссыльному на дорогу.

«Возвратите все сие пославшему вас, Никон бо сего не требует!» — заявил святейший, не склоняясь на уговоры Стрешнева, опасавшегося, что царь еще более разгневается. Одновременно Стрешнев от имени Алексея Михайловича просил у Никона благословения царю, царице и всему их дому.

«Если бы благочестивый царь желал от меня благословения,— отвечал ссыльный,— не являл бы ко мне такой немилости. Видно, он не хочет благословения, раз удаляется от него!»

Царь, как рассказывали Никону, весьма опечалился, не получив благословения, но был более озабочен тем, как избежать народной смуты, ибо слухи об осуждении патриарха уже расползались по столице и толпы начали собираться к Кремлю. Тогда Алексей Михайлович приказал объявить, будто «Никон патриарх пойдет из Кремля в Спасские ворота и по Сретенке». Когда же народ удалился в эту сторону, быстрые кони повлекли возки с Никоном и

его спутниками через Каменный мост в Арбатские ворота столицы. Несколько полковников и более тысячи стрельцов в полной боевой готовности участвовали в этой операции. Алексей Михайлович наконец отделался от Никона.

Мера жизни

По крайней мере самодержец так думал. Никон же был уверен, что Алексей Михайлович не сможет забыть своего «собинного друга» и рано или поздно устрашится небесной расплаты за свои деяния. Это сознание поддерживало опального патриарха многие трудные годы. Никон помнил все знаки внимания, полученные им от царя в заточении. Еще по приезде в Ферапонтов монастырь суровый пристав Аггей Алексеевич Шепелев весьма просил и умолял Никона принять пищу себе от милости царского величества, патриарх же отвечал: «Лучше умру, но не приму!» Потом другой пристав, Степан Лаврентьевич Наумов, сильно томил Никона тяжелым заточением, добиваясь, чтобы тот дал прощение и благословение царскому величеству и всему царскому дому.

«В нынешнем 1667 году сентября в 7 день,— написал Никон в Москву,— приходил ко мне, богомольцу вашему, Стефан Наумов и говорил мне вашим государским словом, что повелено ему... с великим прошением молить и просить о умирении, чтобы я, богомолец ваш, тебе... самодержцу, подал благословение и прощение, а ты, государь, богомольца своего милостью своей по своему государскому рассмотрению пожалуешь.

И я, смиренный, тебя, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, и благочестивую государыню царицу и великую княгиню Марию Ильиничну, и благородных царевичей, и благородных царевен благословляю и прощаю. А когда я, богомолец ваш, ваши государские очи увижу — тогда я вам, государем, со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу, яко же

божественное святое Евангелие показует о Господе нашем Иисусе Христе, и Деяние святых апостолов: всюду с возложением рук прощение и цельбы творили.

Смиренный Никон, милостью Божиею патриарх, засвидетельствую страхом Божиим и подписал своею рукою».

Никон ясно высказал, что дает только предварительное прощение, но царь, к негодованию патриарха, этим как будто удовлетворился и не спешил возвращать Никона из ссылки. Святейший, правда, принял присланную от царя тысячу рублей на милостыню, белуг, осетров, бочки римского, рейнского и церковного вина, отдав в общую трапезную братии, сам же к присланному не прикасался. Лишь спустя долгое время Никон согласился употреблять то, что присылалось ему из Москвы. После этого он соблаговолял принимать и другие подарки: Евангелие, церковные серебряные сосуды, деньги, меха и материи. Однако окончательно царя не прощал.

На больших крестах, которые Никон воздвигал вокруг Ферапонтова монастыря, на всех своих серебряных, медных и оловянных сосудах велел он делать такие надписи: «Никон, Божией милостью патриарх, постави сей крест Господень (если речь шла о кресте.— *А. Б.*), будучи в заточении за слово Божие и за святую церковь на Белеозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Он отказался брать у царя деньги на поминовение души почившей царицы Марии Ильиничны, ответив, что будет молиться за свою благодетельницу без мзды.

Тщетно умирающий царь Алексей Михайлович просил у Никона полного прощения и даже написал в завещании: «От отца моего духовного великого господина святейшего Никона, иерарха и блаженного пастыря, аще и не есть на престоле сем, Богу тако изволившу, прощения прошу и разрешения!» И Никон прослезился, узнав о кончине Алексея Михайловича, но ответил посланному сурово:

«Воля Господня да будет! Раз он здесь с нами прощения не получил, то в страшное пришествие Господне судиться будем!»

Напрасно умолял специально приехавший из столицы в Ферапонтов придворный Федор Абрамович Лопухин, чтобы Никон написал о царе хоть несколько прощающих строк. «Я подражаю учителю своему Христу,— отвечал Никон,— его словам в святом Евангелии: «Оставляйте, и оставится вам». По сему ныне глаголю: Бог его простит! А на письме прощения не учиню, ибо он при жизни своей мне из заточения сего свободы не учинил».

Вскоре, думал Никон, предстану я вместе с неправедным царем перед праведным Судией. Но почему-то эта мысль, некогда радостная, отдавала ныне горечью. Приходя в сознание, патриарх видел и ощущал, как его струг, окруженный великим количеством судов и лодок, сопровождаемый по речным берегам огромными толпами, медленно вошел с Волги в реку Которосль. Люди, войдя в воду, руками двигали струг против течения. У Спасо-Ярославского монастыря патриарха встречал воевода с городскими властями и архимандрит с собранием духовенства. Великое множество народа, ожидавшее патриаршего благословения, толпы людей, желавших хотя бы прикоснуться к нему, сильно утомляли недужного.

Царский дьяк и духовник Никона архимандрит Никита приказали перевести струг патриарха от огромного множества богомольцев к другому берегу реки. Здесь было тише, но люди не расходились. К вечеру, когда в ярославских церквах начали благовестить, Никон стал конечно изнемогать и озираться, как бы видя вокруг себя неких пришедших к нему. Механическими движениями рук он поправил себе бороду и волосы, разгладил одежду, будто готовясь в путь. Архимандрит Никита и братия начали петь над патриархом отходную молитву. Многие плакали.

Никону представилось, что он маленьким ребенком покоится на руках доброй Ксении, которая взяла его себе

на воспитание после смерти матери. Перед его мысленным взором быстро мелькали картины детства в деревне Вельдеманове Нижегородского уезда, злая мачеха, постоянное чувство голода. Старцу казалось, что он с огромной высоты падает в погреб, куда столкнула его мачеха, и едва не лишается духа. Или, заснув ранним зимним утром в еще теплой печи, просыпается от дыма и опаления огнем, как в аду, и в страхе близко смерти дико вопит, видя, что мачеха решила его умертвить; в последний момент бабка выбрасывает из печи зажженные дрова и спасает внука.

Никите кажется, что он среди деревенской жизни разучивается читать — он берет у отца своего Мины немного денег и идет в Макариев Желтоводский монастырь, усердно читает там Божественное писание и поет на всякой службе, а чтобы не проспать, ложится у благовестного колокола. Вот добрый татарин-прорицатель, который приютил Никиту с товарищами во время дальней прогулки из монастыря и взялся поведать им будущее. «Никито! — строго говорит ему татарин,— почто ты так просто ходиши, блюдися и ходи опасно, ибо ты будешь государь великий царству Российскому!»

Никита не верит этим словам, тем более что ему скоро приходится вернуться в деревню, куда его вызвал отец, ложно известив о своей тяжкой болезни. Но и отец, и бабушка скоро и впрямь умирают, надо вести хозяйство, надо жениться, ибо родственники не согласны отпустить Никиту в монастырь. Но он все же находит способ наслаждаться церковной службой: посвящается в священники одной деревенской церкви. Несколько лет тихой жизни обрываются переездом в царствующий град Москву — средоточие мирской суеты и непостоянства. Годы понадобились, чтобы уговорить супругу лучше Богу, чем миру работать,— наконец они решают обрести удобный путь к спасению в монастыре.

Устроив келью и дав вклад за жену в московском Алексеевском девичьем монастыре, Никита налегке идет к

далекому северному морю-океану в самый пустынный Анзерский скит, стоящий на острове близ монастыря Соловецкого. Отрясая с себя бремя мирской жизни, он постригается в монахи под именем Никон. Наконец он свободен. Келья от кельи стоят далеко, и в каждой живет лишь по одному брату, всего двенадцать человек.

Никон питается небольшим запасом муки, привозимым на остров государевой милостью каждое лето, ловит рыбу, растит овощи. Он истово и радостно спасает душу, предаваясь великому посту и воздержанию, день и ночь молится, совершая по тысяче поклонов, спит мало. Но ненавидящий добро дьявол не спит совсем. Стоит Никону от молитв и трудов в келье опочить — обступают его злые духи, кружатся кругом мерзкие хари, смотрят из углов страшилища, давят монаха во сне. Чтобы немного отдохнуть, нужно Никону каждый день воду святить и всю келью кропить.

Цепляется за душу Никона мир, не хочет отпустить совсем к Богу. Зело оскорбился инок и душа его пришла в смятение великое при вести, что супруга его, живучи не пострижена в монастыре, восхотела вновь мирской суете вдаться и вторично замуж выйти. Никон то молился Богу о ее спасении и от неблагого начинания обращении, то писал родственникам, умоляя их жену увещевать. То ли молитвы, то ли уговоры родичей помогли — приняла его жена монашеский образ и Никон еще усерднее возблагодарил Бога, что не оставил в презрении его прошение...

Скорбит Никон душевно и телесно, быстро пробегая скорыми шагами мыслей по тропинкам жития своего. Но вот как бы просветление настает и пелена спадает с глаз, тело становится легким и как бы воспаряет над ложем. Никон видит свою бедную келью в Анзерской пустыни, освещенную чудесным светом. Посреди ее стоит сосуд, исполненный доверху неких семян. Близ него — светозарный юноша. «Мера твоих трудов исполнена есть»,— говорит он Никону. Никон хочет повернуться — роняет сосуд, рассыпав содержимое его по полу. Он начинает вновь собирать семена в ту же меру, но она не наполняется...

вземе́ше коніи и́дяху
ша рѣзнотрати вѣдѫшя

Глава 6

Соловецкие сидельцы

Приезд царских посланцев на Соловки. Соловецкий монастырь

Путь на Соловки

По столбовой дороге Москва — Вологда через Ярославль ехать было легко и приятно. Сухое, обрамленное по сторонам канавками полотно дороги, обсаженное деревьями, пролегало через цветущие всяческим изобилием сельские районы. Любо было смотреть на хлебные нивы, обширные поля льна и конопли, сочные луга с многочисленными стадами. Куда ни кинешь взгляд — везде украшали окоем ажурные, как бы летящие в небо церковные шатры, указывающие путнику: здесь жилье, здесь можно найти приют в гостеприимном селении. А приют требовался множеству путешественников, ибо столбовая дорога никогда не пустовала. На целые версты тянулись по ней в обоих направлениях купеческие обозы; бывало, чтобы выехать на дорогу с проселка, требовалось не один час ждать просвета между катящимися одна за одной телегами, каретами и бричками.

Весело переругиваясь с проезжающими, ждали своей очереди попасть на столбовой торговый путь извозчики хлебных, полотняных, кожевенных, конопляных, железных обозов. Даже и не заглядывая под кроющие телеги рогожи, путешественник мог определить, чем ищут порадовать покупателей местные продавцы в добротных суконных армяках и важные купчины-оптовики в узорчатых бархатных и шелковых кафтанах. Звон молотов летел над

полями из многочисленных кузниц, мерно поскрипывали в окрестных домах ткацкие и чесальные станки, нередко ветерок доносил густой запах кож и поташа, дворцами высились по сторонам амбары... На ярославских пристанях в несколько рядов швартовались огромные — на триста и пятьсот человек команды — струги, разгружаемые и загружаемые целым войском работных людей.

Путешественнику, знакомому с торговым путем, без всяких расспросов был виден стройный порядок в кажущемся вавилонском столпотворении на ярославском перевозе через Волгу. Вот с северной стороны на южную, московскую, тяжелые паромы везут пухлые мешки с солью — она пойдет в столицу, которая, как звезда, разбросала на все стороны лучи торговых трактов. Немало соли грузится на суда, идущие вверх и вниз по Волге — в Тверь и дальше на запад или на юго-восток, до реки Оки, до Макарьевской ярмарки и далее во многие концы. С севера везут и другие мешки — с хлебом, которого там хватает и для российской, и для заграничной торговли. Потоки этих и других товаров уже сведены в большие партии в Вологде.

Туда, в славный город с белокаменным Софийским двором на холме, устремляются с ярославского перевоза московские обозы, борясь за место на тракте с обозами, принявшими товары с речных судов. К привычным запахам добавляется запах соленой, сушеной и свежей рыбы, икры, дичины — она едет на север. Там, правда, много своей рыбы, но ведь речная ценится больше морской! На севере есть и богатые рыбой реки — кто купит волжскую белорыбицу, когда ее можно взять даром, только не лениться забросить невод? Наивности такого вопроса улыбнулись бы бородатые купчины: вестимо, что привозное слаще, а русский человек любит разнообразие в пище: найдет место в желудке для рыбки и с Северной Двины, и с Ахтубы. Недаром и с севера на юг не пустыми идут рыбные телеги!

От них стараются держаться подальше крепкие повозки с красным товаром, скупленным по всей России и в южных портах. Тонкие изделия: ткани, вышивки и кружево, ажурный металл, расписная керамика, кожаное плетение — соседствуют в повозках-сундуках с товарами из Туркестана, Индии и Китая. Часть роскоши купится на русском севере, но самое выгодное — транзит в Западную Европу, где на Амстердамской бирже за все дадут высокую цену. Потому и звучат над столбовой дорогой иноземные слова — это купцы вдалбливают своим взятым для научения наследникам навыки разговора с «галанскими» (голландскими.— *А. Б.*), «аглицкими», «французскими», «светскими» (шведскими.— *А. Б.*) и прочими «немцами» (как называли западных иноземцев, в отличие от турок, кызылбашей-персов, цинов-китайцев и т. п.).

Иноземные купцы появляются, впрочем, и собственной персоной, но их сравнительно немного — тех, кто имеет привилегию торговать дальше Вологды. В Вологде их гораздо больше, а в славном Архангельском порту — хоть пруд пруди. Там на рейде и у причалов леса мачт со всеми флагами, огромные склады на берегу, хотя приезжие больше грузят на свои суда, чем свозят на берег товаров. В России маловато драгоценных металлов — вот товар, который охотно берут и купцы, и государство за труды своих промышленников. Кто не знает, что, встретившись в море, враждебные западные эскадры рвут друг другу паруса из русской парусины ядрами из русского чугуна, прежде чем начать прокалывать колеты из русской кожи шпагами русской стали, а затем заедать победу или поражение русским хлебом? Немало на московском тракте и иноземцев, ищущих применения своим способностям в России, где любят мастеров (особенно дипломированных) и разрешают по-своему молиться и лютеранам, и кальвинистам, и англиканцам, и католикам, и всем прочим, ревностно уничтожающим друг друга на западе.

Прожив довольно долго в Холмогорах и получив наконец из Москвы проезжие грамоты, иноземцы, несколько ошалев от гама, бродили по деревянным тратуарам Вологды, которая казалась им весьма большим и многолюдным городом, изобилующим каменными домами. Без привычки найти подводы для поездки в Москву было нелегко, хотя город бурлил от наплыва торговых и работных людей.

Русский путешественник, прибывший с большим торговым караваном, недолго любовался белокаменным вологодским кремлем. Прохожие без затруднений указали его извозчикам дорогу к подворью Соловецкого монастыря, снаружи напоминавшему небольшую крепость полкилометра в длину и метров двести в ширину, раскинувшуюся на высоком берегу реки Вологды. Склады товаров, зерновые амбары, каменные палаты для соли, дворы монастырских служителей и гостиные для приезжих плотно заполняли дорогую (земля была недешева) территорию подворья. В один из гостиных дворов приезжий сгрузил с подвод собственные припасы и большой сундук с книгами. Под берегом у пристаней виден был лес мачт монастырского флота. По лесенке, сторонясь забитого телегами и грузчиками взвоза, человек спустился к судам, чтобы договориться о путешествии на Соловецкие острова.

Река Вологда не широка, и, чтобы оставить свободным фарватер-стрежень, суда ставились у пристаней по обоим берегам в одну линию. Под монастырским двором было пришвартовано шесть насадов — больших судов по 35—50 метров в длину. Между ними стояли два дощаника длиною примерно по 35 метров каждый. Более мелкие суда — павозки — стояли с краю пристани, приткнувшись носами к речному берегу. Удивительна была слаженность, с которой команды судов поднимали из трюмов и сгружали на монастырские телеги огромные рогожи с солью. Любопытство заставило при-

езжего осведомиться у распоряжавшегося разгрузкой монаха об объеме привезенного. Тот так же спокойно, как отдавал приказания грузчикам, ответил, что по смете на шести насадах и двух дощаниках должно быть чуть более 3200 рогож, то есть свыше ста двух тысяч пудов соли. Конечно, была на судах рыба и всякие мелочи, сгружавшиеся отдельно.

Одновременно с разгрузкой шла и погрузка монастырских судов. Часть товаров — листы железа и слитки меди, связки канатов с монастырской мануфактуры, рожь, пенька, лен и меха — перевозилась к Архангельскому городу для продажи. На монастырский обиход была закуплена всякая лавочная мелочь — мед и воск, чеснок и лук, мыло, сукно крашеное и беленое и прочее и прочее. В огромных количествах грузилась рожь, меньше — пшеница, еще меньше — различные крупы и всяческие деликатесы. В мешках загружался овес, ячмень, горох, толокно, конопляное семя, в бочках — коровье масло (на пристани бочки стояли целыми стенами), в чанах — мясо, в ящиках — гвозди и иная железная мелочь, в связках — овчины, кожи дубленые и разноцветные тонкие (юфть), в рулонах — полотна всех видов, холсты и рогожи, в коробьях — шубы, нитки и т. д. Казалось, монастырские суда взялись снабдить всем необходимым большой город, а не одну лишь обитель, затерянную в соленых водах Белого моря. Трудно было вообразить, что вологодский монастырский двор примет этим летом еще не один караван судов — и не один караван загрузит в обратный путь.

Впрочем, и невооруженным глазом было заметно, что привезено в Вологду больше, чем повезется назад. Загруженные насады стояли в воде довольно высоко, показывая на бортах широкие зеленые от водорослей полосы. Верхние палубы, над которыми в пути натягивались полотняные навесы, оставались вовсе пустыми. Они, как и расположенные под палубами каморки, предназначались для

сотен паломников, толпившихся на берегу в ожидании, когда можно будет договориться о перевозе с важными, знающими себе цену десятниками.

Один из десятников, вольготно расположившийся на крутом травянистом бережку, расписывал перед приезжими свою нелегкую работу и их предстоящий путь длиной более чем в тысячу верст по рекам до Архангельска (далее предстояла пересадка на морские струги или кочи). Десятник — фактически капитан судна, действовавший по детальной монастырской инструкции об управлении командой,— рассупонил шитую жемчугом лазоревого шелка косоворотку и, сняв сапоги из желтой юфти, говорил, обращаясь к расположившимся вокруг внимательно слушающим людям:

— Ныне у нас во всем караване нанято на проводку шесть сотен человек, потому что верхний речной путь нелегок. Хотя и вниз по воде пойдем — нужно будет и грести, и тянуть, и толкать. Первое дело — чтобы был хороший носник (лоцман), знающий все мели и перекаты. Ему под стать должен быть и кормщик. К тому же нанято у меня 27 осначей (матросов) и повар — тоже не последнее дело. А остальные люди — присадчики (дополнительная команда) — те для силы требуются: грести там, или бечевой тянуть, или — не приведи Бог! — с мели снимать.

— Спустимся мы по Вологде недалеко и выйдем в Сухону-реку, что течет с северо-запада из знаменитого озера Кубенского. Это будет Окольная Сухона — сплошной перекат на 20 верст. Дальше вниз по течению пойдет Нижняя Сухона до устья речки Двинцы, а от него уже Великая Сухона. До города Тотьмы, что стоит по левому берегу при речке Песьей Деньге, главное — на мель не сесть. От того города берега Сухоны растут вверх метров на десять, превращаются постепенно в каменные обрывы. У города Брусенца вокруг нас будут сплошные утесы — и по всему Устюжскому уезду стрежень узкий, вода так и ревет на переборах (порогах).

— Всего переборов до двух сотен. Особенно Зуев перебор в малую воду трудно пройти. На Жидятине переборе вода две версты бурлит меж камней, а на Бороздах Реченских камни торчат только между валами речными — тут носник должен помнить стрежень наизусть, глазом не видать, где напорешься. Далее все дно выложено известковой плитой-опокой. Как пройдем Слободской перебор — тут попадем на самый трудный, называется Опокой и тянется четыре версты, над ним утесы возносятся в небо на 60 метров. На утесах есть и площадки, где ютятся деревеньки — там можно при необходимости нанять дополнительных людей. Река быстрая, извилистая, несет судно прямо на Стрельный перебор, где много раньше билось насадов и дощаников. Теперь, слава Богу, мы уже судов не теряем, научились ходить по трудным местам, так что бояться нечего.

— В Тотьме уже мы часть присадчиков с судов спишем, а после Великого града Устюга станет на насадах совсем просторно — две или три сотни людей (смотря по воде) там оставим. На своем насаде я и осначей с носником и кормщиком поменяю — далее с другими есть договор, поведут нас до Архангельского. Скоро после Устюга впадает в Сухону река Юг (она и течет с юга) — весьма песчаная и мели на стрежень наносящая. На двадцати пяти верстах одна за одной там больше двадцати мелей идут: Шибуринская, Мукомольная, Ярокурская, Вотложемская — аж на три версты! — Молоховская, Котласская и иные. Опасности там нет, но задержаться можно и поистратиться на перегрузку товара в повозки и обратно.

— В этих местах,— продолжал неспешный рассказ десятник,— река зовется уже Малой Двиной, а как впадет в нее справа Вычегда — то будет Двина Северная. Вода в ней большая, зато и судов видимо-невидимо, глаз да глаз нужен, чтобы не столкнуться и в толчее караваны не перепутать, чтобы иначе как-нибудь не за-

держаться. Там быстро пойдем. До Тотьмы дойдем дня за три, от Тотьмы до Устюга (ведь задержат наверняка таможенные крючки!) дней за пять-шесть, от Устюга до Холмогор пролетим полтыщи верст с лишком за неделю или восемь дней.

— Далее Архангельского я не пойду — морем повезет товар иной десятник. И вам советую пересесть на морские суда уже в Холмогорах — там много грузится монастырских стругов больших, не в пример обширнее моего насада. Тысячи людей собираются на берегу, желая плыть на Соловки — но и судов там много транспортных, и рыбачьих лодей, и промысловых кочей, на которых можно ходить морем в любую непогоду. Нищим, конечно, лучше ждать монастырского судна — задаром отвезет, еще и кормить будут в дороге из монастырских припасов.

В толпе, которая собралась вокруг речистого десятника, действительно было много людей в простой, даже рваной одежде, неизвестно как собиравшихся забраться на край русской земли. Секрета, конечно, не было — все знали, что, беря немалые деньги за постой, кормление и перевоз зажиточных богомольцев, монастырь на Белом море бесплатно обеспечивал паломничество к своим святыням неимущих. Потому и платить за услуги монастырских служб, начиная с московского подворья, считалось богоугодным, честным, своего рода пожертвованием на святое дело.

Но выбор предложенного десятником пути устраивал не всех. Главный торговый путь на Белое море был слишком шумным, суматошным, мало способствующим возвышенным размышлениям, которым хотелось бы предаться путешественнику на Соловки. Да и жесткое расписание движения караванов не оставляло времени на поездки к местным святым местам, которые многие хотели посетить. Как можно было не побывать в Спасо-Прилуцком монастыре близ Вологды, далее в Кирило-Белозерском

и Ферапонтове монастырях, а там уж и в самом Белоозере?! Тем более что на Соловки была и другая большая дорога, более спокойная и почти вдвое более близкая — по реке Онеге.

На ней и остановил выбор приезжий, отправлявшийся на Соловки не на время — на всю земную жизнь. Он неспешно посетил, оставив тяжелый багаж на вологодском монастырском подворье, знаменитые окрестные монастыри, поклонился могилам святых подвижников Заволжья. Затем с монастырским обозом поехал торной дорогой через густые леса к Онеге. Еще задолго до Каргополя берега северной реки зацвели невиданной красоты высокими деревянными церквами. Под стать храмам были и крестьянские дома, рубленные из могучих бревен замечательными местными умельцами, украшенные тонкой сквозной резьбой с обязательным «солнышком» (солярным знаком) под коньком крыши, расписанные под крышами красочным многоцветьем.

Богатый город Каргополь имел до двух десятков каменных храмов — огромных, по северному тяжеловесных сооружений с большими окнами, обрамленными белокаменной резьбой (позором для мастера было украсить два окна одинаково!). Были здесь, впрочем, и церкви изящной московской архитектуры, построенные на средства столичных купцов; нашли отражение и милые сердцам заказчиков архитектурные стили других областей Великой России. Церкви старались делать двухэтажными, с холодной и теплой (отапливаемой в холода) частями. Торговые дворы купеческих объединений и монастырей соперничали по прочности с городской крепостью. Население — и городские жители, и приходящие на торги крестьяне — отличалось от более южных районов степенностью, аккуратностью в одеяниях, изяществом женской одежды и украшений. Казалось невероятным, что чуть более полустолетия назад, после зверского опричного погрома, эти места были почти полностью безлюдными — так ненавидел

тиран этих людей, еще незнакомых с крепостным холопством!

Чем дальше плыли от Каргополя суда на север, тем беднее, суровее становился ландшафт — и все больше, основательнее людские жилища. Людей встречалось меньше — дома же вырастали до гигантских по среднерусским меркам размеров. В крестьянскую избу въезжали по широким мосткам на подводах. Двух- трехэтажная жилая часть коридорами и переходами соединялась с находящимися в той же избе скотным двором и конюшней, сеновалом, птичником, каретным сараем, амбаром, мастерскими. Еще севернее, в Поморье, в дом загоняли на зиму морские суда, поставив их на катки.

Под стать домам великанами казались и люди, не привыкшие горбиться перед властями. Места, самой природой предназначенные к запустению, цвели трудами человеческих рук. Берега северной реки покрыты были трехпольной пашней, огородами, сенными покосами. Чем ближе к морю, тем больше видели проплывающие дымов больших соляных варниц. Над впадающими в Онегу речушками стояли мельницы, исправно моловшие местный северный хлеб. Крестьянские суда везли по реке на продажу рыбу и мясо, нерпичьи шкуры и моржовый клык, масло и соль, лес и сапоги, ворвань и кузнечные изделия.

Подчинявшиеся только монастырю, местные жители платили ему обычные государственные налоги деньгами и деньгами же рассчитывались за взятое в аренду (за промыслы, оборудование). Те, кому было не под силу вести большое хозяйство, могли взять уменьшенные паи и соответственно снизить свои налоги. Можно было и вовсе не платить монастырю, подрядившись работать за половину продукции на всем готовом. Ни на земле, ни на промыслах соловецкие монахи не использовали крепостной барщинный труд. Они предпочитали нанимать работников, расплачиваясь с ними наличными, либо на

сезонную, либо на постоянную работу (например, на мельницах и соляных варницах). Монастырь считал, что ему принадлежат земли и воды, а не люди. Пришедший или местный житель мог свободно уйти, даже не подыскивая себе замену, мог продать двор и земли или поменять их, заплатив монастырю обычную пошлину («похоромное» или «меновое»). В суде авторитетные мужики заседали вместе с монастырским приказчиком, «миром» решали вместе с ним споры о границах земель и угодий.

На пустынные прежде северные земли шли люди, неспособные смириться с крепостным бесправием. Монастырь и местные жители не склонны были выдавать царским сыщикам беглых холопов и крестьян, вообще всех преследуемых. Бывало, что за беглых крестьян монастырь вынужден был откупаться от властей не одной сотней рублей: все равно предпочитали платить, но не выдавать. В огромном монастырском хозяйстве, охватывавшем все Поморье до самого Мурмана, каждый человек ценился по заслугам, каждой паре рук находилось посильное дело.

С восхищением смотрел приезжий на дикий край, превращенный умным человеческим трудом в житницу. Конечно, многое здесь было сделано крепкими, добившимися зажиточности крестьянами, развивавшими свое земледельческое хозяйство, промыслы, ремесла и торговлю. Но создание в этих отдаленных местах крупного товарного хозяйства требовало огромных предварительных затрат. Возвращающийся из Вологды монастырский приказчик охотно делился с паломниками на судне своими хозяйственными заботами.

Выходило, например, что помимо больших затрат на строительство соляных варниц и их периодическое переоборудование надо было ежегодно заготовить и доставить к ним 3—4 сотни тысяч саженей (сажень — 216 см) дров. Далее, чтобы получить тысячу рублей дохода от продажи соли, надо было в течение

года вложить в дело более трети этой суммы (на оплату производства, работников, транспорта и т. п.), принять на себя весь риск, наконец,— заплатить с полученного немалую государственную пошлину. А соли в Поморье производилось на десятки тысяч рублей в год! На тысячу рублей добывалось и продавалось слюды, сотнями тонн везлись на огромные расстояния рыба и иные товары, тысячи людей должны были посетить монастырь и благополучно вернуться домой.

С борта морской лодьи, на которую путешественники пересели в устье Онеги, монастырский приказчик показывал на берегу мощные деревянные с каменной засыпкой крепости, вооруженные многочисленной артиллерией и охранявшиеся отрядами стрельцов. Тяжелые орудия были скрыты и под верхней палубой лодьи, поверх которой на вертлюгах были установлены еще малокалиберные скорострельные пушечки. Войны то и дело свирепствовали на землях Поморья, сухопутные и морские отряды шведов тщились искоренить российские поселения на этой земле. На монастырские средства строились крепости, содержались войска, закупалось вооружение и боеприпасы, оснащался флот. Безумные мероприятия московского правительства, типа налоговых и денежных реформ, время от времени грозили уничтожить экономику северного края, и монастырю нередко приходилось затрачивать вдвое больше, чем поступало за год в его казну. Без благоразумно созданных резервов самые рентабельные хозяйства не смогли бы выстоять среди политических и экономических катаклизмов. На севере же это означало не просто разорение, но гибель населения. Не случайно монастырь держал открытыми двери своих крепостей и промышленных центров, в готовности предоставить продовольствие и заработок временно выбитым из колеи мужикам.

От Кеми, укрепленной возведенным на средства монастыря острогом, лодья, везущая приезжего и его то-

варищей, взяла курс на Соловецкие острова. Белой ночью на переполненном паломниками судне никто не ложился. Теперь, когда идущие на богомолье отделились от разъезжавших по своим делам, было отчетливо видно, что поклониться Соловкам собрались представители всей России. Боярин из Москвы с большой свитой расположился прямо на досках палубы рядом с группой нищих, среди которых гремел веригами известный нижегородский юродивый. Дородный курский купец с окладистой бородой говорил стоявшим подле него степенным крестьянам разных уездов, что, передав дело сыновьям, хочет послужить богу, безденежно год делая всякую работу в Соловецком монастыре. Поработать на Соловках мечтали многие, и это было исполнимо: монахи охотно принимали желающих трудиться «по обещанию» (обету), обеспечивая им стол и одежду. Не все, однако, могли оставить на долгий срок семьи или службу — как, например, смоленский дворянин, потерявший в сражениях ухо и правую руку, но выбранный товарищами уездным старостой. Должна была вернуться на Дон и группа казаков в алых шелковых кафтанах с широченными плечами, везущая к Соловецкой святыне пожертвования от всего донского воинства. С трудом скопили на дорогу и содержание в свое отсутствие семей ремесленные люди из Твери и Костромы, Алатыря и Великих Лук, многие годы мечтавшие об этом паломничестве: они должны были вернуться назад до окончания судоходного сезона и потому расспрашивали корабельщиков, доколе будет стоять летний путь к Вологде. Недолог был и отпуск сибирских стрельцов в круглых меховых шапках, за год обещавших обернуться в оба конца.

По мере приближения к Соловкам море оживало. Десятки, а вскоре и сотни стругов, лодей, кочей, а то и лодок виднелись на горизонте. Вот посреди студеного моря засветлело — и торжественно, в сиянии поднялись из воды зеленые острова. Засуетились корабельщики вок-

руг парусов, веселее ударили веслами, стремясь вперед других войти в Залив Благополучия, где морские валы сменились почти зеркальной гладью двухкилометровой водной аллеи. Еще немного — и прямо по курсу глазам паломников открылся сказочный город, сверкающий крестами церквей за высокими стенами и могучими сужающимися к небу башнями, с огромным, уходящим в облака собором. Путники не заметили, как корабль стукнулся бортом о пристань.

Беломорское чудо

Надо было посетить Соловки, чтобы понять их притягательность для россиян. Без великих князей и царей-тиранов, без державных «просветителей», без толстобрюхих воевод и приказных крючков, без принуждения и внешнего «руководства» воздвиглось над Белым морем чудо рукотворное. Над Заливом Благополучия, с одной стороны, и Святым озером — с другой, перед приезжим открывался несокрушимой каменной кладки кремль, возведенный монахами и крестьянами «по начертанию» Трифона, выходца из поморского селения Нёнокса: он «все то огромное строение располагал и зодчим при оном был».

Более чем на километр протянулись укрепления, воздвигнутые на циклопическом фундаменте глубиной до двух с половиной метров. В восемь—одиннадцать метров высотой выведены стены несокрушимые. В подошве они толщиной метров в шесть, наверху, где возведена галерея — в три-четыре метра. Соловецкие строители сложили укрепления из прочнейших валунов весом по пять-шесть тонн. Есть там камешки и в 700 пудов (11 тонн)! Одним пятиметровой длины камнем перекрыта арка Святых ворот, другим — четырехметровым — вход во второй ярус Архангельской башни. Валуны уложены плотно,

узкие пространства между ними аккуратно забиты камнем и кирпичом. Не менее мощно выстроены и восемь крепостных башен высотой до 15 метров (не считая шатров), разделенных внутри на четыре яруса. В каждом ярусе сделано по шесть-семь ниш для орудийного боя. Это целые комнаты шириной около трех и глубиной не меньше трех с половиной метров. Ярусы высоки, и для подъема военных припасов в башнях придуманы специальные станки. Там, где крепость не примыкает к морю и озеру, вырыты глубокие, гладко выложенные камнем рвы.

Изумительно для приезжего и само Святое озеро с чистейшей, прозрачной водой. Оно тоже рукотворное: добывая камень для постройки, монахи вырыли водоем глубиной до десяти с половиной метров и площадью в двадцать с лишним гектаров. А чтобы не отбивать зря ноги, ходя и таская грузы по каменистому острову, соединили каналами 52 озера, выложили каналы камнем, сделали сверху дорожки для лошадей, тянущих лодки на бечеве. Без хитроумных приборов строители сумели совместить разные уровни воды в озерах и обеспечить сток излишков в Святое озеро.

Чтобы озеро не переполнялось, часть его воды пустили в подземный ход, питавший водой рвы, а часть использовали для рабочих нужд: проходя закрытым каналом под монастырем, вода вертела жернова мельницы и двигала механизмы прачечной, питала водопровод. Квасо- и пивопроводы в кельях были уже излишеством, своего рода технической шуткой братии. Исполненные созидательного рвения, соловецкие подвижники — монахи и миряне — заполнили пять гектаров крепостной территории множеством фундаментальных сооружений: ризницей для хранения богатств (площадью каких-нибудь 445 квадратных метров), библиотекой (хранившей более полутора тысяч книг), казначейской, келарской, поваренной, квасоваренной, рухлядной (для хранения одежды), сушильной па-

латами. Великолепная двухэтажная портная палата была благоразумно снабжена огромными окнами, двухэтажная мельница, как и кухни, механизирована; особый домкрепость предназначался для пороховых запасов. Не забыли соловчане и кельи для жилья, которые предпочитали делать деревянными, хотя и на каменной основе. Поразмыслив, они соединили важнейшие сооружения каменными галереями, чтобы не ступать лишний раз на землю и не выходить, скажем, под дождь. Крышами были закрыты и все укрепления.

Вообще многоэтажность, взаимосвязанность зданий роднила построенные на века каменные здания Соловков с русскими теремами, а любовь строителей к разнообразным инженерным затеям (типа отопления больших помещений горячим воздухом от постоянно действующих хозяйственных печей, использования гидравлики и т. п.) была естественна для не скованных властями самобытных «художников», знакомых к тому же с последними «вымыслами» западноевропейских собратьев. Смелый поиск был присущ не только инженерам. Соловецкие огородники выращивали на 65 ° северной широты практически все, что могли вырастить рачительные хозяева под Москвой. Соловецкие садоводы получали замечательные яблоки и бились над устойчивостью урожаев других фруктов, включая лимоны. Виноград, арбузы, другие лакомства влекли воображение островных землеробов, а их коллеги-водознатцы обогащали живность естественных и искусственных водоемов форелью и другими видами рыб (всего их водилось 13, включая щуку, налима, окуня, карася).

В союзе с природой монахи и работные люди строили и благоустраивали не только кремль, но и весь остров, используя перепад высот, многообразие ландшафтов и растительности. Уютные скиты, удобные работные дворы, связанные системой каналов и дорог, позволяли жителям Соловков в каждое время года находить себе по душе и место, и работу. Чуждые варварской идее «борьбы

с природой», соловецкие труженики постоянно совершенствовали взаимоотношения человека с ней, не разрушали, но гуманизировали окружающую среду.

Весьма поучительными, заслуживающими трудного путешествия были и отношения внутри монастыря, между монахами и мирянами, местными и береговыми жителями, поморами и пришлыми. Монахи встречали прибывающих на пристани и, коротко расспросив, вели в кремль Святыми воротами, над которыми возвышалась церковь Благовещения. Здесь же, у ворот, находились настоятельские палаты. Отсюда состоятельные, в том числе приехавшие с семьями, люди провожались в одни, а нищие — в другие кельи (бесплатные). Как радушные хозяева, монахи приглашали обустроенных гостей к местной достопримечательности — Успенской церкви. Построенная в XVI веке за пять с небольшим лет, она заслуживала внимания не только как святое место.

Это была «вседневная», сравнительно небольшая церковь, но уютная и теплая. Под ней, на первом ярусе, находились «сухие погреба» с мукосейней, хлебной и просфорной пекарнями, квасоварней. Оттуда духовые печи гнали горячий воздух по проложенным в стенах каналам, нагревая все здание. Через проем в мощной кирпичной стене из церкви проходили в келарскую палату со сводом почти пятиметровой высоты, опирающимся на восьмигранный центральный столп. Здесь были накрыты столы для приехавших на богомолье женщин.

Мужчины — и монахи, и приезжие — садились за столы в соседней Трапезной палате площадью более 480 квадратных метров (немногим менее Грановитой палаты), не считая при этом огромных ниш в многометровой толщины стенах. Четыреста человек свободно рассаживались здесь за длинными столами отведать что бог послал нынче честной обители. Гостей монахи кормили тем же, что ели сами,— не роскошно, но сытно, изобильно и разнообразно. Узкие и высокие окна освещали интерьер

этого удивительного сооружения, подлинного шедевра средневековой архитектуры. Почти семиметровый свод Трапезной из четырех крестовых сводов опирался на единственный круглый средний столп четырехметрового диаметра. В нем же были сделаны вентиляционные отдушины. Никаких крепящих конструкций и железных связей в палате не было видно: казалось, каменное небо само парит в воздухе, слегка касаясь замков на стенах и в углах. Скромная побелка без всяких украшений подчеркивала совершенство инженерной идеи, не нуждавшейся в дополнительном убранстве. Столь же скромны были и два придела, помещенные на третьем ярусе, под боковыми главками Успенской церкви: Усекновения главы Иоанна Предтечи (говорили, что он был освящен самим митрополитом Филиппом) и Дмитрия Солунского, где желающие могли уединиться для молитвы.

Новоприезжий не мог не удивиться, что игумен — глава монастыря — встречавший гостей у ворот, не пошел к трапезе вместе со старшей монастырской братией. И этот секрет был быстро раскрыт словоохотливым соседом по столу (монахи специально рассаживались среди гостей, выполняя роль хозяев). Игумен не должен был помышлять о еде, пока не проверил, как во всех трапезных палатах расселись и обеспечены едой служки и «детеныши» монастыря (взятые на воспитание сироты, которым монахи давали профессии), его работники по найму и по обещанию (они ели вместе), наконец, нищие, с которыми садился за стол и игумен. Впрочем, по рассказу монаха, игумен не прикасался и к трапезе нищих (к слову, весьма хорошей). Умерщвляя свою плоть, этот прославленный чистотой, бого- и человеколюбивый муж не ел ничего вареного, принимая только хлеб и теплую воду. Не желая, однако, вводить окружающих в соблазн непосильного аскетизма, игумен велел наливать себе воду в миску и хлебал ее ложкой, как бы трапезуя вместе со всеми.

По праздникам и летом, в условиях наплыва богомольцев, богослужение велось в главном соловецком храме — Преображенском соборе, где были захоронены мощи основателей монастыря святых Зосимы и Савватия. Посетителей не мог не потрясти этот самый мощный, а долгое время и самый высокий (выше Успенского собора в Москве) русский храм. Собор был поставлен на пяти высоких подклетах, где располагались хозяйственные помещения. На их прочных сводах возвышался громадный, суживающийся кверху, напоминающий цитадель храм с четырьмя угловыми башнями, как бы охраняющими центральный купол. В башнях помещались четыре храма третьего яруса: Семидесяти апостолов, Двенадцати апостолов, Феодора Стратилата и Иоанна Лествичника. Внизу к алтарю собора примыкал храм св. Архистратига Михаила.

Монастырские зодчие строили собор на века и «на вырост». Трепет охватывал богомольцев, входящих в храм площадью около 415 квадратных метров, своды которого, опирающиеся всего на два столпа, возносились ввысь на 17 метров. Неяркое северное солнце бросало причудливые пятна на строгие белые стены через цветные оконницы высоких окон, выходящих внутрь собора мощными расширяющимися нишами. Суровая простота, сочетающаяся с величием замысла и исполнения, делала собор незабываемым памятником труду русского мужика, памятником человеку, а не государству.

Монахи и работники, конечно, не ограничились двумя храмами. В неутолимом строительном порыве они возвели в кремле замечательную пятиглавую Никольскую церковь, соединенную через обширную залу с ризницей, а под полом имеющую погреба, украсили храмами лучшие места Соловецких островов. Богослужение в них осуществлялось священниками и дьяконами, назначенными игуменом. Были среди них и бывшие подьячие, и дворяне, и горожане, и холопы, крестьянские и стрелецкие дети.

Впрочем, в монастыре и скитах не любили излишне длить службу — монахи и работники спешили угодить богу общеполезным трудом.

Послушники и молодые монахи работали вместе с воспитанниками монастыря и наемными трудниками в многочисленных монастырских службах, обеспечивавших повседневную жизнь северной обители. Сотням обитателей монастыря надо было предоставить «всем всякую потребу из казны» — пропитание, одежду, обувь, удобное и чистое жилье, лечение. В равной мере это относилось к массам неимущих богомольцев, которых монастырь обеспечивал за свой счет. Следовало, наконец, должным образом принять и обиходить состоятельных паломников, вносивших свой вклад в монастырскую казну.

Переменяясь видами работ, соловецкие братья трудились во главе хорошо организованных и снабженных хозяйственных подразделений. В котельной палате, например, хранились котлы и другая медная посуда, выдававшаяся по надобности, поддерживавшаяся в должном порядке и опрятности. Поваренные, квасоваренные, хлебные палаты и т. п. готовили ежедневную еду и питье, рассчитывая на количество ртов и получая припасы из отдельных хранилищ. Две мельницы, одна с двумя, другая с одним механическим жерновом, должны были своевременно подать к печению ржаную и пшеничную муку. Требовались люди для руководства работой толчеи и подсевальни для круп, солодовой палатой, овинами, амбарами.

Чеботная казна содержала все необходимые материалы и инструменты для производства обуви в сапожной мастерской («швальне»). Запасы материй и мехов, ножниц, иголок и т. п. снасти обеспечивались портной казенной палатой, которой ведал старец-казначей, как и хранилищем сапожных материалов. Портной казначей, руководитель чеботной и рубашечной «швален» должны были быть предусмотрительными и умелыми организато-

рами. Кроме них монастырю требовалось множество руководителей плотницкой, кузнечной, тесальной, лодейной казны, строительных и ремонтных артелей и т. д.

Многим «приказным старцам» (монахам на хозяйственных должностях) приходилось трудиться вне монастыря. Они руководили соляными варницами, морскими промыслами, сельскохозяйственными работами по всему Поморью, возглавляли соловецкие подворья в других городах, вплоть до Москвы. Приказчики, ключники, казначеи и руководители всевозможных артелей менялись обязательно, но не всегда скоро, потому что преемнику требовалось овладеть разнообразными хозяйственными навыками. Гораздо реже происходила смена лиц на должностях, требовавших помимо хозяйственной сметки глубоких специальных знаний.

Например, редко менялись книгохранители богатейшей соловецкой библиотеки — при этом каждый раз составлялась опись передаваемых новому лицу книг. Предметом особых забот братии был отлично организованный архив, содержавший в порядке тысячи документов, подтверждающих права монастыря. С каждого из них снималось несколько копий, которые тематически переплетались в книги. Подлинники документов хранились в монастыре и извлекались из специальных сундуков и коробий лишь по важнейшим случаям. Сам руководитель архива — «крепостной палаты» — работал с копиями и следил, чтобы копией необходимой документации были снабжены все «приказные старцы».

Легко было меняться на обслуживании больных в двух каменных соловецких больницах: практически все монахи могли исполнять богоугодную роль «братьев милосердия». А вот врачи и аптекари, собиравшие лекарственные препараты, изготовлявшие и применявшие «зелия лечебные» (в том числе на продажу) были практически несменяемыми специалистами. Часть монахов как основной работой или в свободное время занималась

школьным преподаванием, уважаемых лиц назначали руководить профессиональным обучением (и одновременно воспитанием) детей, взятых монастырем на свое попечение. Мастера — монахи и миряне — занимались в особом помещении перепиской книг и изготовлением икон, предназначавшихся, как правило, для многочисленных богомольцев.

Приезжему было недолго разобраться, что, хотя все обитатели монастыря — и монахи, и бельцы-миряне — стремятся спасти свои души общеполезным трудом, люди на Соловках не равны между собой. Так, несколько десятков «приказных старцев» возвышались над массой монахов, а 12—14 соборных старцев вместе с общемонастырским келарем, казначеем и, наконец, игуменом составляли верхушку, сосредоточившую в своих руках основную власть. Власть эта не всегда была легка для подчиненных — провинившихся перед ней могли запереть или наказать плетьми. Нелегко было и попасть в соборные старцы, вносившие при пострижении в монастырскую казну сотни рублей.

Однако монахи, рассказывавшие приезжему о жизни Соловков, убеждали, что монастырская власть не продается и не достается за счет связей «в верхах» Российского государства. Да, у соборных старцев были слуги, случалось, они покупали себе особые кельи, имели «собинные» деньги и даже кое-какие личные хозяйства, обеспечивавшие особые удобства. Но, говоря об этом, монахи рассказывали приезжему о знаменитых соборных старцах, келарях, казначеях и игуменах, составлявших гордость Соловецкого монастыря.

Среди них был святой Филипп Колычев, другие митрополиты и архиепископы, даже патриарх (Иоасаф I); на покой в Соловки удалился герой Смуты Авраамий Палицын, здесь жили и мирно скончались многие выдающиеся люди России, достойные общего почета и уважения, не говоря уже о некоторых послаблениях в быту.

Монахи подчеркивали, что и для рядового чернеца, сделавшего при пострижении вклад всего в 2—16 рублей, путь в соборные старцы не был закрыт. Более того, человек мог постричься и совсем без вклада деньгами — ведь он приносил в монастырь свой талант!

Такой человек, ярко проявивший себя в разного рода труде, мог занять в монастыре почетнейшее место, тогда как братия могла не принять и не оказать уважения человеку, сделавшему многотысячный вклад или приехавшему с рекомендательной грамотой от самого царя. Просьбу царя могли не удовлетворить, а богатый вклад вернуть недостойному, по мнению братии, чести войти в число избранных монахов монастыря. Соловецкая обитель не могла допустить ослабления, а то и загнивания своей «головы» — малого черного собора, состоявшего из игумена, келаря, казначея и соборных старцев, который решал главные вопросы жизни монастыря и осваиваемых им огромных земель. Большой черный собор всей братии собирался лишь в особо важных случаях, и только для невероятно значительных решений сходился весь монастырь — чернецы и бельцы, приказчики и трудники, соборные старцы и казаки. Мало кто предполагал, что у процветающей обители вскоре будет необходимость сзывать большой собор.

Приезжий жил в монастыре, углублялся в книги его библиотеки, знакомился со службами, совершал путешествия по рукотворным водным дорогам. Хотя он и объявил о своем желании дать «обещание» Соловкам и соединиться с его братией, никто его не торопил. Считалось за лучшее не спешить с пострижением, взвесить свои силы и способности, влиться в жизнь обители. Следовало еще пройти послушание, постриг же осуществлялся один раз в год. Не скоро сбылась мечта приезжего, и он вступил в круг монастырских братьев с именем Никанор.

Январь 1653 года

Пухлые снежные шапки лежали на крышах амбаров, складов, лавок и жилых домов обширного соловецкого подворья. Вся Вологда была засыпана глубоким снегом. Даже трудолюбивые соловецкие монахи и работники оставили на время широкие лопаты, которыми аккуратно расчищались проходы между зданиями, и ждали окончания затянувшегося снегопада. Только широкий козырек крыши над светлицей монастырского приказчика не позволял снегу густо залепить оконницы. Строитель (начальник) соловецкого подворья в Вологде Никанор отдыхал от обычной суеты. Кутаясь в подбитую теплым мехом мантию, он присел в удобные кресла, поставив ноги на низкую лавочку перед большой изразцовой печью.

Годы наложили отпечаток на молодого человека, некогда проезжавшего через Вологду, чтобы дать монашеское обещание в Соловецком монастыре. Примерная жизнь аскета согнала румянец со щек, придала лицу строителя иконописный облик. Длинная борода украсилась сединой, многосложные хозяйственные заботы проложили на лбу морщины. Долго, преданно и самозабвенно служил Никанор монастырю, прежде чем братия облекла его особым доверием, поручив руководство всеми торговыми операциями в важнейшем центре соприкосновения монастыря с хозяйством остальной России. Даже московское подворье не имело такого оборота денег и товаров, как вологодское.

От строителя подворья требовались особые таланты. Одним из них была способность ладить с многочисленными мирянами и особенно государственными чиновниками, которые последнее время все более и более покушались на свободу Соловков в делах мирских и даже на внутренний суверенитет монастыря. С воеводами, дьяками, таможенными и всяческими иными чиновниками складывались непростые отношения. Не всегда древние права и сво-

боды Соловецкой обители можно было отстаивать прямо и твердо, но и в использовании уловок и взяток не следовало перегибать палку, приучать «кормиться» за счет монастырской казны.

Бывало, из-за спин чиновников выглядывала и сама Москва. Царь Алексей Михайлович и его бояре не прочь были прибрать к рукам церковные и монастырские дела и хозяйства. Никанор помнил, как в 1647 году царь грубо-распорядительно наставлял в своей грамоте игумена Илью и братию, чтобы «на Соловецком монастыре старцам по кельям пьянственнаго никакого питья держать не велели; а которые священники, и крылошане (церковные служители.— *А. Б.*), и братия впредь учнут у себя по кельям пьянственное питье держать — и вы бы,— повелевал царь,— у тех то пьяное питье велели выимать, и за безчинство и за пьянство их смиряли монастырским всяким смирением, смотря по вине, кто чево доведетца, чтоб впредь того в Соловецком монастыре меж братией безчинства и мятежей не было».

Царь, понятно, оберегал свою винную монополию, на которой грела руки целая орава откупщиков. Но монастырь имел привилегии на вино- и пивоварение, а забота о трезвости монахов выглядела особенно циничной у государя, наводнявшего страну кабаками. К тому же питие само по себе, если оно не сказывалось на работе и не приводило к дурным последствиям, не осуждалось церковью и не воспрещалось монастырским уставом. Алексей Михайлович явно испытывал на прочность соловецкое свободолюбие...

На земском соборе 1649 года соловецкая делегация убедилась в справедливости своих опасений. Принятое тогда Уложение ограничивало церковное и монастырское землевладение, передавало суд над духовенством, монашеством и людьми церковно-монастырских вотчин светскому учреждению — Монастырскому приказу. Правда, в своих владениях Соловки сохраняли древние права, но

угроза им стала уже явной. Недаром Никон, ставший в том же 1649 году новгородским митрополитом, назвал Соборное уложение «проклятой книгой, дьявольским законом»!

Впрочем, размышлял Никанор, от Никона исходила монастырю не меньшая угроза, чем от царя. Слишком резво шагал постриженник пристроившейся под соловецким боком Анзерской пустыни, которого многие помнили еще мальчишкой. Еще в 1650 году он решился командовать Соловками, особой грамотой предписав изготовлять раздаточные просфоры из пшеничной, а не ржаной муки. Тогда даже самые спокойные монахи возмутились: разве не знает Никон, что раздаточными просфорами Соловки кормят тысячи богомольцев, и только служебные, употребляемые во время литургии просфоры могут изготовлять из редкой, издалека привезенной пшеницы?

Для того чтобы выполнить указ новгородского митрополита, требовалось круто изменить состав монастырских запасов зерна, среди которых рожь занимала главнейшее место. Монахи письменно возразили Никону — но тот пригрозил отлучить игумена Илью, если его распоряжение не будет выполнено. С трудом, с большими расходами соловецкая братия смогла выполнить указ митрополита, но он не унимался. Испокон века суд на Соловки давали московские государи, а в 1651 году Никон добился права «ведать судом и управою» все духовенство и монашество своей епархии, включая Соловецкий монастырь. Это право митрополит незамедлительно реализовал.

Его новая грамота игумену Илье утверждала, что в монастыре не следуют «преданию святых древних отец», ведут себя «безчинно» и вообще там «бывает смута многая». Оскорбляя братию, Никон старался к тому же поприжать их вольности. Он запретил монахам в субботу и воскресенье Великого поста есть рыбу, запретил употреблять квас с хмелем, велел обнажать головы от монаше-

ских клобуков во время службы. Особое раздражение митрополита вызывало отношение соловчан к ссыльным. «Вы их держите не по государеву указу,— писал Никон,— не крепко, во всем им свободу даете и против государева указу под крепкий начал (в заточение.— *А. Б.*) не отдаете». Никон требовал суровых мер к ссыльным, однако это распоряжение, судя по последующим событиям, не было выполнено — они продолжали свободно жить и работать в монастыре.

В том же 1651 году новгородский митрополит потребовал изменить порядок богослужения: петь и читать тексты «единогласно» (последовательно один за другим), а не «многогласно» (для ускорения службы на Соловках было принято петь и читать одновременно). Неизвестно, насколько эта мера удалась, но вмешательство Никона еще более возмутило монахов. В следующем году новгородский митрополит ущемил соловецкую братию в пользу Анзерской пустыни. Он знал о растущем против него недовольстве, например о том, что строитель соловецкого подворья в Москве Матвей открыто называет его врагом Соловецкой обители, что в Новгороде соловецкий дьякон Пимен объявляет Никона антихристом и т. д.

Крутые меры против недовольных не помогали. Строитель Никанор помнил, как возмущали братию известия об избиениях и заточениях соловецких монахов в Новгороде и Москве по приказам Никона. Даже дружеские на первый взгляд жесты митрополита явственно свидетельствовали о его желании подчинить монастырь своей воле. Игумена, избиравшегося братией и утверждавшегося в Москве, по предложению Никона повысили в сан архимандрита. Но более торжественное архимандритское одеяние и право Ильи на более торжественную церковную службу многих в монастыре не обрадовали, ибо поставил Илью на новую ступень и возложил на него митру все тот же Никон. В грамоте Никона на Соловки, извещаю-

щей о царской милости и прекращении против обители одного неприятного следственного дела, также слишком явственно звучали покровительственные, хозяйские нотки.

Тем, кто этого не понял, раскрыли глаза последующие события. В 1652 году Никон сам приехал в Соловецкий монастырь. По рассказам братии, он как волк рыскал по обители, хватая то, что ему понравилось, например книги (о которых монахи особенно сокрушались), золотую застежку с яхонтом и изумрудом (вклад царя Симеона Бекбулатовича), золотую цепь, панагию с драгоценными камнями и жемчугом. Наглость Никона зашла так далеко, что он покусился на одну из величайших соловецких святынь — мощи мученика Филиппа, изгнанного из Москвы и убитого по приказу Ивана Грозного.

Некогда соловецкие монахи с большим риском и трудностями разыскали святые мощи и доставили их на Соловки. Здесь в драгоценной раке они освящали собой Преображенский собор, здесь все богомольцы могли поклониться останкам человека, восставшего против тирана. Никон, желавший занять патриарший престол, из политических соображений считал удобным приехать в Москву с мощами Филиппа. Этого было достаточно, чтобы лишить Соловецкую обитель ее сокровища! Несправедливость была столь нестерпима, что Никанор не понимал, как монахи подчинились диктату митрополита.

Самого Никанора не было в монастыре, а его единомышленники оказались в растерянности. Лишь плач, а не твердое хозяйское слово звучало в обители. Обливаясь слезами, распевая специально сочиненный горестный гимн, монахи провожали мощи святителя, вместо того чтобы вспомнить свои древние права и указать похитителю на дверь. Оторвавшийся от земных дел аскет Илья мог только горько сокрушаться о разорении обители от лукавого пастыря, но не защитить Соловки. Монастырю нужен был новый глава.

* * *

От тягостных размышлений Никанора оторвал шум на лестнице. Пробившись через снегопад и завалившие вологодские улицы сугробы, в келью строителя поднимался преогромнейший бородатый монах. Даже не остановившись, чтобы отряхнуть с себя снег, он подошел к креслам и склонился к уху строителя. Преосвященный Маркелл, архиепископ вологодский, сообщал через доверенного служителя Софийского дома, что задуманное увенчалось успехом.

Верный соловецкий постриженник, Маркелл принял деятельное участие в перемене архимандрита беломорской твердыни. После того как монахи отказали в доверии Илье и просили Маркелла помочь утвердить соловецким настоятелем строителя Никанора, архиепископ употребил все свое влияние в столице. Теперь ответ из Москвы пришел: правительство было согласно с кандидатурой Никанора, но требовало, чтобы он принял поставление в Кремле. Пока строитель собирается в дорогу, сообщал Маркелл, он, архиепископ, пишет послание на Соловки, чтобы братия с честью отпустила Никанора в Москву.

Оба, и Маркелл, и Никанор, понимали, что будущему архимандриту следует прежде побывать в обители и утвердить братию в правильности сделанного ею выбора. Только после этого, оставив дела на Соловецких островах в полном порядке, а людей в единомыслии, можно было отправляться в столицу. Не мог Никанор и немедленно покинуть Вологду, где дела требовали оставить грамотного и надежного заместителя. Двинувшись по зимнему пути, Никанор должен был посетить разбросанные по Поморью монастырские усолья и промыслы, заручившись поддержкой приказчиков. Все равно до вскрытия льда добраться на острова было нельзя. Тем не менее следовало спешить. Никанор решительно поднялся и, проводив вестника, принялся за работу.

10 июля 1657 года

С радостью видел Никанор, как из свинцовых морских валов поднимались могучие башни соловецкой твердыни. Сюда, как к родному дому, давно стремилось его сердце. Со слезами на глазах сошел он на берег, которого столь долго был лишен волей царя Алексея Михайловича. Когда-то Никанор радостно стремился в Москву, везя с собою братский приговор соловецких монахов, единодушно избравших его своим архимандритом. Вез он еще лукошко рыжиков в подарок патриарху Никону и образ святых чудотворцев Зосимы и Савватия в золотых и серебряных ризах, чтобы при посвящении в архимандриты «почтить» им царя. В Москве Никанора хорошо приняли и посвятили... в архимандриты другого монастыря!

Чудная природа, райской красоты местность под Звенигородом настолько пленила царя Алексея Михайловича, что он, не считаясь с расходами, взялся перестраивать, а лучше сказать — заново строить стоявший на горе Стороже древний Саввино-Сторожевский Рождество-Богородицкий монастырь. Детище Саввы, ученика Сергия Радонежского, украсилось парадной семибашенной крепостью и каменными дворцами, древний храм Рождества Богородицы был заново расписан Степаном Рязанцем и окружен хрустальной галереей, знаменитый зодчий Иван Шарутин лично создавал новый архитектурный облик монастыря, превращая его в любимую загородную резиденцию государя.

Сюда, в полудворец, полумонастырь, и понадобился Алексею Михайловичу достойный архимандрит. Сюда, презрев желание соловецких монахов, царь и назначил Никанора как человека, известного своей честностью, подвижнической жизнью, а главное — распорядительностью. Управлять строительством, которое вели государственные служащие и наемные артели, набирать монахов, органи-

зовывать монастырское хозяйство, принимать царя с его семьей и приближенными — масса хлопот свалилась на Никанора, сердце и все помыслы которого были отданы Соловкам. Но разве можно было идти против царской воли?

Алексей Михайлович желал, чтобы Саввино-Сторожевский монастырь был его игрушкой. Здесь он чувствовал себя как бы монахом. Здесь для него и его супруги Марии Ильиничны Милославской были оборудованы кельи на манер монашеских. Делами монастыря царь желал заниматься лично, чтобы архимандрит был чем-то вроде его наместника. Не раз и не два приходилось Никанору спешно мчаться по царскому вызову в Москву с докладом о состоянии дел и здоровье братии. Любые мелочи Алексей Михайлович хотел решать сам, что немало затрудняло Никанора. В любое время дня и ночи он вынужден был добираться в Кремль, имея специальное (и весьма необычное) разрешение миновать заставы и даже дворцовую охрану, невзирая на поздний или ранний час. Рогатки караулов свободно раздвигались перед Никанором, непредолимое препятствие стояло только на одной дороге — в Соловки.

В московской суете, вынужденный подчиняться прихотливой царской фантазии, архимандрит не мог забыть своего «обещания». Алексей Михайлович был щедр к приближенным, и Никанор мог посылать на Соловки подарки. В разное время он отправил туда до шестисот рублей денег, две митры, стоящие в сумме 1210 рублей, великолепный образ Богоматери в драгоценном окладе, книги, изображения праздников и святых на весь год, писанные красками с золотом. Особым подарком, выражающим глубокое почтение к обители, были серебряные рипиды — лучистые круги с изображением серафимов, укрепленные на длинном древке,— они применялись для архиерейского богослужения и во время крестного хода с участием епископа.

По-видимому, Никанор переписывался со своими друзьями и единомышленниками на Соловках — Герасимом Фирсовым, написавшим сочинение против никонианских реформ, Александром Стукаловым, Азарием, Геронтием и другими. Он помогал людям, устремлявшимся в Соловецкую обитель. За одного из них — инока Боголепа — он даже сделал в монастырь вклад в 200 рублей. Поддерживать приходилось и тех, кто был выслан на Соловки по воле патриарха Никона: среди них были и монахи Саввино-Сторожевского монастыря, участь которых не смягчило даже приближенное к царю положение.

Шли годы. Преобразования Никона все глубже проникали в церковную жизнь, вызывая где яростные протесты, где скрытое непрятие, где равнодушную покорность. Хотя соловецкий архимандрит Илья в 1654 году участвовал в московском церковном соборе, определившем приступить к исправлению русских церковных книг по греческим, волна нововведений не захлестнула Соловецкую обитель. Никанор знал, сколь хорошо приняли монахи сосланного к ним по настоянию Никона бывшего начальника Государева Печатного двора князя Михаила Ивановича Львова. Приезжавшие в столицу соловчане рассказывали, что к живущему якобы под стражей Львову приходят в гости многие монахи, проводят у него целые ночи в разговорах о старом благочестии, принося «к нему сосудами и погребцами вино и водку и пьючи с ним».

Последнее Никанор, как строгий аскет, не одобрял, но стремление соловецкой братии облегчить ссылку невинного человека было ему понятно. Даже монастырский казначей снабжал арестанта необходимыми товарами и предметами привычной князю роскоши. На острове Львов имел и богатую одежду, и слуг, и лошадей. Соловецкие монахи не оставляли своей заботой и других ссыльных, в том числе тех, кто представлялся особо опасным всемогущему патриарху Никону.

В принадлежащий Соловкам Кандалакшский монастырь был сослан известный книжный справщик протопоп московского Казанского собора Иван Неронов. Среди болот и лесов, в дикой местности, где кочевали одни лопари, должен был, по мысли Никона, заглохнуть голос проповедника старой веры. Ни зимой, ни летом не было дороги через дебри — только морем можно было добраться оттуда до жилых мест. Патриарх особенно позаботился об охране ссыльного, пламенные речи которого уже успели взволновать Вологду и едва не вызвали восстания в защиту «исконного благочестия» в Спасо-Каменном монастыре.

Однако и в Кандалакше Неронов сумел привлечь на свою сторону несколько монахов и мирян. Августовской ночью 1655 года, когда караульные заснули, Неронов с товарищами вышел на маленькой лодке в бурное море. На подходе к Кеми беглецов подобрало соловецкое судно. 15 августа протопоп был с честью принят в Соловецком монастыре. Архимандрит Илья с братией не только не выдал Неронова властям, но, благожелательно расспросив и снабдив на дорогу всем необходимым, на особом судне сопроводил на Двину, откуда беглец смог тайно добраться до Москвы. Благословение на подвиг во имя веры, данное Ильей Неронову, выражало глубокую симпатию соловецких монахов к московским страдальцам.

Неудивительно, что царь Алексей Михайлович многие годы не позволял архимандриту Никанору совершить паломничество на Соловки. И без того было известно, что соловецкие монахи, жившие в Москве и других городских подворьях монастыря, чуть ли не все настроены против реформ Никона, поддерживавшихся самодержцем. У них было много друзей и родственников, а потоки богомольцев продолжали течь к беломорским святыням, несмотря на войны, эпидемии и экономические трудности. Наконец отправиться в паломничество на Соловки удалось и Никанору. В дороге к Белому морю он еще раз убедился, что

и некогда помогавший ему вологодский архиепископ Маркелл разделяет осторожное отношение соловецких монахов к церковным реформам. По словам Маркелла, колебался и не спешил рассылать по епархии новопечатные книги новгородский митрополит Макарий. Ходили слухи, что отвергает никонианские книги вятский епископ Александр. То здесь, то там в северных уездах возникали конфликты с властями священников и прихожан, не желавших принимать нововведения.

Вырваться на Соловки Никанору помогли трагические события. Поразившая многие районы России и Украины эпидемия холеры не пощадила и Саввино-Сторожевского монастыря. Несмотря на все меры, предпринимавшиеся архимандритом, и самоотверженный уход братии за больными, в монастыре из примерно трехсот монахов осталось в живых сто семьдесят. Это не мешало Алексею Михайловичу хвастаться монастырем перед иностранцами, но не дать краткий отпуск пережившему боль многих утрат архимандриту он не мог. Никанор получил указание ни на день не затягивать свое богомолье и, поклонившись мощам святых Зосимы и Савватия, немедленно возвращаться к царю.

К святым мощам саввинский архимандрит приехал не с пустыми руками. Помимо собственного богатого подношения Никанор привез на тысячу рублей крупной серебряной монеты от одного из знатных и богатейших людей государства — боярина Бориса Ивановича Морозова. Боярин пожертвовал более трех пудов серебра не напрасно (вскоре он прибавил еще столько же). Драгоценный металл на новые раки Зосиме и Савватию давал человек, в доме которого радушно принимали старообрядческих проповедников, а также воспитывалась будущая мученица Феодосия Морозова. В затянувшейся до утра беседе со старыми товарищами Никанор говорил о нарастании противодействия Никону при дворе, о возможности опереться в борьбе за «благочестие» на многих знатных

Служебник нового образца
(«никонианский»)

лиц, таких, как боярин Морозов, использовать влияние на властного царя его супруги Марии Ильиничны.

Утром судно Никанора отвалило от причала в Заливе Благополучия. Вскоре кормщик велел поднять паруса. Соловецкие острова, мелькнув, как сказочное видение, скрылись за кормой. Разрешенное царем богомолье продолжалось один день. Никанор убедился, что братия и трудники монастыря твердо стоят «в древнем отцепре-

данном благочестии», и недаром люди по всей России видят в Соловецкой обители непреступную твердыню против захлестывающих страну никонианских нововведений. Об одном жалел саввинский архимандрит — что сам он не может быть вместе с братией в приближающиеся трудные времена, не может живым словом поддержать колеблющихся и боящихся высочайшего гнева, особенно мягкосердечного архимандрита Илью. Беспокойство и вера боролись в душе Никанора, когда уносящая его лодья скользила по длинным валам Белого моря к Холмогорам.

Как-то поутру, уже в среднем течении Северной Двины, Никанор в неясном волнении поднялся на палубу дощаника. Среди проходящих мимо судов захватил его внимание черный казенный струг. Произнеся молитву и осенив себя двуперстным знамением, Никанор отогнал явившееся было адское видение, но долго не мог справиться с холодной дрожью. Лишь спустя годы он узнал, что случившееся посреди реки предчувствие не обмануло. Тогда, в августе 1657 года, мимо Никанора вниз по Двине ехал дворянин Новгородского Софийского дома Иван Мальгин. В Холмогоры и далее на Соловки вез он новопечатные никоновы служебники и строгий указ употреблять при богослужении только эти, исправленные против древнего обычая книги. В истории Соловков открывалась новая, опасная страница, развертывались события, в которых Никанору не суждено было участвовать.

Лето 1660 года

Прошло немало времени, прежде чем Никанор смог вновь ступить на благословенную землю Соловков. Он был уже стар. С благоговейными слезами на глазах смотрел он на могучие, не замечающие течения лет постройки обители, прикасался к ее вечным камням, кланялся могилам былых товарищей. Как годы и десятилетия не оставляли следа на сером камне стен, так не

могли они проникнуть сквозь узкие высокие окна книгохранительницы. Все старые друзья — книги лежали здесь на полках, уберегаемые от света и влаги кожаными и деревянными коробьями и «лагалищами». Были среди них и написанные некогда рукой самого Никанора. Стяжательство было несвойственно старцу — он и сейчас привез монастырю сотни рублей и ценные предметы, приобретенные на царской службе,— но книгу Иоанна Лествичника, переписанную им двадцать лет назад, Никанор не удержался выменять у книгохранителя лично для себя.

Поглаживая обтянутый кожей дубовый переплет книги, Никанор вспоминал былые годы с собравшимися в его келье товарищами. Их осталось не так уж много, но оживленные голоса наполняли высокую келью и гудели под сводом, невзирая на поздний час. Белая ночь позволяла не зажигать огня, а множество накопившихся впечатлений заставляло не прислушиваться к бою курантов и не открывать крышек карманных часов-луковиц: благо к тому же архимандрита в Соловках не было! Разговор перескакивал с одного на другое, пока наконец брат Герасим Фирсов своим басовитым гласом не привел его к началу, к тому моменту, когда Никанор последний раз уезжал с Соловков.

«Только ты уехал,— рассказывал в своей обычной иронической манере Герасим,— натерпелись мы страху. Узнаем — 30 августа объявился в Холмогорах грозный чиновник новгородского митрополита с никонианскими книгами. Конечно, пошел шум и гам, священники было заартачились, но воевода близко — бунтовать опасно. Короче, приняли все эти служебники (да и то сказать, долго они в Поморье шли, еще в 56 году были изданы). Наш холмогорский строитель Иосиф тоже должен был выложить 23 рубля 8 алтын и две деньги за три Скрижали и 15 новых служебников. На островах, конечно, обо всем сразу узнали, Илья аж заболел от волнения: и ослушаться власти боязно, и послушать душа не принимает.

— Наконец,— продолжал Герасим,— числа 10 октября привозят к нам на пристань новые книги. Окружили мы Илью — а были тогда келарь Сергий, старцы Савватий Абрютин, Евстратий, Макарий Бешеный, я да Тихон Будильник — и дух в нем поддержали. Вышли на пристань, взяли новые книги и как они были непереплетенными в связках — так и бросили в оружейную палату (благо она запирается крепко). Тут как раз море начало вставать — ты знаешь, что потом чуть не до мая с берегом сообщения нет. Так что зиму мы спокойно провели.

По весне смотрим — забеспокоился Илья. В монастыре, конечно, тайны не утаишь — все знали про служебники и повеление начальства, но большей частью помалкивали, будто ничего и не было. Больше всего боялись попы — ведь служить по-новому им было приказано, а не черной братии. Поп Герман даже ходил к Илье просить посмотреть, что это за новые служебники. Илья его прогнал, да Герман был не прост. Раздобыл где-то новый служебник и с архидьяконом Евфимием пропел по нему обедню в церковном приделе. Пришлось изменника наказать плетьми дважды, да и Евфимию чуть было под горячую руку не досталось колотушек.

Тут Илья стал совсем изводиться — впал в кручину, что кто-нибудь обязательно патриарху Никону донесет, а Никон человек безжалостный — и умереть спокойно не даст! Стали мы думать и придумали, чтобы все попы подписались, будто они сами по новым служебникам служить отказываются. На шестой неделе Великого поста так и сделали — большинство священников подписалось с радостью, а некоторые — боясь гнева архимандрита: он ведь рядом, а до московских властей не близкий путь.

Дальше — больше. Богомольцы в монастырь собираются и удивляются, как это мы по-старому служим, радуются нашей стойкости, но кое-кто и укоряет архимандрита. Илья мечется в страхе, не знает, что и сделать. «Донесут,— говорит,— ей-богу донесут!» Да и как не до-

нести, если за годы правления монастырем Илья не мог не обидеть кого-то из братии: кто-то был бит кнутом, кто-то сидел в кандалах в темнице неделю или даже две... А тут такой прекрасный повод: сопротивление высшей церковной и светской власти!

Сам-то архимандрит совсем голову потерял,— продолжал Герасим Фирсов.— Призывал к себе в келью богомольцев, то одного, то другого, умолял не передавать в Москву доносов от монастырской братии, просил даже на кресте клясться, что ничего в Москву не отвезут. С чего это он взял, что донос можно остановить?! Видели мы, что от архимандрита толку мало: страх его объял на старости лет. Решили тогда показать Илье и всем доносчикам, кто в монастыре истинный хозяин. 8 июня собрали большой черный собор».

Никанор отчетливо представил себе, как по призыву стоящих за веру братьев собирались в огромной трапезной палате архимандрит с келарем, казначеем и соборными старцами, приказные братья, оставившие свои мельницы, склады и поварни, рядовые монахи, братья милосердия из больниц, трудники, работавшие святым Зосиме и Савватию по обещанию, наемные служители монастыря, многочисленные богомольцы. Никому вход не был заказан — только пришлось потрудиться и вытащить из большой трапезы в малую (женскую) все столы и скамьи.

Под высоким сводом трапезной летел голос Ильи, вначале слабый, а потом как бы наполненный мощным народным одобрением. «Видите, братья,— говорил архимандрит, покрывая первоначальный шум и гам,— настало последнее время и восстали новые учителя! И от веры православной и от отеческого предания нас отвращают! И велят нам служить на польских крестах по новым служебникам, неведомо откуда все это взяв!»

Собравшиеся в трапезной были далеко не случайные люди или «невежды», как многократно говорили о них никониане. Монахи и трудники Соловков хорошо знали

(и весьма часто переписывали со своими добавлениями) сочинения знаменитого ученого собирателя рукописей Арсения Суханова, ясно показавшего, что «греки» православного Востока, с обычаев которых обезьянничал Никон, давно и значительно утратили «исконное благочестие». Недаром чуть не половина редакций «Прений с греками о вере» Суханова и других его произведений вышла из стен Соловецкой обители.

Читали в монастыре послания и вели переписку с ведущими старообрядцами, создавали и свои антиникониан ские сочинения. Внешность не обманывала Никанора. Он знал, что розовощекий, с заносчиво торчащей вперед черной бородищей Герасим Фирсов написал весьма раздумчивое, спокойное обличение на сложение трех перстов при крестном знамении вместо двух. «Полюбовно судите мои слова,— писал Герасим в сочинении, расходившемся во множестве списков,— и посмотрим, кто из нас окажется неправ» — сторонники дву- или трехперстного сложения.

Мирный тон Герасима соответствовал силе его аргументов. Никанор еще в Москве радовался, читая герасимово «Послание ко брату», где в защиту старорусского перстосложения были приведены «на свидетельство» совершенно недвусмысленные выписки из решений Стоглавого собора (XVI века), в том числе из сочинений святейшего патриарха Милетия Антиохийского, Феодорита Кипрского; а также аргументы из «Слова» Петра Дамаскина, из «Слова, как знаменаться крестным знамением» Максима Грека, из киевской «Грамматики», русского Хронографа, «Кирилловой книги», «Книги о вере» и «Катехизиса». Герасим спокойно и аргументированно спорил с вымыслами никонианской «Скрижали», в полной мере используя и ссылки на авторитеты, и здравый смысл.

Спокойный тон сочинения энергичного Герасима контрастировал с пламенной проповедью умирающего иеромонаха Феоктиста, рассказывавшего «Об Антихристе и тай-

ном царстве его». Видения Апокалипсиса старец толковал в духовном смысле: не физическая гибель мира, но духовное уничтожение грозит человечеству. Оно уже началось с разделения христианства в X веке на восточное и западное, уже пришел Антихрист в восточную православную церковь, которая отказалась от человеколюбивых законов Христа. Если первым предшественником Антихриста был папа римский, то вторым, более значительным — патриарх Никон. Но в действительности Антихрист есть понятие духовное — «собрание многих лиц, как бы в едином теле живущих». Сама церковь превращается в Антихриста — таков был трагический вывод анзерского пустынника.

Не только Феоктист, сосланный за свои убеждения в Анзерскую пустынь Соловецкого монастыря, но и сам воспитатель Никона преподобный Елиазар Анзерский имел ужасающее видение о связи Никона с Дьяволом. Немощный старец Елиазар, почти не встававший с бедного ложа, своим рассказом проклял человека, восставшего на общую древнюю веру, желавшего утвердиться царем над церковным собранием верующих.

Дух беломорской свободы не принимал светского или церковного диктата. Слушая рассказ Герасима Фирсова, Никанор очезримо представлял себе людей, предстоявших на черном соборе архимандриту Илье. Старый соловецкий постриженник не заблуждался уже насчет чистоты помыслов каждого из братьев. За многими из соборных старцев он знал жадность, заставляющую их не только не отдавать все свои сбережения монастырю, но и пускать их в рост; он знал их слабости к роскоши и мелким земным удобствам, знал братьев, державших на свои средства по нескольку слуг и даже позволявших себе весьма грешные забавы.

За приказными старцами числились притеснения наемных работников и избиения крестьян; Никанору известны были случаи, когда на далеких промыслах и усоль-

ях монахи-приказчики брали себе в постели крестьянских женок и девок. Кто не поддавался плотским соблазнам, мог сдаться червю сребролюбия, «усчитывая» монастырь в документации о торговых сделках. Простые монахи, случалось, воровали и бывали тут же наказываемы за это «на теле».

Глядя на многочисленных монастырских трудников, легко было определить, что далеко не все из них вели раньше праведную христианскую жизнь, как не все стремились замолить работой прошлые грехи. Добротная и чистая монастырская одежда не скрывала рваных ноздрей беглых каторжников, сабельных и огнестрельных шрамов казаков, ходивших на своих быстрых «чайках» не только в Персию, но и по государевым рекам. Изнемогшие от несправедливости и утеснений крестьяне бежали в леса — и не один разбойник, обложенный карательными отрядами, пробивался в Поморье, чтобы навеки скрыться от всемогущего дворянского государства на острове великих чудотворцев Зосимы и Савватия.

У пришедших в монастырь, и особенно у тех, кто, постригаясь, переменял имя, не принято было спрашивать о прошлом. Значение имело только желание совместно и честно трудиться, оставив злые чувства и мирские несправедливости за волнами Белого моря. Но Никанор достоверно знал, что среди монахов и мирян были холопы, зарезавшие в отчаянии своих хозяев, были крестьяне, которые, будучи не в силах снести крепостной гнет, жгли семьи помещиков в их усадьбах, были солдаты и стрельцы, убивавшие своих воров-командиров. Эти «злодеи», порожденные несправедливым обществом, на Соловках чудесным образом «исправлялись» — и оказывались часто образцами добродетельной жизни и созидательной работы.

Впрочем, соловчане были снисходительны к слабостям. Сидя с братьями в келье и слыша, как буйствует где-то в соседнем здании истомленный бездельем князь Львов (распевавший не вполне уместные в монастыре песни

вместе с Ефремом Каргопольцем, который, как всем было известно, уже предлагал Львову вместе бежать), Никанор отмечал про себя долготерпение братии к самому Герасиму Фирсову. Тот пришел в монастырь с четкими следами кнута на спине, которые заработал за мошенничество, торгуя на московском рынке жемчугом и соболями. Впрочем, из монастыря он сбегал — и был вновь бит плетьми, на этот раз на дворе патриарха Никона.

Давая Герасиму возможность исправиться, архимандрит Илья назначал его приказным старцем в разные береговые усолья. Герасим и там пытался погреть руки, но каждый раз похищенное было у него отбираемо бдительными соловецкими властями. Видя, что затеи Герасима не удаются, а его хитроумие оказывается полезным монастырю, аскет Илья назначил его соборным старцем. И в этом сане Герасим не унимался: крал деньги (по 120, 70 и 20 рублей зараз), которые, впрочем, неизменно с него взыскивались, обманывал слепого больничного старца Меркурия, подсовывая в оплату за мед вырезанные из белого железа кружочки, пытался всучить плотничному старосте Сергию вместо серебряных монет луженые медяшки.

«А что делать, коли он купеческого рода?» — вздыхал каждый раз архимандрит Илья, веля наказать Герасима, но не отказывая ему в своем расположении. Правда, Герасим любил еще выпить и подраться, но и это ему прощалось за любовь к книгам и большие знания, которые буян щедро открывал братии. Как ни странно, настоящие разбойники, на руках которых было много христианской крови, держались в монастыре гораздо скромнее и более ценили добродушие братии. Как бы то ни было, подавляющее большинство соловецких обитателей слишком ценило независимость своей обители, чтобы трусливо смириться с вмешательством в свою веру московских властей.

«Помолимся, братья,— взывал на соборе к собрав-

шимся единомышленникам архимандрит Илья,— чтобы нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцам нашим, и чтобы латинской службы не пришлось принимать!»

«Тогда,— рассказывал Никанору Герасим Фирсов,— закричали все великими гласы, что нам латинской службы и еретического чину не принимать! Причащаться от такой службы не хотим! Тебя, отца нашего, ни в чем не выдадим, в том руки приложим, что все заедино стоять готовы!» Единодушно соловчане составили решение свое на письме и стали все подписывать его, а кто не мог — за того подписывал его отец духовный. Только три или четыре человека из священнического чина воспротивились было всеобщему решению. Но архимандрит наш не ударил в грязь лицом. Видя всех на своей стороне, как крикнул на ослушников:

«Попенца вы худые, страдники! Или хотите латинскую еретическую службу служить?! Живы не уйдете из трапезы!»

Перепугались, конечно, попы,— говорил Герасим, усмехаясь,— и мигом бросились подписывать. Но Илья недаром опасался доноса: подписав соборный приговор, тут же кинулись, канальи, строчить свой донос и передали его с каким-то проходимцем в Москву прямо Никону-патриарху. Узнали мы об этом, да поздно было — не догнать. Просили паскуды испровергнуть весь Соловецкий монастырь из лона матери церкви! Ну, да Бог все видит: 8 июня подписали мы приговор черного собора, а 8 июля, как оказалось, сбежал Никон побитым псом из Москвы от царского гнева и патриарший свой престол оставил».

Об оставлении Никоном патриаршего престола Никанор сам имел много чего рассказать братии, и все слушали его с большим вниманием, надеясь, что отныне покушения на независимость Соловков прекратятся. Но не очень-то утешил Никанор товарищей, говоря им, что

хотя опасности от Никона непосредственно нет, но неизвестно, кто страшнее правой вере — патриарх-еретик или царь-тиран. Ведь и самого Никанора Алексей Михайлович отпустил на Соловки не иначе как уверившись, что мечта братии видеть его архимандритом не будет осуществлена.

Никанора держали в Саввино-Сторожевском монастыре до тех пор, пока не умер архимандрит, скончавшийся в 1659 году «в старом благочестии». Не надеясь, что Никанор вернется, братия избрала в архимандриты Варфоломея, который жил в монастыре более десяти лет в примерном поведении и, как некогда Никанор, проявил замечательные хозяйственные способности на посту строителя вологодского подворья. К чести Варфоломея надо сказать, что его избрали заочно, соборным приговором, еще в октябре 1659 года, а узнал о своем избрании он от специально присланной делегации только в декабре.

На этот раз утверждение в Москве прошло удачно, хотя и стоило монастырю изрядных расходов. За неимением патриарха, Варфоломей должен был делать подарки, кормить и поить на монастырский счет большое число иерархов, а также светских лиц. Только в марте 1660 года преосвященный митрополит новгородский Макарий официально поставил Варфоломея архимандритом. После этого начались новые визиты с «почестями» (подношениями) к сильным мира сего, а на пирах Варфоломея присутствовали все представители государева двора и царских слуг, начиная с боярина и кончая конюхом. Немало стоило монастырю и приглашение архимандрита к царскому столу.

Архимандрит Варфоломей участвовал в церковном соборе, осудившем Никона, и принимал различные знаки внимания от царя Алексея Михайловича. В соборных заседаниях, визитах и приемах прошла половина лета. Лишь в августе 1660 года, закатив на монастырском подворье роскошный пир, на котором присутствовал весь

царский двор, новый молодой и энергичный архимандрит выехал на Соловки.

Неудавшемуся соловецкому и бывшему саввинскому архимандриту Никанору оставалось только надеяться, что царь забудет о нем и даст спокойно дожить простым монахом в родной обители. Но и эта надежда оказалась напрасной.

Зима 1663 года

«Царю государю и великому князю,— писал Никанор четким почерком, не внимая раздававшимся за заиндевелыми оконницами шуму и крикам.— Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу. Бьет челом твой государев нищий богомолец бывший Саввы чудотворца Сторожевского монастыря архимандрит Никанор.

Прислана от тебя, государя,— продолжал старец выводить буквы,— в Соловецкий монастырь твоя государева грамота за печатью святительскою. А велено в той грамоте быть к Москве нашему отцу архимандриту Варфоломею, а указано ему и меня, нищего, взять с собою.

Милости у тебя, государь, прошу, не положи на меня, твоего богомольца, своего царского гнева, что я к Москве со отцом нашим не поехал, не ради упрямства, но для-ради немощи. Старость, государь, постигает, болезни приходят. И летнею порою с великою будет нуждою моя поездка, а ныне путь такой скорбный — и молодым людям нужда и скорбь великая.

Смилуйся, государь царь и великий князь Алексей Михайлович... Попомни твою царскую ко мне милость и духовную любовь, в том меня прости. Да и впредь меня пожалуй, нищего твоего богомольца: оставь меня на моем обещании за тебя, государя, Бога молить и за весь твой царский род, и за мои грехи плакать и милости от Господа просить, дондеже мне его щедроты терпят в сем суетном житии.

Царь государь, смилуйся, пожалуй».

Поставив точку, Никанор еще раз перечитал послание. Смиренный тон, разумеется, не обманет самодержца, волю которого простой монах ныне и навсегда отказался выполнять. Да свершится божия воля!

Старец сложил послание и запечатал зеленым воском. Легко поднявшись с лавки, он накинул теплую мантию и вышел на крыльцо. Шум и суета в монастыре были связаны со сборами архимандрита и его немалой свиты в дальний зимний путь. Из кладовых тащили запасы, на сани грузили многочисленные подарки, отъезжавшие и провожавшие спешили уладить последние дела и дать друг другу поручения. С трудом протолкавшись к Варфоломею, Никанор с поклоном вручил ему послание для государя. Архимандрит взял бумагу с видом крайнего неудовольствия: Никанор не подчинился не только царской, но и настоятельской воле. Вообще он был одним из немногих, кого Варфоломею не удавалось ни смирить, ни привлечь на свою сторону. Слишком велик был нравственный авторитет Никанора, не замеченного начальством ни в одном сомнительном деле, не участвовавшего ни в каких интригах.

Впрочем, гнев на лице Варфоломея появился ненадолго: вскоре оно опять приобрело обычное самодовольное выражение. Он много успел за годы руководства монастырем — этого Никанор не мог отрицать. Из соборных старцев, вершивших монастырские дела при Илье, в совете архимандрита остался один только Савватий Абрютин, ставший даже келарем. Он да казначей старец Боголеп, много сделавший для избрания и утверждения Варфоломея, да поп Геронтий, выдвинутый архимандритом в уставщики (надзиратель за церковной службой), да Иосиф, строитель московского подворья, стали наиболее влиятельными людьми.

Никанор не мог не отметить за Варфоломеем изобретательности. Недаром новый архимандрит вышел из при-

казных старцев. Чтобы убрать из совета Герасима Фирсова, архимандрит пригласил его к осмотру казначейской палаты больного казначея Боголепа. Конечно же Герасим не удержался от того, чтобы не украсть положенные на виду карманные часы Боголепа, и, разумеется, припертый к стенке, «выдал лицом» свою покражу. Тут-то Герасима, привыкшего спокойно возвращать украденное и не нести наказания, и выгнали из собора.

Конечно, Герасим был слишком уязвим — это был своего рода «злой мальчик» Соловков, которого все хором старались исправить. В совете было много чистых, безгрешных людей, типа старца Иосифа, которых приходилось выгонять «без монастырской вины» и вдобавок «смирять плетьми». Немалые трудности Варфоломею пришлось преодолеть и с возвышением «своих людей». Не все они пользовались авторитетом в монастыре и даже не все были монахами. Так, понравившийся архимандриту монастырский служка Иван Никифоров сын Торбеев ни в какую не желал постригаться. Пришлось Варфоломею напоить его допьяна и в таком виде постричь, а затем уже взять новоявленного «старца Иринарха» в собор.

Большим притеснениям — кто за дело, а кто просто по немилости — подверглись и приказные старцы. Многих били плетьми, многих сажали в темницы, многих ставили на освободившиеся места. Гонениям подверглись и люди, связанные с опальным князем Львовым: более всего Варфоломей боялся, чтобы его не уличили в непочтительности к воле верховной светской и церковной власти.

Суетность Варфоломея вызывала усмешку Никанора. Если Никанор не отказывал себе в удовольствии переписываться с жившими на севере старообрядцами, то Варфоломей никак не мог уловить, откуда должен подуть правительственный ветер. Варфоломей сам присутствовал при осуждении Никона, но никонианские реформы как будто поддерживались самодержцем... 22 октября

1661 года под руководством архимандрита большой черный собор Соловецкого монастыря принял решение о введении нового церковного пения — так, как пели в Успенском соборе в Москве и в иных городах.

Сторонники старой веры, не придавшие вначале значения этому акту, наконец спохватились, поняли, что речь идет о нововведении именно в соответствии с «исправленными печатными книгами». Варфоломей, сам отнюдь не бывший никонианином, столкнулся вскоре с сильнейшим сопротивлением дальнейшим нововведениям. Укрепление крепостнического государства гнало на Соловки все большее количество людей. Тех, кто трудился на островах (не считая остального Поморья) «по обещанию», стало уже около семи сотен. Это были не те люди, которые могли бы принять государственный или церковно-государственный диктат.

Отрешившийся от земных страстей Никанор снисходительно наблюдал, как Варфоломей тщетно ищет выхода из создавшейся ситуации и как истинное древнее благочестие постепенно преодолевает все усилия архимандрита. Совсем недавно, вспоминал Никанор, дело дошло до прямого столкновения. Видя, что употребление нового церковного пения в монастыре сходит на нет, Варфоломей собрал священников и дьяконов в церковном алтаре для внушения. Но не тут-то было: на самого архимандрита закричал дьякон Нил, что-де архимандрит еретик:

«Держишь-де ты уставщика еретика попа Геронтия, да и ты-де еретик! Он тебя ереси и научил, как Арсений Грек научил ереси патриарха Никона, а патриарх Никон научил ереси самого царя!»

Свара в алтаре закончилась не в пользу Варфоломея, хотя он своей властью и приказал до полусмерти избить дьякона Нила плетьми. В те же дни позиции староверов были нежданно усилены пришедшим на Соловки среди зимы посланием царя Алексея Михайловича. Тот был настолько озабочен собиранием улик против своего врага Ни-

кона, что, не подумав о последствиях, повелел братии соловецкой сообщить в Москву, что именно Никон неправедно забрал из монастыря. Не отписал ли Никон себе или своим монастырям каких соловецких вотчин?! Не брал ли он чего у соловчан уже после оставления престола?!! Царские вопросы звучали буквально как уголовное обвинение бывшему (но официально не отрешенному) патриарху.

Неудивительно, что братия и трудники монастыря сильно взволновались. Составив документ обо всем отобранном Никоном у монастыря (не забыв даже 5 пудов слюды), соловчане потребовали от архимандрита Варфоломея в соответствии с царской грамотой, не дожидаясь весны, отправиться в столицу и лично участвовать в процессе расправы над Никоном и никонианством (ибо в отличие от царя они в большинстве своем отождествляли падение Никона с концом реформ).

Немногие, как Никанор, понимали, что царь Алексей Михайлович проявил интерес к Соловкам из эгоистических побуждений. Ободренная вниманием самодержца братия составила особый «соборный приговор» о поездке архимандрита, отмечая большую «хлебную скудость» в монастыре и прося у государя милости в «монастырских делах». А предупреждая возможный «ропот» в обители в отсутствие начальства, братия постановила ропщущим не потакать и «смирять» таковых «без пощады». С этим напутствием Варфоломей и пустился на санях по многокилометровому береговому припаю, чтобы далее на судне отважно пересечь Белое море.

Никанор знал, что́ такое путешествие между Соловками и берегом зимой, и никак не ожидал, что от Варфоломея вскоре поступят известия. Двенадцать дней судно архимандрита носило бурными волнами между льдов, а затем застудившихся и вымокших путешественников затерло в торосах и прибило к соловецкому берегу. Упорный Варфоломей, несмотря на просьбы братии вернуться, был намерен все же пробиться к материку, однако из монастыря

пришли вести столь тревожные, что ему пришлось оставить свое намерение и поспешить в обитель.

«Желанием безмолвного отишия объятый» Никанор, казалось, полностью устранившийся от дел общественных, лучше архимандрита понимал настроение братии, со дня на день ожидавшей официальной отмены никонианских нововведений. Для него не было неожиданностью, что многие священники, даже духовник Варфоломея старец Леонтий, стремились в деталях воспроизводить древние обряды. За тем же следила масса монастырских трудников, от глаз которых не ускользали ни малейшие уклонения от «отцепреданного благочестия». Никанор с беспокойством ожидал взрыва, и спустя несколько дней после отъезда Варфоломея он произошел.

В субботу 7 февраля старец Геронтий принялся за дела в плохом настроении. Отношение к нему братии в последние дни до глубины души оскорбляло человека, работавшего в обители с 40-х годов. В свободном соловецком труде и добром общежитии сын чебоксарского подьячего Григорий Иванович Рязанов видел мирской и духовный идеал. В 1650 году он принял монашество — и лишь через десять лет был возвышен архимандритом Варфоломеем, получив сначала священнический сан, а вскоре — важную должность уставщика.

Призванный следить за правильностью священнослужения, Геронтий не был фанатиком. Хотел или не хотел Варфоломей (нам это не известно), но соловецкий уставщик не склонен был принимать спущенные сверху реформы. Я, говорил Геронтий, не отрицаю, что новации могут быть правильными, только «боюсь суда Божия признать их православными без свидетельства с харатейными (пергаменными.— *А. Б.*) книгами». Другими словами, уставщик мог принять только то, в истинности чего самостоятельно убедился, и не считал возможным слепо исполнять приказы церковного начальства.

Теперь, после отъезда Варфоломея, недовольство мно-

гих политикой архимандрита выплескивалось на его приближенного. Священники не слушались Геронтия, препираясь между собой прямо в алтаре. Когда же уставщик пошел к келарю Савватию с просьбой примирить священников, по обители моментально разнесся слух, что он ходил просить новые никонианские служебники, чтобы немедля пустить их в оборот.

Напрасно оправдывался Геронтий, «на душу представляя свидетеля Господа Бога, что ни в уме моем, ни в помышлении того никогда не бывало, чтобы желать новых служебников... Нужно мне для спасения последовать преданию преподобных чудотворцев». Молва была неистребима, и многие, в том числе старший монастырский священник Леонтий, держались с Геронтием холодно.

Неудивительно, что, совершая литургию по покойному старцу Гурию в Благовещенской церкви над Святыми воротами, уставщик был рассеян. Он не замечал, сколь внимательно следят за службой набившиеся в церковь трудники — они же сразу заметили, что дьякон Иов положил Евангелие на высокий столик-налой, не застелив столик пеленой, и читал Евангелие без свечи. Люди насторожились, а тут еще пономарь старец Игнатий Драницын, когда священник Варлаам закончил заамвонную молитву, не вынес из алтаря священный антидор *!

Ну и перепугался же пономарь Игнатий, когда после службы его окружила угрожающая толпа трудников! Сидор Хломыга, Григорий Яковлев сын Черный, Федот-токарь и другие мужики, хватая Игнатия за одежду, сурово вопрошали, что означают все эти нововведения в литургии?! Перетрусив, Игнатий свалил все на Геронтия — дескать, это он велел служить без пелены на налое, без свечи, без выноса святыни. Этой искры было достаточно. Сот-

---

* Антидор — часть просфоры с вынутым для совершения таинства «агнцем»; раздавалась не успевшим причаститься верующим по окончании литургии.

ни людей оставили свои дела, бросившись отстаивать старую веру.

Делегация мужиков во главе с Сидором Хломыгой пришла к келарю и казначею, требуя расследования преступления Геронтия. Монастырские власти, не веря оправданиям уставщика, стали на сторону трудников. «Хотят тебя камением побити — оттого поберегись!» — заявили келарь и казначей Геронтию, на которого восстали «вся братия и миряне». Геронтий скрылся в келье «в кручине, печали и слезах». Неведомые люди вымазали ему окно калом. Власти же, видя мужиков и чернецов не унимающихся, писали слезные челобитные к Варфоломею «на торос», прося его вернуться и навести порядок.

Варфоломей резко отвечал, что «по государеву указу приказано во обители ведать нам, а не Сидору Хломыге с товарищами!». Однако поспешил вернуться и провести требуемое трудниками тщательное расследование. Волнения утихли, и власть вернулась к соборным старцам лишь тогда, когда недоразумение было полностью выяснено, а подробный отчет о деле послан в Москву.

Никанор и его единомышленники, не участвовавшие в «мятеже», были удовлетворены тем, что архимандрит и соборные старцы убедились в опасности экспериментов с необдуманными церковными переменами. 16 февраля монастырский собор утвердил особый приговор, чтобы «впредь не было никаких чинов нововводных. А если кто от нас, священников и дьяконов, станет какие вводить нововводные чины... и тех смирять монастырским жестоким смирением. А буде я, архимандрит, стану превращать чины церковные и вводить чины новые... и им, священником и дьяконом, мне о том говорить без студения (стеснения.— *А. Б.*)». Любое маленькое изменение могло производиться только с общего совета.

Уверенный в своих силах и надеясь на царскую милость, Соловецкий монастырь утверждал себя твердым поборником «отцепреданного благочестия». Отныне все, на-

чиная с начальства и кончая простым служкой, как от адовой муки, открещивались от новых служебников и всяческих никонианских «прелестей» и даже в переписке с Москвой старательно уверяли своих корреспондентов, что никакие реформы Никона не проникли в Беломорскую твердыню.

Архимандрит Варфоломей сделал из событий еще один вывод и, несмотря на царское приглашение, целый год не выезжал из монастыря, всячески укрепляя в нем свое положение. Прозорливый Никанор видел, что суета Варфоломея скорее вредит, чем помогает архимандриту, подрывая его авторитет и плодя врагов. Варфоломей так и не усвоил, что не хитроумные интриги, а моральный авторитет у братии и трудников являются главной опорой власти в Соловецкой обители.

Конец октября 1666 года

Никанор поднял голову от книги. В книгохранительнице стояла полная тишина. Именно потому над головой, на паперти Преображенского собора, тихим шелестом были слышны шаги сотен людей, топотавших сапогами по каменным плитам. Скрипнула дверь. Монастырский служка, осторожно пройдя к Никанору между ларями с книгами, с поклоном пригласил бывшего саввинского архимандрита на большой собор. Никанор знал, что должно было произойти — да не знать мог только слепой и глухой, события низались на одну нить в видимом беспорядке, но с беспощадной последовательностью. Он со вздохом закрыл фолиант, застегнул застежки переплета и, слегка стукнув медными жуковинами *, положил толстую книгу на полку. Участвовать в событиях Никанор не видел потребности, не пойти в собор — не мог.

---

* Жуковины — металлические бляшки для защиты и украшения деревянного, обтянутого кожей книжного переплета.

Старец поднялся по кирпичной лесенке на паперть. Со всех сторон, а более всего по крытому двухэтажному каменному переходу, к распахнутым трехметровым железным дверям с коваными травами и орлами стекались люди. Как только люди собрались, под высокими сводами собора начался гвалт, не имеющий воздержания. Архимандрит Варфоломей еще зимой по трудному поморскому пути уехал в Москву, вызванный специальным царским указом. С тех пор в монастыре произошли многие события, которых следовало ожидать.

Вместе с наиболее уважаемыми людьми Соловков Никанор вышел в предалтарное пространство. Немедленно из плотной толпы монахов и трудников посыпались обвинения против монастырских властей, и прежде всего отсутствующего Варфоломея. Все это уже не раз приходилось слышать в более узких собраниях монахов и трудников, но впервые на большом соборе совершенно открыто люди осмеливались обвинять высшую монастырскую власть, причем не стесняясь ни в содержании речей, ни в выражениях.

— Долго жил Варфоломей в монастыре праведно, пел на клиросе незазорно и пьяного пития не пил,— раздавался один голос из-за спин собравшихся,— и мы, богомольцы Зосимы и Савватия, потому о нем били челом великому государю и свой выбор дали, что думали, что он и впредь не изменит своего обычая и станет жить по преданию святых чудотворцев, во всем невредно храня древнее монастырское благочиние. И до чего дожили!

— Своей слабостью и небрежением,— вторил другой голос,— Варфоломей предание великих чудотворцев Зосимы и Савватия во всем нарушил, и всякие древние монастырские обычаи на худшее изменил, и во всем монастырское благочиние вконец растлил и разорил непристойным своим житьем и пьянством! Да так, что всегда ломились наши житницы от хлеба и запасов — а ныне в них шаром покати! И в деньгах, и в еде в Соловках стало скудно».

Никанор прекрасно помнил, что после Соборного уложения 1649 года все прибывало и прибывало в монастырь трудников и монахов, бежавших от крепостной неволи; ко временам Варфоломея стало уже на постоянном житье на острове кроме монахов более шестисот человек. Все труднее становилось снабжать людей трудной поморской рожью и дорогой пшеницей, все изворотливее и прозорливее должно было становиться монастырское начальство. Занятый интригами среди соборной братии, Варфоломей не обращал на это особого внимания. Попросту говоря, он готов был все отдать за сохранение своей власти и суетного влияния при царском дворе.

Братия не забыла, как, вызванный царем Алексеем и уехавший с наказом просить для обители хлеба, Варфоломей в Москве в 1664 году тратил казну на званые обеды и подарки власть имущим. Царь, тут Никанор про себя внутренне усмехнулся, конечно, вызывал Варфоломея не для того, чтобы оказать ему пышные почести. Алексей Михайлович по уши увяз в польско-шведской войне. Страна стонала от непосильных налогов, сжиравшихся костром кровавой брани на западе. Монастырь, помимо того что должен был оборонять от шведского флота и десантов все Белое море (на архангелогородских воевод было мало надежды), еще должен был поставлять в казну средства для более или менее бездарных военных расходов царя.

Отпущенный тогда из Москвы «с великою честью» Варфоломей подрядился уплатить царю на содержание армий 20 000 рублей и 200 золотых (шедших курсом по нескольку рублей золотой). Эти деньги были безропотно выплачены монастырем, и никто из возмущенных Варфоломеем не вспоминал о них, ибо все, в том числе беглые разбойники и холопы, твердо помнили свой долг перед Российским государством. Однако Варфоломей не задумался, чтобы добыть братии необходимого хлеба. Присланные царем 396 коврижек выглядели издевательски. Царь, конечно, не оставил без внимания столь щедрое по-

жертвование на его военные авантюры: он соблаговолил утвердить за монастырем пожертвованный ему богомольцем дом с землей в Ярославле, освободил соловецкие вотчины от сбора денег на выкуп пленных и содержание новобранцев, а поморские соляные варницы — от сбора пятой деньги, велел не брать таможенных пошлин за провозимые по Двине монастырские товары и запасы.

Царю прежде всего нужны были наличные деньги, ибо он уже задумал вселенский обман с медной монетой. На ней монастырь не просто терял — он разорялся. Как по всей стране замена серебра медью разрушала торговые связи, так и на Соловках ничего не стоящие государственные медные деньги усугубляли тяжелое положение. Никанор знал, что в 1665 году монастырский приход составил 4960 рублей с копейками, а расход превышал 8023 рубля. Всегда стоящее на грани гибели хозяйство Поморья не просто приходило в упадок: люди видели, что дальнейшая политика московского правительства угрожает жизни на Белом море.

— Всякие ра́зличные яства,— кричали в Преображенском соборе монахи и трудники,— велит Варфоломей готовить для себя! Всегда ест и пьет в своей келье с молодыми учениками, да еще посылает в Архангельск повеления привозить к нему всякое немецкое питье и русское двойное вино перегонять. И пьет безобразно, просиживая ночи с молодыми монахами, а в трапезной с братией никогда не ест — и братскую пищу по сравнению со стариной всячески оскудил, лишил нас и тех утешений, что бывали в трапезе по праздникам!

— Архимандрит на церковный собор мало ходит,— заявил, выступив вперед, седобородый священник.— А придет когда, и то пьян и всячески непотребен до конца. Он в церкви божией безобразно кричит и братию без вины всякими непригодными словами бранит. Даже в дни ангелов великого государя и членов царского дома, пьянствуя, в церковь не ходит и божественную литургию не

служит. Помните, как нынче зимой, 12 января, на именины царевны Татьяны Михайловны * он нарочно уехал из монастыря на остров и всю ночь пил. И ведь не только в келье пьет, но и по монастырю ходит пьян, бесчинствуя!

— И то верно,— поддержал священника соборный старец,— кому не известно, что он, архимандрит, на Соловецком острове в Исакове пустыни велит для своей прихоти пиво варить беспрестани и рыбу свежую ловить по озерам — для того советник его чернец Варлаам с трудниками в той пустыни и живет безотъездно, только то и делая. А он, архимандрит, приезжая к нему с учениками своими, пьет целые ночи, да еще и в монастырь к себе велит привозить. У прежних властей отнюдь того не бывало!

— Не хочу поносить Варфоломея,— сказал новый в монастыре человек со шрамом через все лицо, лишь два года как принявший постриг.— Все мы человеки, и всем страстям подлежим, и против общего врага боремся. Соболезную и сострадаю ему — но более сострадаю святой обители, чтобы не терпела она такое поношение и стыд. Много чего рассказывают архимандритовы ученики, как поругаются с Варфоломеем, когда он оскорбляет их по пьянке. Я обвиняю архимандрита в том, что он чуть было не сотворил вечный стыд и поношение святому и чудотворному дому, когда пьянствовал с пятнадцатилетним мальчишкой, дьяконом Макарием, и тот едва не зарезал Варфоломея ножом: насилу сторож Давыд Варфоломея защитил. Не только властям, но и священникам возбраняется принимать в кельях детей духовных молодых, чтоб не было соблазна братским душам. А наш настоятель держит у себя не только чернецов молодых — мирской человек, детина в двадцать лет, Якунка имя ему, ночует у Варфоломея и живет!

---

* Татьяна Михайловна — известная церковная строительница и меценатка.

Общий шум показал, сколь единодушно возмущена братия оскорбительной для монастыря греховностью архимандрита. Но список его преступлений был еще далеко не полон. Мало того, что Варфоломей сам пьянствовал и других от пьянства не унимал — он и юных братьев, живущих у него в келье, и нехотящих заставлял пить.

— Да он же, архимандрит,— кричал приехавший с берега приказный старец,— когда ездил на прогулку в монастырскую вотчину, в Кемскую волость, и стоял на монастырском рыбном промысле на Киле-острове, насильно опоил вином старца Анорья. Принуждал его насилу пить и до того допоил, что тот старец вышел от него, архимандрита, из избы, и сел под углом, и скончался так!

— Он же, архимандрит,— добавил другой береговой старец,— прежде будучи в монастырском соляном промысле в Колежме, упоил вином сторожа, Прокопия именем, насмерть. И мирские люди беспрепятственно привозят в монастырь и продают пьяное зелье, и монахи уже не только вино и пиво, но и табак пьют!

— По пьянке Варфоломей и постригает тех, кто ему понравился, и приближает к себе, и вводит в соборные старцы юношей, не послуживших монастырю в поварне или на мельнице, не отличившихся на местах приказчиков.— Продолжали сыпаться обвинения.— Московского беглого стрельца, молодого детину, Семенова приказу * Полтева, Михалка именем, насильно постриг: тот Михалка о том не просил и не хотел, и архимандрит его бросил в тюрьму, и, моря голодом, заставил просить о постриге, и постриг, и взял себе.

Неизвестно сколь долго братия докапывалась бы до очередных гнусностей жизни Варфоломея, если бы старцы Геннадий, Александр Стукалов, Ефрем Каргополец, Иона Брызгало, попы Никон и Пафнутий, новый казначей Герон-

---

* Приказом назывался стрелецкий полк; он именовался по имени командира (головы).

тий и новый келарь Азарий решительно не повернули соборные речи в другую сторону. Говорилось, что Варфоломей разогнал или притеснениями добился отказа от должностей многих честных соборных и приказных старцев, сколотив свою клику, которая и довела монастырь и все Поморье до бедствия.

— Помните,— говорил келарь,— сколько запасено было от прежних властей в монастыре всяких хлебных запасов, амбары большие полны были доверху, и не только в монастыре, но и за монастырем негде было ссыпать рожь, и потому посылали из монастыря рожь целыми лодьями в монастырские вотчины, в Сумский острог и в Кемскую волость. И мы надеялись теми запасами быть довольны на монастырский обиход многие годы, а он, архимандрит, своим пьянством и непристойным житием все те запасы в малое время извел, и распродал за деньги на берег, и, беря с мужиков взятки и вино, раздал в долги тем, на ком взять нечего. В монастыре же прибавилось трудников — а работы им не дано и от безделья происходят всякие безобразия.

— Да он же, архимандрит,— поддержал келаря казначей,— у приказчиков на соляных варницах многие взятки берет и защищает их не по правде, а тех, кто взяток не дает, нагло обсчитывает и требует непричитающихся денег, избивая на правеже * насмерть. Взяточники при нем ведут себя на монастырских промыслах бесчинно, переводят массу монастырского хлеба на вино (не забывая присылать его архимандриту), тратят денежную казну по своим страстям, так что на многих приказчиках по ревизии оказалось недоплаты по пятьсот, семьсот, тысяче рублей на человека и больше, а взять с них нечего — пропили и проворовали монастырскую казну по потачке самого архимандрита!

---

* Правеж — ежедневные избиения должника с целью заставить его выплатить долг.

— Мало того, что архимандрит пьянство не унимает, от чего черный священник Варлам пил безобразно и опился до смерти, а два молодых брата, упившись в келье архимандритова советника, Мартирий и Питирим, подрались, и один другого зарезал ножом,— продолжал новый обвинитель.— Он покрывает преступления своих молодых советников, из которых злейший — Иринарх Торбеев — в Анзерской пустыни пьяным поколол ножом старца соборного Геннадия; чернец Матвей крылошанин * и другие — братию избивают, трудников обижают и всякое насилие чинят, забирают себе чужие вещи из келий с благословения Варфоломея.

— Да что окружающие архимандрита ябедники и слухачи, насильники и грабители,— воскликнул казначей,— он же сам, напившись пьян, приходит в денежную казенную палату без соборных старцев и берет себе, что хочет. Казенное платье, которое давали монастырю благочестивые паломники, Варфоломей раздает своим сторожам молодым: кафтаны атласные, ферязи камчатые, однорядки дорогого сукна и шапки с петлями жемчужными. Никогда прежде на Соловках у игуменских сторожей, кроме черных сермяжек, цветного платья не бывало, потому что Соловецкий монастырь место пустынное и тщеславиться и щеголять слугам, как в прочих монастырях, что в Великой России посреди мира стоят, нам не подобает, так у нас не принято — без трудов никто не живет, а гулящих слуг не бывало!

— Прежние власти,— подхватил Ефрем Каргополец,— ходившие истинным Христовым путем и пекшиеся об обители, а не о своем тщеславии, когда надо было ехать в Москву, ездили смирно, не со многими людьми, и святому месту лишних убытков не чинили. А он, Варфоломей, берет с собой множество ненужных людей и за посмех чинит монастырю убытки. Пятидесяти рублей хватало прež-

---

* Крылошанин — член церковного хора, поющий на клиросе.

ним властям на московский путь, да еще оставалось — а Варфоломей берет по двести рублей в монастыре, да из монастырских служб, промыслов и из Кеми еще по двести или больше; он же берет ларей по пяти лучшей слюды и продает по городам, да еще заочно продает то, что хранится в монастыре, и никакого отчета в расходах не дает!

По словам промыслового приказчика, архимандрит «когда захочет — нагружает лодью всякими запасами и, взяв с собой мирских людей, ездит вдоль берегов, собирая со старцев и монастырских крестьян взятки и подарки, по пути пьянствуя и бесчинствуя. За взятки Варфоломей покрывает любые преступления. К примеру, соловара старца Иакова, ведомого плута, он сам называл вором и волхвом; тот Иаков был трудником и, украв у прежнего игумена двести рублей, бежал с Соловков, а потом, надев на себя монашеское одеяние, вернулся. Где бы ни был он на монастырских службах — везде творил бесчинства, тяжбы и самый бесстыдный блуд. За взятки Варфоломей делает вид, что не ведает, как Иаков на усольских промыслах у казачков * жен в постель себе берет и оскверняет и всякое насилие им творит.

— Про то беззаконное любодейство Иакова,— вставил слово рыбак-помор, доставивший в монастырь улов,— ведомо в Соловецком монастыре всем мирским людям и на берегу по многим волостям. И в таком его воровстве и насильстве много раз были жалобы Варфоломею из монастырских волостей. Вот, прошлого лета, как архимандрит ездил к ненцам церкви святить, и в то время из Луцкого усолья, где Иаков живет, приходила бедная вдова и жаловалась Варфоломею на Иакова в изнасиловании. И архимандрит той вдове никакой защиты от Иакова не учинил — во всем его покрывает из-за своей корысти, беря с него взятки. Вот какие воры ему, архимандриту, советники и друзья!

---

* Казачки — наемные работники монастырских промыслов.

— А что творится на московском подворье?! — воскликнул соборный старец еще молодых лет именем Александр Стукалов.— Послал Варфоломей туда в строители старца Кирилла, который за два года растратил монастырской казны девятнадцать тысяч рублей с лишком; а ведь прежний строитель за тот же срок обходился тремя тысячами! И куда дел Кирилл семьсот рублей оброка для государевой казны — не позволяет Варфоломей установить, кирилловы расходные книги в крепостную казну упрятав. Ныне же архимандрит послал Кирилла на большую службу к Керецкому слюдяному промыслу.

Оскудение монастыря, касавшееся всех монахов и богомольцев, обсуждалось долго. Перед большим собором проходили соборные и приказные старцы, рассказывая, что тех, кто с Варфоломеем в бесчинстве не согласует и печется о благоустроении обители, архимандрит без вины всячески оскорбляет, в тюрьму сажает, в труде в хлебне и мукосейне мучит, а иных и плетьми бьет, чего отнюдь в святой обители не бывало. Старцев Иоасафа, священников Пафнутия и Тимофея, дьяконов Нила и Варлаама, церковников Тихона, Иринарха, Кирилла и многих иных по ложному наговору учеников своих без монастырской вины, свою злобу исполняя, Варфоломей бил плетьми бесчеловечно в три и в четыре перемены — едва живы остались. Так же усольских приказчиков, которые ему взяток не возят, старцев Дмитрия Субботина, Игнатия, Ферапонта, Василия нынешней зимой бил на правеже всю зиму без милости и бесчеловечно, даже лежачих.

— И про то бесчинство,— сказал, тяжело выступив вперед, опираясь на костыли, дьякон Нил,— никто ему против выговорить не смеет. Как я начал ему выговаривать — так он стал бесстыдным образом с яростью кричать: «Бог высоко, а царь далеко, а я тебе здесь учиню указ» — и велел меня бить плетьми бесчеловечно насмерть, едва и ожил!

Никанор горестно усмехнулся. Он знал, что бравада

Варфоломея скрывала постоянно гложущий архимандрита страх, что о его проделках узнают в Москве. Как бы отвечая мыслям Никанора, на большом соборе выступили его друзья — ученые старцы:

— Архимандрит, зная за собой много прегрешений, все время боится на себя жалобы великому государю от нас. Для того постоянно посылает подручных обыскивать наши кельи и все найденные письма приносить себе. Эти его угодники, что обыскивают кельи, забирают у нас все письма без разбору и приносят к нему. Даже те записки, что мы пишем о годах своей жизни с юности — и те свиточки писаные у нас забирают и не отдают, а куда их архимандрит девает — не ведаем. Спросить же архимандрита не смеем — велит убить насмерть или в темнице голодом и холодом уморить.

Свирепые поиски возможных жалоб в Москву, как хорошо помнил Никанор, еще более усилились весной, когда Варфоломей выехал в столицу. Уже тогда многие были недовольны архимандритом, но келарь Савватий и преданные Варфоломею соборные старцы еще держали большую часть братии и трудников в страхе. Ушники * монастырских властей вовремя проведали о большой челобитной на архимандрита, составленной недовольными во главе с Герасимом Фирсовым. Власти схитрили: предложили изорвать и сжечь челобитную, но не наказывать подписавших ее. Однако хитроумный Савватий умудрился при этом спрятать кусочки листков — и написал Варфоломею, в чем его обвиняют, с приложением этих фрагментов.

Не желали отступать и недовольные. Один из них, близкий к Никанору ссыльный монах Саввинского монастыря Никита, сумел бежать из монастыря и скрылся в Поморье. Группу других беглецов власти настигли и заточили, «смиряя монастырским смирением». Сумела бежать и группа царских ссыльных, с которыми лишь по случайности не

---

* Ушник — наушник, доносчик.

ушел князь Львов. Герасим Фирсов с товарищами, тесно дружившие со ссыльными и старавшиеся облегчить их участь, вместе со Львовым составили новую челобитную в Москву.

Однако власти были начеку. Жалоба от имени всей братии и трудников на Варфоломея и монастырские власти была «вынута» у дьячка Ивана Данилова, который как раз собирался переписать ее набело. Со своей стороны, архимандрит использовал преданных людей в Москве, которые либо перехватывали письма с Соловков, либо выкупали у государевых дьяков чудом дошедшие из монастыря челобитные. Одновременно Варфоломей готовил обвинения против всех, кто подписывал жалобы, собираясь в крайнем случае очернить их перед государем. В его «черном списке» стоял и архимандрит Никанор, хотя тот ни разу не подписывал челобитных царю.

Кто-кто, а Никанор хорошо знал, что значит искать справедливости у царя Алексея Михайловича. Он не только не надеялся на милость государя, но считал оскорбительным для Соловецкой твердыни искать помощи в своих делах извне, от государственной власти, от которой бежало на Белое море большинство монахов и трудников. Поэтому, получив в мае 1666 года царский указ срочно выехать в столицу, Никанор наотрез отказался его выполнять. Вызван был в Москву и Герасим Фирсов — удалив из обители двух опаснейших, на их взгляд, смутьянов, архимандрит Варфоломей и царь Алексей Михайлович надеялись прекратить волнения. В наивной надежде добиться у царя справедливости Герасим Фирсов 28 мая поехал в Москву, везя с собой новую пространную челобитную монахов и мирян на бесчинства Варфоломея.

О судьбе Герасима ничего не было известно, и это говорило уже о многом *. Братия волновалась все более и

---

* Герасим Фирсов был вынужден принести покаяние на московском церковном соборе и был сослан в заточение в Волоколамский монастырь.

более. Никанор в обычной философской манере наблюдал, как метались власти, усиливая репрессии против недовольных и упрашивая Москву вывезти из монастыря опасных ссыльных, большинство из которых были убежденными старообрядцами. Положение Никанора было особенно трудным, ибо именно его, а затем старца Вениамина братия предлагала в соловецкие архимандриты вместо Варфоломея в челобитной, которую повез (и доставил) Герасим Фирсов. При этом Вениамин поспешил особым письмом оправдаться перед Варфоломеем, уверяя, что никак не принадлежит к его противникам. Зная об этом, Никанор никоим образом не давал властям малейшего повода для расправы над собой. Авторитет его был столь велик, что казнить Никанора «без монастырской вины» не могли даже подручные Варфоломея.

Потерпевшим от властей оказался соборный старец Александр Стукалов, вместе с товарищами вздумавший заступиться за пойманных монахов-беглецов. Савватий и его подручные были достаточно сильны, чтобы заточить Александра, Геннадия и Ефрема в тюрьму, хотя и не смогли их там надолго удержать: по требованию братии заступники беглецов были освобождены. Монастырские власти все более теряли опору, однако еще имели сторонников среди братии. Так, Никанору было известно, что под составленной в июле челобитной келаря Савватия и казначея Варсонофия царю Алексею Михайловичу подписалось довольно много людей *.

Жалуясь на Александра Стукалова, Геннадия и Ефрема Каргопольца, соловецкие власти подчеркивали опасность скопления в монастыре множества ссыльных. Помимо князя М. В. Львова Савватий и Варсонофий с братией упоминали старообрядцев — московского попа Козь-

* Под подлинником челобитной подписи четырех соборных старцев, семи священников, семи дьяконов, шестнадцати монахов и семидесяти человек больничной братии.— *А. Б.*

му и вологодского Сисоя, монахов Саввино-Сторожевского монастыря, ротмистра рейтарского строя Осипа Пирютина «и иных многих старцев и мирских людей разных чинов». Соловецкие власти жаловались, что не могут (да это было и не в традициях монастыря) держать «опальных» в заточении «под крепким началом», не давать им чернил и бумаги и ограничить свободу их передвижения: «и от тех опальных людей чинятся здесь, в монастыре, мятежи многие, потому что их умножилось, да от них же происходит бесчинство многое».

Как рассказывал Никанору один из тех, кто из страха перед властями подписал челобитную, Савватий и Варсонофий с братией сообщали царю о том, что на Соловках создаются публицистические произведения — «воровские письма»,— с которыми монахи и ссыльные бегут в Россию, что в самом монастыре начинается мятеж. «Пожалуй нас, нищих твоих государевых богомольцев,— писали челобитчики Алексею Михайловичу,— освободи свое государево царское богомолье от таковых мятежников и вели нам дать свою, великого государя, грамоту, чтоб нам опальных людей и своих старцев, которые мятеж чинят и бесчинно живут, смирять».

Для сохранения своей власти люди Варфоломея готовы были даже пожертвовать старинными вольностями Соловецкого монастыря. Но настоящий взрыв всеобщего возмущения вызвал сам архимандрит, предавший то, в чем крепко стояли почти тысяча собравшихся на Соловках монахов и мирян — «древнее отцепреданное благочестие». Для Варфоломея, как прекрасно понимал Никанор, старообрядческие взгляды были пустым звуком в сравнении с личной карьерой. Правда, отправляясь на большой церковный собор в Москву, архимандрит последовал желанию братии и взял с собой челобитную о сохранении старой веры. Он даже сам принял участие в ее составлении, учитывая возможность отмены никонианских реформ вместе со свержением Никона.

С обращением, которое Варфоломей, спешно вызванный в Москву, должен был передать царю, соловчане связывали большие надежды. Архимандрит уже выехал из монастыря «на торос» (прибрежный лед), а братия все еще составляла и переправляла свою челобитную. Шесть суток ждал Варфоломей возможности сесть на судно — и лишь за это время братия сумела закончить свое послание царю. Прочитав челобитную, Варфоломей нашел, что она «написана несогласно», и отправил рукопись назад. Уже с борта судна он кричал спешно присланному из монастыря стоящему на торосе подьячему Ивану Захарьину, «как написать челобитную согласнее».

Новая рукопись должна была догнать Варфоломея в пути, но людей, которые повезли ее на берег, во льдах занесло в море. Общемонастырский собор принял другую челобитную и, подписав руками всех властей и братии (кто был грамотен), отослал ее к Варфоломею в Вологду. Первое место для подписи было оставлено для архимандрита: братия тогда еще не могла представить себе всего Варфоломеева хитроумия. Лишь позже выяснилось, что архимандрит решил подождать со своей подписью до приезда в Москву, пока он не поймет, откуда дует ветер.

Братия (включая келаря Савватия, казначея Варсонофия и соборных старцев — ставленников Варфоломея) ожидала, что архимандрит вручит челобитную государю, подкрепив написанное в ней личной просьбой.

— Пришли мы,— писали соловчане,— твои царские нищие богомольцы, во обитель... соловецких чудотворцев душевного спасения ради, слыша их преподобных чудотворцев богоугодное житие и преславные чудеса, и после них благоугодивших Господу — чудотворца Филиппа-митрополита, и преподобного старца Германа, и прочих святых, и многих иноков добродетельное житие проходящих и церковный чин и устав по преданию преподобных чудотворцев Зосимы и Савватия непоколебимо хранящих. И мы,

нищие твои царские богомольцы, предания святых чудотворцев Зосимы и Савватия церковный чин и устав хотели соблюсти, как и прежние отцы наши.

— Милосердный и праведный великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец! — восклицали в челобитной соловецкие власти, монахи и трудники,— пожалуй нас, нищих своих царских богомольцев, не вели, государь, в своем царском богомолье в Соловецком монастыре предания преподобных чудотворцев Зосимы и Савватия церковный чин и устав переменить, чтобы нам, нищим твоим царским богомольцам, в предании святых чудотворцев препроводить дни свои, как и прежние отцы наши. Царь государь, смилуйся!

В Москве Варфоломей сориентировался быстро. Узнав, что царь готовит решительный удар по старообрядцам, Варфоломей немедленно заявил, что братская челобитная писана «не о деле». Он, конечно, отказался торжественно вручить ее царю, как обещал братии, а сам мигом принял все новые обряды. Более того, выступая перед церковным собором 13 июля 1666 года, архимандрит свалил «вину» за сохранение старых обрядов в монастыре на братию. Когда же церковные власти прямо спросили, «от кого в Соловецком монастыре мятеж чинится» против никонианских обрядов и книг, Варфоломей предъявил челобитную, предложив обратить внимание на подписи. Предательство Варфоломея позволило ему занять место среди членов церковного собора. Скоро дошедшее до Соловков известие о том, как архимандрит выслужился перед властями, вызвало взрыв.

Всеобщее возмущение буквально смело монастырские власти, связанные с архимандритом, со своих постов. «Любимца Варфоломеева и монастырского владельца» келаря Савватия уволили от дел первым. На его место братия без совета с новгородским митрополитом и московскими властями поставила уважаемого за честность и

прямоту старца Азария — бывшего будильщика *. За Савватием последовал казначей Варсонофий — на его место был избран священник Геронтий. «Нововыбранными самовольством» были и другие должностные лица Соловков. К Никанору братия и трудники относились уже как к законному архимандриту, более склонному, впрочем, не вмешиваться в дела управления, а подавать пример праведной жизни.

Сыскная экспедиция, отправленная церковным собором и царем на Соловки при деятельном участии Варфоломея, опоздала. Никанор, новоизбранные келарь, казначей и соборные старцы во главе с Александром Стукаловым получали от соловецких приказчиков в городах и простых доброхотов многочисленные сообщения о приближении сыскной комиссии, возглавлявшейся архимандритом Спасо-Ярославского монастыря Сергием: сторонники старой веры надеялись на стойкость соловецких единомышленников. Послание Никанору отправил тогда и «огнепальный» протопоп Аввакум.

Сообщения говорили о серьезности миссии Сергия. Вместе с ним ехали священник Успенского собора Василий Федоров, священник Богоявленского монастыря Иоасаф, дьякон Андреян, патриарший дворянин Григорий Черновский, подьячий Патриаршего казенного приказа Владимир Гурьев. Помимо слуг экспедицию сопровождал отряд из десяти московских стрельцов под командой сотника Елисея Ярцева. По указам светских и церковных властей в Ярославле, Вологде и Холмогорах для экспедиции готовились запасы и транспорт; царь Алексей Михайлович особенно настаивал на спешности поездки и тщательности сыска в монастыре.

Вступление Сергия в Соловецкий монастырь предваряла суровая царская грамота к уже свергнутым монастыр-

---

* Будильщик ведал не только подъемом братии на утреннюю молитву, но и распределением людей по церковным службам.

ским властям. «На Соловки для великих церковных дел и нашего, великого государя, сыскного дела», писал Алексей Михайлович, направлена комиссия во главе со Спасо-Ярославским архимандритом, «и вы бы... во всем ему были послушны без всякого прекословия». Царь приказывал по первому требованию Сергия предоставить в его распоряжение слуг и стрельцов для сыска и принять всю комиссию «с честью». «А если кто из Соловецкого монастыря черных попов, или в соборной и рядовой братье, и слугах, и служебниках, и всяких чинов людей, которые в Соловецком монастыре будут, против сего нашего, великого государя, указа и повеления освященного собора окажется архимандриту Сергию с товарищами в чем-либо непослушен — и тем людям от нас, великого государя, быть в жестоком наказании и в дальних ссылках».

4 октября 1666 года грозная комиссия ступила на землю Соловков. Однако принята она была не так, как требовал царь. Сергия с товарищами и охраной (усиленной в последний момент перед отъездом из Москвы до 20 стрельцов) впустили в монастырь, где их встретило большое количество вооруженных бердышами и палками мирян. Это был не почетный караул и не стража, с помощью которой Сергий намеревался хватать смутьянов,— это была охрана монастыря от царских сыщиков. Приехавшим отвели только две маленькие кельи — и наотрез отказались разговаривать о специальном помещении для ведения следствия. Монастырский караул немедленно встал около этих келий — и стоял затем, сменяясь день и ночь, пока Сергий с товарищами не вынужден был покинуть монастырь.

Из-за тесноты и опасения потерять суда часть московских стрельцов Сергий отправил к лодьям. Их тоже сопровождал караул. Поигрывая оружием, монастырские труженики и поморские крестьяне будто невзначай громко переговаривались меж собой: «Дай-то Бог, чтобы с берегов людей наших съехалось побольше!» «Которые московские стрельцы ныне здесь в монастыре,— говорили другие ка-

раульщики,— тем и указ учиним; а которые за монастырем в лодьях — и тех захватим там, будто морем разбило». «Годится их побить камением,— добавляли третьи,— посланы они от Антихриста прельщать нас!» Напуганные стрельцы сунулись было сообщить о таких разговорах архимандриту Сергию, но были взашей вытолканы из монастыря здоровенными беломорскими мужиками.

Не удачнее была миссия самого Сергия, пошедшего высказать волю церковных иерархов и самодержца в Преображенский собор. Первым делом он объявил всему собранию монахов и мирян соборное решение о принятии новоисправленных книг и церковных чинов. От имени царя и собора русских иерархов братии и мирянам Соловецкого монастыря повелевалось незамедлительно принять все никонианские нововведения и тем самым соединиться с восточной церковью, ибо соловецкое неповиновение властям широко известно. Соперники православной церкви, засевшие ныне в Соловецком монастыре, говорилось в соборном повелении, «не повинуются святой кафолической восточной церкви, и оставляют ее, и в согласии никогда же быть хотят, но по своей воле всегда быть хотят. И если не повинуются, и не приобщатся святой кафолической восточной церкви, и своего хульного упорства не оставят — их за это, если священники, священства извергаем, монахов и простых мирян отлучаем!»

Сергий закончил чтение. В Преображенском соборе стояла глубокая тишина. Тысяча собравшихся там людей, казалось, даже не дышала. Воспользовавшись этим, Сергий начал читать наказ царя о проведении следствия в Соловецком монастыре против людей, подавших в Москве коллективную челобитную на архимандрита Варфоломея. Опорой Сергия в ведении следствия должны были стать близкие к Варфоломею монастырские власти: келарь Савватий, казначей Варсонофий, соборные старцы, хотя допросы должны были охватить всю братию, трудников и крестьян. Наказ совершенно ясно свидетельствовал, на

чьей стороне царь Алексей Михайлович: людей, обвиненных в Москве Варфоломеем *, следовало на время сыска удалить из монастыря. Тут же, в Преображенском соборе, были зачитаны соловецкая челобитная на Варфоломея, доставленная в столицу уже сосланным Герасимом Фирсовым, и доносы, сделанные на соловецких людей архимандритом.

Конец чтения все чаще прерывался гневными возгласами, а как только Сергий умолк, собор взорвался криками. Соборные старцы и приказные, монахи, трудники и крестьяне заявили с «большим шумом и криком, с невежеством и упорством великим: мы-де указу великого государя послушны и во всем ему, великому государю, повинуемся, а повеления о символе веры, и о сложении трех первых великих перстов к воображению креста Господня на лицах наших, и о трегубой аллилуйе, и о молитве, то есть: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», и о новоизданных печатных книгах-служебниках, и потребниках и прочих — не приемлем, и слышать не хотим, и готовы все пострадать единодушно!»

Затем все умолкли и обратили взоры на Никанора. Высоко подняв правую руку и сложив три пальца, как велел патриарх Никон и требовал ныне церковный собор, в великом гневе Никанор произнес: «Это учение, что велят креститься тремя перстами, есть предание латинское, антихристову печать повелеваю всем отнюдь не принимать! Я за всех вас готов к Москве ехать и пострадать!»

Обернувшись затем к Сергию и его товарищам, Никанор сказал: «Что вы на соборе принимаете и нам присылаете?! Нет у вас головы вашего патриарха, и без него соборы ваши не крепки!»

---

* Это были известные неприятели свергнутого архимандрита: Герасим Фирсов, Геннадий, Александр Стукалов, Ефрем Каргополец, Иона Брызгало, попы Никон и Пафнутий с товарищами, которых Варфоломей обвинил «во многих их бесчинствах и неистовствах».

Слова Никанора были единодушно поддержаны всеми братьями и мирскими: «За нами всеми те же речи, готовы единодушно все пострадать, а новой веры, и учения, и книг отнюдь все не приемлем!» Осыпая посланцев из Москвы бранью, наиболее распалившиеся соловчане уже хотели понести их на кулаках, но старшим удалось восстановить порядок. Приезжие хотели вести открытый спор о вере и привезли с собой целую книгу «аргументов» — монастырь выставил на спор монаха-священника Геронтия — нового казначея, побившего Сергия с братией по всем статьям.

Никанор с удовольствием вспоминал, как Геронтий сразу же захватил инициативу в свои руки.

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас,— громко произнес священник, передразнивая никонианскую молитву *. И тут же, повернувшись к приезжим, ткнув пальцем им в лица, воскликнул: — За что вы отъемлете из сей молитвы Сына Божия?!

— Ох, ох! — закричали собравшиеся в соборе.— Горе нам! Отнимают у нас Сына Божия! Где вы девали имя Сына Божия?!!

Долго не успокаивались собравшиеся, пока Геронтий, воспользовавшись небольшой паузой среди горестных воплей, вновь не обратился к Сергию и его товарищам:

— Чего ради вы трижды велите глаголать аллилуйя, а в четвертое — слава тебе, Боже? А в житии святого псковского чудотворца Ефросина прямо написано, трижды аллилуйи говорить не велено, и о том было явление пресвятой Богородицы.

Не успели оппоненты опомниться, как в руках Геронтия оказалась книга, и, вскочив на высокий стул, он стал читать житие Ефросина, в заключение закричав: «Не прельщайтесь и не слушайте такого учения, чтобы говорить

---

* Староверы творили молитву Иисусову так: «Господин Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; никониане исключили слова «Сыне Божий», считая, что «Боже наш» точнее характеризует Христа.

трижды аллилуйя, а в четвертое — слава тебе, Боже!» Вновь собор наполнился возмущенными воплями соловчан, которые звучали еще дольше, чем в первый раз.

— До сего времени,— продолжал затем наступать Геронтий,— вся Русская земля всяким благочестием просвещалась — и не под каким зазором Соловецкий монастырь не бывал: как столп, и утверждение, и светило, и свет сиял! Вы ныне новой вере от греков учитесь, а их, греческих властей, к нам в монастырь в ссылку и самих присылают *. Они, греческие власти, и креститься не умеют, мы их сами учим, как креститься. Не хотим мы древнего предания святых апостолов, и святых отцов, и святых чудотворцев Зосимы и Савватия нарушать, и во всем им последуем!

Видя, что на все нововведения, предложенные Никоном и подтвержденные московским собором, Геронтий дает опровержения от древней русской традиции и отцов церкви, Сергий попытался уесть оппонента логическими построениями. Однако логика, требовавшая принятия указа властей вопреки собственному рассудку, не действовала на Соловецком острове.

— Великий государь наш царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец,— хитро вопрошал Сергий,— благоверен ли, и благочестив, и православен ли, и христианский ли есть царь?

— Благоверен, благочестив, и православен, христианский есть царь,— ответили, подумав, соловецкие монахи, трудники и крестьяне.

— А повеления его и грамоты,— продолжал плести свою сеть Сергий,— которые с нами к вам присланы, каковы вам мнятся быть — православны ли?

Соловецкие люди вновь подумали и по сему вопросу

* В XVI и XVII столетиях на Соловки ссылались многие православные иерархи с Востока, не угодившие российским властям; жил на Соловках и учился там православию даже советник Никона — Арсений Грек. В 1666 году там жил афонский архимандрит Феофан и другие.

умолчали. Упорный Сергий, однако, не сдался и продолжил свои вопросы:

— А четыре восточных святейших православных патриарха *, и российские наши преосвященные митрополиты, и архиепископы, и епископы, и весь освященный собор — православны ли они и благочестивы, пастыри ли, и учителя ли, и отцы ли вам есть?

— Прежде,— отвечали раздумчиво соловецкие люди,— были четыре восточных патриарха православны, а ныне — Бог их весть, потому что сами живут в неволе под турком. Российские же наши архиереи и весь освященный собор православен.

— А соборное их повеление,— гнул свою линию Сергий,— за их святительскими подписями присланное с нами к вам, каково мните быть?

Сыскная комиссия уже радостно потирала руки, загнав соловецкую братию и трудников в угол, но те своим ответом повергли оппонентов со всей их логикой:

— Повеления освященного собора не хулим, а новой веры и учения не принимаем — держимся предания святых чудотворцев и за их предание хотим все умереть вожделенно!

Никанора особенно радовало, что, ощутив в полемике с сыскной комиссией свое единомыслие, соловчане заметно успокоились и в дальнейшем избегали устных и телесных нападок на приезжих. Монахи и трудники, как заявил Сергий, «учинились сильны» и отказались выполнять указ нового новгородского митрополита Питирима выдать сыскной комиссии древние книги из своей книгохранительницы для отправки в Москву. Отказались они и предоставить сыщикам полный «имянной» список братии и мирян монастыря.

За неимением такого списка Сергий с товарищами мог

---

* Имеются в виду патриархи константинопольский, иерусалимский, александрийский и антиохийский.

пытаться допросить только бывших властей и тех, кого поименно обвинял Варфоломей. Однако и этого сделать не удалось. Соловецкие караульщики не допустили сыщиков в монастырские кельи, преградив им путь оружием и спрашивая: «К кому идут и для какого дела?» Даже бывший келарь, казначей и соборные старцы, сами не показываясь и не пуская Сергия с товарищами в кельи, велели отвечать на вопросы из окошек келейникам своим.

Так и не смог Сергий провести нужное царю Алексею Михайловичу следствие, и стал он собираться ехать из монастыря вон в оскорблении великом. Тогда, 6 октября 1666 года, в день царского ангела, келарь Азарий, архимандрит Никанор, вся братия и трудники Соловецкого монастыря подали Сергию с товарищами для передачи в Москву собственноручно подписанное обращение к самодержцу.

«Мы,— говорилось в обращении,— во всем послушны великому государю, кроме никогда не ведомых на Руси церковных нововведений. Молимся за царя и его семью, готовы души свои за их царское величество положить. Не из упрямства и ослушания к нему, великому государю, но боясь суда Божия и отлучения от преданий святых отцов, при которых православная христианская вера сияла, как солнце на небе, просим помиловать нищих своих богомольцев и велеть нам оставаться в прежнем благочестии, чтобы его государеву Соловецкому монастырю, украинному и порубежному месту, от безлюдства не запустеть и нам всем врозь не разбрестись».

Не зря Никанор приложил свою руку к обращению и расписался на нем одним из первых. Соловчане бросали открытый вызов царю Алексею (презрительно не упоминая о духовных властях), заявляли, что никогда не подчинятся указу самодержца и не пойдут против совести. «Если же великий государь на нас грешных фиал гнева своего излиет — лучше нам убогим временной смертью жизнь во веки получить, нежели начальников своих, препо-

добных отцов наших Зосимы, и Савватия, и Филиппа, митрополита московского и всея Руси, и прочих святых предания оставить!»

Никанор и его товарищи определенно указали, что признают своими начальниками основателей монастыря, своих соловецких святых, митрополита Филиппа Колычева, восставшего против царской тирании и принявшего мученическую смерть от рук царских опричников. Ни церковные власти, ни светский меч отныне были им не в указ в вопросах совести. Раньше соловчане настойчиво, но мягко просили царя — теперь они заявили, что ни в коем случае ему не подчинятся. Сомневаясь, что столь смелое обращение будет передано архимандритом Сергием по назначению, за подписью Никанора и других братьев Соловецкий монастырь отправил в Москву еще одну сходную челобитную.

Все обитатели монастыря готовы были положить души за правое дело, но одни надеялись на царскую милость и справедливость, а другие многие, собираясь достойно и душеспасенно принять неизбежную смерть, принимали схиму *. Именно первые вскоре после отъезда Сергия с товарищами стали созывать большой черный собор, на который с такой неохотой, оторвавшись от книги, пришел архимандрит Никанор. Пока он пребывал в задумчивости, вспоминая прошедшие события, братия продолжала единодушно клеймить Варфоломея и его клику.

Были не только полностью подтверждены обвинения, за которые пострадал уехавший весной в Москву Герасим Фирсов, но и изъявлена готовность гораздо шире расписать перед царем бесчестную и поносную жизнь, разорение монастыря, жестокость и бесчеловечность, воцарившиеся на Соловках при Варфоломее. Сергий с товарищами, уез-

---

* Схима — высшая ступень монашества, состоявшая, в свою очередь, из двух степеней, вторая из которых отличалась принятием более суровых обетов.

жая, отказались записывать подобные показания и принимать жалобы, противоречащие порученной им миссии сыска противников Варфоломея. Соловецкие жители смогли свободно изъявить свои претензии в новой общемонастырской челобитной.

Никанору пришлось в конце концов выступить и употребить все свое влияние, чтобы сказанное на соборе не было отослано в столицу. Он слишком чтил свою обитель, чтобы давать такой материал для сплетен и пересудов. Никанору удалось уговорить собравшихся ограничиться самым общим порицанием Варфоломея. В челобитной была подтверждена достоверность обвинений, изложенных в челобитной Герасима Фирсова с товарищами, и кратко сообщалось, что братии есть что к ним прибавить. Важно было одно — братия и трудники Соловецкого монастыря категорически отказывались иметь своим архимандритом Варфоломея и требовали утвердить на его место Никанора.

И здесь Никанор, со свойственной ему скромностью и прозорливостью, постарался удержать товарищей от лишней категоричности. «Пожалуй нас,— написали в окончательном варианте челобитной царю,— ...вели, государь, нам вместо того архимандрита Варфоломея из братии нам себе поставить по прежнему нашему выбору отца и пастыря Савы чудотворца Сторожевского монастыря бывшего архимандрита Никанора, или иного нашего же монастыря старца добра и искусна, аще твой великого государя указ будет, чтобы до конца... Соловецкому монастырю от их (прежних властей.— *А. Б.*) пьянственного и нестройного жития не разоритися, и нам, нищим, от их бесчеловечного озлобления врозь не разбрестися. Великий государь, смилуйся!»

Архимандрит Никанор жалостливо наблюдал, с какой надеждой многие следили за составлением этой челобитной, думая, что царь простит им неповиновение и позволит жить по своей воле. Но когда Александр Стукалов и его товарищи, при одобрении множества людей, предложи-

ли просить о помощи в этом деле еще и новгородского митрополита Питирима, Никанор, постукивая посохом по каменным плитам Преображенского собора, двинулся вон. Питирим был одним их виднейших участников освященного собора, власть которого отказался признать Соловецкий монастырь; Питирим был непосредственным церковным начальником обители, ответственным за ее неповиновение нововведениям; Питирим, наконец, никогда не пошел бы против воли или прихоти царя Алексея Михайловича. Обращение к нему показывало, сколь сильна во многих надежда на несуществующую справедливость властей, питаемая опасениями и страхом перед предстоящим подвигом веры.

Никанор не хотел и не мог разбивать эти утешительные иллюзии. Потом, когда придет решительный час, он своим словом и примером поддержит слабые души. Архимандрит подошел к полке и, аккуратно взяв с нее книгу Василия Великого, перенес на конторку. Он долго не раскрывал книгу, прислушиваясь к шумным сборам за окном: сам Александр Стукалов, один из активнейших соборных старцев, молодой, энергичный и очень нужный в трудное для монастыря время человек, безрассудно собирался пуститься по Белому морю, чтобы доставить челобитные в еще более опасную для старовера Москву. Его сопровождали старец Варфоломей, служки Фаддей и Иван.

Так и не открыв книгу, Никанор пошел на воздух. Он прошествовал, раздавая благословения братии и трудникам, к Святым воротам. Александр со спутниками уже поднимались на борт поморского коча. Вскоре упали в воду швартовые канаты и носник приказал поднять паруса. Никанор взошел в храм над Святыми воротами и долго молился о спасении душ и жизней отплывшей братии. Никанор ясно представил себе бурные волны моря соленого и моря житейского, ожидающие отважных мореплавателей за Заливом Благополучия. Углубившись в молитву, архимандрит не заметил, как узкое помещение Благове-

щенской церкви стало заполняться плотной стеной богомольцев. Коленопреклоненно люди единой душой молили мучеников Прова, Тараса и Андроника, преподобного Космy, иерусалимскую и спасо-смоленскую Божью матерь помочь решившим пострадать за святую обитель преподобных Зосимы и Савватия.

Уже давно парус Александрова коча скрылся за горизонтом, а Соловецкая обитель голосами тысячи чернецов и трудников возносила молитвы к затянутому плотными тучами беломорскому небу.

23 февраля 1668 года

Рассыпая по столу цветной воск, казначей Геронтий ломал печати и быстро просматривал бумаги, целой связкой доставленные в монастырь сотником московских стрельцов. Сам сотник, Василий Данилович Чадуев, сбросив шубу и расстегнув красный суконный кафтан, привольно развалился на широкой лавке у печи. Прибывший с ним большой отряд стрельцов был свободно пропущен в монастырь, и командир не сомневался в скорой покорности монахов. Неграмотный келарь Азарий, в нетерпении ерзая на жестком стуле, время от времени вопрошал Геронтия: «Что пишут?» — но не получал ответа. Четвертый человек в келье, архимандрит Никанор, стоял у слабо пропускающего скудный свет зимнего дня слюдяного окна и, казалось, не интересовался содержанием московских грамот. Но и он вздрогнул, когда, бросив на стол последнюю грамоту, Геронтий подвел итог:

«Государь решил с нами воевать».

Никанор давно видел, что дело клонилось к мечу, хотя временами очень хотел заставить себя поверить в благоразумие московских властей. Да и все в Соловецком монастыре, от книжного старца до рыболова, испытывали за последний год то ощущение неотвратимо приближающейся опасности, то прилив надежды на благополучный исход спора с российским самодержцем.

К январю 1667 года весь монастырь переживал за исход миссии Александра Стукалова. Уже несколько месяцев о нем не было никаких известий. Случайно на Соловках узнали, что поехавшие в Москву до него, 30 сентября 1666 года, старцы Тихон и Тарасий, после подачи ими челобитной царю были схвачены и сосланы в разные монастыри в заточение. В великом беспокойстве келарь Азарий, казначей Геронтий и соборные старцы писали письмо за письмом, стараясь узнать о происходящем в столице от монастырских вологодских приказчиков, жившего в Москве Ивана Стукалова (родного брата старца Александра), от других людей. Со специальными гонцами письма Александру Стукалову и заточенным старцам были посланы, несмотря на зимнее время; послал монастырь и деньги, чтобы поддержать страдальцев за веру материально. Ответов не было *.

Во всех письмах соловецкая братия извещала, что будет стоять за старую веру до скончания жизни. Демонстрируя бесповоротность своего решения, новые власти монастыря разослали по монастырским вотчинам и к городским приказчикам указание не слушаться распоряжений свергнутого архимандрита Варфоломея и ни в коем случае не давать ему денег и запасов. В феврале стало известно, что в Сумский острог выехал новый царский сыщик — стольник Александр Севастьянович Хитрово, надеявшийся выполнить то, что не удалось комиссии архимандрита Сергия.

Братия должна была еще более насторожиться, но стоило 16 февраля 1667 года стряпчему Ивану Петровичу Образцову преодолеть бурное море и льды с милостивым царским словом — настроение на Соловках полностью переменилось. Никанор не обольщался тем, что, передав ему

* Гонцы с Соловков были перехвачены и заточены, все письма попали в руки участников большого церковного собора в Москве. Заточены в монастырь были и Александр Стукалов со спутниками.

очередное приглашение Алексея Михайловича приехать в Москву, Образцов на черном соборе уверял монахов и трудников в добром отношении самодержца к обители. Но он не мог пойти против желания братии, на радостях богато одарившей гонца и единодушно просившей Никанора, «чтобы он перед великим государем заступник был и за них стоял». Надеясь на утверждение Никанора архимандритом и получение им разрешения беспрепятственно сохранять старые обряды, соловчане немедленно собрали его в путь. Уже 18 февраля Никанор со старцем Никитой, попом Амвросием и дьяконом Пахомием в сопровождении служек выехали на торос.

Преодоление долгого и трудного зимнего пути спутники отметили соборным молебном чудотворцу Сергию в Троице-Сергиевом монастыре. Но настоящие трудности начались в Москве. Как и предвидел Никанор, «милостивое слово», сказанное от имени царя на Соловках, было лишь уловкой. Он не только не был допущен к самодержцу, но изгнан с монастырского подворья и вынужден искать приюта у Образцова, с которым сошелся в пути. После того как имущество путешественников было опечатано, а монастырские деньги — 200 рублей — конфискованы, именно Образцов сумел выпросить на содержание приехавших с ним восемь рублей, чтобы они могли купить себе хлеба.

Над Никанором и его товарищами сразу же был установлен строгий надзор. Участниками большого церковного собора были предприняты немалые усилия, чтобы добиться «обращения» видного сторонника старой веры. Несколько дней с ним милостиво беседовали русские иерархи и привезенные с Востока патриархи — Паисий александрийский и Макарий антиохийский. Прельщая Никанора возможностью утвердиться архимандритом в Соловецком монастыре и быть к тому же осыпанным царскими милостями, собеседники требовали публичного отречения от старообрядчества и обещания добиваться того же от соловецкой братии. Затем, видя тщетность своих усилий, церковные

власти перешли к угрозам: в случае отказа покориться Никанору обещали отрезать язык и заточить в подземную темницу.

Никанор медлил с окончательным ответом на «увещевания». Он понимал, что попал в ловушку, был обманут, но все же колебался. Душа его противилась тому, чтобы ответить обманом на обман. И все же рациональные соображения взяли верх. 20 и 21 апреля Никанор вместе с товарищами выступал перед большим церковным собором, уверяя, что «без сомнения принимает» новые книги и обряды, обещает в будущем и других «приводить на истину» *. Сделка была совершена. В отличие от других соловецких старцев, которые и после покаяния оставались в заточении, обращение с Никанором стало весьма милостивым. Он был освобожден из-под надзора, ему и товарищам были возвращены деньги и имущество, позволено жить на соловецком подворье. Более того, новоизбранный патриарх Иоасаф открыл для Никанора с товарищами свои погреба и амбары, предлагая без стеснения пользоваться его запасами, часто посылал на соловецкое подворье «подачи». Царь Алексей Михайлович не раз приглашал Никанора к себе, беседовал с ним, присылал гостинцы; приглашая архимандрита в день ангела супруги, царицы Марии Ильиничны, к праздничному столу, государь прислал за Никанором свою карету.

Торжественный обед состоялся 22 июля. Знавший царский нрав Никанор все же не мог не подивиться двоедушию Алексея Михайловича: уже на следующий день архимандритом в Соловецкий монастырь был утвержден... Иосиф, бывший строитель московского подворья. Лаская Никанора, царь добивался, оказывается, лишь

* Подобные «покаяния» принесло большинство лидеров старообрядчества, многие из которых затем продолжили борьбу. Так, вместе с Никанором 21 апреля «отрекся» суздальский поп Никита, возглавивший в 1682 году восстание старообрядцев в Москве и сложивший голову на плахе.

одного — чтобы тот помог Иосифу искоренить соловецкое старообрядчество, поехав с ним на Белое море простым монахом. Но и царь недооценивал бывшего саввинского архимандрита. Никанор давно прознал о том, как с ним хотят поступить, и даже кого планируют сделать архимандритом. Уже в июле на Соловках было получено письмо его служки Фаддея Петрова, предупреждавшего о предстоящей поездке Иосифа, Никанора и Варфоломея, который перед тем как занять место архимандрита Свияжского монастыря, должен был сдать дела на Белом море. Самому Никанору посылать такое извещение было опасно, но на преданность Фаддея он мог положиться *.

Зная о намерениях властей, Никанор старательно подыгрывал им, изображая полное неведение и благонамеренность. Ставка была велика: малейшая ошибка могла лишить его возможности вернуться в Соловецкую обитель. До самого отъезда и даже в пути приходилось таиться, исполнять обряды по-новому, носить «рогатый» греческий клобук **, тщательно выбирать слова в разговоре с Иосифом и ненавидевшим его Варфоломеем. Лишь в Архангельске Никанор смог отделаться от своих опасных спутников, оставшись на берегу под предлогом болезни. Он не собирался не только помогать Иосифу, но и присутствовать при его въезде в монастырь.

Как и предполагал Никанор, встреча старого и нового архимандритов на Соловках была не из приятных. Подойдя к островам 13 сентября, Иосиф и Варфоломей направили судно сначала к Заяцкому острову, что в шести верстах от монастыря, и остановились на принадле-

---

* Фаддей Петров осенью 1666 года выехал из монастыря в Москву вместе с Александром Стукаловым; Никанору с большим трудом удалось вытащить его из тюрьмы.

** Русский монашеский головной убор — клобук — был мягким, а введенный Никоном греческий — жестким цилиндрическим с ниспадающей на плечи тканью.

жащем монастырю дворе. Если они и думали остаться некоторое время незамеченными и осмотреться, то ошиблись. В тот же день в монастыре состоялся большой черный собор: «Принимать ли их, архимандритов, в монастырь или не принимать».

Решили принять, а для начала послать на Заяцкий остров соборного старца Тихона и монаха Кирилла Чаплина. Собор наказал посланным пригласить приезжих в монастырь и без обиняков спросить, с чем они прибыли и какой царский указ привезли с собой. По решению собора Тихон и Кирилл должны были объявить, что Иосифа примут с честью, рады будут ему, как Богу, если он будет служить церковную службу по-старому. Если же станет служить по-новому — «нам он в монастыре ненадобен, сиди в своей келье, а в монастыре и в церкви ничего у нас не ведай!»

«Я приехал,— заявил монахам Иосиф,— с указом великого государя и по благословению вселенских патриархов, и Иоасафа патриарха московского и всея Руси, и Питирима, митрополита Великого Новгорода, и всего освященного собора. Указ к вам ко всем есть — что служить мне по новоисправленным книгам!» После сего смелого ответа новый архимандрит убоялся, однако, ехать в монастырь и зачитать братии этот указ. Он потребовал к себе на Заяцкий остров монастырские власти, чтобы объявить указ в узком кругу.

Поутру 14 сентября струги с келарем, казначеем, священнослужителями и соборными старцами в сопровождении внушительной охраны пристали к Заяцкому острову. Монастырские власти отказались принять благословение архимандрита Иосифа, который хотел их благословить «по-новому». Не стали они и слушать указа о новых обрядах, заявив, что он должен быть объявлен при всей братии. Архимандрит настаивал на своем — и тогда соловчане попросту погрузили всех приезжих на суда и повезли в монастырь.

Во втором часу ночи перепуганные Иосиф и Варфоломей оказались у пристани в Заливе Благополучия и еле уговорили монастырские власти не вести их ночью в обитель. Власти и сами опасались расправы над архимандритами и потому оставили их пока в лодье, окружив пристань сильной охраной, человек в пятьдесят. В эту ночь Варфоломей и его старый келейный друг Иосиф еще могли утешаться по своему обыкновению, но наутро этому настал конец.

Сразу после заутрени Кирилл Чаплин со стражей вышли на пристань. Первым делом они обыскали судно, на котором приехали из Архангельска архимандриты, вытащили на берег и разбили тридцать девять больших, малых и средних бочек вина, а также пятнадцать бочек меда и пива. Затем потрясенных этим актом Иосифа и Варфоломея повели в Преображенский собор. Трясясь от страха, они шли между толпами соловчан, не желавших принимать их благословения.

«Слушайте государев указ и повеление святейших патриархов»,— с трудом вымолвил Иосиф, но прочесть грамоту не смог — лишился голоса. Грамоту взял казначей Геронтий. Громко и внятно, так, что его хорошо слышало все тысячное собрание, прочел он категорическое требование принять новый обряд и во всем повиноваться новому архимандриту, когда он будет «меж вас расправляться». В грамоте вновь звучала анафема староверам, уже слышанная соловчанами год назад, в приезд Сергия.

Окончив чтение, Геронтий встал на стул и при полном одобрении собравшихся стал читать выдержки из составленной им челобитной, обличающей новые книги и обряды. Каждый его период сопровождался шумом, криками и руганью монахов и трудников на церковные власти. Никанор, много слышавший об этом выступлении Геронтия, хорошо понимал, почему оно произвело столь сильное впечатление. Необычно для Соловецкого монастыря пространная челобитная была не просьбой к государю, не просто богослов-

ским трактатом — это был подлинный манифест борцов за старую веру *.

В спокойном тоне, далеком от яростных выпадов «огнепального» Аввакума и крайних взглядов многих староверческих вождей, Геронтий убеждал, что настает конец последнего века и грядет господство Антихриста. Скоро будет второе пришествие Христово и кончина мира. Христианская вера скудеет на Земле, как предсказано: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Во всем мире почти не осталось христианства: Рим потерял православие и давно поражен ересями; на Востоке под турецким игом православная вера до конца иссякла; в 1595 году отпала от православия и Малая Россия, приступив к римскому костелу; с восшествием на престол Никона и Великая Россия стала склоняться в бездну погибели.

Ныне, говорил и писал Геронтий, в 1667 году, православие осталось в России лишь у немногих, нашедших в себе силы не принимать никонианства. Вместо истинной веры, сиявшей на Руси со времен святого равноапостольного князя Владимира, Никон и его ученики проповедуют веру новую, незнаемую. Описав и опровергнув большую часть никонианских нововведений **, Геронтий, в отличие от многих старообрядческих писателей, не впадает в отчаяние.

Россия, по его словам, не совсем еще погибла и может стать на путь правды, если царь Алексей Михайлович исполнит свой священный долг восстановить веру, в которой угодили Богу многие святые, в которой благочестиво кон-

---

* Эта челобитная, известная как Пятая соловецкая, в отличие от других, видимо, так и не попала к царю: ее подписанного подлинника нет ни в государственных архивах, ни в патриаршей библиотеке. Зато она ходила по рукам, переписывалась во множестве списков, а позже многократно издавалась староверами, которые ссылались на нее как на основание своих религиозных убеждений.

** Стремясь охватить все нововведения, борцы за старую веру создали в течение столетий множество расширенных и дополненных редакций замечательного сочинения Геронтия.

чили свои дни его предки от святого Владимира до царя Михаила Федоровича. Иначе ни царю, ни России не избежать гнева Божия! Господне наказание уже грядет в разорении от иноплеменных, в запустении церквей, разодрании и истреблении старинных книг и прочем. Однако есть еще в России праведники.

«Если твой, великого государя, помазанника Божия и царя, гнев на нас грешных излиется, и православную нашу христианскую непорочную веру попустишь отнять у нас новым проповедникам, и чудотворцев наших и прочих святых отцов предание изменишь — о том тебе как в прежней челобитной писали, так и ныне пишем: лучше нам временной смертью умереть, нежели вечно погибнуть. Или если, государь, огню и мукам нас новые учителя предадут, или на части рассекут — но изменять апостольского и отеческого предания не будем вовеки!» — заключал Геронтий.

После того как он закончил речь на большом черном соборе и сошел со стула, присутствующие не захотели и слушать старого и нового архимандрита или даже взглянуть на книги, которые они привезли с собой. Не обошлось, правда, без беспорядка: кто-то, особенно ненавидевший Варфоломея, сумел пробраться поближе к нему. Группа таких людей бросилась на свергнутого архимандрита, изодрала на нем никонианский клобук, выдрала волосы. Варфоломей едва сумел убежать в придел Зосимы и Савватия, где его защитила святость места.

Решение собора объявили Иосифу попросту: «Нам ты, архимандрит, не надобен с такой службой в архимандриты, живи в своей келье!» Тут голос у Иосифа вдруг прорезался и он начал возмущаться таким неподчинением царю и церковной власти. Утихомирив начавшийся шум и крики с угрозами, Азарий и Геронтий вновь спокойно сказали: «Нам ты, архимандрит, не надобен, сиди в своей келье, а пищу будем тебе давать с общего стола».

Действительно, Иосифа под конвоем проводили в ту келью, где он жил в монастыре раньше. В простую келью

поместили и Варфоломея. Роскошные предметы обихода, столь дорогие сердцам обоих архимандритов, забрали и опечатали в амбаре, а нарядно одетых служек поместили в тюрьму. Монастырские власти позаботились, чтобы архимандриты не входили в алтари, не целовали Евангелия и икон и постоянно имели при себе по пяти человек стражи. Это было необходимо, чтобы защитить Иосифа и Варфоломея от гнева монахов и трудников: и так они слышали, что их называют собаками: «Как собака в церковь заскочит, и церковь вновь святить надобно, а эти собаки и есть — если и ушибить их, греха не будет!»

Не без опасений ехал на острова и архимандрит Никанор, но его ждала совсем другая встреча. 20 сентября, под вечер, он приехал в Залив Благополучия и заночевал под монастырем. По поручению монастырских властей на его судно прибыли соборный старец Тихон, старец Кирилл и дьякон Еремей, пригласившие Никанора в монастырь. «Я стану вас благословлять по-прежнему»,— сказал Никанор, и присланные приняли его благословение.

Азарий, Геронтий и другие монастырские власти понимали, что, если Никанор посоветует братии и трудникам принять новые обряды, многие его послушают. Поэтому архимандрита прежде всего призвали в соборные сени, где заседали власти, и вопросили: «Что ты нам скажешь и какой с тобою государев указ?»

«Нет со мной никакого государева указа,— отвечал Никанор,— только грамота с повелением жить по-прежнему простым монахом на покое». Отчасти успокоившись, монастырские власти стали расспрашивать Никанора о причинах его отступничества на большом церковном соборе «и для чего ты, Никанор, клобук переменил». Архимандрит честно рассказал, как было дело, но Азарий и Геронтий, сильно надеявшиеся на успех его миссии при дворе, остались недовольны: «Мы просили тебя, чтобы ты перед великим государем заступник был и за нас стоял, а ты к нам привез неведомо что!»

«Сами бы поехали в Москву и того отведали!» — горестно отвечал Никанор. Он не стал скрывать перед всем населением монастыря своего прегрешения и вместе со своими спутниками публично покаялся перед большим черным собором в ложном отречении от старой веры. Он же вернул в монастырскую казну 128 рублей из двухсот, выданных на поездку в столицу, показав тем самым, что в отличие от Варфоломея не только в монастыре, но и вне его стен довольствуется малым. Как и следовало ожидать, уважение к Никанору на Соловках не только не пошатнулось, но значительно усилилось.

Твердость в вере, способность если не убеждением, то хитростью одолеть московские власти и вырваться из столицы, где уже сгинули многие лучшие люди Соловков, укрепляли надежду братии на Никанора. Церковные власти, все внешние нравственные авторитеты после соборных проклятий пали в глазах соловецких обитателей. «Если святитель проклинает не по делу Божию, то есть не по священным правилам — этому проклятию Божий суд не последует, а непокоряющиеся таким святителям, хотя и прокляты от них, но от Бога великих похвал достойны»,— считали соловецкие староверы.

После счастливого возвращения Никанора они обрели в его лице нравственный ориентир, заменяющий и царя, и патриарха, и митрополита, и утвержденного архимандрита. Для того чтобы советы Никанора выполнялись безусловно, братии и трудникам уже не требовалось утверждение его в сане архимандрита. С приездом Никанора окончился и период колебаний между стремлением к подвигу за веру и надеждой на милостивого и справедливого царя.

Уже на третий день после приезда Никанора соловецкий собор принял решение переменить на должности строителя московского подворья ставленника Варфоломея и Иосифа на верного старца Кирилла Чаплина, несшего до этого службу городничего (ответственного за укрепления

и оборону монастыря). Вызов, брошенный московским властям, усугублялся тем, что соловецкий собор не счел нужным упоминать о присланных из столицы архимандритах, но в специальной отписке сообщил, что архимандрит Никанор принят в монастыре с честью.

Правда, архимандриту Иосифу позволили написать царю и патриарху о том, как его не приняли на Соловках, причем эти отписки самолично доставил в Москву Кирилл Чаплин. Но соловчане и не думали скрывать от московских властей положение дел. Сразу же после приезда Никанора большой черный собор утвердил короткую и четкую челобитную царю Алексею Михайловичу, решительно и окончательно отказывающую ему в праве переменять веру.

«Если ты, великий государь наш, помазанник Божий,— писали соловецкие монахи,— нам в прежней, святыми отцами переданной, в старой вере быть не благоволишь и книги переменить изволишь — милости у тебя, государя, просим: помилуй нас, не вели, государь, больше к нам учителей присылать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменять, и вели, государь, на нас свой меч прислать царский и от сего мятежного жития преселить нас в безмятежное и вечное житие!»

Никанор и все жители монастыря знали, на что идут. Они не только отказались подчиняться московским властям на словах. Присланный из столицы архимандрит Иосиф не был ими принят. Стольник А. С. Хитрово до конца 1667 года без дела сидел в Сумском остроге, тщетно пытаясь вызвать из монастыря свидетелей и обвиняемых для «сыскного дела». Кирилл Чаплин и его спутники, по приезде в столицу незамедлительно схваченные и сурово допрошенные архимандритом Чудова монастыря Иоакимом *, подробно рассказали о полном отказе Солов-

* Иоаким Савелов — видный гонитель староверов, впоследствии патриарх московский и всея Руси (1674—1690).

ков повиноваться московским властям. Примерно тогда же, зимой, сначала Варфоломей, а за ним и Иосиф сочли за благо покинуть негостеприимный монастырь — «страхом Божиим гонимы», как объясняли староверы, или от «криков, и шуму, и гилей (волнений.— *А. Б.*) частых, и нам позору всякого», как доносил царю Варфоломей.

И все же какая-то частица надежды на мирный исход оставалась даже у Никанора. Самим выражением готовности умереть за веру соловецкие жители хотели затронуть душу государя, устрашить его ответственностью перед Богом за их смерть. Потому-то Никанор вздрогнул, услышав 23 февраля 1668 года слова Геронтия, и, быстрыми шагами идя от окна к столу, ощутил по телу неприятную дрожь. Плоть сопротивлялась решимости духа в предчувствии страданий за правую веру. Унимая волнение, Никанор схватил одну из лежащих перед Геронтием царских грамот и наклонился к свече.

Царь обращался не ко всей братии, но лишь к тем «соборным и рядовым старцам, которые святой соборной и апостольской церкви не противны и нам, великому государю, послушны», призывая их выйти из повиновения монастырским властям, «нововыбранным самовольством, без нашего, великого государя, указа». Келарю Азарию, казначею Геронтию и их единомышленникам царь грозил расправой. А чтобы монахи лучше прочувствовали тяжесть самодержавного гнева и скорее пришли в послушание, у Соловецкого монастыря конфисковались все вотчинные села и деревни, соляные, рыбные, слюдяные и всякие промыслы, дворы в Москве и других городах со всем инвентарем и запасами. Царь приказывал не пропускать в монастырь ни денег, ни продовольствия, ни иных товаров. Соловецкий монастырь оказывался в блокаде. Вторая грамота была обращена к монастырским слугам, трудникам и жившим на Соловках богомольцам. Она буквально повторяла первую, с той лишь разницей, что этим людям приказывалось немедленно покинуть опальную обитель.

Алексей Михайлович прекрасно понимал, что Соловецкий монастырь не мог жить без связей с Россией или по крайней мере с Поморьем. По здравому рассуждению следовало полагать, что большинство соловчан скоро одумается и выдаст главных мятежников. Принятых царем мер было более чем достаточно для подавления соловецкого сопротивления, но власти усугубили их грамотой трех патриархов: Паисия александрийского, Макария антиохийского и Иоасафа московского, предававших непокорных «анафеме, сиречь вечному проклятию, кроме тех, которые вскоре обратятся ко святой церкви с чистым покаянием». Понимая, кто является духовным лидером соловецких староверов, патриархи уделяли особое внимание осуждению архимандрита Никанора, пространно описывая его «покаяние» и данное в Москве обещание «прочих раскольников приводить в повиновение святой церкви». «Никанор, бывший архимандрит, и иные раскольники» — так говорила об участниках соловецкого сопротивления патриаршая грамота, доставленная отрядом вооруженных стрельцов.

Кратко пояснив Азарию, что написано в грамотах, Никанор предложил не откладывая объявить их на большом черном соборе. Он хотел, чтобы стрелецкий сотник и его люди сами увидели единодушие соловецких жителей, среди которых нет таких, к каким хотел бы обратиться царь. Никанор с сотником и товарищами еще шли по длинному каменному переходу в Преображенский собор, а вестовой колокол уже сзывал братию и трудников на совет для ответа самодержцу и церковным властям. Несмотря на зимнее время, людей в монастыре было так много, что вместе со стрельцами они едва поместились в огромном храме.

Ни страха, ни смятения не увидел сотник Чадуев в лицах собравшихся после прочтения московских грамот. Без долгих разговоров соловчане объявили и тут же записали свою ответную «сказку» Василию Даниловичу Ча-

дуеву, обращаясь, скорее, к стоящему за его спиной царю Алексею Михайловичу Романову. Они на наиболее ярких примерах пояснили, как Никон и его приверженцы, а ныне на соборе приезжие греки «всю нашу православную христианскую веру на Русской земле нарушили», «истинное православие наше истребили вконец». Греческим иерархам досталось особенно:

«Всем православным ныне в Российском царствии видимо, что они, греческие власти, приехали из такой турецкой неволи и убожества не веру исправлять, но нас, православных, мучить и проклинать, и злата, и серебра, и вещей собирать. Сего ради мы их новой веры и преданий, которые святые апостолы и святые отцы нам не передали, не принимаем, но держимся прежней своей истинной непорочной православной христианской веры, апостольского и святых отцов предания, в ней же святые отцы угодили Богу, и все прародители твои, государевы (говорили монахи, забыв уже, что обращаются к Чадуеву.— *А. Б.*), благоверные цари и великие князи... благоугодно проводили дни свои».

Вера, которую мы отстаиваем, говорилось на соборе, «от начала Русской земли... благочестием сияла, как Солнце посреди круга небесного». За эту веру пострадали многие мученики — и напрасно приезжие греки «мучение и страдание наше за имя Божие и за православную веру страдавших хулят и почитают всуе». Уповаем, сказали соловчане Чадуеву, «что если и тьмами себе смерти узрим от них, новых учителей, и крови свои прольем, но православной своей веры истинной непорочной и предания и устава преподобных отцов Зосимы и Савватия не изменим до смерти».

Никанор видел, сколь сильное впечатление произвели на московских стрельцов спокойное единодушие и уверенность соловецких жителей, уцеломудрившихся на страдание за правую веру. Завершив свою «сказку», участники собора решили составить еще отписку самому царю. Удив-

ленный Чадуев видел, что оказавшиеся в блокаде, преследуемые царским гневом люди искренне веселятся, когда с казачьей лихостью диктуют насмешливый ответ самодержцу по поводу изгнания присланного им архимандрита.

Мы, писали соловчане, православной церкви не противны, ибо ее предания полностью сохранили, «и твоему царскому величеству трепетны и страшны», «и никако не противимся твоему царскому повелению», но принять в обители Иосифа и Варфоломея не могли как людей низких и недостойных. Живо описав пороки обоих архимандритов, участники собора продиктовали писцу яркий рассказец об истреблении привезенной любимцами Алексея Михайловича выпивки: «...а и впредь бы, государь, от них во святой обители то же пьянственное бесчиние и бесчеловечие было пуще прежнего!»

Бога убоявшись, бежали архимандриты из монастыря, говорили, усмехаясь, монахи и трудники, и нам Бог принять присланные из Москвы новые книги не велит: они «с пергаменными нашими, которым лет по пятьсот, и по шестьсот, и больше, и со старинными печатными и письменными книгами ни в чем не сходятся даже близко. Также и греческие пестрые и черные власти, и киевляне, и архимандриты, и игумены, которые у нас ныне в ссылке под началом, до конца тех его никоновых книг ни в чем не похваляют и с греческими книгами не согласны же».

«К сему, государь,— заключали соловчане,— многие ныне у нас явные чудеса от пречистыя Богородицы и угодников ее, преподобных отцов наших, в обители нашей, в Поморьи, в Сумском остроге и в Анзерской пустыни творятся», а Богородица новой веры принимать не велит. Так что «милости просим: помилуй, великий государь, помазанник Божий, умилосердись на нас, грешных рабов своих, не вели нам предания преподобных чудотворцев изменить!»

Лихо поставив в конце текста крыж, писец закончил свою работу. Собравшиеся удовлетворенно стали расхо-

диться из собора к обычным трудам. Для приезжих стрельцов было устроено небольшое богослужение над мощами Зосимы и Савватия. Однако сотник Чадуев не оставил своим подчиненным много времени на поклонение многочисленным соловецким святыням. Он отлично видел, какое впечатление произвели на них мятежные речи монахов и трудников, и сейчас, засунув за пазуху полученные бумаги, стремился к одному — как можно скорее увести отряд из обители. Было воскресенье, и стрельцы упросили начальника позволить им отстоять еще вечерню, но на следующее утро, несмотря на снег и сильный ветер, Чадуев увел их на торос. Спешно, как при отступлении после разгрома, погрузившись на струг, московские стрельцы отчалили от ледового припая и вскоре их след засыпало снежной крошкой.

Поскольку городничий Кирилл Чаплин изменил — вернувшись было в монастырь, ныне бежал вместе с отрядом Чадуева,— Никанор, Азарий и Геронтий, не откладывая в долгий ящик, приступили к ревизии военного хозяйства. Они, как и все, оставшиеся в монастыре, знали, что стрельцы вернутся в гораздо большем числе и с худшими намерениями. Монастырь переходил на осадное положение. Соборные и приказные старцы совещались о пополнении запасов продовольствия и всего необходимого для обороны. Братия и трудники наряжались на работы по укреплению обители, создавали отряды для прорыва блокады и распределяли стенные караулы.

Никанор понял, что ныне наступило главное время его жизни: что бы ни случилось, он должен поддерживать бодрость духа и надежду на вечное спасение всех верящих в него соловецких сидельцев.

Июнь 1672 года

Поеживаясь, Никанор вышел из прозрачной воды озера на каменистый берег и бросил карася в кадушку, где уже плескалась рыба. Соловецкое лето еще не насту-

пило — вода была холодная, да и на берегу не согреешься. Пока архимандрит нанизывал на крючок нового червя, его босые ноги почти сплошь покрылись комарьем. Никанор повыше заткнул за пояс подол рясы и поспешил вновь по колено забраться в озеро. Он с расстановкой поплевал на червя и забросил удочку. Ловил архимандрит для удовольствия — вскоре на озеро придет артель рыболовов с более солидной снастью заготовлять рыбу впрок. А пока он с келейником и домовым старцем, хранившим скит, жили на озере одни. Нанеся поражение войскам царя Алексея Михайловича, Никанор позволил себе немного отдохнуть и на досуге поразмыслить о прошедших бурных годах соловецкой войны с московским самодержавием.

Царский воевода бесславно отбыл в свою столицу, стрельцы убрались по домам зализывать раны, Соловецкий монастырь заслужил передышку. Конечно, она не будет долгой. Царь не оставит святой обители своим мстительным вниманием. Но теперь, после четырех лет безуспешных попыток покорить монастырь силой, в Москве должны и призадуматься. Соловецкая твердыня не пошатнулась — и сторонники отцепреданного старого благочестия вдохновляются ее примером на многочисленные подвиги во имя веры. Не опомнятся ли московские власти, не задумаются ли они о смысле и цене малопонятных им самим церковных нововведений? Нет, думал Никанор, не опомнятся. Он гнал от себя мысли о дальнейшей судьбе клочка свободной земли в Белом море, но они упорно возвращались, отвлекая внимание от сделанного из гусиного пера поплавка.

Соловецкие сидельцы победили, но и понесли тяжелые потери. «Дом Спаса Преображения и соловецких чудотворцев» был разрублен надвое. С самого начала войны царь постарался прибрать к своим рукам бóльшую часть соловецкого хозяйственного организма. Еще весной 1668 года непризнанный братией архимандрит Иосиф с группой старцев поселился в Сумском остроге на берегу Белого

моря, всего в 110 верстах от островов, чтобы оттуда руководить монастырскими угодьями в России и Поморье. Никанор знал, что Иосиф предпочитал оставаться в Вологде, на самом крупном монастырском подворье, но царь лично «попросил» архимандрита на север.

Сохранить монастырь без взбунтовавшейся беломорской твердыни — это была политически разумная, но невыполнимая мысль. С болью в сердце Никанор видел, как год от года монастырское хозяйство разваливается, хиреет. Соляные промыслы, требовавшие огромных денежных вложений, приходили в упадок. Дать денег Иосиф не мог, их у него не было. Множество полезных для освоения Поморья работ, направлявшихся и финансировавшихся соловецкими приказчиками, не производилось, ибо сами приказчики оказались в осаде. Люди Поморья, зарабатывавшие живые деньги и получавшие пропитание от многочисленных торговых связей, промышленной деятельности, вскоре оказались в нищете, на грани голодной смерти. То, что строилось веками, царские воеводы и служилые люди развалили за несколько лет.

Конечно, Москва могла бы помочь Иосифу деньгами и припасами, чтобы он попытался создать новый хозяйственный центр в Сумском остроге. Но кто-кто, а Никанор прекрасно понимал, что правительство преследует иные цели. Не желая терять больших соляных доходов, царь Алексей Михайлович выделил средства для усолий и корабельщиков — выделил в обрез, поручив соляное дело отставным дворянам и выборным горожанам-целовальникам. Государство накладывало руку на хозяйство монастыря; холмогорский, вологодский и иные воеводы распоряжались его имуществом, все доходы изымались в Москву. Лишенное запасов, а также возможности маневрировать средствами и поддерживать попавших в беду, северное хозяйство гибло на глазах. А царь еще обкладывал впадающих в нищету, разоренных крестьян и промышленников новыми налогами. Население разбегалось, часть

его по указу самодержца вербовалось на государственные работы или вообще вывозилось «на вечное житье» в другие места.

Разоряя отхваченную им бóльшую часть монастырского хозяйства, царь Алексей Михайлович напрасно надеялся, что блокированная меньшая часть понесет по крайней мере такой же урон. Голова и сердце монастырского хозяйства — обитель на Белом море — успешно боролись с блокадой. Почти прекратился приток денег от богомольцев, ибо немногие могли пробраться в монастырь, но значительно увеличились денежные вклады от людей, желавших спасти свои души помощью страдальцам. По прикидкам Никанора, поступление денег в казну сократилось вчетверо — зато и расходы казначей с братией уменьшили более чем впятеро.

Принимая бескорыстные вклады и пожертвования, Соловецкий монастырь старался все же платить людям за доставляемые товары. Через братию Анзерского монастыря соловчане покупали сколько угодно соленой рыбы, приобретали перец, чеснок, яйца в пищу и для иконного дела. Рыбу, мясо и шкуры морского зверя исправно поставлял Мурманский промысел, сообщение с которым царский воевода не мог пресечь. Под руководством келаря Азария монастырь оснастил пушками и вывел в море собственный рыболовецкий флот.

За весну и половину лета 1668 года Соловки сильно пополнили свои запасы зерна — теперь его должно было хватить на несколько лет. Пополнение житниц продолжалось и после прихода на Белое море царских стрельцов: при всем старании они не могли контролировать беломорское судоходство. Умелые соловецкие приказчики в Мезени, под носом у воеводы, закупали сукно, холст, кожи, коровье масло, овчины и другие товары, умудряясь даже платить за них в таможню. Мастерские Соловецкого монастыря не прекращали работы, создавая запасы одежды, орудий и всего необходимого на долгий срок вперед. Мель-

ницы мололи зерно, поварня и квасоварня исправно ублажали братию и трудников едой и питьем.

Выдернув еще одного серебряного карася, Никанор с удовлетворением подумал, что даже без сообщения с берегом (от чего упаси Бог!) обитель могла держаться многие годы. Рыбы в озерах было вдосталь, огороды давали достаточно овощей, на островах водились олени * и зайцы, глухари, тетерева и куропатки, весной и осенью здесь садились целые тучи перелетных птиц **, в лесах и на болотах было видимо-невидимо брусники, черники, голубики и морошки. Пока, однако, не было необходимости трогать непуганого, почти ручного зверя и птицу.

Забросив снова удочку, Никанор вознес к Богу молчаливую молитву за то, что он не оставляет своим промыслом православных людей Поморья, не убоявшихся объявленного царем Алексеем Михайловичем наказания за помощь Соловкам: духовным — заточение в Сибири, мирским — смертную казнь. Спасая свои души, люди делали все возможное для поддержки «сидельцев за Христово имя и спасительный крест». Нищие прятали под лохмотьями и провозили в монастырь сукно. Голодные крестьяне — мужики, бабы и ребята — в вёдро и ненастье плыли к Соловкам из Кеми, Шуи, Понгома, со всего побережья, доставляя рыбу, масло, хлеб и множество других товаров.

«Берег» и духовно поддерживал соловецких сидельцев. То из одного, то из другого места приходили вести, что люди отказываются молиться по-новому, оказывают сопротивление властям. Сельские попы становились вдруг горячими проповедниками, смело идущими на муки за веру; их паства нередко «выбивала вон» царских и митрополичьих сыщиков. Соловецкие челобитные, грамотки и

---

* Олени были разведены на островах монахами в XVI веке.

** Через Онежский залив и Соловки проходит один из главных путей миграции перелетных птиц; они массово гнездятся в Глубокой, Сосновой и других губах большого острова.

Высадка воеводы Волохова

«посылочные письма» о вере ходили по рукам и строжайшие допросы схваченных властями владельцев рукописей не позволяли выявить «сообщников».

Томясь в заточении, умирая на плахе, поморские староверы давали стране новые образцы мучеников. Никанор помнил много таких примеров. Бывшего соловецкого подьячего Ивана Захарьева, письмо которого «к ссыльным людям ростовцам» из заточения было перехвачено, воевода Волохов жег огнем и пытал ледяной водой,

но страдалец твердил: «В думе со мной никто не был». То же говорили зверски пытаемые монахи Пимен и Григорий, написавшие «воровское письмо» о мучениях сумских заключенных «от слуг антихристовых». День казни Захарьева в Сумском остроге, куда воеводе пришлось силой сгонять крестьян, 17 июня 1671 года, был отмечен Никанором как день памяти нового мученика.

Поддержка «берега» убеждала Никанора, что он был прав, призывая братию к вооруженному сопротивлению. Тогда, 22 и 23 июня 1668 года, архимандрит пережил нелегкую внутреннюю борьбу. Ввиду высадившегося на остров стрелецкого отряда воеводы Игнатия Андреевича Волохова братия и трудники святой обители разделились. Их и так уже оставалось меньше шести сотен — нежелающие бороться и неспособные к борьбе давно разъехались. Но все же остались люди, в трудную минуту предложившие сдаться, искать царской милости, покориться властям. Некоторые хотели даже перебежать к воеводе, но были схвачены товарищами и уведены в крепость.

Гораздо труднее было Никанору спорить со старым верным товарищем, соловецким Златоустом казначеем Геронтием, призывавшим братию открыть ворота стрельцам и безропотно пострадать от властей за веру, уподобившись древним мученикам. Непригоже, говорил Геронтий, уклоняться от подвига во имя веры, и нельзя монахам проливать людскую кровь, и нелепо биться с воинами, присланными от помазанника Божия, если он и уклонился к неправде. И проповедь Геронтия могла бы увлечь многих на Соловках, если бы он выступил перед черным собором, не поговорив прежде со своими друзьями Никанором и Азарием. Им он показал написанный для собора приговор, «что против государевых ратных людей не биться и монастыря не запирать!». Оставив Геронтия, Азарий и Никанор спешно собрали совет лучших людей, выдвинувшихся во время подготовки к обороне.

В келью архимандрита сошлись служки Фаддей Пет-

ров и Елизар Алексеев, избранные братией сотниками, Самко Васильев, известный своей отвагой кормщик, Григорий Черный, кузнец Киприан, Федор Брагин, дьячок Еремей, попы Дмитрий и Павел, монахи Симон, Тихон, Глеб, Герман, Иов Щербак, Аникий и другие, всего более двадцати человек. Это были люди не только испытанной верности отцепреданному благочестию, но обладавшие решимостью отстоять вольность беломорской твердыни от тьмы воинов Антихриста. Каждому из них братия доверила на своем участке готовить монастырь к обороне. Ни Геронтий, ни сам Иоанн Златоуст не убедили бы их сложить оружие, сдаться. На этом совете судьба Геронтия была решена. С болью в сердце, хотя и понимая неизбежность этой меры, Никанор согласился, что Геронтия следует лишить казначейской должности и возможности общения с братией. Немедля бывший казначей был взят под стражу и брошен в темницу.

Большой черный собор Соловецкого монастыря отверг предложение царского воеводы Волохова сдаться. Никанор лично скомандовал открыть огонь. Под ядрами и пулями стрельцы отступили от обители на версту, а затем, опасаясь вылазки, ушли на Заяцкий остров. Легко было представить, какое впечатление эта неудача произведет на царя Алексея Михайловича, тем более что по сведениям соловецких сидельцев подчиненные Волохову командиры рвались в бой и осуждали осторожность своего начальника в доносах в Москву. И действительно, 1 сентября царь послал воеводе выговор, приказывая высадиться на Соловецком острове и установить сношения с теми, кто желает покинуть осажденный монастырь.

Сведения об этом приказе Никанор с товарищами получил уже из Сумского острога, в который с наступлением осенних холодов отступил Волохов. От богомольцев, несмотря на запреты приезжавших в монастырь даже из ставки воеводы, соловецкие сидельцы знали о намерениях противника. Собрать сведения помогла и морская экспеди-

ция Фаддея Петрова, который на вооруженной пушками лодье подошел к занятому неприятелем берегу и захватил в плен четырех стрельцов. Затем Петров бесстрашно отправился в Кемь. Стрельцы и жители Кемского острога не только не напали на соловчан, но даже помогли им загрузить карбасы купленной рыбой и тесом для укрепления монастыря. Опасность, как хорошо понимал Никанор, была не столько в блокаде или военных силах Волохова, сколько во внутренних соловецких несогласиях.

В то время как соловчане тайно пересылали письма своим сторонникам на «берегу», царский воевода засыпал «письмами об обращении» саму обитель. К зиме восставшие поняли, что держать на острове тех, кто отказался в свое время взять оружие, становится опасно. Даже среди людей, подписывавших раньше общие челобитные с обещанием «стоять насмерть, но веры отнюдь не переменять», оказались трусы, способные сдать монастырь. Всех колеблющихся выявить не удалось. В заговор, раскрытый донским казаком Григорием Федоровым и беглым холопом Федором Брагиным, входило одиннадцать монахов и девять трудников. 1 декабря 1668 года решением большого черного собора все они были высланы в Сумский острог, где немедленно принесли покаяние и рассказали о том, сколь хорошо укреплен и снабжен монастырь.

Между тем зимой и весной 1669 года Соловки решительно укреплялись. Никанор не участвовал в энергичной деятельности выборных начальников обороны, но поддерживал их распоряжения своим авторитетом. Мирские люди были распределены по сотням и десяткам, осваивали оружие (впрочем, многие отлично им владели), четыре караула по десять человек непрерывно несли сторожевую службу. Монахи и трудники дружно тащили на стены битый камень, чтобы было что бросать на головы штурмующих, готовили колья и вилы с железными наконечника-

ми, чтобы сбрасывать лестницы, устанавливали котлы для варки вара, чтобы обливать осаждающих.

В марте келарь Азарий и Фаддей Петров с товарищами, чтобы положить конец колебаниям среди соловчан, вынули из хранилищ все новые богослужебные книги, сорвали с них переплеты и, изодрав, утопили в море, а переплеты сожгли. Тогда стало понятно, что в обители еще немало людей, надеющихся на сдачу властям. Против уничтожения книг выступила целая группа живших в монастыре ссыльных во главе с гривенским митрополитом Макарием. Его, ссыльного игумена Виктора, келаря Святогорского монастыря Кирилла и старца Герасима восставшие объявили «басурманами», лишили права богослужения и заперли под охраной в келье.

Но брожение среди братии не унималось. В июне восставшим пришлось пойти на крайнюю меру и выслать в Сумский острог всех живших на Соловках ссыльных, четырнадцать человек. В сопровождающие им дали пленных стрельцов. Благополучно добравшись к воеводе Волохову, ссыльные и стрельцы передали челобитную келаря Азария на царское имя, сообщающую, что ссыльные высланы «для того, чтоб они от нас не ушли». Действительно, трое ссыльных уже совершили побег — поп Сисой ушел, а архимандрит Феофан и Андрей Веревкин погибли в бурном море, как и посланные за ними в погоню десять трудников.

Опасность представляли успокоительные вести о том, что воевода Волохов смертельно перессорился с архимандритом Иосифом: их раздоры, доходившие до драк, не позволяли властям заниматься снаряжением военной экспедиции на Соловецкие острова. Население «берега» все больше страдало от царских поборов, начальственных свар и насилия стрельцов. Сам архимандрит Иосиф должен был признать, что монастырские крестьяне «нуждные и голодные, едят сосну, и сено, и мох», а стрельцы «крестьян оголодили и многих били и изувечили». Учас-

тились стычки местного населения со стрельцами, можно было ожидать вскоре восстания по всему Поморью *.

С новыми надеждами на победу келарь Азарий, казначей Симон (назначенный вместо Геронтия), Никанор и их товарищи постановили не молиться за царя и его семью, а молиться лишь за благоверных князей, не нарушавших исконного благочестия. Также они отказались молиться за патриарха и новгородского митрополита, упоминая в молитве лишь «православных архиепископов». Они не замечали, что, ругая царя Алексея Михайловича и изменяя молитву, смертельно пугают многих и отталкивают от себя «ревнителей благочестия». Так, при усиливающейся оппозиции их «богоотступному поведению» они энергично укрепляли монастырь до августа, не чувствуя приближения бури.

Переворот в Соловецком монастыре, случившийся в конце августа, был хорошо организован. Им руководили старцы Епифаний, который стал новым келарем, и Глеб, сделавшийся казначеем. Группы монахов и белян внезапно схватили и бросили в темницы келаря Азария, казначея Симона, сотника Елизара Алексеева, Федора Брагина и более трех десятков их товарищей. Архимандрит Никанор, оставленный на свободе, потому что заговорщики боялись навлечь на себя гнев братии, постоянно находился под наблюдением и ничего не мог предпринять. Он не в силах был предупредить об опасности сотника, своего бывшего слугу и товарища Фаддея Петрова, уехавшего в Анзерскую пустынь. По возвращении ничего не подозревавший Петров был схвачен и брошен в тюрьму. Никанор не смог участвовать в большом черном соборе, утвердившем смену власти.

Тем временем опасность надвигалась. Никанор через верного служку сумел передать заключенным кое-какой

---

* О том, что правительство спохватилось и старается ооблегчить положение поморов, еще не было известно.

инструмент и сообщить, что царские войска вновь подошли к Соловкам. Он боялся, что новые власти изменой сдадут монастырь воеводе Волохову. Эта весть придала заключенным решимости. В обеденное время 8 сентября Федор Брагин, Григорий Черный, Киприан-кузнец и Никита Троетчина сбили железные запоры своей камеры и обезоружили охрану. С топорами и бердышами в руках они взломали тюремные двери и освободили товарищей.

Восставшим удалось захватить оружие прежде, чем монастырские власти опомнились. Но и победившие заговорщики были настороже — они обедали при оружии. Отчаянная попытка восставших ворваться в трапезную и расправиться с властями не удалась. В жестокой схватке два человека были зарублены насмерть, многие ранены. Огромный численный перевес позволил сторонникам новых властей схватить и заковать восставших в кандалы. На следующий день их всех посадили в сойму * и скованными отправили в Сумский острог.

Это был важный подарок новых монастырских властей воеводе. Царю были выданы келарь Азарий, казначей Симон, сотники Фаддей Петров и Елизар Алексеев, поп Дмитрий, старец Тихон, Григорий Черный, Федор Брагин, Никита Троетчина, Киприан-кузнец и другие активнейшие сторонники вооруженной борьбы, тринадцать монахов и двадцать четыре бельца, всего тридцать семь человек. В довершение предательства монастырские власти дали сопровождавшему арестованных старцу Манассии роспись высланных и сообщение о их преступлениях против государя.

Когда сойма была перехвачена патрулировавшим вокруг Соловецких островов стрелецким кораблем, воевода Волохов весьма обнадежился относительно скорой сдачи монастыря. Отправив арестованных в Сумский острог

---

* Сойма — килевое судно грузоподъемностью до 3—5 тысяч пудов, в основном речное и озерное.

«за крепким караулом», он послал стрельца в монастырь для переговоров. 17 сентября келарь Епифаний пригласил воеводу со свитой «всемилостивому Спасу и чудотворцам помолиться и с нами переговорить, чтобы нам меж собою самим переговорить, а не пересылкой». Волохов согласился.

В монастыре он понял, почему новые власти опасались вести переговоры на письме. Многочисленные мирские люди, хоть и были обмануты новыми властями и позволили наказать своих вожаков за «богоотступное поведение», отнюдь не желали сдаваться на царскую милость *. Не без совета Никанора они не слишком доверяли властям, так что келейные переговоры с воеводой не состоялись. Волохову пришлось говорить перед большим черным собором. «Мы по новоисправленным книгам петь и говорить отнюдь не хотим,— заявили соловецкие сидельцы,— и за то мы хотим помереть все единодушно. Хотя нас великий государь вели по колью растыкать — архимандрита Иосифа нам в монастыре не надобно». Несмотря на столь категоричный ответ, поездка Волохова не была вовсе неудачной. Как потом стало известно Никанору, он увез с собой осторожно составленное послание властей царю, намекающее на возможность примирения.

Не случайно Волохов 20 сентября снял осаду и спешно вернулся со стрельцами в Сумский острог, позволив соловчанам беспрепятственно пополнять свои запасы. Теперь они могли подумать о деликатесах и помимо трески и сига закупить 146 пудов свежепросольной щуки. Монастырские закрома были полны и почти год прошел спокойно. Воевода Волохов с отрядом в 225 стрельцов появился на Солов-

---

* «От мирских людей,— писал воевода царю,— большое воровство (т. е. бунт.— *А. Б.*). А трудники все собрались воры, что из тюрем бежали и от смертной казни. И думаю, что из московских бунтовщиков (участников Медного бунта 1662 года.— *А. Б.*) в монастыре есть».

ках в июне 1670 года. На этот раз он действовал решительнее, чем сильно помешал заговорщикам. Когда его парламентеров выгнали из монастыря и вдобавок обстреляли, воевода разорил монастырское хозяйство, находившееся за оградой.

Вид горящих хозяйственных построек возбудил в осажденных особую ненависть к Волохову. Поэтому когда келарю Епифанию, казначею Глебу и их приближенным удалось наедине поговорить со стрелецким полуголовой * Иваном Порошиным, власти заявили, что переговоры о сдаче монастыря могут идти только в обход Волохова и архимандрита Иосифа. Если будет назначен другой воевода и царь Алексей Михайлович пришлет в монастырь специальную грамоту о прощении, говорили власти, они согласны «вины свои принести, церковную службу переменить и монастырь открыть». С этим известием Порошин спешно отправился к двинскому воеводе, а тот отослал его доклад царю **.

В заговоре участвовало около пятидесяти человек, вынужденных действовать в глубокой тайне. Доходившие на Белое море вести о восстании Степана Разина значительно увеличили число сторонников бескомпромиссной вооруженной борьбы. Монахи, трудники, крестьяне Поморья передавали друг другу слухи о победах разинцев, надеялись на скорое освобождение от царя-Антихриста и его властей. Даже в войске Волохова о Разине говорили сочувственно. Отвлекаясь от действий против монастыря, воевода должен был вести сыск о разговорах стрельцов, считавших, что Разину служить лучше, чем царю.

Малейшая неосторожность могла погубить людей, решивших сдать монастырь. Как только слух о перегово-

---

* Полуголова — подполковник стрелецкого войска (до 1682 года).

** В рассказе о миссии Порошина я пользуюсь выводами историка Н. А. Барсукова, использовавшего архивные материалы, данные которых расходятся с опубликованным документом.

рах с Порошиным просочился, заговору пришел конец. Епифаний и Глеб, по-видимому, были убиты (Никанор не успел разобраться в происходящем, настолько быстро и энергично действовали возмущенные предательством соловчане). Их сторонников схватили и заковали в цепи. В октябре, когда Волохов вновь отступил в Сумский острог, неудавшихся изменников выслали из монастыря на все четыре стороны.

Новым келарем был избран старец Маркелл, казначеем стал Мисаил, городничим — Дорофей Черный по прозвищу Морж. Проверенный в деле Самко Васильев стал сотником. Кузьма Варакса, Хрисанф Борода, Никифор Камышин, Кузьма Хромой и другие опытные военные вошли в совет восставших. К осени следующего, 1671 года в Беломорской твердыне появилось немало новых людей. У одних были отрезаны уши, у других отрублены руки, у редкого человека спина не жжена железом и кнутом не бита. После поражения восстания Разина и казни Степана Тимофеевича на Соловки под видом богомольцев потянулись вереницы вольных казаков, служивших у Разина беглых солдат и холопов.

Раньше других добрались до монастыря люди из разгромленных карателями отрядов атаманов Ивана Иванова и Ильи Пономарева, действовавших в Устюжском, Соликамском, Вятском, Яренском, Тотемском уездах и в других северных местах. Они пришли организованно, во главе с новыми командирами — Фаддеем Кожевниковым и Иваном Сарафановым. За ними тянулись участники восстания в Белозерском уезде, а затем уже люди с Волги и Дона. Один из пришедших — бывший беглый холоп, а потом разинский казак Исай Воронин — вскоре завоевал такое доверие братии и трудников, что был единодушно избран вторым сотником.

Никанор помнил и самого Разина, в 1661 году приезжавшего в монастырь на богомолье. Уже тогда Степан Тимофеевич выделялся среди товарищей-казаков, хотя

архимандрит не мог предположить, что его собеседник — будущий вождь крестьянской войны. Сейчас, когда на Соловках собиралось все больше разинских ветеранов, Никанор успокоился насчет повторения переворота и прихода к власти соглашателей. Эти люди пришли сюда, на последний островок свободной Руси, чтобы драться насмерть. Они действительно скорее погибнут, чем вновь подчинятся самодержцу.

С помощью пришельцев обитель была еще лучше укреплена. Во избежание неожиданного нападения лес вокруг стен вырубили на версту. Входы и выходы из крепости прикрыли земляными валами, устроили наступающим ловушки и места, где можно было делать засады. На этот раз приближение стрельцов к монастырю было встречено не только сильной пушечной пальбой. Восставшие сами перешли в наступление и в рукопашной опрокинули отряд из пятидесяти стрельцов. Соловецкие сидельцы действовали столь смело, что Волохов побоялся выполнить царский приказ и подойти близко к монастырю. Вскоре он начал просить царя «от службы его переменить» и отвел войско в Сумский острог.

В то время как в монастыре установилось единомыслие, распри в царском лагере неукротимо продолжались. Волохов и Иосиф непрерывно писали друг на друга доносы, а в марте следующего, 1672 года воевода вцепился в бороду архимандрита прямо во время обедни, заковал своего врага в кандалы и бросил в тюрьму. Кончилось дело тем, что оба, и Иосиф, и Волохов, были смещены и уехали в Москву. Соловецкий монастырь торжествовал победу над врагом.

Придя к этой утешительной мысли, Никанор почувствовал, что давно не следит за поплавком. Он выдернул крючок — так и есть, червь был съеден хитрым карасем. Ноги в холодной воде совсем закоченели. Архимандрит выбрался на берег, выпростал из-за пояса рясу и слил воду из кадушки. Карасиков хватало для ухи. Осторожно

ступая по каменным глыбам, Никанор с удочкой в одной руке и кадушкой в другой двинулся к почти невидному в лесу маленькому скиту, над которым вился легкий дымок теплой печки.

Он поймал себя на мысли, что почти примирился с потерей многих друзей, уже замученных или еще длящих земные страдания в царских темницах *. Придет время, и он вслед за ними с радостью отдаст жизнь за правое дело. А пока должен делать все, чтобы укрепить дух братии стоять насмерть.

16 сентября 1674 года

Год за годом над могучими каменными сводами кельи Никанора грохотали пушки, звонко хлопали крепостные пищали, трещали мушкеты. Временами чугунные ядра с противным скрежетом рикошетили о серые камни укреплений, а монастырские службы вздрагивали от разрывов многопудовых бомб. Год за годом стонали раненые в лазаретах, а противники копали каменистую землю Соловков под могилы убитых. С нарастающим упорством царские войска стремились искоренить гнездо вольности на далекой окраине Руси. Все новые орудия, порох и солдаты доставлялись к берегам Белого моря и перевозились на остров, чтобы с наступлением льдов бесславно возвращаться на материк. 725 стрельцов привел к монастырю новый воевода московский сотник Клементий Иевлев, сменивший незадачливого воеводу Волохова в августе 1672 года. Блокировав Соловецкий остров с моря, он совершил несколько набегов, пожег остававшиеся за стенами крепости службы и перерезал монастырский скот.

* Выданные из монастыря Азарий с товарищами более четырех лет провели в Сумской тюрьме, неоднократно пытаясь бежать. Побеги не удавались. Тогда они в 1674 году, договорившись, «ложной вере покорились» и были разосланы по монастырям, откуда вскоре почти все разбежались.

В июне следующего года Иевлев продолжил свою разорительную деятельность, стремясь плотно осадить монастырь и с суши.

Недолго царь Алексей Михайлович воздерживался от приказа палить по святой обители из пушек, но продолжал слать осажденным грамоты с угрозами быть «от него, великого государя, без милости и пощады». В ответ со стен гремели монастырские орудия и отважные командиры восставших вели свои отряды на вылазки, разрушая укрепления, которыми Иевлев хотел пресечь сообщения монастыря с островом и берегом. Мужество восставших производило немалое впечатление на карательное войско. Уже 27 июня 1673 года сотня двинских стрельцов отказалась идти на вылазку под стены обители. Энергичные меры воеводы, велевшего арестовать двух пятидесятников и еще нескольких «смутьянов», обернулись против него самого. Двинские стрельцы отбили арестованных, сам Иевлев едва избежал расправы. В челобитной на имя царя стрельцы обвиняли воеводу, что тот посылал их на верную смерть, а Иевлев просил государя освободить его от командования.

Никанор знал, сколь тяжелое впечатление в правительстве произвел бесславный конец миссии еще одного воеводы. 5 сентября 1673 года командующим карательной экспедицией был назначен известный своей бестрепетностью Иван Алексеевич Мещеринов. Особое внимание царское правительство уделило подбору командиров отрядов. Ими стали опытные военные майор Иван Березников, ротмистр Иван Порошин и поручик Оксен Сипягин, способные обучить стрельцов современным методам военных действий. Все трое, однако, под разными предлогами не явились к месту службы — мало кого привлекали лавры разорителей одной из величайших российских святынь. По размышлении, дело было поручено иноземцам майору Степану Келину и ротмистру Гавриле Бушу — умелым «городоемцам», знакомым к тому же с укреплениями Соловецкого монастыря. Новую экспедицию по-

полняли людьми, в изобилии снабжали порохом, пушками и гаубицами, ядрами и бомбами, продовольственными запасами, подводами и судами.

Не теряли времени и осажденные. Они собирали грибы и ягоды, ловили в море и по озерам рыбу, запасались дровами. Осенью, несмотря на плотную блокаду монастырских промыслов и острова, команда Логина с товарищами из Кеми закупила в Мезени и доставила в монастырь 155 аршин сукна, 1400 аршин холста, на 18 рублей кож, 416 штук овчин и мерлушек, 16 пудов семги и 144 пуда коровьего масла. Сумские корабельщики провезли сквозь блокаду 45 пудов трески, кемские мореходы доставили 30 пудов масла, 33 аршина полотна и 24 аршина сукна. Труднее всего становилось со свежими продуктами и зеленью.

За зиму осажденные укрепили свои позиции на острове. Не жалея рук, они вырубили весь лес вокруг пристани, чтобы неприятельские корабли находились в зоне прямого обстрела тяжелых крепостных пушек. На низком участке стены между Никольскими воротами и Квасоваренной башней осажденные сломали кирпичные зубцы и нарастили стену деревянными срубами вровень с другими укреплениями. Низкую Квасоваренную башню также надстроили, а на Сушильной палате устроили орудийные батареи. Под Никольской башней снаружи, на пути главных атак неприятеля, опытные воины вырыли окопы и земляные валы с пушками за амбразурами. Во многих местах подходы к укреплениям были усилены волчьими ямами и железными зубьями.

Высадившись 4 июня 1674 года на острове, воевода Мещеринов сразу показал, что война пошла всерьез. В отличие от предшественников, Мещеринову и его командирам были даны строгие царские указы воевать с «мятежниками» неотступно и неоплошно, чтобы военными средствами «тех раскольников мятеж искоренить вскоре». Убедившись в полном разгроме Крестьянской

войны под предводительством Степана Разина, Алексей Михайлович готов был залить кровью последний оплот народного сопротивления своей абсолютной власти.

4 июня ратники Мещеринова атаковали выстроенные некогда Иевлевым и занятые восставшими позиции. В жестоком бою, несмотря на неоднократные вылазки восставших, эти позиции были захвачены карателями. Действуя как против неприятельского города, Мещеринов, Келин и Буш возвели вокруг монастыря 13 земляных городков с облицованными деревом и наполненными камнем батареями. Началась артиллерийская дуэль. Ни днем ни ночью ураганный огонь не прекращался в течение двенадцати дней. Тяжелым крепостным орудиям вторили крупнокалиберные пищали и мушкеты. Соловецкий кремль и его окрестности вспыхивали отблесками выстрелов в ночи и курились пороховым дымом при свете дня.

В разгар канонады архимандрит Никанор не сходил со стен и орудийных площадок. Он прекрасно знал, что у царских воевод под стенами в строю около 900 человек, не считая множества нестроевых, в монастыре же — менее семисот, из которых три сотни монахов не принимали участие в боях, а среди бельцов было множество калек. «Матушки вы мои пушечки,— говорил архимандрит, кадя орудия и кропя их святой водой,— надежа у нас на вас, вы нас обороните!» Так Никанор благословлял изрыгающие огонь и смертоносное железо орудия: пушки «Грановитая», «Корабельная», «Львица», «Хвостуша», «Соловей», «Дробовка», «Урывок Богдана», «Вор», «Барс», «Скорострельная», «Поличная», «Тарбей», «Брилы» и другие, числом до шестидесяти.

Напрасно воевода Мещеринов слал в Москву свои злоковарные планы разрушения монастыря, в котором с бастионов карателей уже видны были кельи и службы, напрасно правительство спешно слало воеводе артиллерийские подкрепления и хитроумных пушечных мастеров со всепопаляющим зельем для сожжения святой обители.

Пушки монастырских сидельцев в упорном бою заставляли замолкать вражеские батареи, разбивая дровяную облицовку бастионов и сбрасывая с них брустверы, уничтожая орудия и пушкарей. Видя бесстрашие архимандрита Никанора, смело ходящего под жестоким огнем, соловецкие сидельцы вдохновлялись на новые подвиги и раз за разом выигрывали артиллерийскую дуэль.

Упорен был Мещеринов, памятуя об обещании жестокой царской казни, если отступит. Он собрал триста человек под командой майора Келина и бросил в атаку на укрепления перед Никольской башней. С большими потерями 25 июня Келин взял укрепления и в кровавом четырехдневном бою с отрядом Петра Запруды выстроил бастион, которого не достигала прямая артиллерийская пальба с башен крепости. Но восставшие не растерялись, начали метать бомбы прямо через стену и, с благословения архимандрита Никанора, превратили в бастионы купола Спасо-Преображенского собора. Мещеринову приходилось удерживать бастион перед Никольской башней двумя сотнями воинов, сменявших друг друга только «в самые темные туманы». В то же время в других местах соловчане постоянно тревожили осаждавших вылазками. Воевода потерял в боях поручика Василия Гутковского, стрелецкого пятидесятника Першку Петкова и более ста стрельцов.

По сведениям правительственных агентов, Соловецкий монастырь располагал значительными запасами хлеба, круп, масла и соленой рыбы, пороха и свинца, пушек и ручного оружия на несколько лет обороны. Но свежих продуктов катастрофически не хватало. Несмотря на опасность, находились отважные люди, под угрозой смертной казни пробиравшиеся в осажденную крепость. Это были анзерские старцы, кемский крестьянин Барабин, жигижинский крестьянин Логинов и многие безвестные герои. Много они доставить не могли. В монастыре началась цинга. От болезни и от ран умерло в то лето 33 человека.

В этот момент архимандриту Никанору вновь пришлось сказать свое авторитетное слово. Уже давно людям, севшим в осаду от царских войск за отцепреданное благочестие и старую веру, следовало определиться со своими убеждениями, отделить главное, за что они хотят пострадать, от второстепенного. Многие ортодоксальные староверы уже отошли от восстания, меньшее число, такие, как Геронтий, за свои убеждения скорее желали принять муки, чем пролить чужую кровь. Были и такие, что повиновение царской власти считали делом священным, особенно когда соловецкая воля перешла в войну с государством. Другие среди монахов оскорблялись нарушением старинного устава жизни в военное время и готовы были избавить монастырь от «смутьянов» даже ценой их выдачи карателям.

16 сентября 1674 года бои шли как обычно. Правда, Никанор знал смутные слухи о подготовке в монастыре нового заговора, но его осуществление, насколько можно было догадаться, откладывалось на время, когда воевода с ратниками покинет остров, а потерявшие бдительность защитники крепости будут втихомолку перевязаны теми, кто решится помириться с царем. Пока гремела канонада, пока команды воеводских землекопов мерно отводили воду из Святого озера (о чем свидетельствовали остановившиеся жернова водяных мельниц), архимандрит был относительно спокоен. Его заставила вскочить и выбежать из кельи внезапная тишина на стенах.

Вскоре на переходах послышался шум толпы. Сотники Исай Воронин и Самко Васильев с вернейшими товарищами без оружия шли со стен и башен крепости в трапезную палату. Вскоре перед келарем и казначеем собрались все, кто мужественно сражался с царскими войсками на укреплениях, ходил на вылазки, брал языков, проливал кровь и принимал кровавые раны за обитель Зосимы и Савватия. Положив на стенах оружие, они заявили, что более служить не хотят.

— Пока мы бьемся,— говорили ратники, произнося неистовые слова на государя Алексея Михайловича и его родню,— священники молятся за царя-Антихриста. Мало того, что был у нас декабря в 28 числе прошлого 1673 года черный собор, чтобы моление за государя отставить — ино многие священники богомолья за иродов не оставляют и имена их в синодики пишут, а нам говорят в царских людей не стрелять! Таковы священники, а паче сказать изменники, нам не надобны, проживем мы в монастыре и без священников!

— Хоть бы священники, которые в монастыре остались, нам в церковной службе отказали,— сказал, выйдя вперед, Никанор,— мы и без священников проживем, и в церкви сами станем служить, а священники, что за царя молятся, нам не нужны!

Все знали, что сам Никанор не причащался у священников лет пять, а исповедовался, как и многие его сторонники, у своих же товарищей и умереть был готов за общее дело без покаяния и без причастия, спасая душу подвигом, а не молитвой.

Подумали собравшиеся, пошумели и решили раз навсегда, что «Соловки — земля наша, не государева! Сдаться и признаться великому государю в своих винах отнюдь не хотим», и говорили о царе столь «неистовые слова», что их даже в донос нельзя было вставить. И положили священников и всех, кто за общее дело не стоит, из крепости изгнать, а самим между собой целовать крест, чтобы стоять и биться против государевых людей за своих выборных сотников и помереть всем за одно!

Засим пошли на стены, и взяли оружие, и ударили на врага с новой силой. Никанор же, ходя всюду по стенам, пушечную и мушкетную стрельбу направлял и благословлял. Особенно архимандрит советовал караульщикам в подзорные трубы высматривать воеводу Мещеринова и по нему немедля из всего оружия бить: «Как поразим пастыря, так и ратные люди разыдутся, аки овцы». Оконча-

тельно порвав с русским правительством, соловецкие сидельцы и их архимандрит могли надеяться только на сочувствие россиян, на переход простых ратников Мещеринова к вольному делу, за которое многие соловчане бились еще под знаменами Разина, в казачьих ватагах и толпах участников городских восстаний, потрясавших страну весь «бунташный век».

* * *

Но сначала монастырь надо было освободить от тех, кто верил в царя и отказывался считать, что «остров наш и в монастыре все наше». Ближайшие часы и дни показали, что сотники и архимандрит были правы, спеша избавиться от колеблющихся. На следующий день, то есть 17 сентября в восьмом часу дня монахи-священники Митрофан с Абросимом уговорили караульного на Никольской башне Юдку Иванова сына Рогуева и бежали через бойницу в воеводский стан. К счастью, в это время стрельцы не были готовы к тайному приступу. Рассказав все, что делается в крепости, и подробно описав ее запасы, изменники «покаялись» в своих светских винах и церковных грехах (за что позже вымолили прощение).

Бежали не простые люди. Митрофан, бывший горожанин Арзамаса, пришел на Соловки по обещанию семнадцать лет назад, а бывший крестьянин Юрьевского уезда Абросим — двадцать лет назад, из которых десять работал трудником. Шуйский крестьянин Рогуев был спасен соловчанами из бурного моря и три года лечился в монастыре. После их побега Никанор и сотники убедились, что ни давняя привязанность к обители, ни чувство благодарности Соловкам не обещают соблюдения клятвы сидеть за правду насмерть.

Предательства в то лето были и прежде. Заслуженный монах Пахомий, выбежав из монастыря, предупредил Мещеринова о готовящейся вылазке и рассказал о

том, что делалось для обороны крепости. Монах Александр, казненный в Москве за участие в Коломенском бунте отсечением руки и ноги, которого монастырь приютил в больнице и принял в состав братии, доносил Мещеринову об угрожающем цингой отсутствии свежих харчей у осажденных. Чтобы царским карателям легче было воевать против святой обители, Александр заявлял, что «в Соловецком монастыре воров бельцов разных чинов людей: московских беглых стрельцов, и донских казаков, и беглых боярских людей *, и крестьян человек с четыреста и больше», а монахов остается мало. «А сели они в монастыре насмерть,— продолжал Александр,— сдать монастыря ни которыми мерами не хотят, потому что все сели схожие воры, а которых де небольшое есть число добрых людей, и те де ворам (говорят.— *А. Б.*) о сдаче монастыря — их никуда воры не выпускают!»

На этот раз долгие колебания Никанора и его сторонников кончились. Вожди восстания более не могли держать в крепости людей, которые «за великого государя Бога молить велят, а стрелять им не велят». В 10 часов дня 17 сентября ворота Соловецкой крепости распахнулись и выпустили двух черных священников, Геронтия и Павла, да трех монахов — Дионисия, Варлаама и Манассию. Старый друг Никанора, соловецкий «Златоуст» Геронтий, долго страдавший в монастырской тюрьме, радостно отправился к воеводе-карателю принять мучения за свою веру. Вместе со своим учеником Манассией он выступил в царском лагере за правую веру и, закованный в кандалы, был брошен в тюрьму. Остальные выходцы покорились никонианским реформам; после допросов они были разосланы по монастырям.

Прошло совсем немного времени — и в ночь на 20 сентября во время вылазки, взявшись вместе со всеми выка-

* Т. е. холопов.

тывать из Поваренных ворот пушку, бросив оружие, ушел к неприятелю простой монастырский трудник Василий Карпов сын Кириловщина, бывший крестьянин Каргопольского уезда, работавший в монастыре по обещанию 12 лет. Он заявил воеводе, что «если в монастыре в церквах божественная служба и за великого государя богомолие будут оставлены, то станут чернецы и миряне, которые к воровству не пристают, из монастыря проситься. Тогда в монастыре будет междоусобица и сеча большая. А ожидают они, старцы и миряне, того времени и подстерегают их, воров: как воевода Иван Алексеевич Мещеринов с Соловецкого острова в Сумской острог отъедет, а воры после его разойдутся по острову, и они-де над ними, ворами, хотят промысл учинить и их порубить...».

Не так страшно было монастырю бегство человека, уже трижды пытавшегося скрыться с Соловков от греха подальше, сколь тяжело было руководителям обороны сознавать «шатость» среди простых монахов и трудников, которые сами когда-то бежали на острова от царской и дворянской неволи. Но и Мещеринов зря ждал замешательства в рядах защитников крепости. С 20 сентября они перешли в столь решительное наступление, что за четыре дня боев и артиллерийской дуэли отбили карательное войско на 12 верст от стен.

Оставаясь на судах в Глубокой губе, Мещеринов еще надеялся на осуществление плана, о котором говорил Василий Кириловщина. 6 октября ночью на остров скрытно сошел отряд в 300 отборных стрельцов под командой майора Степана Келина, ротмистра Гаврила Буша и сотника Матвея Есеневского. Опытные командиры скрытно заняли дороги вокруг монастыря. Ранним утром 10 октября стрельцы напали на группу безоружных соловчан, вышедших на промыслы. 15 человек было взято в плен, но остальные отбились и ушли в монастырь. Метким огнем орудий осажденные заставили стрельцов отступить, а от

пленных воевода узнал о замысле монастырских сотников «осенними темными ночами» решительно ударить по карателям.

Испуганный воевода 17 октября 1674 года приказал разрушить осадные укрепления и сняться с острова. Соловецкие сидельцы выиграли еще одну военную кампанию у могучего, протяженного и многолюдного православного самодержавного государства.

22 января 1676 года

В огромном, пустом и холодном Спасо-Преображенском храме, где давно уже не собирались на молитву толпы монахов, трудников и прихожан, архимандрит Никанор стоял один на коленях перед зажженной свечой и молился за спасение древней русской обители. Много лет возвышалась Беломорская твердыня маяком для всех, сохраняющих любовь к воле на родной земле, много лет разбивались о нее волны царского и патриаршего гнева. Никанор чувствовал, что наступают последние времена. Принимая смерть за веру, соловецкие мученики не на годы, но на столетия осветят своим подвигом путь правды, по которому многие потом пойдут к Божьему граду. Нет, Никанор не чувствовал в себе склонности сдаться силе, старое тело, наполненное молодым духом сопротивления притеснению, не ощущало усталости от принятой некогда тяжелой ноши. Никанор и в молитве продолжал сражаться, лишь сердце его, искушенное за долгую жизнь, сжималось в предчувствии беды и конечного подвига.

Царь московский Алексей Михайлович очень спешил покончить с восставшим монастырем. Недаром за отступление Мещеринова от Соловков пообещал он воеводе «наказание жестокое впредь, как ты будешь на Москве... А буде ты, Иван,— продолжал царь,— с Соловецкого острова без нашего, великого государя указу, впредь сой-

дешь, и за то тебе учинена будет смертная казнь». Сам воевода, как передавали на Соловки многочисленные доброжелатели из Сумского острога, должен был или погибнуть, или уничтожить «бунтовщиков».

Чтобы лишить монастырь поддержки общественного мнения Русской земли, объявлялось, что истинных монахов в обители Зосимы и Савватия, по сути, уже нет, «а стало у них за воровство и за капитонство *, а не за веру стоят. А в монастырь-де в Разиновщину пришли многие капитоны, чернецы и бельцы, из Понизовых городов, да их воров и от церкви и от отцов духовных отлучили. Да у них же-де в монастыре собралось московских беглых стрельцов, и донских казаков, и боярских беглых холопей, и крестьян, и разных государств иноземцов — свийские немцы, и поляки, и турки, и татаровя — те-де у воров, у келаря, и у городничих, и у сотников лутчие верные люди, и во всем им в караулах верят, и всякому-де злу корень собрались тут в монастыре».

Приток пожертвований и припасов в монастырь все время сокращался, не столько, видимо, из-за пропаганды правительства и церковных властей, сколько из-за строгих караулов на таможнях всего севера, побережной стражи и морской блокады, непрерывно укреплявшейся воеводой Мещериновым. Отдельные крестьяне продолжали пробираться на острова на своих утлых судах; кочи с Мурманских промыслов, обманув приказчиков, присланных из Сумского острога, случалось, бросали якоря у северных берегов острова, но кольцо вокруг Беломорской твердыни зловеще сжималось. Забитые, разоренные постоями и принудительными работами, голодающие крестьяне Поморья все крепче стояли душами за отцепреданное благочестие, но не имели сил на вооруженное выступление

* Последователи фанатичного проповедника-старовера Капитона своим изуверством и проповедью самоистребления вызывали отвращение даже у многих лидеров старообрядчества.

против наводнивших край карателей. Волнения продолжались и среди стрельцов, которых правительству приходилось отдельными отрядами менять, во избежание массового дезертирства. Даже это не помогало — становилось известно, что двинской стрелец Иван Сергеевич Муха заводил «смуту» среди поморских крестьян; что другой стрелец — Иван Папов из Холмогор — по бурному морю пробрался мимо Сумского острога и присоединился к восставшим на Соловках... Такие герои укрепляли боевой дух осажденных, но не могли изменить их обреченного положения.

Летнюю кампанию 1675 года разъяренный подстегиваниями из Москвы Мещеринов начал круто. После малоуспешной весенней разведки, которую он провел сам со 185-ю стрельцами, воевода бросил под крепость более тысячи стрельцов и опытных пушкарей, десятки орудий, в том числе три мортиры, стреляющие пудовыми и трехпудовыми бомбами, огромное количество боеприпасов и годовой запас продовольствия на всю экспедицию. Этого оказалось мало — и в сентябре — октябре Мещеринов вытребовал себе новые отряды стрельцов, сотни пудов пороха и ядер, различное вооружение и снаряжение.

Бои на острове сразу же приняли ожесточенный характер. Под командой сотников Воронина, Васильева и Логина, других выборных командиров соловчане упорно бились на развалинах старых укреплений и новых оборонительных рубежах, прикрывавших каменную крепость. Сотнями убитых и раненых Мещеринов оплатил возможность вновь возвести тринадцать бастионов выше стен крепости. План его состоял в том, чтобы разбить и поджечь кровли на палатах и башнях, не имевших каменных сводов. Таким образом воевода стремился сжечь продовольственные запасы монастыря, а главное — спалить деревянные настилы в башнях и уничтожить крепостную артиллерию. Нижнего или «подошвенного» боя Соловец-

кая крепость не имела — устройству амбразур мешала колоссальная толщина стен из дикого камня. Лишив подножья стен артиллерийского прикрытия, воевода мог отважиться на штурм монастыря.

Соловецкие пушкари, выступавшие против мастеровитых артиллеристов из Москвы, использовавших самые современные по тем временам ядра, бомбы, «вымыслы» и «составы», не позволили осуществить этот план. Их орудия гремели днем и ночью, раненые и больные не покидали батарей целыми месяцами — но каратели не смогли ни как следует установить свои орудия, ни выдержать страшный град чугуна и свинца. Раз за разом откатывались со своих бастионов царские пушкари, а белыми туманными ночами на стрелецкие валы и окопы нападали соловецкие разведчики, уводя языков и оставляя после себя трупы стражи. Бои на вылазках постоянно держали огромное войско Мещеринова в напряжении, заставляли удваивать и утраивать караулы, придвигать ближе к стенам, под огонь соловецких пушек и мушкетов значительные силы.

Никанору не нужно было объяснять, что означают скрытые земляные работы, ведущиеся за неприятельскими бастионами против трех монастырских башен. Сотники и осадные сидельцы также видели подкопы. Они могли вполне надеяться на многометровую глубину фундаментов монастырских укреплений, уходящих в дикий камень, но решили и здесь нанести удар неприятелю. Команда донского казака Григория Кривонога скрытно залегла во рву под Белой башней за грудами развороченных бревен и досок, дожидаясь начала работ. Как только землекопы с инженерами и командиром спустились в свою нору, соловчане бросились на стрелецкие окопы и, перебив охрану, завалили недостроенный подкоп.

На вылазках, по донесению воеводы, соловецкие сидельцы сражались «насмерть», не отступая перед много-

кратно превосходящими силами карателей. Между тем наступала зима, а с ней морозы и отсутствие навигации. Монастырь заранее запасся дровами на топливо и починку разбиваемых пушками сооружений — стрельцы же по глубокому снегу должны были за многие версты тащить на себе лес. 23 декабря воевода Мещеринов и совет его командиров решились на отчаянный шаг.

Под прикрытием тумана и снегопада отряд стрельцов под командой ротмистра Степана Потапова с длинными лестницами ринулся на крепостную стену возле Сельдяной башни. Отважный ротмистр первым достиг гребня стены и упал, изрешеченный пулями. После жестокой схватки на стене соловецкие сидельцы переломали лестницы и забросали врага камнями. Тридцать шесть стрельцов во главе с ротмистром остались лежать под крепостной стеной в назидание Мещеринову, Келину и Бушу.

Разъяренный воевода велел привести к себе тех семерых монахов и четырех бельцов, что сбежали этой зимой из монастыря и уверяли: «в городе многие воры чернецы и бельцы от крепкой осады оцынжали и многие лежат больны, а иные и померли. И караулы-де у них по стенам от моря плохи, а на Сельдяной башне караулу у них нет». Но караул оказался, причем сильный, и Мещеринов велел держать беглецов в самом строгом заточении. Напрасно один из них, монах Феоктист, уверял: «Прошел я, нищий твой государев богомолец, из Соловецкого монастыря через городовую стену... высмотря в монастыре всякие городовые крепости и причинные места, где б над ними, ворами... ратным людям промысл учинить».

Воевода не поверил изменнику и велел лишь усилить военные действия. Сосредоточенный орудийный огонь по Белой, Никольской и Квасоваренной башням начал давать свои результаты. Все пушки на Белой башне были разбиты, прислуга перебита. На место погибших защитников должны были встать новые, хотя боеспособных

людей было уже мало. Всего в крепости оставалось около четырехсот человек, из которых большинство не могло носить оружие, будучи монахами, или по болезни и ранению. Пока защитники монастыря старались подтащить на полуразрушенные площадки башни новые пушки, стрельцы ворвались в крепостной ров и отомстили за своих заживо погребенных товарищей, засыпав создававшийся осажденными подкоп под бастион.

Не сумев более ничего монастырю учинить, воевода Мещеринов вынужден был напряженно думать о сохранении своей головы. Крепость стояла нерушимо, царское войско донимала непогода, поморские воеводы прислали продовольствие с обычной недостачей, стрельцы волновались и требовали отступить. Отступить Мещеринов не мог — и в отчаянии схватился за план монаха изменника Феоктиста. В своей ставке за версту от монастыря воевода нетерпеливо ожидал наступления безлунной и ненастной ночи — она случилась с 21 на 22 января.

Подвязав оружие, сняв с меховых шапок круглые блестящие каски, отстегнув болтавшиеся на перевязях-бандалерах патроны, 50 отборных стрельцов под командой майора Келина скрытно двинулись к стенам монастыря. Монах Феоктист вел их к полуразрушенной ядрами Ануфриевой церкви, отделенной лишь рвом от Белой башни, к которой снаружи вдоль стены был пристроен каменный домик-сушило. Разведчики Мещеринова давно исследовали сушило, но не заметили выходящее в него окно в крепостной стене, аккуратно заложенное камнем. Келин вслед за Феоктистом проник в сушило, оставив стрельцов в развалинах церкви.

* * *

В ту ночь Никанор тщетно пытался успокоить сердце молитвой после полуночной тревоги. Дело было в том, что с вечера прилегший в своей келье отдохнуть сотник Логин

Стрельцы берут штурмом монастырь

никак не засыпал из-за странного чувства, словно кто-то шептал ему: «Логине, востань, что спишь? Воинство ратных под стеной — в крепости будут вскоре!» Два раза Логин вставал и, перекрестившись, вновь пытался заснуть, ибо знал, что поставленные им караулы настороже. В третий раз он вскочил в трепете и побежал к страже, которую застал бодрствующей на своих местах. Разбудив

братию, Логин рассказал о своих видениях. Коллективная молитва успокоила души сотника и его товарищей, незанятые в карауле пошли спокойно почивать. Лишь Никанор, смутившись разумом, продолжал час за часом молиться в храме.

* * *

Майор Келин, затаив дыхание, ждал, когда стихнет шум на стенах и башнях Соловецкого монастыря. Через час или два он слышал заглушенные массой камня шаги одиноких часовых и доносящуюся сверху перекличку. Майор не терял времени даром. С помощью Феоктиста он нащупал место, где громады валунов крепостной стены были заменены перегородкой из небольших, плохо скрепленных между собой камней: это было наспех заложенное окно. Перед рассветом с помощью нескольких стрельцов майор ломиком стал выковыривать камни — на руках их оттаскивали в угол. Работали почти безбоязненно: Келин убедился, что Феоктист был прав, когда говорил, что перед рассветом всей стражи остается два-три человека, да и те могут уходить сами будить сменщиков, не дождавшись разводящего.

Когда по извещению Келина войско во главе с Мещериновым тихо приближалось к району Никольской башни, майор, перекрестясь, с несколькими товарищами протиснулся в пробитый лаз. Сбив ломами засовы, они открыли крепостную калитку и впустили весь отряд, немедленно бросившийся занимать пустые стены и башни, на которых в полной готовности лежало оружие защитников. Сам Келин устремился к Святым воротам и, уже не заботясь о тишине, принялся взламывать ломом запоры. К тому времени как защитники крепости, не успев ни одеться, ни вооружиться, выскочили из келий на шум, вся орава головорезов Мещеринова уже перла через Святые ворота в монастырь.

Допрос и казни пленных

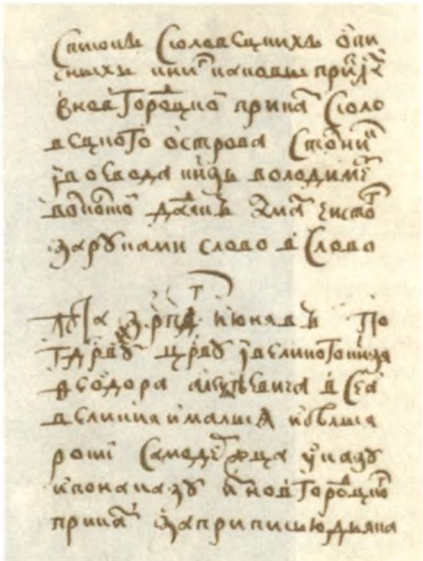
* * *

По выстрелам и диким крикам, доносившимся через высокие окна в храм, Никанор понял все. Он неспешно поднялся и, взяв свечу, по длинной узкой лестнице пошел в один из верхних приделов Спасо-Преображенского собора, квадратной башенкой высившийся над святой обителью. Внизу, перед Святыми воротами, догорал скоротечный бой. Каменные брусья мостовой, забитые по швам

Царь Алексей болеет после известия
о взятии Соловецкого монастыря

снегом, напоминали кровавую решетку. Площадь была завалена трупами защитников крепости; всего несколько ярких стрелецких кафтанов выделялось среди мертвых тел в нательных рубахах и армяках. Прижатые к стене за створкой Святых ворот, еще сражались с кучкой оставшихся в живых сотники Воронин и Запруда — но вот

Описание имущества взятого Соловецкого монастыря



и они пали, искрошенные тяжелыми стрелецкими бердышами.

Никанор видел с высоты, как Самко Васильев со случайно собранным отрядом отступал к кельям, в которых спешили попрятаться монахи. Из некоторых келий по запрудившим монастырь стрельцам раздавались выстрелы. Громко прозвучал приказ воеводы — и в окна келий полетели ручные гранаты. Несколько минут между каменными стенами гремели взрывы — и вот наконец все стихло. Оплот народной вольности на Белом море перестал существовать. Завоеватели бросились на грабеж. Те соловецкие сидельцы, которых сковал ужас расправы и которые успели укрыться в соборном храме, небольшой куч-

кой с крестами и образами вышли навстречу воеводе Мещеринову, торжественно провели его в церковь и пропели благодарственный молебен.

Когда избитого и израненного Никанора приволокли к воеводе, тот был занят опечатыванием монастырских кладовых и расстановкой охраны при веками копившихся драгоценностях. Мещеринов отмахнулся от майора Келина, доложившего, что в ходе боя взято в плен 28 раненых соловчан. Чтобы не возиться с ними, воевода приказал немедленно всех изрубить. Никанора, вместе с тремя десятками последних монахов и мирян обители, до воеводского суда бросили в подвал. Архимандрит молился, чтобы суд был скорым, и Бог внял его последней просьбе.

В тот же день босых и раздетых пленных пригнали по снегу в воеводский стан. Мещеринов допрашивал их не спеша, с умыслом, проверяя показания очными ставками. Он искал ответственных за монастырскую казну, способных помочь ему в грабеже соловецкого богатства и указать тайники, и милостиво даровал жизнь тем, кто способен был заплатить за себя изрядную сумму. Последних набралось одиннадцать человек. Еще трое — казначей Леонтий, келарь Левкий и ризничий Вениамин откупились, выдав соловецкую казну *.

Остальные держались стойко, вдохновляемые примером архимандрита Никанора. Вальяжно развалившись на лавке и выставив к печке сафьянные сапоги из-под соболиной шубы, воевода Мещеринов самодовольно вопро-

---

* Нужно отметить, что отдать деньги и сохранить жизнь не было для монахов зазорным делом. Что касается монастырской казны, то Леонтий, например, сумел утаить более восьми тысяч казенных рублей, сохранив их для монастыря. А ризничий Вениамин недаром некогда назывался соловчанами первым после Никанора кандидатом в архимандриты. В заточении он воспрещал охране молиться за царя-ирода и вскоре был насмерть замучен по приказу воеводы.

шал Никанора и его товарищей, как-то они теперь будут подчиняться повелениям церкви и великого государя?

«Что ты величаешься и высишься,— отвечал спокойно Никанор,— я не боюсь тебя, ибо как духовник и самодержца твоего душу в руке своей имею».

Никанор избежал долгих пыток. Уже к вечеру на спешно сколоченной виселице он был подвешен железным крюком за ребро. Раскачиваемый поморским ветром, Никанор видел рядом с собой Самко Васильева. Другие были повешены за шею и за ноги. Под виселицей валялись части тел изрубленных монахов. Из разоренного монастыря баграми волокли тела тех, кто еще дышал, и вмораживали в лед в неглубоких прорубях западной морской губы. К ночи последние вздохи защитников Соловецкой обители взлетели в высокое и чистое небо Белого моря.

Победители

Не успели разморозиться тела повешенных на виселице и на деревьях, изрубленных под стенами и замученных в темницах, не успела морская волна скрыть в своей глубине торчащие изо льда трупы, не успел новый соловецкий архимандрит Макарий с набранной по разным монастырям братией захоронить останки без христианских обрядов на маленьком островке, как царь Алексей Михайлович занемог. Из уст в уста по всей России передавали, что это кара Божия за святотатственное разорение православного монастыря и беспримерное истребление монахов-страстотерпцев, что самодержец не выживет. И Алексей Михайлович не выжил — умер, покрытый гноем и струпьями, как говорили, в последние мгновения умоляя соловецких мучеников о прощении. Но не было в народных рассказах прощения царю Алексею Михайловичу — побежденному верой истребителю своих подданных. Даже Екате-

рина II заметила, что, искореняя религиозное инакомыслие мечом, «Тишайший» самодержец оказался «тупым, бездушным и бессердечным». Старообрядчество лишь расширилось и укрепилось, и одной из его важнейших баз стало Поморье.

Соловецкие монахи, приказчики и простая братия, рассчитывавшие «пересидеть» своих восставших товарищей под крылом воевод в Сумском остроге, монастырских подворьях и промыслах, а затем занять видные места в «очищенной от бунтовщиков» обители, крепко просчитались. Многие годы они терпели притеснения воевод и стрелецких начальников, царских «целовальников» и приказчиков, были не раз обобраны и избиты. Затем лишь немногие из них смогли вернуться на родное пепелище — большинство было разогнано по разным монастырям, а допущенным на Соловки предоставляли самую тяжелую и грязную работу. Хозяйство монастыря по всему Поморью было так основательно подорвано, что его нельзя было даже восстановить за десятки лет. Монастырь превратился в царскую вотчину, куда был направлен архимандритом Макарий из Тихвинского монастыря, келарем и казначеем Илларион и Феодосий из Сийского монастыря, уставщиком Игнатий из Крестомаровской пустыни и т. д. Даже монастырскую казну новые власти называли «великого государя казной»!

Речь шла об остатках былой богатейшей казны, ибо стрельцы во главе с воеводой Мещериновым вели себя в обители, как в завоеванном неприятельском городе. Мещеринов, например, тащил себе золотые и серебряные деньги пудами, жемчуг мешками, соболей связками и многими шубами, драгоценные оклады икон и церковную утварь, в том числе древнейшую,— многими десятками экземпляров. Воевода беззастенчиво грабил драгоценное платье и церковные облачения из монастырской и частной казны, забирал себе складни и книги, серебряные, медные и оловянные сосуды, не брезговал запасами слю-

ды, пушками, порохом и пищалями, железом и конской сбруей, даже одеждой работных людей. Предметом его особого увлечения были часы с боем, которые он крал из казны и охотно брал в качестве взяток. Бодрые командиры, разумеется, не отставали от своего начальника.

Энергичная грабительская деятельность Мещеринова, перешедшего уже на вымогательство денег с поморского населения (под угрозой казни за мнимую причастность к восстанию), была пресечена прибытием в монастырь архимандрита Макария и князя Владимира Андреевича Волконского с дьяком Алмазом Чистого в июне 1676 года. Имея особые полномочия, Волконский арестовал своего давнего неприятеля Мещеринова (и порядком-таки поиздевался над ним, прежде чем через несколько месяцев отправил на материк). Правительство нового царя Федора Алексеевича пыталось придать некую видимость законности своему отношению к монастырю. На имущество Мещеринова и его командиров был наложен арест. На одном только нагруженном струге смещенного воеводы было найдено более двух тысяч трехсот рублей денег, груды драгоценностей и много пудов красного товара. Характерно, что Волконский не спешил составить опись конфискованного, ибо сам им поживился, а затем, оставаясь в монастыре год на постое и живя душа в душу («пия и бражничая») с архимандритом Макарием, «пограбил монастырскую казну и покрал». Впрочем, и Мещеринов недаром мерз на Белом море — до приезда Волконского он отправил в свои вотчины самые ценные пожитки, в том числе три пуда золотой и серебряной монеты.

Мещеринов вознаградил себя сам еще и потому, что понимал — награды за выполнение кровожадных приказов правительства не дождется. В самом деле — правительство царя Федора заявляет, что «Соловецкий монастырь — прочим монастырям не в образец», царь пи-

шет, что «к нему особое наше призрение и милость», стараясь превратить опоганенную общерусскую святыню в свой, карманный, самодержавно одобренный пункт паломничества и поклонения. Но история соловецкого возмущения не забывается народом — о ней говорят, пишут, она служит моральным оружием борцам за свободу воли. Служит до тех пор, пока цветущий остров на Белом море не становится зародышем общесоюзной системы лагерей смерти.

Глава 7

Раскольники-некрасовцы

Казак. Обоз в диком поле

Середина и вторая половина XVII столетия в истории русской православной церкви отмечены важнейшими событиями — ее расколом на два течения: официальное и оппозиционное староверческое, или собственно раскольничье. Широко известны противоборство патриарха Никона, никониан, с одной стороны, и членов кружка ревнителей древлего благочестия, Аввакума и его сподвижников, с другой; восстания раскольников, их самосожжения (гари) и запощевания (смерть от голодовок). Социальный протест под религиозной оболочкой принял тогда массовый характер. Это — Соловецкое восстание (1668—1676 гг.), участие раскольников в Разинском движении, Московском восстании 1682 года (т. н. Хованщина), народных движениях на Дону послеразинской поры, их бегство в леса и пустыни, основание раскольничьих общин, отказывавшихся принять нормы жизни, законы, налоги, идущие от светских и духовных властей, противостояние им.

Все это перешло в XVIII столетие. В самом его начале южные и юго-восточные районы России, Подонье, Поволжье, часть Левобережной Украины охватила Крестьянская война под предводительством Кондратия Булавина. Ее участники — донские и запорожские казаки, русские

и украинские крестьяне и посадские люди, бурлаки и городовые казаки, народы Поволжья и других мест — выступили против помещиков и воевод, всяких начальных людей и прибыльщиков (чиновников, которые придумывали новые налоги), арендаторов и ростовщиков, всех богатых и «сильных». Они боролись против крепостнического гнета, правительственного аппарата, проводившего в жизнь на местах и в центре политику властей, Петербурга и Москвы. Отсюда — расправы Булавина и его повстанцев над подполковником Юрием Долгоруким и его офицерами, прибывшими на Дон для сыска и возвращения беглых, войсковыми старшинами Лукьяном Максимовым (войсковой атаман), Ефремом Петровым и прочими, державшими сторону «московских бояр».

Крестьянская война продолжалась несколько лет, с 1707 по 1710 год. Сначала, после разгрома карательного отряда Долгорукого, булавинцы потерпели поражение — от своих же донских казаков, но старшинской партии, «прожиточных», т. е. богатых и знатных. Но вскоре восстание разгорелось с новой, еще большей силой — собравшись на среднем Дону и его притоках, на Северском Донце с притоками, булавинцы двинулись вниз по Дону, захватили Черкасск — столицу Войска Донского. Повстанцы казнили старшин и взяли власть в войске. В начале мая 1708 года Булавин был выбран войсковым атаманом.

Движение быстро нарастало — войска и отряды булавинцев помимо Дона действуют в Слободской Украине, Поволжье, десятках уездов южной и центральной России. Петр, власти мобилизуют новые полки (более 30 тысяч солдат), и они ведут наступление на районы восстания. В начале июля булавинцы терпят несколько сильных поражений — под Тором, Азовом. От рук казаков-предателей погибает в Черкасске Булавин.

Но Крестьянская война продолжается. Отдельные ее очаги подавляют каратели, но в других районах еще дей-

ствуют атаманы — сподвижники Булавина — Игнат Некрасов, Семен Драный, Иван Павлов и другие. После поражения Некрасов и несколько тысяч повстанцев с семьями уходят на Кубань, в пределы турецких владений.

Во второй половине 1708 года и два последующих года широкие размеры принимает движение русских крепостных крестьян. С Кубани приходят на Дон повстанцы Некрасова. Но в конце концов восстание затухает под ударами правительственных войск.

Третья Крестьянская война помимо прочего примечательна заметным участием в ней раскольников. Их немало было среди булавинцев, как в свое время и среди разинцев. Об этом не раз писали ученые, публицисты, и среди них — Г. В. Плеханов.

Усиление гонений против раскольников (церковный собор 1681 года, их преследования — сожжение в том же году Аввакума и иных расколоучителей, казнь Никиты Пустосвята и его соратников во время Московского восстания 1682 года — «Хованщины» и т. д.) вызвало их массовое бегство на окраины страны, в разные глухие места. Там они основывали поселения, городки, в том числе по донским притокам — Хопру, Медведице, Чиру и т. д. Сюда бегут не только приверженцы старой веры из Москвы и других центральных городов и уездов, но и крестьяне, горожане Козловского, Тамбовского и прочих соседних с Войском Донским уездов. Сотни и тысячи собирались в пустынях, крепях по лесам и буеракам, островам и урочищам. Укрепляли свои поселения рвами и тынами, вооружались кто чем попало.

Приходили воинские отряды, осаждали и брали раскольничьи городки, истребляли их обитателей. Оставшиеся в живых разбегались по окрестным лесам. Уходили на Куму и Кубань. Собирались в отряды «разбойников», действовали по Дону и Волге. Все это происходило в 80—90-е годы. А в начале следующего века раскольники активно участвовали в Астраханском (1705—1706 гг.),

Башкирском (1705—1711 гг.) восстаниях, наконец в Крестьянской войне 1707—1710 годов.

Убежденными раскольниками были многие повстанцы-булавинцы, среди них — Игнат Некрасов, Никита Голый и другие, вероятно, и сам Кондрат Булавин, и один из его ближайших сподвижников Лукьян Хохлач. В прелестных письмах предводителей движения довольно часто речь идет о том, что его участники выступают «за истинную веру христианскую», «за дом пресвятые богородицы». В письмах Булавина и других повстанцев на Кубань местных раскольников убеждали присоединяться к восстанию. Сами кубанские раскольники, в свое время бежавшие с Медведицы и связанные родством, свойством с Кузьмой Косым, главой раскольничьего движения конца 1670-х годов, и другими донцами, сочувствовали движению Булавина. С Кубани на Дон пришла помощь — более тысячи «донских раскольщиков».

Несомненно, самой заметной, колоритной фигурой среди повстанческих руководителей-булавинцев стал Игнат Некрасов. Он водил повстанческие войска по Дону и Волге, вел осаду Саратова и Царицына. А после гибели Булавина возглавил поход на Черкасск. Цель его самого и других повстанцев состояла в том, чтобы наказать предателей-старшин во главе с Ильей Зерщиковым, который стал новым войсковым атаманом, очистить Дон от царских карателей, защитить древние донские права и вольности («старое поле»).

Сделать это не удалось — карательная сила сломила их сопротивление. Но не решимость.

Некрасов, ушедший на Кубань с несколькими тысячами булавинцев в сентябре 1708 года, продолжал борьбу в течение трех десятилетий, вплоть до своей смерти в конце 1737 года. Появление отрядов казаков-некрасовцев, некрасовских лазутчиков, их призывы будоражили население Дона; многие донцы уходили к Некрасову на Кубань, пополняя ряды тех, кто не желал мириться с наступле-

нием крепостничества, самодержавия на Дон, признавать власть бояр и князей, дворян и чиновников. Помимо казаков на Кубань, в Туретчину ушло немало русских крепостных крестьян.

Исключительность подвига, жизненного опыта Некрасова и некрасовцев в том, что они, уже после своих героических дел во время третьей Крестьянской войны, попробовали воплотить в жизнь свои идеалы свободной жизни, без воевод и помещиков, идеалы братства и взаимопомощи, да еще на чужбине, вдали от покинутых родных очагов.

Некрасовцы принесли в созданную ими на чужбину порядки донского казачьего самоуправления, родного Войска Донского, только без вмешательства царя и Посольского приказа, карательных оргий Долгорукого и козней старшин. Недаром, как магнитом, некрасовская община притягивала к себе обездоленных и недовольных, внушала надежды угнетенным людям России, издавна мечтавшим о свободной, без барина жизни на своей вольной земле. Они бежали в ее поисках то в белорусскую Ветку, то в заволжские скиты по Керженцу, Ветлуге, Иргизу, то придумывали легенды о таинственной и счастливой Беловодии. Народные социально-утопические легенды сопровождают жизнь социальных низов в течение всей феодальной эпохи истории России. Одной из них стала легенда о «городе Игната» — «царстве некрасовцев»:

«Живут такие люди на берегу большого озера. Город у них большой, пять церквей в нем, обнесен он высокой стеной; четверо ворот — на запад, восток, север, юг. Ворота все закрыты. Только восточные открыты бывают днем. На воротах стоят вооруженные часовые, а ночью и по стенам часовые ходят. В город свой те люди никого не пускают. Живут богато. У каждого каменный дом с садом, на улицах и в садах цветы цветут. Такая красота кругом. Занимаются те люди шелками. Обиды ни людям чужим, ни друг другу не делают.

Женщины у них раскрасавицы, разнаряжены: носят зеньчуг *, рубены, золотые монисты, лестовки ** янтарные. Носят они сарахваны из серебряной и золотой парчи, а рубашки из лучшего шелка. Живут там женщины, как царицы. Мужики их любят, пальцем не трогают. Не дай господь, какой мужчина обидит свою жену — его за то смертью наказывают. Женщины и на круг ходят и грамоте обучаются с дьяками вместе.

В город свой те люди мужчин не принимают и не пускают, а женщин принимают. Кто ни пройдет, того накормят, напоят, оденут и проводят ласковым словом: «Спаси тя Христос».

«Город Игната» с его равенством и братством, кругами и уважением к женщине, с одной стороны, отразил в сильно идеализированной форме порядки, царившие в столице Войска Донского Черкасске, даже черты его внешнего облика (крепостные стены, ворота); с другой — строгие нравственные нормы, царившие в некрасовской общине на Кубани, в Добрудже (на Дунае) и азиатской Турции. Именно эти порядки некрасовцев и отвечали заветным чаяниям простого народа.

Петр и его помощники, преемники не раз пытались вернуть некрасовцев в Россию. Царь официально обращался к султану с просьбой выдать Некрасова, Лоскута, Павлова, Беспалого и других.

Из года в год агенты Некрасова появляются в России, и в 1720 году Петр издает против них специальный указ — их самих и тех, кто их укрывает, казнить без пощады. Беглецов с Дона задерживали специальные заградительные отряды. Но это мало помогало. В конце 20-х годов по призывам некрасовских эмиссаров, а их на Дону и в южных уездах России появилось до двухсот человек, казаки и крестьяне уходили на Кубань целыми станицами и селами.

* Зеньчуг — жемчуг.
** Лестовки — четки.

С кончиной Некрасова походы в Россию прекращаются, а созданная им на Кубани община слабеет. Императрица Анна Ивановна несколько раз предлагала им вернуться на родину. Обещала дать землю, забыть их «измену». Некрасовцы отказались. Донской атаман Фролов по ее указу два года подряд разорял их селения. Екатерина II возобновила попытки вернуть некрасовцев в Россию. Но они не поддавались на уговоры. Несколькими партиями в начале 40-х и в 60-е годы они переселились в Добруджу, на устье Дуная и на остров Разельм. Жили в селениях Некрасовка, Слава Черкасская, Журиловка, Большие Дунавцы, Сары-Кей и других. Рыболовство и охота помогали им прожить.

1775 год, когда пришел конец Запорожской Сечи, осложнил и жизнь некрасовцев. В дельте Дуная появились запорожские казаки, основали здесь Задунайскую Сечь. Началась борьба за рыболовные угодья, землю, взаимные нападения. Некрасовцы в конце концов полностью разгромили Задунайскую Сечь, и она прекратила свое существование. Но и сами победители ушли отсюда — из-за столкновений с запорожцами и еще больше по причине появления царских войск в Измаиле, Крыму. В конце столетия большинство их переселяется в Энос, на берегу Эгейского моря, в западной части Турции, и на озеро Майнос, в восточной ее части, у Мраморного моря.

Некоторое время спустя некрасовцы-эносцы воссоединились с майносцами. Те же, кто остались на Дунае, постепенно ассимилировались с новыми выходцами, беглыми из России и утратили многие из обычаев, принесенных с Дона. Майносцы же, в условиях проживания изолированной, замкнутой общиной, окруженные чуждой, турецкой средой, наоборот, держались стойко — сохранили черты общественного казачьего самоуправления, язык, предания, песни своих предков, сказания об Игнате, его «заветах», «Игнатове слове».

На Майносе некрасовцы жили в пяти станицах. Турки

называли их поселение Бив-Эвле, т. е. «селение из тысячи домов», или, что очень характерно, «Игнат-казаки». Поселенцев косили чума и тропическая лихорадка, поскольку обитали они чуть ли не на болотах; преследовали турецкие власти. Но они держались крепко, стояли друг за друга. У них появлялись выходцы с Эноса и Дуная. Этническая, культурная, религиозная стойкость, приверженность языку и обычаям предков помогли им не только выжить, но и сохранить национальную самобытность. Иностранцев-путешественников, посещавших русское поселение на Майносе, поражали трудолюбие, моральная чистота, общественный порядок, грамотность некрасовцев. Сами они считали, что все это потому, что они свято соблюдали «заветы Игната».

Игнат Федорович Некрасов, накануне Булавинского восстания атаман Есауловского городка, убежденный раскольник, как и многие другие повстанцы, отличался крепким характером, стойкостью убеждений. Свои взгляды, устремления, воспитанные в условиях демократической донской общины, он и перенес на Кубань, в основанную им здесь общину. Провозглашенные им принципы, проводимые строго и неукоснительно, стали своего рода конституцией некрасовской общины, а она существовала два с половиной столетия *.

Более 170 «заветов Игната» некрасовцы — мужчины и женщины — передавали из поколения в поколение, донесли до нашего времени, когда они снова живут на Родине. Созданы они самим Некрасовым, его соратниками, после-

---

* Потомки некрасовцев вернулись на родину несколькими группами в течение первой половины нынешнего столетия. Представители Майносской ветви поселились в Ново-Некрасовском хуторе Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского края, в пяти селах Грузии; представители Дунайской ветви — в хуторах Потемкинском, Новопокровском того же р-на, селе Воронцовка Ейского р-на и хуторе Некрасовка Кизлярского р-на. В городе Поти проживают представители обеих ветвей.

дователями-потомками. Собственно говоря, «заветы» — продукт коллективного творчества, но имя инициатора, первого и главного «законодателя» члены общины закрепили в своей «конституции» навечно. С самого своего основания ее члены во главе с Некрасовым решили: «Царизме не покоряться, при царизме в Расею не возвращаться».

Правда, первые партии некрасовцев вернулись из Турции в 1912—1913 гг. Но тогда, в пору революций и Государственной думы позиции царизма ослабли, и некрасовцы, тяга которых на Родину, наоборот, усилилась, предприняли первые шаги.

Как и на Дону, высшим органом власти являлся у некрасовцев круг — общая сходка. Атаман, избиравшийся кругом на один год, осуществлял исполнительную власть. Их распоряжениям обязаны подчиняться все: «Ни один член общины не может отлучиться без разрешения круга или атамана». «Никто не имеет права общаться с турками». «Одну треть заработка казак сдает в войсковую казну».

Третья часть средств, полученных общинниками от рыболовства, скотоводства, охоты, шла на школу, где обучали мальчиков (с начала нынешнего столетия — и девочек), на содержание престарелых и больных, на церковь и вооружение.

Некоторые установления отличались большой строгостью: «За измену войску расстреливать без суда». «За брак с иноверцами смерть». «За изнасилование женщины бить плетьми до смерти». «За измену мужу жену закопать в землю по шею или — куль да в воду». «За убийство члена общины виновного закопать в землю».

К женщине некрасовцы относились достойно: «Муж должен относиться к жене с уважением». «Муж, обижающий жену, наказывается кругом».

Все наказания устанавливает круг. Он же может «поучить» или отстранить от должности атамана — за нераденье, корыстолюбие. В работе круга, принятии им реше-

ний участвуют все казаки с 18-летнего возраста. С тридцати лет они могут занимать воинские командные должности, с пятидесяти быть избранными в походные и войсковые атаманы, старшины. Виновного круг может лишить казачьих прав, и он тем самым становится вне закона — его всякий может убить.

Круг принимает в общину пришельцев — христиан. Только он может открыто помогать бедным, больным; члены же общины должны делать это тайно (согласно одному из заветов первоначального христианства: «Творите милостыню тайно») — чтобы избежать греха гордыни, не смущать принимающего милостыню («завет от Игната был: дает правая рука, не видит левая»).

Каждый член общины занимается тем делом, ремеслом, на которое способен. Все должны почитать старших. За неподчинение старшим — наказание плетьми. За непослушание и оскорбление родителей — бить батогами или лишить жизни (в зависимости от тяжести поступка).

Столь же суровы религиозные предписания некрасовцев-раскольников: «Держаться старой веры». «Попов никонианского и греческого рукоположения на службу не принимать». «Попа, не исполняющего волю круга, можно выгнать и даже убить как бунтовщика, еретика». «За богохульство расстреливать».

Эти и прочие законоположения некрасовцы записали в «Игнатову книгу». Ее хранили в священном ларце в церкви на Майносе. Имелось у них и знамя Игната. Когда оно совсем обветшало, по его образцу в начале нашего века круг решил изготовить точную копию *.

«Заветы Игната» не были пустой бумажкой. Они реально бытовали у некрасовцев. В. П. Иванов-Желудков

---

* После Великой Отечественной войны старики из хутора Ново-Некрасовского передали ее Ф. В. Тумилевичу, известному собирателю некрасовского фольклора. Позднее он передал знамя в Ростовский-на-Дону музей.

(Кельсиев), побывавший на Майносе два года спустя после отмены крепостного права в России, посещал их круги, наблюдал повседневную жизнь, обряды. Убедился в реальной власти круга и атамана: «Атаман решает, виноват или не виноват обвиняемый, а наказать или не наказать — приговаривает круг. Если круг прощает, то виноватый кланяется атаману, потом старикам, потом на все стороны; и тем дело кончается. Если круг приговаривает поучить, то учат...»

Подобного наказания, если на то появятся веские основания, не может избежать и атаман: «А что атамана можно высечь и секут, это не подлежит сомнению и вовсе не выходит из ряда обыденных событий майносской жизни. Точно так же (как и других, рядовых казаков.— *В. Б.*) кладут ничком и точно так же заставляют поклониться в землю и поблагодарить словами: «Спаси Христос, что поучили!» Затем ему вручается булава, символ его власти, которую на время наказания отбирает какой-нибудь старик. Вручив булаву, все валятся атаману в ноги, вопя: «Прости, Христа ради, господин атаман!» — «Бог простит! Бог простит!» — отвечает, почесываясь, народный избранник, и все входит в прежний порядок».

Преследования турецких властей, с 1860-х годов заставлявших их служить в аскерах (солдатах) не только в военное, но и в мирное время, потеря земель, новое переселение (с Майноса на остров Маду на Бейшеирском озере), эпидемии, рост налогов, вмешательство турок во внутренние дела общины, ее расслоение — экономическое, социальное, религиозное — привели к вымиранию некрасовцев, нарушению «заветов Игната» (к примеру, запрета одному казаку работать на другого). Некрасовцы-земледельцы становились богаче в сравнении с рыбаками. Первые посвящали своих попов в Белой Кринице, т. е. приняли австрийское священство; вторые — посвящали их в Москве.

Несмотря на это, некрасовцы сохранили связь с прош-

лым, свои обычаи, отеческие предания, культуру предков. Ни жизненные невзгоды, ни проживание в Туретчине не заставили их, например, поступиться своим старинным языком. «Чище нашего языка нет,— уверена П. С. Герасюшкина, одна из женщин-некрасовок.— Сколько мы ездили по чужим странам, сколько языков поменяли: и румынский, и болгарский, и греческий, и турский, и грузинский — один только наш русский язык устоял».

Казачка говорила эти слова лет тридцать тому назад. А почти столетие до нее некрасовец с Майноса выразил то же убеждение в разговоре с Ивановым-Желудковым:

— И ты тоже,— сказал он ему,— хорошо по-русски говоришь, Василий.

— Ну, мне то оно и не чудно: я родился и вырос в России.

— А самый чистый русский язык,— возразил майносец,— энто у нас. Пройди по всему энто белому свету, чище нашей речи нигде не найдешь.

Действительно, некрасовцы-майносцы, как отмечают специалисты, в неприкосновенности сохранили язык донских казаков Булавинско-Некрасовской эпохи.

В преданиях, старинах-бывальщинах некрасовцы сберегли память о народном восстании, которое возглавили Булавин, Некрасов и другие предводители. Некрасов — главный герой их фольклора, авторитетный вождь и законодатель, положивший начало их общины, самоуправления. Ведь он увел часть казаков с их семьями, спас от карателей, от гибели. В народном сознании Игнат наделен даром волшебника, сверхъестественной силой. Неудивительно, что именно ему, а не Булавину, как было в действительности, предание приписывает расправу с Долгоруким. Этот и другие вымыслы понятны — таково обаяние его имени в народно-поэтическом сознании. С ним связываются и борьба с царем Ерохой — Петром, и надежды на освобождение от гнета бояр и воевод, и ненависть ко всем поработителям, обидчикам.

Недаром простой народ создал мечту о земле обетованной — «городе Игната Некрасы и о царстве некрасовцев». «Вот наши старики,— повествует Т. Н. Капустина,— стали ходить по разным странам и искать тот Игнатов город. Все время искали. Думали: как найдут тот Игнатов город, так и уйдут к своим, в Расею. Во многих странах побывали казаки, да только так и не нашли того города. А есть он! Как ему не быть, когда его люди видали?! Не станут же люди неправду гутарить!»

Рассказчица уверена, что другие люди, в отличие от майносцев, видели город Игната: «Может, Игнат на нас, майносских, сердце поимел, что его завет нарушили? Вот он и прятал тот город от наших казаков. Игнат-то наш силу такую имел. Он и войско свое невидимым делал. Старики так и гутарили: Игнат дороги прятал к своему городу. Туман напускал на город».

Светлую память сохранил народ о Некрасове и том святом деле, которому он, как и Булавин, посвятил свою жизнь. В одной из песен Игнат говорит, перед уходом на Кубань, «речи грозные»:

Не слыхать вам, казакам, звону колокольного,
Да не видать вам, донским казакам, Дону Тихого,
Забывать вам, донским казакам, веру христьянскую,
Ой-да, привыкать-то, донским казакам, к бою-подвигу,
Ой, к бою-подвигу супротив царя да супротив бояр.
Ой-да, мы царю не сдадим вольной вольницы,
Ой-да, за Булавина отдадим своя бойны головы.

Жизнь и борьба Игната Некрасова, его сподвижников и их потомков весьма поучительны. Они говорят о многом: вольнодумцы и бунтари, выступая против любого гнета, церковного и мирского, терпя поражения, не отступают. Снова и снова встают на защиту своих попранных прав. Мечтают о лучшей доле. Делают все возможное, а подчас, казалось бы, и невозможное, чтобы свои мечты о правде, справедливости осуществить в жизни. Одни ухо-

дят в поисках счастливой доли на окраины, в таежные глухомани; другие — за рубежи Отечества; к примеру, в Белорусскую Ветку (тогда — в пределах Польши) или, как некрасовцы, в Туретчину.

Жизнь некрасовцев на Кубани и в Добрудже, на Эносе и Майносе показала, насколько твердой и неколебимой может быть воля людей, противостоящих гнету и насилиям церковных и светских властей, отстаивающих свои убеждения, честь и достоинство. Она стала примером, достойным подражания для всех, кому дороги чувства правды, справедливости и добра.

Глава 8

Сцены петровского времени

Дмитрий Евдокимович Тверитинов, его друзья и враги

«Арифметика» Л. Магницкого. Копия следственного дела Тверитинова

Начало пути

Шел к концу «бунташный век». Россия, оправившись вполне от Великого разорения Ивана Грозного и Смуты начала XVII столетия, расширив свои границы и утвердившись в мире как великая держава, бурлила в поисках выхода своим новым силам. Реформы, начатые канцлером Василием Васильевичем Голицыным при царе Федоре Алексеевиче и продолженные при царевне Софье, способствовали росту богатства и могущества Российского государства. Налоги были упорядочены и облегчены, усовершенствованные законы открывали широкие возможности хозяйственной деятельности, активизировали торговлю и промышленность. Огромные караваны судов везли продукты и изделия по просторам страны и мира. Заводы и мануфактуры все гуще покрывали государственную карту. Техническая мысль, архитектура, живопись, поэзия, политическая публицистика, музыка и прочие «художества» (как тогда говорили) переживали расцвет. Свет науки успешно прогонял «мрак невежества». Регулярные полки солдат и стрельцов, рейтар и драгун, гусар и пушкарей, составлявшие уже более $^4/_5$ русской армии, при поддержке новопостроенного военного флота покрыли себя славой в двух войнах с Османской империей и Крымским ханством. Посольский приказ, над новым зданием которого был установлен глобус, оказывал все более сильное влияние на развитие событий в Европе и Азии.

Переполненное жизненными силами общество кипит. Все больше людей «приходят в сознание» своего угнетенного положения, а осознав — возвышают голоса и поднимают оружие в защиту своих прав и своего взгляда на судьбы Российского государства. Светские и духовные власти чувствуют себя, как на вулкане. Все чаще правительство, не в силах справиться с народными восстаниями вооруженной силой, вынуждено идти на компромиссы. Не только казаки, но даже наиболее боеспособные армейские части — стрельцы и солдаты московского гарнизона — вливаются в народные движения. Несмотря на борьбу церковных властей с последователями старой веры, раскол растет и приобретает сторонников. Среди самого духовенства споры о вере принимают такую остроту, что выплескиваются на улицы и захватывают массы прихожан: «мужей, жен и детищь». Вместе с тем канцлер Голицын твердо ведет политику веротерпимости по отношению к иноземцам, призывает в страну специалистов из Европы, не считаясь с их религиозными взглядами.

Трещат социальные перегородки общества, представляющегося современникам как четко сформированный организм. Уже при Алексее Михайловиче, а особенно при Федоре и Софье люди из «низов» все чаще оказываются на самом «верху». Несмотря на попытки дворянства в целом и в особенности аристократии оградить себя от притока «новых людей», идея дарования человеку чести и власти по личным достоинствам пробивает себе дорогу. В ожесточенной придворной борьбе даже во главе правительств то и дело становятся «худородные» дворянчики — А. Л. Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев, Нарышкины и другие.

Феодальное государство, если оно хочет сохранить режим внеэкономического принуждения, спасти себя самое, вынуждено напрячь все силы: сплотить ряды господствующих сословий, взять Россию за горло железной рукой новой армии, ориентированной на внутренний тер-

рор, опоясать ее сетью воинских команд, прокуроров и фискалов. Оно должно полностью сменить вольнонаемный труд в промышленности крепостническим, завершить закрепощение крестьян и горожан, лишить подавляющую часть населения всех гражданских прав. Оно должно истощить и обессилить страну рекрутскими наборами, непомерными налогами, выморить население голодом и эпидемиями. Государству необходимо, наконец, полностью взять в свои руки церковь, чтобы духовное оружие максимально эффективными способами направить на покорение подданных. Жестокая внутренняя борьба, обошедшаяся России дороже самой тяжелой войны и в конце концов поставившая ее на колени перед военно-полицейской диктатурой, еще только входила в решительную стадию, и ее вольные или невольные участники не знали своих судеб.

В те годы, когда страна жила в атмосфере духовного подъема, стрелецкий сын Дмитрий Евдокимович Дерюжкин с одним родным и тремя двоюродными братьями решили податься из Твери в столицу, искать применения своим силам и способностям. Все они были молоды, не получили еще серьезных специальностей и были бедны до нищенства, ибо, если что-то и имели, вынуждены были отдать тем, кто по договоренности занял их место тверских «чернослободцев»-тяглецов и платил государственные налоги. Вступив в столицу, братья разбрелись в разные стороны в поисках работы. Дмитрий с двоюродным братом Фомой Ивановым направился в Немецкую слободу.

Известно, что по крайней мере в 1692 году Дмитрий Евдокимович начал обучаться «лекарскому делу». Он начинал с азов цирюльничества (брадобрития, кровопускания и т. п.), учился при частных аптеках фармацевтике, осваивал латинский язык. Усердие и немалые способности быстро вели к успеху. Фома Иванов остановился на ремесле цирюльника (вполне, впрочем, уважаемом), а Дмитрий уже в 1695—1696 годах участвовал «с иноземными врачами» в Азовских походах. Он освоил анатомию и

хирургию, так что к началу нового века открыл в Москве собственную медицинскую практику.

Профессиональная деятельность молодого врача была безупречной. Никогда, даже в период гонений, самый лютый враг не смог бросить Тверитинову (как стал именовать себя Дмитрий Евдокимович в столице) ни малейшего упрека. Даже собратья-врачи и учителя-иноземцы не находили повода оспорить компетентность Тверитинова, хотя он быстро создал обширнейшую практику, потеснив дипломированных докторов Аптекарского приказа. Пациентами Дмитрия Евдокимовича стали знатнейшие, влиятельнейшие, богатейшие люди столицы, к нему обращались видные представители духовенства, ученые, литераторы, множество «черных» жителей столицы. В 1700 году Тверитинов женился на Ксении Алексеевне, дочери члена Гостиной сотни (второй по значению торговой корпорации в России) серебряника Олисова.

Семейные заботы и большая загруженность работой не мешали Дмитрию Евдокимовичу много читать. В то время книги были весьма дороги и книголюбы удовлетворяли свою страсть в основном за счет временного обмена и одалживания их друг у друга. По библиотеке самого Тверитинова можно судить, что кроме медицины он интересовался богословской и церковно-назидательной литературой, историей и географией. Более же всего пользующийся огромным успехом врач склонялся к изучению библейских книг — Ветхого и Нового завета. Он не просто многократно читал их, но тщательно штудировал, делал многочисленные выписки, сопоставления, заучивал отрывки наизусть.

Критический разум

Мысль Тверитинова-врача не могла смириться со слепой верой, не подтвержденной ясным рассуждением. Сам того не подозревая, Дмитрий Евдокимович продолжил

дело живого религиозного искания, начатого в России стригольниками, жидовствующими, развитого Башкиным, Артемием и Косым. Его протест против окостенелых религиозных воззрений поддерживался своеобразной ситуацией в стране, когда сам царь Петр и его окружение осатанело крушили старые порядки, традиции, нормы поведения. Тверитинов был свидетелем шутовских процессий на свиньях и собаках, осмеивавших церковных иерархов. Он вполне представлял себе обстановку «всепьянейшего и всешутейшего собора» во главе с «князь-папой», где Петр и его сторонники издевались над властями православной церкви. Наконец, русский врач близко и постоянно общался с иностранными специалистами, прежде всего протестантами, массами спасавшимися в России от жестокой католической реакции и вполне свободно излагавшими здесь свои взгляды.

На пути Тверитинова к духовному, евангельскому христианству общение с коллегами лютеранского вероисповедания было лишь толчком, разбудившим его стремление к самостоятельному исследованию Библии. Вскоре он разошелся с ними по множеству вопросов, включая основное положение протестантизма — об оправдании перед Богом одной верой. Как истинный мыслитель-гуманист, Дмитрий Евдокимович не мог представить себе спасение души недобродетельной, оправдание человека, не творившего блага.

Не случайно один из собеседников Тверитинова, шведский лютеранин, заявил, что доктор «нашему люторскому мудрованию противен есть». Собирая «тетради» библейских текстов, Дмитрий Евдокимович писал «от себя», а «не от иноземцев». Это был первейший принцип его учения — познать все своим умом, до всего дойти самому, обо всем «истязать собственного особого повеления». Тверитинов выписал из Евангелия от Матфея (5:16): «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела...» И подкрепил это цитатой из Первого пос-

лания апостола Павла к Тимофею: «...будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (4:12).

Можно ли оправдаться перед Богом одной верой, не делая добра, не являясь примером для людей? Нет — отвечал Тверитинов, ибо и вера менее важна, чем добродетель: можно спастись во всех верах, ибо апостол сказал: «...во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Человек по характеру добрый, мягкий и незлобивый, Дмитрий Евдокимович не пытался никого заставить веровать по-своему. Как врач он творил немало добрых дел, равно леча бедных и богатых, знатных и убогих; как мыслитель искал религиозную истину в Священном писании, оценивая его с позиций собственного разума; как благожелатель делился с ближними своими мыслями, которые самого его внутренне вели к душевному спасению, ибо сокрыть истину, оставить ее для собственного пользования — страшный грех!

Тверитинов не изобретал какого-то собственного учения, он лишь отбрасывал то, что считал лишним, нелепым суеверием, заслонявшим духовную сущность вероучения. Например, он искренне не мог понять, почему должен считать божественным откровением и безоговорочно верить не только тому, что написано в Библии (Писании), но и Преданию — решениям церковных соборов, сочинениям «отцов церкви». Дмитрию Евдокимовичу нетрудно было заметить, что «все предания, кроме Писания, басни суть человеческие». В самом деле: «Все ваши соборы один с другим несогласны, один собор порицал другого, говоря — не добре разумели того собора отцы; на таких несогласиях кто может утверждаться?» Это и неудивительно, ведь «вселенские соборы сделаны их соборным изволением, а не по учению пророков и апостолов».

Самое же главное, что те, кто некритически принимает Предание, ничего не могут противопоставить «людям разумным, которые свою веру и заповеди содержат от самого

Христа Спасителя, из Евангелия и из Апостола». Тверитинов не знал, что еще жидовствующие, а после них Матвей Башкин и Артемий Троицкий считали Предание «баснословием», хотя и подкреплял свои рассуждения цитатой из весьма почитавшегося ими за мудрость Василия Великого: «Господь одно завещал — сохрани глагол, который я завещаю тебе днесь, не приложи к нему и не отними от него». Более того, мыслитель конца XVII — первых десятилетий XVIII века приводил в защиту своего мнения ту же цитату из апостольского Послания к галатам (1:8—9), что и Феодосий Косой: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что́ мы благовествовали вам, да будет анафема... Кто благовествует вам не то, что́ вы приняли, да будет анафема». То есть любое прибавление к Писанию проклято. Это не значит, что человек должен отвергать любые богословские сочинения — то, «что согласно рассуждению, и Церкви Божией не противно есть, и Евангелию», то полезно душе.

Размышляя над строками Писания, Дмитрий Евдокимович приходил к горьким выводам о существующей в России церковной иерархии. Он достаточно много лечил высоких духовных лиц и часто сталкивался с ними в разных домах, чтобы составить себе представление о церковных деятелях того времени, когда православная церковь стремительно катилась к упадку, все более подминалась военно-полицейским государством. Еще Матвей Башкин скорбел об отсутствии церковного учительства и таких пастырей, которые могли бы «пример показать, да и нас учить». Тверитинов должен был писать «о пастырях лживых, как прельщают и погубляют человеков и лестьми своими питают их», пастырях, «иже расточают и растерзают стада паствы», оскверняют «святая».

«Людие мои! — писал мыслитель, по мотивам пророка Исаии (3:12 и др.),— приставницы ваши пожирают вас... Людие мои! Блажащие вас льстят вы и стези ног ваших возмущают». «...От пророка до священника — все дейст-

вуют лживо...» (Иер. 6:13). Народ Мой был как погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути...» (Иер. 50:6). Что творится в России, «не овцы ли убо пасут пастуси?» * Как в свое время Артемий Троицкий цитировал Писание, из темницы поддерживая дух готовящихся к казни товарищей пророчествами о ложных учителях-мучителях, так Тверитинов, находясь на воле, видел вокруг себя не менее ужасную картину. «Были и лжепророки в народе,— выписывал он из Второго послания Петра,— как и у вас будут лжеучители... Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат...» (2:1, 18). «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели,— читал он во Втором послании Павла коринфянам,— принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света...» (11:13—14).

И вновь вслед за Артемием возвращается мыслью ко Второму посланию Тимофею: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (4:3—4). Чего-чего, а басен Тверитинов видел вокруг себя множество. Он не понимал, как люди могут верить, будто молитвой священника хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа и как может один Христос быть разделен, и раздроблен, и съеден во время служб, бывающих по всему свету в один день и час. Скорее, Спаситель на Тайной вечере показал апостолам хлеб и чашу в воспоминание о себе. Так думали на Руси жидовствующие, Башкин и Косой: Христос «глаголы оставил нам, а не тело свое и не кровь свою», чтобы вспоминали о нем все, кто прикасается к хлебу и вину.

---

* Тверитинов неверно цитирует пророка Иезекииля, восклицавшего: «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?.. И пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли» (34:2, 8).

Еще менее понятным для рациональной критики было почитание верующими орудия убийства, на котором страдал Бог-сын. Фактически крест — это виселица. Крест, как считал и Феодосий Косой, послужил злому делу; это лишь бездушное и бесчувственное дерево, предмет, наподобие меча, ножа или палки. «Если у кого убьют сына ножом или палкой,— думал Тверитинов,— то эту палку или нож отец убитого как может любить? Так и Бог как может любить дерево, на котором распят Сын его?» Он лишь прогневается на почитающих орудие убийства Сына.

Как все русские еретики, Дмитрий Евдокимович не мог примириться с тем идолопоклонением, в которое при содействии духовенства выливалось на Руси почитание икон. В своих «тетрадях» Тверитинов собрал множество текстов, порицающих многобожие и поклонение идолам. Нигде, считал он, ни в Ветхом, ни в Новом завете не написано поклоняться иконам. Ведь еще Моисей заповедовал: «Не делай себе кумира и никакого изображения... не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой... Не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых...» (Исх. 20:4—5, 23). Следует кланяться Богу духом, глядя в небо,— думал Дмитрий Евдокимович,— а не стучать в пол лбом перед крашеной доской. В конце концов легко видеть, что иконы горят и никакими чудесами от огня не спасаются.

Это и понятно. Никаких чудес, кроме описанных в Библии, не бывает. Все остальные «чудеса» — это волхвование, лжепророчество и сатанинское действие. Целый раздел в «тетрадях» Тверитинова рассказывал «о последующих знамениям и чудесам ложным». Как и старец Артемий Троицкий, московский врач связывал «чудеса» с властью ложных учителей, лжепророков, прельщающих народ. «И сказал мне Господь,— цитировал Дмитрий Евдокимович Иеремию,— пророки пророчествуют ложное именем моим... возвещают вам видения ложные и гадания... они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал

их» (14:14—15; ср. главу 23). И, как писал апостол Матфей, «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса...» (24:24).

Вера в чудеса связана с помрачением народа, упадком нравственности, а значит, и с приближением катастрофы. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему...» — утверждал Матфей (12:39). А много раньше пророк Михей предупреждал: «...ночь будет вам вместо видения, и тьма — вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели...» (3:6—7). И вот грядет Антихрист: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15).

Как и Артемий, Тверитинов писал о страшном действии обманывающих народ лжеучителей и ложных чудесах отнюдь не для утверждения мрачных эсхатологических настроений. Он стремился показать отличие истинной веры от ложной, доказывая в особом разделе «тетрадей», что «правая вера и добродетель от писания богодуховеннаго познается, а не от чудес». Истинная вера познается по делам. «Берегитесь лжепророков,— писал Матфей,— которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (7:15—16). Истинная же суть христианской веры, утверждал Дмитрий Евдокимович вслед за Артемием — любовь. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

Итак, одни проповедуют закон любви, другие утверждают веру на чудесах и мертвечине. «И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их,— выписывал Тверитинов слова Господни из книги пророка Иеремии,— потому что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих...» (16:18). «Но... жалки те, и надежды их,— обоб-

щал Дмитрий Евдокимович прочтенное в Премудрости Соломона,— на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих...» (13:10). А у апостолов он находил тексты еще более близкие тому, что происходило на Руси: «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы» (Лк. 11:47—48); «...вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших» (Мф. 23:31—32).

Кланяться мощам святых так же бесполезно, как и молиться перед их изображениями. Все святые и Богоматерь умерли, ибо они были люди. Тверитинов не случайно включил в «тетради» раздел «О тлении всего человеческого естества, яко от начала тлению подлежит». «Когда же человек умрет,— цитировал он среди прочих Сираха,— то наследием его становятся пресмыкающиеся, звери и черви... Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века — определение: «смертью умрешь» (10:13; 14:18). Может ли умерший слышать обращенные к нему молитвы и тем более помогать живущим? Конечно, нет! «Живые знают, что умрут,— писал Дмитрий Евдокимович в другом разделе,— а мертвые ничего не знают...» (Еккл. 9:5).

Ветхий завет совершенно определенно говорит о невозможности обращения мертвых к Господу *. «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящее в могилу; но мы живые будем благословлять Господа отныне и вовек». «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его» (Пс. 113:25—26; 145:4). Может быть, эти цитаты следовало толковать в том смысле, что мертвые — это погибшие, грешные души,

* Воспринимая Библию как единое целое, Тверитинов не отдавал себе отчета, что учение о загробной жизни в большинстве книг Ветхого завета еще отсутствовало.

а живые — не только физически живые, но и души, вознесенные к Господу? — Тверитинов думал над этим и нашел уточнение у Исаии: «Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою» (38:18—19). А Сирах выражался еще определеннее: «От мертвого, как от несуществующего, нет прославления: живый и здоровый восхвалит Господа» (17:25—26).

Может быть, не мог не задаться вопросом Тверитинов, Богоматерь и святые отличаются от простых людей, которые восстанут из мертвых только на Страшном суде? Нет, отвечает он себе в разделе выписок «Яко преподобнии отшедши отсюду еще не прияша обещанная благая». А раз «святым и грешным указу еще нет до Страшного суда», то к кому же обращаются молящиеся? К бесчувственному праху!

Но этого мало. Любя додумывать до конца, Тверитинов задал себе другой вопрос: все ли святые истинно святые, ведь из канонизированных в последние столетия «святых и преподобных с Богом никто в беседе не был»?! Закономерен был и следующий вопрос: с какой стати люди «оставя Бога почитают Николу Чудотворца» и «пророку Илии молятся о дожде, а не Богу»? Это сильно похоже на языческое многобожие. Дмитрий Евдокимович не знал, что церковь действительно восприняла такие молитвы из дохристианских верований и что сами Никола с Илией являются слегка «подправленными» языческими божествами.

Тверитинов подкрепил свои рассуждения авторитетом Библии; «...Ангел лица его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их...»,— пишет Исаия (63:9). «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа»,— вторит ему Иеремия. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека»,— читал мыслитель в Псалтири (117:8). Новозаветные авторы уточняли

картину: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешили; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1); «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус...» (1 Тим. 2:5).

По-видимому, Дмитрий Евдокимович не прельстился возможностью на основании последних цитат вслед за прежними еретиками признать Христа человеком. «Кроме единого Бога,— говорил он,— нет иного помощника нам. Един наш ходатай Христос и потому не подобает нам призывать и иметь иных ходатаев и просити их во всяком деле о помощи». «Не иметь» и «не просить» понималось в данном случае весьма широко. Попробуем разобраться в смысле этих слов, последовав за мыслью Тверитинова.

Целый раздел выписок в «тетрадях» посвятил он обоснованию тезиса, что просить бесполезно вообще и что «сами святые просили о чем-то и не получили, т. е. не могут выступать ходатаями за кого-либо. Впрочем, просить можно о душевном спасении — здесь «не требуется тебе ходатаев... ты сам собою помоли Бога, получишь много. Не так бо от иных умолим о нас бывает Владыка, как почти самими нами молим, помогает благодатию своею». Как и все русские еретики до него, Дмитрий Евдокимович обращал этот вывод против существующей церкви.

В самом деле: если иконы и кресты — это символы идолопоклонения, мощи — тлен, пресуществление в ходе литургии — простой символ, напоминание о Боге, если никто (а значит, и весь священный чин) не может молиться за других, то нужна ли сама церковь? Даже лик Господа в ней — обман. «...Кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» — спрашивал Тверитинов словами Исаии (40:18). Составитель «тетрадей» не пожалел сил и времени, чтобы собрать самые ядовитые библейские высказывания о глупости попыток изобразить Бога. Он сделал множество выписок из Послания пророка Иере-

мии, обличающего обычаи храмового служения, похожие на те, что видел Тверитинов:

«Кадить царице небесной и возливать ей возлияния» — значит гневить Бога. Драгоценные покрытия, венцы златы и прочие украшения на изображениях, которым поклоняются,— тлен. «...Капища их (ложных богов.— *А. Б.*) не охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками; зажигают для них светильники, и больше, нежели для себя самих, а они (ложные боги.— *А. Б.*) ни одного из них не могут видеть... Лица их черны от курения в капищах... Когда постигают их война и бедствия, жрецы совещаются между собою, где бы им скрыться с ними. Как же не понять, что не те боги, которые самих себя не спасают ни от войн, ни от бедствий?.. И царям сделается ясным, что это не боги, а дела рук человеческих, и в них нет никакого действия божественного» (Посл. Иер. 17—18, 20, 48—50).

Духовенство Русской православной церкви тем более не может ходатайствовать за верующих перед Богом, что к нему, по мнению Тверитинова, в полной мере относится сказанное «о пастырях лживых, как прельщают и погубляют человеков». По его мнению, «дело истинного пастыря — засвидетельствовать Евангелие благодати Божией и *собою образ показать благочестия, а не на чуждом основании создать*» (выделено мной.— *А. Б.*). Эта тема столь занимала Дмитрия Евдокимовича, что, посвятив ей раздел в «тетрадях», он возвращается к своим рассуждениям еще по меньшей мере дважды.

«Как Христос собою показал образ ученикам, чтобы презирать славу и служение от людей, и как следует наставникам подражать истинному Пастырю, не чести и славы искать, но смиряться перед людьми и всем собою показать образ благочестия». Так называется еще один раздел «тетрадей», в котором Тверитинов утверждает словами апостолов: «...и кто хочет между вас быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для

того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф., 20: 27—28; Мк. 10:44—45). Однако нынешнее священство не отличается смиренномудрием, кротостью, незлобивостью, нестяжанием. «Как вы можете веровать,— спрашивает мыслитель словами Иоанна,— когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин. 5:44).

Монашество, по мнению Тверитинова, было «сделано от умышления старческого, а не от повелений Божиих», потому следует «отрицать монашеское обещание всеконечно». Ведь еще апостол Павел сказал: «...отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников... запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил...» (1 Тим. 4:1—3). Но не только монахи, против которых выступали еще жидовствующие и Феодосий Косой, а весь не трудящийся своими руками священный чин был, с точки зрения врача, неканоничен.

Этому тезису посвящен раздел «тетрадей»: «Яко довлеет наставником, проповедающим благочестие, не тем единым питаться, но и от труда своего, и не отягчать иных, но со усердием делать своими руками и подпирать иных немощь, чему образец апостол Павел и прочии». Действительно, Тверитинов нашел в Новом завете полное подтверждение своей мысли. Помимо коротких высказываний, он использовал целый отрывок из Второго послания апостола Павла солунянам (фессалоникийцам): «...ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою, ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,— не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а

суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, делая добро» (3:7—13).

«...Я ищу не вашего,— выписал Тверитинов слова Павла из Второго послания коринфянам,— а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей» (12:14). Уподобление доброго пастыря любящему родителю не случайно. Пример этой любви показал сам Христос, который «большую любовь имеет к человеческому естеству, чем родители к любезным детям». Раздел о великой милости Христа под таким заглавием дополняется в «тетрадях» двумя другими, в которых каждому человеку обещано божие заступничество и перечислены блаженства, даруемые Господом всякому кающемуся.

Издавна не такие порядки были на Руси. Как и многие прежде него, Тверитинов не мог не восстать против жестокости церковных властей. «Яко не достоит клясти на лице, и яко подобает праведному быти человеколюбцем» — так называется один из разделов «тетрадей». Дмитрий Евдокимович напоминает, что Сирах запрещал клясть даже сатану и задавался вопросом, как может очиститься от греха тот, кто «к подобному себе человеку не имеет милосердия» (21:30; 28:4—6). А Иаков возмущался, что человек может одними и теми же устами славить Бога и проклинать людей (Иак. 3:10). «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас...»,— завещал Господь (Лк. 6:27). Также и апостол Павел в Послании римлянам ясно сказал: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» (12:14).

Вслед за Артемием Троицким Тверитинов утверждает, «Яко недостоит убивать в ересях пребывающих, но с кротостью наказывать их», имея в виду не собственно еретиков (оба мыслителя считали, что «еретиков ныне нет»), сколько инакомыслящих. «Ибо написано: Мне отмщение.

Я воздам, говорит Господь», согласно Посланию Павла римлянам (12:19). Кто может заменить собой этот Высший суд? «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости...», писал Павел к галатам (6:1).

В стране, где весьма активно действовал Преображенский приказ, не пустовали монастырские застенки и вовсю секли людей драгунские карательные отряды, весьма актуальным было напоминание о том, что сам Христос отказывался мстить оскорбляющим его. «...Рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? (плевелы.— *А. Б.*). Но он сказал: нет,— чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы...» (Мф. 13:28—30). «...Так поступали с лжепророками отцы их,— как бы продолжает мысль Лука.— Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших...» (6:26—27; ср. Мф. 5:44). «...Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38).

Впрочем, Тверитинов не столь наивен, чтобы надеяться на скорое исправление нравов. Как и Артемий, он вспоминает в этой связи Евангелие от Иоанна: «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (16:2). Эту горькую мысль Дмитрий Евдокимович развивает в разделе «тетрадей» под ироничным названием: «Какову хвалу приемлют убивающие пророков и праведных, и так ослепляет злоба человеков и низводит их в зверское сродство». Много, очень много находит он в Священном писании сходных грустных мыслей. «...Вы осквернили руки ваши кровью, и ноги ваши быстры на совершение человекоубийства»,— сетовал Ездра (3 Езд. 1:26). «...Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови»,— писал от имени Господа Исаия (1:15) и т. д.

«Все это — за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь

праведников»,— плакал Иеремия (4:13). «...Дополняйте же меру отцов ваших,— говорил Христос, как бы обращаясь к современным Тверитинову властям России.— Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле...» (Мф. 23:32—35).

Сам Тверитинов говорил о духовных властях попросту: «Дадут они ответ перед Богом, сколько народу пропало и пропадает!» Как его многочисленные предшественники, Дмитрий Евдокимович прекрасно сознавал, что правдоискатели, «просвещающиеся светом повеления Господня» и не желающие склоняться перед злобой мира, обречены на страдание. «Яко царство небесное обетовает Господь верным своим, иже твердо стоят и страждут за слово Его, понеже и все хотящие благоверно жить поношаеми суть».

Для доказательства этого тезиса служило множество текстов, хорошо знакомых всем русским правдоискателям. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Если хозяина дома назвали вельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Мф. 5:10—12; 10—25). Христова проповедь об этом передана и Лукой: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» (6: 22—23).

Есть принципиальное различие между любителями

христианской правды и действующими властями, да и не только властями, а людьми, приверженными злобе мира. «Сие заповедаю вам,— говорил Христос,— да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:17—19).

Итак, еще один человек на Руси решительно отказался «быть как все», молча подчиняться указаниям духовных владык. «Я сам — Церковь,— гордо заявил Тверитинов,— всякий христианин находится в чину иерейства». Он посвятил три раздела «тетрадей» обоснованию тезиса, что «повинитися подобает Богу более, нежели человеком, что распри и раздоры бывают от догмат, иже чрез учение Апостольское» (т. е. «избыточествуют» по отношению к Писанию). Еще одним разделом он поясняет, что «подобает слушателем слова, наученным Писанием, и слушати яже от учителя глаголемая, и убо согласующася с писанием приимати, чужая же отревати».

Собственно говоря, священный чин в традиционном на Руси понимании становится излишним. Тверитинов доводит эту мысль до конца. «Поминовение по умерших не пользует», заявил он, то есть поминальные молитвы священников бесполезны: «То выдумали попы своего ради прибытку, а иного свидетельства нигде нет, чтобы польза была от поминовения, что творится после смерти». Мыслитель был убежден, что «каждый примет мзду по своему труду», что «ни сродство, ни дружество, ниже ино что пользовати может от своея жизни предательствуемаго».

Все вообще ритуалы церкви имеют духовный, а не физический смысл. Как многие религиозные вольнодумцы, Тверитинов отрицал посты, праздники святых. Он смеялся над зажиганием лампад и свечей перед иконами и в храмах: «Тем будто Бога увеселяют, а Богу что во огни треба, для того, что Бог всем свет дал сам?!» Разумеется, вольнодумец не хотел насильственно отменить какие-либо обы-

чаи. «Не подобает кого-либо неволити в догмах и в житии, но в произволении оставляти»,— говорил Дмитрий Евдокимович. Он старался лишь донести свои мысли до сознания людей, помочь им в познании духовного христианства.

Учение

Первое столкновение с ортодоксами произошло у Тверитинова в доме родителей жены. Тестю, Алексею Якимовичу Олисову, крайне не нравились свободные рассуждения Дмитрия Евдокимовича о вере. «Вот,— говорил он вернувшемуся из богомолья в Соловецком монастыре сыну Петру,— дочь свою, а твою сестру, выдал я без тебя замуж за немчина, не родом, но верою, ибо он люторские разумения называет истинными, а нашей святой церкви разумения уничтожает — сам от него услышишь». Обеспокоенный Петр бросился к своей матери Фекле и братьям Матвею и Степану. Те тоже сказали, что зять их верою немец, но хвалили его обходительность и основательность в делах.

Петр Олисов вскоре сам познакомился с Дмитрием Евдокимовичем и был очарован его рассуждениями. Тверитинов советовал своему свойственнику больше читать, особенно Библию, спрашивал его советов относительно того, как относится ортодоксальная церковь к вопросам, поднятым в «тетрадях». Слушая долгие споры зятя с отцом, Петр Олисов не мог не признать, что Тверитинов во многом прав. Это еще больше распалило отца, который стал обзывать еретиками уже не только зятя, но и сына. Воспитанный в лучших традициях единомыслия, Алексей Якимович пошел за помощью к приходскому священнику.

«Зять мой,— заявил Олисов священнику Елоховской церкви Косьме Елисееву,— сущий противник святой церкви!» Купчина жаловался, что Тверитинов не пускает

его дочь Ксению на исповедь и за соблюдение православных обрядов бьет. Священник, по обычаю приходивший в дом Тверитинова со святыми дарами, знал, что тот не кланяется иконам, а вместо них повесил над дверями большой лист черной бумаги, на котором золотыми буквами написал заповеди своей веры. Но Дмитрий Евдокимович не только не бил жену, но позволял ей молиться перед ее иконой, совершать в доме все обряды, говоря, что «жена моя еще не совершенно познала истину». Да и сам Тверитинов время от времени посещал церковь и даже исповедовался, хоть причастия и не принимал. Так что жалоба тестя пропала даром. Не имели претензий к Дмитрию Евдокимовичу и другие священники (за десять с небольшим лет он сменил три места жительства).

Тверитинов не сторонился духовных лиц и охотно беседовал с ними. Видя возрастающую религиозность своего шурина Петра Олисова, он не старался специально отвратить его от православия, оторвать от влиявших на него духовных лиц, например архимандрита Златоустовского монастыря Антония. Дмитрий Евдокимович взялся лечить Антонию больные ноги и часто разговаривал с ним, расспрашивая о происхождении православных догм. По просьбе Антония Тверитинов давал ему лютеранские книги, чтобы тот мог лучше оспорить учение Мартина Лютера, которое врач защищал. А с самим Петром Олисовым, окончательно решившим постричься в монахи, Тверитинов вел долгие беседы, помогая тому составить книгу возражений на свои «еретические» взгляды («Рожнец духовный»), ибо считал, что истина лишь укрепляется в прямой полемике.

Конечно, Тверитинов старался найти для рассуждений сильного оппонента, такого, например, как преподаватель философии и префект Славяно-греко-латинской Академии Стефан Прибылович. Они спорили около года — то у Стефана в Заиконоспасском монастыре (где находилась Академия), то у Дмитрия Евдокимовича дома. Церковные

историки, изучавшие рукописи Прибыловича, свидетельствуют, что Тверитинову удалось поколебать «твердость» православных убеждений оппонента. Присутствовал при этих беседах преемник Стефана иеромонах Гавриил, хорошо осведомлен о них был и ученый архимандрит Заиконоспасского монастыря Феофилакт Лопатинский. О проповеди Тверитинова знали и другие искушенные в богословии лица, такие, как знаменитый редактор Печатного двора Федор Поликарпов-Орлов и автор первой русской печатной «Арифметики» Леонтий Магницкий.

Полемизировал с Дмитрием Евдокимовичем иерей церкви Успения Богородицы и Николая Чудотворца Большого креста Георгий Кириллов. Около 1707 года он составил на обличение «новоявленных еретиков» сборник о святом Ипатии Гангрском (прославившемся борьбой против иконоборцев). Семья Тверитиновых жила в это время в доме вдовы известного дипломата Устины Осиповны Украинцевой, женщины набожной. Однажды, принимая у себя в доме икону Ипатия Гангрского, она изъявила желание приложить к ней серебряные пластинки с изображениями глаз. Говорили, что это помогает от глазных болезней (как приложенные к образу св. Антония зубы — от зубной боли). Однако Устина захотела узнать и мнение врача. «Тогда приложи и серебряную ногу,— сказал Тверитинов,— у твоей милости и нога болит!» Эта шутка вызвала такой поток «обличений» со стороны Георгия Кириллова, что врач плюнул: «Вздорит и лжет поп!»

Разным людям, в том числе и духовного звания, Тверитинов давал читать принадлежавшие ему книги и переписывать рукописи. Например, священник церкви Вознесения Господня и Ипатия чудотворца Кирилл Васильев знакомился в его доме с лютеранским катехизисом стокгольмского издания, златоустовский архимандрит Антоний купил лютеранскую книгу и списал «тетради», якобы для полемики. Но наибольший успех проповедь Тверитинова имела среди светских лиц, особенно на московском посаде.

Непрестанно разъезжая для лечения по разным домам, Дмитрий Евдокимович вел разговоры на интересующие его темы, иногда шутливо, иногда делая вид, что желает получить разъяснения по неясным ему вопросам, иногда предлагая поспорить, как будто он будет изображать лютеранина, а собеседник — православного. Взгляды Тверитинова распространялись по Москве: в Кадашевской, Мещанской, Кожевницкой и Красносельской слободах; он вел споры на улице, в торговых рядах, монастырях, городских домах и загородных усадьбах знати. Его слушали царедворцы и богатые купцы, торговцы иконного и овощного рядов, мастера, лекари, садовники и др. «Не одна тысяща прельстишася»,— констатировали ортодоксы.

Простая и ясная речь Тверитинова, его призыв своим умом постигнуть божественную премудрость находили отклик в сердцах многих. Уже в первые годы XVIII века образовался и кружок единомышленников, совместно распространявших учение. Наиболее преданным новым убеждениям был цирюльник Фома Иванов, двоюродный брат Дмитрия Евдокимовича. В своей палатке на Всесвятском каменном мосту он сурово обличал православную церковь. Старинный друг и кум Тверитинова Михаил Андреевич Косой был прежде стрельцом, участвовал в восстании. Ему чудом удалось избежать расправы. Косой поселился в Кошельной слободе и занялся ремеслом, а затем сделался фискалом — царским агентом, призванным доносить о «неисправлениях» чиновников.

Другой московский фискал — Михаил Минин — был торговым человеком, держал чеботную лавку. Он познакомился с учением через торговца овощного ряда Никиту Мартынова, года три жившего в его доме. Мартынов и привел его к Тверитинову, которого Минин давно знал как фармацевта. В беседах о вере и распространении учения принимали участие часовых дел мастер Яков Иванович Кудрин и хлеботорговец Ларион Васильев.

Вместе с ними «хулили православные догматы» студент Славяно-греко-латинской Академии Иван Максимов, торговец Андрей Александров и другие. Учение распространялось все шире, захватывая людей, не входивших непосредственно в круг собеседников Тверитинова. Например, торговец Иван Алимов убедил в истинности учения даже старовера, посадского человека Максима Еремеева. Более подробно представить себе круг единомышленников Тверитинова трудно, поскольку карающая рука властей, когда пришло время, выхватила из их рядов лишь несколько человек «для устрашения», и мы не имеем главного источника о составе «еретиков» — следственных дел. Они были заведены лишь на ближайших друзей Дмитрия Евдокимовича.

Но пока, в первое десятилетие нового века, до угрозы расправы было еще далеко. Власть церкви слабела. После смерти патриарха Адриана его место оставалось незанятым, за него тщетно боролись разные лица и группировки. Феофан Прокопович, оказывавший немалое влияние на отношение к церкви царя Петра I, исповедовал явно протестантские взгляды. Его противник Стефан Яворский высказывал нередко весьма странные для ортодоксального православия мысли. Светские же власти во главе с Петром открыто говорили о свободе вероисповедания, необходимой для ускоренного включения России в научное, техническое, экономическое и политическое развитие Западной Европы.

«Понеже здесь, в столице нашей,— вещал Петр I в указе 16 апреля 1702 года,— уже введено свободное отправление богослужения всех других, хотя с нашею церквию несогласных христианских сект; того ради и оное сим вновь подтверждается, таким образом, что мы по дарованной нам от Всевышняго власти совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись о спасении души своей. И так мы крепко того станем смот-

реть, чтобы по прежнему обычаю, никто как в своем публичном, так и в частном отправлении богослужения обеспокоиваем не был, но при оном содержан и противу всякого помешательства защищен был» (ПСЗ-I, т. IV, № 1910).

Поверили ли этому указу, а точнее сказать, манифесту, Тверитинов с товарищами? Петр I обращался к иностранцам, это им он обещал защиту против вмешательства в отправление иноверных культов. В стране воинские команды продолжали время от времени жестоко расправляться со староверами, а своеобразный религиозный индифферентизм царского двора отнюдь не характеризовал общее настроение. Даже «в верхах» было немало сторонников религиозной нетерпимости, даже в семье Дмитрий Евдокимович не находил понимания.

На святой неделе 1708 года Тверитинов был в гостях у своей матери Евдокии Ивановны, когда к ней зашел с крестом священник Иоанн Иоаннов. Дмитрий Евдокимович не подошел к кресту. «Исповедуешь ли ты святую соборную и апостольскую Церковь?» — сурово вопросил поп. «Я сам Церковь!» — ответил, отворачиваясь, врач. Вскоре после этого случая священник стал выпытывать у Евдокии Ивановны, есть ли в доме ее сына иконы. «Что-де, батюшка,— отвечала старушка,— каким быть у него святым иконам! Как-де от мене отшел прочь собою жить и стал искать науки у дохтуров и у лекарей в Немецкой слободе, с тех-де пор и стал от святой церкви и икон отвратен, и я к нему за то стала мало ездить».

Среди знати, особенно близкой к царевичу Алексею Петровичу, раздавались и прямые угрозы «еретику». Еще в первые годы века, обедая у окольничего князя Никиты Михайловича Жирового-Засекина, Тверитинов толковал о неразумности поклонения иконам, монашества, постов и т. п. Женатый на сестре хозяина князь Семен Михайлович Козловский возмутился и пригрозил врачу светским судом. «Вы истины познать не можете, только стращаете мучительством!» — ответил вольнодумец.

Сходный спор произошел в 1710 году в доме родственника первой жены Петра I, Александра Петровича Лопухина. В ответ на проповедь Тверитинова стольник Федор Петрович Дубровский грозил ему церковным отлучением. «Ваши проклятия, как воробьи, мимо летают! — заявил Дмитрий Евдокимович.— Писание не повелевает никого клясть». Дубровский вспомнил тогда о светском суде, который должен защитить святую церковь. «Только на это у вас и хватает разума,— заметил врач,— грозите кнутом и огнем».

В то же примерно время сербский полковник Пантелеймон Божич примчался к митрополиту суздальскому и юрьевскому Ефрему Янковичу (родом сербу) с жалобой:

«Я чаял, что на Москве лучше нашего благочестие, а вижу горшее иконоборство, чем среди лютеран и кальвинистов — новая ересь начинается, не только икон не почитают, но ругают их и идолами называют, а поклоняющихся — заблудшими и ослепленными! Человек, у которого мне по указу государеву отведена квартира, москаль, некий лекарь, и кажется в политике не глуп, а на Церковь нашу православную страшный хулитель. Иконы святыя и священнический чин весьма уничижает; и каждый вечер приходят к нему некие русские молодые люди, а сказываются немецкой школы ученики, которых тот лекарь в той ереси весьма поучает и наговаривает, чтоб иконам не кланялись, и в церковь, в которой иконы есть, не ходили бы молиться.

И я-де,— заявил горячий полковник,— не мог утерпеть вере христианской ругательства, чуть в беду не попал. Вечор саблей чуть всех не перерубил и выхватив саблю из хором всех вон выгнал еретиков! А сего дня поутру пришел хозяин ко мне и просил прощения у меня, упал в ноги вместе с женой, и говорил: «Пожалуй, не гневайся на нас о сем, ныне у нас на Москве, слава Богу, повольно всякому — кто какую веру себе изберет, такую

и верует. А мы при милости твоей больше о сем не станем говорить, буде тебе не по нраву».

Так объяснил Тверитинов ситуацию в России сербскому полковнику. Однако присланному для расследования митрополичьему ризничему Петру Смиляничу он уже говорил, будто в его доме шли невинные учебные диспуты «о вере, которые люди, из христиан именуемые, лучше содержат веру». Еще более осторожно держался Дмитрий Евдокимович со светскими властями и «во время начинания разговоров... оговаривался политически, якобы только в лице противном ему быть». «Препирался оный еретик лекарь зело ревностно... а оговорку, что он якобы в чужем лице, чинил же»,— доносил московский вице-губернатор Василий Ершов. То есть Тверитинов спорил как бы за противную сторону — за лютеран — и время от времени «подбрасывал» какой-нибудь аргумент в пользу своих растерявшихся православных оппонентов. Эти оговорки отмечал и споривший с Тверитиновым Леонтий Магницкий.

Вообще Дмитрий Евдокимович «говорил осторожно и вежливо», в отличие от своих товарищей, яростно и откровенно бросавшихся на защиту учения. Он не отстаивал каждого пункта любой ценой, но часто, встретив серьезное возражение, соглашался, что над этим еще «надобно подумать». Другие вели «укоризненные разговоры, а не тонкие и мирные, и ничего без поношения не говорили», но именно о Тверитинове граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин заметил Федору Поликарпову, что «он силен в диспутациях словом противным на вся догматы Церкви восточныя».

— Желал бы слышать его,— говорил на это редактор Печатного двора,— но я мужик есмь груб и острожелчен, противное что Церкви слыша не вытерплю!

— Он в диспутациях вельми тих и лукав,— заметил граф,— и уже давно его на путь истины навращаю, я никогда в словах ярящася его не видел.

Тверитинов «понравие имеет уклонное, мягкое и весьма льстивое,— писал наиболее настойчивый «обличитель ереси» Магницкий,— так что уже и телом своим может быть уклонен и уступчив, прегибателен на тот бок и на другой, также и шею свою и на то, и на другое плечо полагает и сам весь изгибается. И говорит очень вежливо, утешно, смехом растворяя, приступает, и уступает, и всячески мастерит, дабы тому, с кем говорит, приятен был. И таковым понравием как одарен, что едва равного ему обрести можно, и таким сокровищем наполнен».

И все же этот тихий, мягкий человек единодушно признавался ортодоксами главой нового учения, выдающимся его защитником. Тверитинов прекрасно понимал, что его «оговорки» никого не обманывают. Недаром граф Мусин-Пушкин заявлял ему прямо: «Для чего ты сие затеваешь? Для чего не перестанешь от своего злоумствования? Бедный, бедный, жаль мне тебя!» А вице-губернатор Ершов четко показал, как власть в Москве понимает объявленную в Петербурге свободу вероисповедания, заявив, что Тверитинов рассуждает свободно, «яко бы иноземец». Вольная мысль русского представлялась чиновнику непозволительной и весьма подозрительной роскошью. Еретика следовало, конечно, вывести на чистую воду, к чему и приступили.

Диспут

26 января 1713 года в доме господина Леонтия Магницкого готовился обед на десять персон. Хозяин расхаживал по гостевой зале, проверяя столовые приборы. Временами он энергично потирал руки, давая выход переполнявшим его чувствам. От природы склонный к интригам, Магницкий давно готовил почву для подобного мероприятия. Он насторожился еще в 1710 году, когда старый приятель купец Иван Иванович Короткий привел к нему в дом Петра Олисова, в монашестве Пафнутия,

жаловавшегося на еретичество своего зятя Тверитинова. Во взглядах врача, которого резко обличал вернувшийся к ортодоксальному православию Пафнутий, улавливались отзвуки немецкого реформированного богословия. За всеми этими толками о самодостоверности и самодостаточности Писания, необходимости его самостоятельного толкования путем сопоставления и распределения текстов, за пренебрежением к иерархии, обрядности, чудесам и аскетическим подвигам проглядывало для Магницкого жуткое, зловещее лицо царского прихлебателя Феофана Прокоповича — опаснейшего противника Леонтиева покровителя, местоблюстителя патриаршего престола, попечителя Академии, митрополита рязанского Стефана Яворского.

Действия каждой стороны в великом противостоянии Яворского и Прокоповича были, по убеждению искушенного в политике Магницкого, слишком ответственными, чтобы совершать что-то без одобрения главы партии. Действовать надо было потихоньку и полегоньку, войдя к еретику в доверие. Магницкий договорился с вице-губернатором Ершовым, и Пафнутий привел к тому своего зятя, «якобы для пользы лекарства». Вице-губернатор действительно чувствовал себя неважно и подозревал чахотку. Хотя он никогда не соглашался с доводами новоявленных еретиков, его любезность к Тверитинову, который вскоре вылечил вице-губернатора, стала даже пугать Магницкого. Ершов нужен был как достоверный и официальный свидетель на случай, ежели «сверху» будет указано обвинить Тверитинова. Оставалось надеяться, что политичный Ершов, когда придет время, сумеет отбросить личные симпатии.

Довольно улыбаясь, Магницкий думал, как ловко он приплел к делу Пафнутия, который в своей простоте весьма подходит на роль первого обвинителя (как известно, при неудаче — доносчику первый кнут). На самом деле он, Леонтий, знал о ереси уже лет десять — столько, сколько

был знаком с фискалом Михаилом Андреевичем Косым. Да и вице-губернатор был с Косым накоротке не только по служебным делам: и во время болезни фискал его навещал дома, и в подмосковную отдыхать вместе ездили, и в гости ходили компанией почасту. Но кто бы мог подумать, что в ереси нужно будет обвинить не только лекаря, но и фискала?!

Косой и его коллеги зашли, однако, слишком далеко. Мало того, что они, по-видимому, добрались до казнокрадов в администрации и в самой Академии, выходили, как чувствовал Магницкий, и на него. В 1712 году страшное фискальное око по указу Петра I обратилось на церковные дела. Этого Стефан Яворский допустить не мог. Пришло время обнаружить фискальное «еретичество». Но не прямо, разумеется, не прямо. Очень удачно, что главой еретиков был Тверитинов, а не Михаил Андреевич Косой. Фискал московский лишь пристегивался к делу. На совещании с Ершовым «рассудили еще свидетелей на ево Дмитриево еретичество примножити, присоветовали учинити тому Магницкому у себя обед, и созвати некоторых, обаче таковых, которые могли бы в разговорах силу знать, а Ершову с собою привести Димитрия для разговоров при тех званных».

«Званные» начали сходиться рано. Среди них был шурин еретика, монах Николаевского Переяславль-Залесского монастыря Пафнутий, верный человек Иван Иванович Короткий, златоустовский архимандрит Антоний — все люди известные еретикам. Кроме того, приглашены были из Огородной слободы купец Афанасий Павлов, грек архимандрит с Афона и другие. Вскоре приехал и вице-губернатор Ершов с Тверитиновым и Косым. Не останавливаясь у столика с закусками и настойками, все уселись за обеденный стол, на который еще не было подано. Минуты три молчали. Говорить начал старший по чину Ершов:

— Отцы святые и братия, вижу я, что собраны здесь

тщательные читатели Божественного писания, того ради желаю, чтобы о чем ни есть был разговор, а мы бы слышачи пользовались.

— Я вам предложу,— сказал Тверитинов,— как слышал от иных, и буду рассуждать в чужом лице, якобы иноверец.

— Изволь говорить,— ответили собравшиеся.

— У вас есть в церкви тело Христово и кровь Христова, и имеете их за Бога, и поклоняетесь им, как самому Богу. А мне создатель мой Бог дал чувства: зрение, вкус, осязание и прочие, которыми можно истину рассмотреть. А теми данными мне от Бога чувствами, зрением посмотрю — оное тело Христово является мне хлеб пшеничный; осязанием осяжу — является хлеб же пшеничный; вкушением испробую — но и то являет мне хлеб же пшеничный, а откуда у вас тело Христово — того не ведаю.

— Так же и кровь, а по свидетельству данных мне чувств является красное вино. А Бог нам дал чувства те не на прелесть, но истину рассмотрять!

По окончании сей речи присутствующие с минуту молчали, пока Дмитрий Евдокимович торжествовал. Защитники православия думали про себя, что речь идет о великом сверхъестественном деле, неразрешимом естественными доводами, и не знали, кого выставить для ответа еретику.

— Отцы святые,— заметил Ершов,— надлежит вам ответствовать. Надо отвечать, или совсем безответными остаться,— добавил вице-губернатор еще минуту спустя.

— Отцы святые,— сказал тогда один из православных,— велите мне против него говорить.

— Изволь.

— Христианин ли ты? — вопросил оппонент Тверитинова.

— Христианин.

— Исповедуешь ли Христа Спасителем и истинным Богом?

— Истинным Богом исповедую.

— Исповедуешь ли единого создавшего все, и чувства всем, и апостолам давшего, и на Тайной вечере к апостолам, благословив хлеб и преломив, говорившего: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое?»

— Того единого исповедую.

— Добре утвердил еси. Но ответь: чувства ли апостолам ложные даны были, или ложно рек Превечная Правда глаголя: «Сие есть тело Мое» — отвечай нам!

— И чувства даны не ложные,— ответил Тверитинов после некоторой заминки,— и слово Христово не ложное, но не о своем же теле, которое сам имел, говорил, а о хлебе простом. Потому что хлеб, как камень, и дерево, и щепа — есть тела, и по сотворению все его суть — вот и назвал хлеб телом своим, а не тем телом, которое на костях имел. По созданию все тела Ему свои, так же и кровь гроздий, виноградное вино, по сотворению — его кровь.

— Если ты христианин,— не отступали защитники ортодоксии,— то должен слышать последующие слова Христа. Сказав «сие есть тело Мое», он добавляет: «еже за вы ломимое»,— чем страдание изъявляет,— «и кровь Моя, яже за вы изливаемая»; не кровь просто за здоровье ваше пиемая, но «изливаемая». Этим явнейше показал свое страдание, и истинную свою кровь, изливаемую за спасение мира, а не кровь гроздий. Это и сам Христос утверждает, глаголя: «Аще не снесте плоти Сына человеческого и не пиете кровь его, живота не имате в себе» и «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во мне пребывает, и Аз в нем».

— И если бы по твоей противной сентенции было,— продолжал ортодокс,— что всякий бы хлеб был телом Его, и кровь гроздей кровью Его, то народы всего мира, даже иудеи и идолопоклонники, едящие хлеб и пьющие вино, имели бы жизнь вечную, и во Христе бы пребывали, и Христос в них. И как может твое противное утвержде-

ние быть согласным с утверждением самого Христа, сказавшего: «Хлеб, его же Аз дам, плоть Моя есть».— Относительно этих слов вернее тебя были распявшие Его иудеи, ибо когда их услышали, то говорили между собой: «Как сей может дати плоть свою ясти? Жестоко есть слово сие». И отступили некие и ученики Его от Него, понеже светло и подлинно утверждал о истинном своем теле и истой своей крови.

— Ты же нарекся христианином,— бросились на Тверитинова другие спорщики,— а Христу не веришь. Ты не только далек от христианства, но и распявших Христа иудеев мерзостней!

— Сам Христос,— проговорил Дмитрий Евдокимович, выслушав еще много подобных обвинений, не прибавляющих аргументов,— показывает себя хлебом невидимым и чувству не подлежащим, когда глаголет: «Аз есмь хлеб сшедый с небеси, отцы ваши ядоша манну в пустыни и умроша, а иже от хлеба сего яст, жив будет во веки». И по сему явно есть, что не о плоти своей, чувству подлежащей и от человеческого естества принятой глаголет, но о невидимом хлебе, сшедшем с небес.

— Плоть Христа,— продолжал Тверитинов,— не с небес сошла, но от земнородных взята. И если понимать, что плоть его сошла с небес, это было бы противно истине и Христос так не сказал бы: но Христос хлебом с небес сошедшим называет себя по божеству и учительству своему, которым учительством питает всех верных, как и самаритянке говорил: «Вода, юже Аз дам, и пьющий ее не возжаждет во веки». Ясно, что говорит не о воде естественной, но о воде учения своего, и хлебом сошедшим с небес называет себя по божеству, и божественное свое учение с небес сошедшее имеет в виду, а не о плоти своей, от земных взятой, говорит.

— Удивлялся бы тебе тот,— отвечали ортодоксы,— кто не видел бы твоего коварства и верил, что ты в недоумении ищешь истину, а не мерзостно противишься ей!

Тверитинову и Косому пришлось терпеливо выслушивать длиннейшее и запутанное рассуждение в том смысле, что Христос есть богочеловек, «не в двух лицах разделяемый, но в двух естествах, божественном и человеческом, неслитно познаваемый». Отсюда все множество приведенных в споре цитат объяснялось в том смысле, что Христос «объемля два в нем сущих естества в одном лице... всецелого себя дать хочет в пищу верным».

— Ты же в неверности, истиннее же сказать в иудейской противности страстно томимый, развращаешь разум благочестия и вводишь лживыми доводами еретические толкования, уподобляя сказанному о евхаристии — слова Спасителя Христа к самаритянке, которые употребления к сему разуму не имеют. Христос к самаритянке глаголет: «Воду, ее же пьющий не возжаждет во веки»,— а здесь глаголет: «Хлеб, его же вкушающий,— не сказал — не взалчет — но сказал,— не умрет во веки». Того ради явно есть, что говорил это не о учении своем, но о соединении с собой уже познавших и уверовавших, да будут они в нем и он в них.

По привычке и по убеждению Тверитинов не продолжал спора на тему, где оппоненты явно исчерпали значительные аргументы. Он удовольствовался внутренним сознанием правоты и, не стремясь оставить за собой последнее слово, перевел разговор на следующий вопрос.

— Как это может быть, что поповскими молитвами хлеб превращается в тело Христово? Ведь попы есть всякие: и пьяницы, и блудники, и большие грешники, которые недостойны и священства, а не то, чтобы превращать хлеб в тело, да еще Христово, чего отнюдь не может быть! Вы от всякого попа принимаете за истину то, что апостолы от Христа приняли — как же можно равнять попа пьяницу со всемогущим Богом? Поп недостоин ему и предстоять и уж конечно не может об изменении существа просить.

— По всему видно,— раздраженно заявил один из ор-

тодоксов,— что ты не сын святой Церкви, но противник и враг, всеми силами ищущий, как бы ее опорочить! Скажи нам: во время Сотворения мира, когда Бог сказал — «Да прорастит земля былие травное, и семя плодовитое сеющему по роду и по подобию, и бысть тако»,— веришь ли, что по тому божественному повелению так и доныне бывает?

— Верю, что бывает непременно,— отвечал Тверитинов с некоторым удивлением, ибо его противники сами перешли к «естественным» аргументам.

— Каким же людям это бывает, праведным или грешным?

— Не только праведным и грешным, но и идолопоклонникам всем равно бывает.

— Отчего же сие действует непременно, да еще и недостойным, то есть идолопоклонникам и всем не знающим Бога?

— Кто хорошо возделает землю,— проговорил Дмитрий Евдокимович, чувствуя, что несколько увязает в таком смешении богословия и рационализма,— тот и получит урожай, а у того, кто плохо возделает, ничего не вырастет.

— Однако это происходит равно у верных и неверных, как ты сам утверждал?!

— Да,— отвечал Тверитинов, предвидя дальнейшие слова оппонентов. Ортодоксы немедля заявили, что сказанное Христом апостолам о евхаристии: «Сие творите в мое воспоминание»,— аналогично завету Бога о произрастании злаков, то и другое непреходяще:

— Как сеющим после покропления дождя вырастает урожай, так и здесь праведным и грешным, достойным и недостойным, имеющим от апостолов переданный сан священства, дается с наитием благодати Святого Духа совершать таинство евхаристии.

Тверитинов мог бы привести достаточно аргументов от Священного писания, что такая аналогия неприемле-

ма, но ему было интересно услышать, сколь долго противники продержатся на непривычной для них платформе естественно-богословского рассуждения. Как он и предполагал, оппоненты очень быстро свалились с нее и погрузились в хляби привычной слепой веры.

— О божественных деяниях не то что человеческому, но и ангельскому разуму рассуждать невозможно. Можно только верить в единого Бога, уверяясь его сверхъестественными чудесами, свидетельствующими, что есть неизреченно воплотившийся Бог и Творец. Если Его дела естественно испытывать, как ты дерзнул о пречистом теле Его, то уж и о воплощении Христа дерзнешь естественно рассуждать, которое и от ангельского понимания далеко. И как Он воскресил словом умершего и уже возсмердевшего Лазаря рассудить помимо веры невозможно!

— Потому,— торжествуя заключили ортодоксы,— сколько бы ни было в мире высокоученых мужей, более того — апостолов, святых и прочих церковных учителей, все приняли, утвердили и весь мир научили неотменно верить в таинство святой евхаристии. Никто не противился Церкви, кроме непросвещенных и ересями от предков помраченных! А ты благодатию Божиею от родителей благочестивых и от святой матери нашей Церкви крещением просвещен, почто тебе против благочестия брань иметь?! Или не понимаешь, что противишься самому Богу и истине? Сам видишь, что хотя мы люди и не высокоученые, а ты с ложью своей пред нами остался неправ!

Ужас и чудеса сотворены суть на земле, мог бы сказать Тверитинов, переиначивая слова пророка Иеремии.— Пророки пророчествовали ложь, и священники рукоплескали им, и люди Мои возлюбили таковая.

Он мог бы оспорить достоинство слепой веры и объяснить, как сам Христос относился к требующим «на уверение свое» чудес. Но оппоненты столь чистосердечно признали себя «не высокоучеными» и низвели разговор на такой уровень, что спорить по этому вопросу было излиш-

не. Дмитрий Евдокимович терпеливо выслушал увещевания типа «сохрани себя, да не погибнешь вечно, не будь противник благочестивой матери своей святой Церкви и не пропадай своим произволением» и т. п. Когда за столом, на который так и не подавали кушанья, потому что гости отмахивались от предложений хозяина, увлеченные разговором, воцарилась тишина, Тверитинов поставил на обсуждение новую тему.

— Скорее те погибнут вечно, которые поклоняются бездушному и нечувствительному дереву. Я же дереву не кланяюсь, но поклоняюсь единому живому Богу.

— Кто поклоняется дереву?! — вскричали ортодоксы.

— Вы, сделавшие из дерева крест, кланяетесь ему и почитаете как Бога.

— Ты назвал нас древопоклонниками, но сам и оправдал нас, ибо признал, что мы кланяемся не дереву, но животворящему кресту Христову, потому что Бог наш распятый неоценимой своей пролитой на кресте кровью дал спасение всему миру, убив на кресте смертью своею всего мира всепагубную смерть. Потому, глядя на святой животворящий крест, мы думаем о страдании распятого на нем Спасителя нашего Христа, и умиляемся, и оный святой крест почитаем, и лобызаем, и поклоняемся в честь на нем вознесенному и умерщвленному за грехи всего мира, а не простому древу и не с каким иным намерением, но в Его божественную славу, потому что крест делается по подобию распростертия на нем Христовых пречистых рук во время Его распятия. На это подобие воззревше тут же вспоминаем за нас Христово страдание и смерть, поэтому почитаем крест как герб Христов.

— Вы крест называете святым, и животворящим, и живоносным,— с оттенком презрения произнес Тверитинов,— а он есть древо смертоносное, как у нас виселица, и множество людей на нем умерло, и сам Христос на нем умер. Достойно было бы крест ненавидеть. Например: почитать меч, которым убит мой отец, было бы противно

натуре,— а вы почитаете орудие убийства, что противоестественно.

— Крест ненавидит дьявол, потому что им низложен. Вам, еретикам погибающим, крест есть юродство, по апостолу, а нам, спасаемым — сила Божия. Ты утверждаешь, что это противно натуре, то есть естественному человеческому смыслу — и это правда. Однако все его божественное смотрение противно человеческому натуральному смыслу и непонятно, для непросвещенных и неверящих — неверно. Как во все творение невместимый Бог в утробу девы вместился? Как непостижимый и неописуемый человек явился и в ясли вместился? Как всесильный от Ирода бегал? Как всебогатый не имел где голову преклонить? Как источник всякой радости над Иерусалимом и над Лазарем плакал? Как, наконец, не только всего видимого, но и надмирного мира Творец и Царь от созданных им тленных и бренных, плюгавых и ничтожных людей был поносим, поругаем, осуждаем и убит поносной смертью, повешен на позорном древе как злодей? Как же все это не противоречит вашему еретическому натуральному смыслу?

— Вы гнушаетесь,— распаляясь все больше и больше, вещал Леонтий Магницкий, обращаясь через стол к Тверитинову и Косому,— стыдитесь Христовым крайним смирением, то есть крестом святым, которым он по своему усмотрению смирение свое завершил. Каких бы смирений не было: утроба, ясли, бегство, нищета и прочее, и поношения, и мучения — а всем этим смирениям и страданиям завершение и верх крайний есть крест! Если вам и кажется это буйством — но у Бога это премудрость, а ваша мудрость перед Богом есть буйство. Все орудия смирения: утроба, ясли и прочее,— и страдания: копье, губка, трость и прочее,— каждое само по себе еще не знаменует Христа. Если же показать крест — то он тотчас Христа распятого знаменует.

— Ты сам,— ткнул пальцем в Тверитинова Магниц-

кий,— тленный и ничтожный человек гнусной своей рукой пишешь буквами имя свое и по твоей подписи всякий узнает, кто обозначен. Сколь более ярко премудрый Творец своей пречистой плотью, распростертием своих божественных рук начертал литеру во знамение свое, крест святой. Как можно не верить, что крест его самого знаменует?!

— Крест, на котором Христос распят,— спокойно возразил Тверитинов,— не сам Христос сделал, но плотники по приказу тогдашних начальников. Значит, оный крест не от Христа начертан, но от иных людей сделан. Да и прежде Христа за много лет те кресты были вместо виселиц. Посему ваше слово, что Христос крест начертал, ложно!

— Или ты весьма глуп,— заявил несколько выбитый из колеи этим прозаическим рассуждением Магницкий,— говоря столь мелочно, или явный противник благочестия. Когда это осужденные люди сами на себя делают мучительные орудия? И Христу, хотя и неповинен был, неприлично было бы делать против себя орудие мучения и тем показать людям желание быть распятым. Он пророчески божественным своим мановением предуготовал для себя крест в знак своей святости. Еще в древности Бог одарил прообразы святого креста победительной силой: моисеев жезл, погубивший фараона и спасший израильтян, распростертые руки Моисея, знамением креста победившего Амалика, Ааронов жезл и бесчисленные иные.

— Так,— продолжал Леонтий Магницкий, нащупав путь полемики,— еще в глубокой древности Бог одарил чудесной силой прообразы креста, на котором предустановил себе принять смерть, ибо возлюбил его во знамение свое. И не иной какой смертью восхотел умереть, но всему миру поноснейшей, то есть крестной, которая во всем мире всех болезненней и всех поношений есть высший край. И та смерть, как вы брешете, прежде была поносная, а по его божественному благословению стала живоносная.

— Как нам не любить то, что Бог возлюбил и тем нас спас? Не возгнушался плотью умереть не неволей, но волей, как сам восхотел. Как нам не любить крест, о котором сказал Христос: «Тогда явится знамение Сына человеческого, сиречь Мое, а то будет во время Страшного суда, когда евреи, еллины, еретики, диавол, паче же и смерть побеждени будут». И если ты не евреин, не еллин, не еретик, не Юлиан отступник, не дьявол, но просто человек, и хочешь себе спасения, испытай Писание и найдешь, яко мы благочестиво с православной Церковью крест святой почитаем и поклоняемся истинному знамению Христову, в уме представляя на нем Христа ради нас распятого, его же ради и поклоняемся и видимых и невидимых врагов силой его побеждаем!

Перебив своего единомышленника Косого, запальчиво ринувшегося обличать идолопоклонство, Тверитинов негромким голосом осведомился, какой символ или какое изображение достойно неописуемого и невместимого в сотворенный мир Творца? Приведя доводы в пользу невозможности свести к символу или какому-либо идолу того, о могуществе коего свидетельствует весь окружающий безграничный мир, Дмитрий Евдокимович логично перевел разговор на поклонение иконам. Он заметил о нерукотворном образе Спасителя и образе Богоматери, якобы написанном евангелистом Лукой, что эти истории плохо вяжутся со здравым смыслом, учитывая, что Лука был по профессии врач, а не живописец. Еретик напомнил собравшимся вторую заповедь, данную Моисею: «Не сотвори себе кумира»,— и другие подобные тексты.

— А вы сей Божией заповеди явно противитесь. Вы уподобляетесь идолопоклонникам, как сказал бы иноверец-лютеранин, когда поклоняетесь написанным и сделанным образам. Какое оправдание можете принести вы, исповедующие то, что сам Бог запретил?

— В той заповеди,— отвечали православные,— не повелел Бог делать идолов, ложных богов, типа планет-

ных и звездных подобий, человеков, зверей, скотов, рыб и прочих животных, и велел богами их не иметь, ибо все языческое суетно и ложно. А делать подобия в свою славу Бог не запрещал, но даже оговорился, что сам в изображениях своих соизволяет почитаем быть.

— Если бы Бог соизволил в подобиях почитаем быть,— возразил Тверитинов,— то прямо бы об этом сказал, а такого текста в Писании нет и быть не могло.

— Неправильно сей оговорки требуешь, ибо, отделяя себя от ложных богов, Творец выразился: «Кроме мене». А если бы Бог многословил, то было бы недостойно.

— Почему Бог эту заповедь не изъяснил светлее? Если вы утверждаете, что ради витийства человеческого, чтоб чинно было читать — я того не приемлю, а приемлю хотение души его воззвать, не витийствуя. Без витийства Творец всякое подобие запретил творить без изъятия, следовательно, и свое подобие творить запретил!

— Это вам,— заявил один из ортодоксов,— кажется темно и неясно, а нам — весьма светло, ибо заповедь Господня светла просвещающим ею свои очи. Бог, разумеется в ней, подобия богов суетных и ложных не велел создавать, себе же изъятие от них учинил и себя от них отделил. В первой заповеди сказал: «Кроме мене», а во второй: «Аз есмь господь Бог твой». И нечего шутовским манером искать здесь басенный смысл!

— Мы и не шутим,— отвечал Дмитрий Евдокимович,— а противимся вашему толкованию по совести нашей, чтобы нам с идолопоклонниками не сравняться и против Божьего приказания не согрешить.

— Если ты этим объяснением не доволен — вопросим вместе Бога, дабы он нам яснейшее толкование дал.

— Пожалуйста, вопросите, и если скажет, то и я, услышав, буду верить,— усмехнулся Тверитинов.— Только как будем Бога вопрошать и ответа ждать, чему все мы недостойны?!

— Бог уже ответствовал по нашему толкованию,—

не смутились ортодоксы,— а не по твоему, да и делом утвердил.

— Где, когда и чего ради? Я не слышал.

— Ныне слушай глас Божий к Моисею, в 25-й главе Исхода, повелевший сотворить два херувима из золота, осеняющих ковчег. И в 26-й главе повелел Бог вышивкой множество херувимов сотворить. Если бы запрещал изображения — и здесь не нарушил бы своего приказания.

Не найдя сильных аргументов, Тверитинов предложил оставить этот вопрос для додумывания, отметив на этот раз победу оппонентов. Однако он твердо настаивал на отличии изображений во славу Божию от икон, которым православные поклоняются, как богам. Магницкий с приятелями согласились, что Церковь учит иконы почитать как некие поучительные напоминания, а не боготворить.

— Кто не почитает святых икон и не поклоняется — проклят будет, и кто иконы боготворит — проклят же будет. Так святая Церковь приняла от Ветхого завета, от Христа и апостолов и утвердила вселенскими соборами.

— Откуда вы знаете, что в первоначальной церкви иконы почитаемы и поклоняемы были,— спросил Тверитинов.— В Божественном писании всем, и в Евангелии и Апостоле нигде такого приказания, чтобы их почитать, не находится. А положение о почитании икон — вещь не малая и надлежало бы о ней письменному преданию от апостолов быть!

— Хотя и нет от апостолов о почитании икон письменного предания, не следует сомневаться в том, что изначально содержалось и было принято от Христа, было настолько очевидно, что в писании не нуждалось. Сам Христос на убрусе учинил пречистое лицо божественной своей волей и послал к едесскому князю Авгарю, от чего тот получил исцеление; и во время страсти Веронике жене также учинил; и Лука образ пресвятыя Богородицы написал; и много есть еще случаев. Не было нужды об иконах писать апостолам, ибо иконы согласно ото всех при-

няты были и никто в них не сомневался до первого иконоборца царя греческого Льва Исавра.

— Такие истории я знаю,— отвечал Тверитинов,— только утверждаться на них не могу, поскольку они не именуются божественным писанием, а потому могут быть и правы, и неправы.

— Но в Писании есть пример от противности,— хитроумно заметил хорошо подготовившийся к диспуту Магницкий,— который ясно обозначает, что в первенствующей церкви почитание святых икон было!

— Где, покажите мне.

— Скажи нам прежде: когда придет антихрист, сын погибельный, будет он ложно уподобляться Христу как в чудесах, так и во всех поступках, привлекая к себе Богу надлежащую честь?

— Будет,— отвечал Дмитрий Евдокимович,— то я приемлю, ибо в Апокалипсисе написано, а Апокалипсис есть Божественное писание.

— Там в 13-й главе Иоанн Богослов именует антихриста зверем: «Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя»,— и немного ниже: «Чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»,— и прочее в прочих главах. Ясно, что, уподобляясь во всем Христу, антихрист и через икону уподобление возымеет, будет принуждать кланяться своей иконе. Отсюда видно, что первые христиане уже поклонялись образу Христа, иначе Иоанн Богослов так не писал бы.

— Хотя вы и натянули к Божественному писанию,— заметил, улыбаясь, Дмитрий Евдокимович,— однако следуете больше отеческим преданиям, которые отнюдь не нужны к спасению, а мы, человеческих преданий не приемлющие, надеемся найти спасение только в Писании.

— Вы хоть малое нечто приемлете ли от преданий?

— Ничего не приемлем от человеческих преданий,— твердо отвечал Тверитинов,— только того держимся, что в Божественном писании обретаем, потому что если малое

что от преданий принять — то надо и все предания принять, как и вы. Мы не приемлем преданий вовсе, поэтому именуемся евангелистами и следуем Евангелию, а не преданию.

— Которым евангелистам вы последуете,— не без яда спросил Магницкий,— всем ли четырем, или некоторым?

— Всем четырем евангелистам последуем и именуем их Божественное писание.

— Откуда вы знаете, что они не ложны, и вправду есть Божественное писание?

— Поскольку приняты от всей вселенной и написаны в первенствующей церкви, по Вознесении вскоре, от самовидцев.— Ответил еретик, не заметив ловушки.

— Евангелие евангелиста Луки, и послание Павла, и Деяния апостолов написаны не от самовидцев, но от предания самовидцев, как повествует сам Лука. Это от Предания, но вы их принимаете. Скажи, как уверился, что это Божественное писание?

— Уже говорил вам, что эти писания от всей вселенной приняты и по Вознесении вскоре созданы, того ради и приемлем их.

— По Вознесении вскоре произошли в мир еще два евангелия, а именно: Петрово и Фомино — чего ради вы их не приемлете и не содержите, ведь вскоре же после Христа написаны?

— Одни отвержены,— ответил Тверитинов, начиная понимать, куда клонит Магницкий,— а другие приняты от Никейского собора.

— Значит,— торжествуя, заявил автор «Арифметики»,— вы следуете в этом вопросе Никейскому собору, поскольку, кроме него, о таких писаниях разобрания и генерального рассуждения не было. Получается, что твое «принято от всей вселенной», значит — от собора Никейского. Так ли?

— Так,— отвечал Тверитинов, для которого поиск истины был важнее и интереснее словесных уверток.

— В Божественном писании,— продолжал Магницкий развивать мысль о слитности Писания и Предания,— написано почитать субботу, а мы без Евангелия и Апостола почитаем воскресенье — откуда это взято?

— От апостолов.

— Письменно ли заповедано, или словесно передано от них, скажи нам?

— Письменно повелено воскресенье почитать,— отвечал Тверитинов с ноткой сомнения в голосе.

— Где написано?

— В правилах апостольских.

— Что написано в правилах апостольских, все ли признаете?

— Одно принимаем,— спокойно заметил Дмитрий Евдокимович,— а другое — по рассуждению.

— Почему же вы рассуждаете сверх апостолов?

— Потому что далеко не все в Предании согласуется со смыслом Божественного писания,— сказал Тверитинов и постарался популярно объяснить позицию духовных христиан, обязанных согласовать всю религиозную жизнь не только с буквой, но и с духом Писания.— Мы принимаем то, что согласуется с разумом, не противно Церкви божией и Евангелию, а у вас Предания бесконечные, со многими заблуждениями и к спасению души ненужные.

— Сам ты с собою не согласен,— заявили ортодоксы,— сначала сказал, что ничего от Предания не принимаете, потом — что что-то принимаете. Если принимаете часть — должны принять целое. Говорил, что принимаете признанное всей вселенной, а оказалось — только то, что согласуется с личным рассуждением. Говоришь о том, что Церкви божией не противно — а явно ей противишься, ибо Церковь признает Предание.

Перебивая друг друга, противники Тверитинова и Косого многословно защищали соборы и обвиняли оппонентов в еретичестве, настаивали, что церковь православная не может утверждать ничего, противного себе самой и Еван-

гелию. Когда они выговорились, Магницкий выдвинул тезис, что апостолы написали лишь главнейшее и нужнейшее для распространения христианства, а остальное бытовало устно и лишь постепенно, по мере необходимости, фиксировалось в Предании.

— Почему вам известно,— спросил Дмитрий Евдокимович, заинтересованный таким поворотом диспута,— что апостолы словесно учили верующих именно таким делам и преданиям, которые вошли в позднейшие решения соборов, и откуда вообще известно о словесной передаче преданий в первенствующей церкви?

В ответ оппоненты долго рассказывали о словесной проповеди Христа и приводили евангельские примеры, где содержание проповедей не передается. Поскольку Христос учил устно и повелел учить апостолам, они, конечно, многое передавали верующим на словах, направляя письменные послания туда, где сами в это время не были. Мысль о возможности искажения учения или принятии церковью ложных преданий ортодоксы принципиально отвергали.

Следующим пунктом диспута был вопрос о посте, который Тверитинов, вслед за вольнодумцами XVI века, понимал в духовном смысле, а ортодоксы вместо ответа прокляли его как ослушника церкви. Дмитрий Евдокимович вполне удовлетворился таким ответом и перешел к новой теме:

— Поминовение за умерших — самое суетное дело, выдуманное попами ради своего прибытка. Помощи умершим от поповского поминовения отнюдь быть не может, потому что каждому воздастся по делам его, как апостол глаголет: «Всем нам подобает явитися пред судилищем Христовым, да приимет кождо, яже с телом содея»; так и в другом месте писано: «В чем застану, в том и сужду». Значит, ни единый грех не отпустится после смерти. Поэтому поминовения есть не что иное, как обман и стяжательство попов и заблуждения их паствы.

Слыша такие речи, светские люди насторожились, а духовные заерзали на сидениях, ибо речь шла о больших расходах одной стороны и огромных доходах — для другой. Поэтому ортодоксы первым делом дружно прокляли Тверитинова и Косого, а затем приложили самые серьезные усилия для опровержения тезиса. Оратор православных (видимо, это был Магницкий) начал издалека:

— Крещен ли ты? Мы думаем, что ты не христианин и крещения святого не сподоблен!

— Это клевета,— отвечал Тверитинов,— я крещен и рожден от христиан греческого закона, как и вы, и сие таинство содержу несомненно!

— Когда, и где, и от кого крещен, скажи нам.

— Чего ради вопрошаете об этом? Я могу сказать, но вы в том на мне вины не найдете. Я крещен в церкви от священника во младенчестве при восприемниках, как я слыхал от родителей своих, и таким же чином, как и вы.

— Как же может крещение твое быть истинным, если ты не имел тогда ни ума, ни памяти, ни желания, ни веры. А сам Христос апостолам рек: «Иже веру имеет и крестится». Ты же от других крещен и непонятно, почему надеешься спастись этим крещением.

— Если я тогда не имел смысла и желания веру иметь, исповедать не мог и учения не разумел — все это имели и исполняли родители мои верные и восприемники.

— Как чужая вера, желание и исповедание могут быть твоими?

Тверитинов понимал, куда гнет Магницкий, но, строго соблюдая правила спора, обосновал тезис о возможности выступления перед Богом родителей и восприемников за младенцев, бесноватых и т. п., подкрепив свое рассуждение многими библейскими примерами.

— Мы говорили,— продолжил его речь довольный ходом диспута Магницкий,— не в порицание правила церкви крестить младенцев, но о тебе сомневались, не отрекся ли ты от святого крещения по той причине, что крещен без

веры, желания и исповедания самоличного — что вытекает из твоего отрицания поминовения умерших. Ты утверждаешь, что вся Церковь святая не может об умерших молиться, да грехи их прощены будут — а сам считаешь, что ты верой и желанием родителей твоих и исповеданием восприемников спасаешься!

Если младенцы,— торжествующе заключил Магницкий,— крещением без собственного своего желания и веры исповедания к церкви приобщаются, то тем более простятся грехи умершим с покаянием, с верой, желанием и упованием на вечную жизнь, прилежно просившим родных и друзей о поминовении их! А что доказываешь от Писания, будто воздастся каждому по делам его — это мы помимо покаяния и поминовения принимаем, но покаянием и поминовением тоже оставляются грехи.

— Присутствующих в этой жизни,— спокойно заметил Тверитинов,— младенцев, или бесноватых, или других подобных, не надо с умершими равнять, которые отсутствуют в мире и ничего не могут творить — ни благодарения, ни трудов в Божию славу за полученную благодать. Они ничего чувствовать не могут, ибо есть в небытии. Посему я ваших аргументов не приемлю.

— Безумные произносишь слова,— завопили ортодоксы,— противишься и себе, и Евангелию, где сказано, что все умершие Богу живы суть.

— Не противлюсь Христовым словам,— сказал Дмитрий Евдокимович после весьма продолжительной речи противников, обвинявших его во всех грехах и осыпавших проклятиями,— но хочу ими оправдан быть. Вот вы почитаете тела умерших, и украшаете гробы их, и молитесь, как одушевленным, а они, мертвые, бездушны и бесчувственны. В этом заблуждении Христос обличал фарисеев, сколь же большее горе вам, которые знают запрещение Бога и творят противное ему?!

Оппоненты справедливо упрекнули Дмитрия Евдокимовича в буквальном цитировании части Христовой речи,

имевшей более общий фигуральный смысл: что иудеи почитают гробницы пророков, не принятых и истребленных их предками, сами же хотят убить Владыку. Отсюда спорщики заключили расширительно, что «создание и украшение гробниц есть доброе и похвальное дело и от Христа не похуленное, как и во всем Ветхом завете честны были мощи святых». Следовательно, православное почитание икон праотцов, пророков и святых, предстоящих на небесах Богу, справедливо и истинно.

— Дивлюсь я вам,— ответил Дмитрий Евдокимович с насмешливой улыбкой,— что взываете к заступничеству святых по подобию мира сего, как приближенных царских о заступничестве перед государем, чтобы милостив был через их прошение. А у Бога ничто не подобно людям и ходатайства ничьего ему не требуется, кроме самого себя, то есть Христа, единственного ходатая о человеческом роде.

— Един ходатай к Богу Христос есть,— возопили оппоненты,— а после него угодники его святые есть ходатаи! Лжешь, что нет у Бога подобия миру сему, ибо ты или неуч и невежда, или злобный лгун!

Тверитинов не стал объяснять, что приводимые спорщиками по Евангелию сравнения божественных замыслов с земными предметами суть притчи и примеры, использовавшиеся Христом для объяснения своих мыслей темным людям. Он подчеркнул лишь, что «святые умершие, если и достойны святости, но ничего не чувствуют. Они не то что прошений человеческих, но и себя самих не ощущают, уподобляясь глубоко спящим: где уж тут молиться и ходатайствовать!»

— Божиих судеб бездна многа,— отступил на привычные позиции Леонтий Магницкий,— кто разумеет разум Господень или советовать ему может?! Может быть, души святых и есть в их нетленных мощах, а как они там удержались — вопрос сверхъестественный и для людей неразрешимый. Однако Церковь святая принимает сие чудо, что

души умерших святых чувствуют и молятся за нас! Так, в Апокалипсисе убитых души перед алтарем вопиют к Богу об отмщении крови — а если об отмщении просят, то и о прощении могут просить.

— И кровь Авеля вопияла к Богу от земли на убийцу Каина,— заметил Дмитрий Евдокимович мирно,— но не чувственна же была?!

— К крови Авелевой глагола Божия не было, а к душам святых глагол Божий был: «Пождите мало», и даны им быша ризы белы. И если бы нечувственными были души святых, нечестно было бы Богу к ним обращаться.

В таком духе разговор продолжался до глубокого вечера. Наконец обе стороны, утомленные, замолкли. Творитинов откинулся на спинку кресла и вытащил часы, потом рассмеялся и заметил, что хозяин сумел кормить их одними баснями одиннадцать с половиной часов! Магницкий засуетился, но гости так наговорились, что потеряли аппетит. Они выпили по две чарки водки да по стакану пива и, придя в себя, собрались расходиться.

— Надобно нам Дмитрия Евдокимовича любить,— сказал Ершов, видя Творитинова печальным и не желая раньше времени потерять его доверие.

— За что его любить? — спросил Магницкий.

— От иных ли Дмитрий Евдокимович научился сим противностям, или от себя изобрел, однако теми противностями возбудил столь интересный эллинский диспут, какого я отроду не слыхал,— ответствовал вице-губернатор.— От него все мы пользу приняли и научились, потому надобно его всем любить.

— Если его за то любить,— вскричал Магницкий,— что он нас вынуждает писания собирать и запоминать против его неприятельских разговоров, то уж и неприятеля нашего шведа надобно любить, ибо в войне с ним уже 14-й год солдаты пребывают и научились воевать. Да что говорю — и изменника Мазепу так же нужно любить, как Дмитрия, потому что если бы тот не изменил и шведского

короля на Украину не привел, то и виктории на весь свет славной под Полтавою мы не получили бы!

— Так же нам надо любить и Иуду христопродавца,— подхватил монах Пафнутий,— потому что если бы он Христа не предал, тот не был бы распят, но он Христа предал иудеям на распятие и тем всему миру учинилось спасение.

— Подобно надо любить и Дьявола,— закричал купец Иван Короткий,— потому что Писание повествует, что часто и Дьявол причиной спасения бывает!

— Хорошо сплелся пятивенечный венец,— заключил Леонтий Магницкий,— то есть из пяти веников: еретик, неприятель-швед, изменник Мазепа, предатель Иуда и всему миру враг Дьявол. Пусть же равно с ними и Дмитрий почтется!

За сим православные разошлись по домам с веселыми сердцами, а Тверитинов в сопровождении Косого в глубокой грусти, ибо не увидел он у собеседников ни малейшей склонности обсуждать волнующие его проблемы, но только озлобленную защиту церковных догм. Дмитрий Евдокимович уже понял, что его пригласили не для рассуждения, а для обличения и подготовки обвинения. Так оно и было. Вскоре Ершов и Магницкий докладывали митрополиту Стефану Яворскому о содержании ереси и составе кружка еретиков, а местоблюститель патриаршего престола потребовал от них письменного доноса, чтобы дать делу ход.

По-видимому, Ершов оказался слишком осторожен, чтобы подавать первый донос в дело, задевающее фискалов, но верный Стефану Магницкий не унимался. Месяц спустя он нашел способ донести о ереси Тверитинова единственному присутствовавшему в Москве члену канцелярии Сената графу Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Граф пробовал было отмахнуться, считая дело несерьезным, но доносчик настаивал, что еретики уже не одну тысячу человек «прельстили», а Тверитинов является

сильнейшим полемистом. В доказательство Магницкий в тот же день принес графу список «тетрадей» Дмитрия Евдокимовича. Это была уже «бумага» и чиновник должен был как-то реагировать.

Первым делом Мусин-Пушкин вызвал начальника Печатного двора Поликарпова-Орлова и «обсудил» с ним тверитиновские выписки. Поликарпов был уже подготовлен Василием Семеновичем Ершовым, за несколько дней до того в доме подьячего Ф. В. Ожигальщикова усиленно призывавшего к диспуту с опасным смутьяном. Но и сейчас, огорошенный вопросом Мусина-Пушкина: «Слышал ли ты, Федор, что у нас умножилось иконоборцев?» — Поликарпов не спешил высказывать свое отношение к проповеди Тверитинова, о котором давно слышал и как о враче, и как о еретике.

«Слышал, что иконоборцев зело много, но подобает их обращать или непокорных наказывать?» — разумно вопросил Поликарпов начальство, которое само не знало ответа на этот вопрос, а стремилось лишь к спокойствию во вверенной ему Москве. Поликарпов в свою очередь отнюдь не рвался дискутировать в области богословия. «О новоизобретенных мирских делах или о науках каких могут быть диспутации невозбранно,— заметил он,— но если и те гражданству не противны; вера же христианская требует не многого испытания, но покорения». Тогда Мусин-Пушкин вызвал к себе Тверитинова, желая быстро и эффективно закончить дело.

Вопросив, что он там говорит народу о святых иконах, граф лично ввязался в спор с Дмитрием Евдокимовичем «чином диалектическим и аргументами». В разгар спора пришел Поликарпов, но благоразумно помалкивал. Меньше часа понадобилось, чтобы еретик «переговорил» Мусина-Пушкина и заставил его умолкнуть. Тут как раз доложили о приходе «некой знатной особы», и Мусин-Пушкин прервал беседу, заявив попросту: «Ты, Дмитрий, оставь сие мудрование и не соблазняй народа! А если ты сего не

оставишь, мы тебя предадим пыткам». Тверитинов удалился, указав графу, что его сиятельство само вызвало этот разговор, он же должен был из вежливости отвечать.

Несмотря на то что Мусину-Пушкину продолжали клеветать на Тверитинова, обвиняя его даже в поносных словах против графа, сенатор пригласил его на следующее утро и как врача, и как собеседника. Пока Дмитрий Евдокимович занимался лечением хворого хозяина, Поликарпов помогал графу спорить с еретиком. Беседа на этот раз продолжалась часа два, причем речи ортодоксов звучали «не без огня и иной ревности», слова же Дмитрия Евдокимовича «как тихая вода изливались языком льстивым и ласкательным».

Закончил разговор граф Мусин-Пушкин в своем духе, заявив в лице Тверитинова всем его единомышленникам: «Если впредь будете людей развращать или что-то противное правой вере разглашать — знайте, что подпадете без всякой пощады духовному суду и главной гражданской казни!» Однако Дмитрий Евдокимович вовсе не желал подвергать себя и товарищей преследованиям, давая лишнее оружие в руки противников свободной мысли. Он популярно объяснил графу, что отнюдь не защищает ничего противного святой церкви, но, собрав в «тетради» положения, приводимые против нее лютеранами и кальвинистами, желал бы получить на них разъяснения. Тут как раз к собеседникам присоединился ректор Славяно-греко-латинской академии архимандрит заиконоспасский Феофилакт Лопатинский, и Мусин-Пушкин рекомендовал Тверитинову получить все разъяснения у него.

Делать было нечего — пришлось Тверетинову участвовать в еще одном диспуте, устроенном вскоре в московском Симонове монастыре. Помимо него и главного оппонента Лопатинского присутствовали вице-губернатор Ершов, Магницкий, префект Академии Гавриил, симоновский архимандрит Петр, старец Пафнутий и множество иных монахов. Однако на этот раз Дмитрий Евдокимович имел

весьма серьезное основание не высказываться откровенно. Несмотря на то что присутствующие всеми силами принуждали Тверитинова развить аргументацию, хотя бы и в «чужом лице», он говорил настолько «осторожно и вежливо», что заслужил от православных не столько осуждение, сколько оправдание. Дело в том, что борьба против новоявленной «богомерзкой и богохульной ереси» развернулась к этому времени всерьез. Не дожидаясь результатов сбора обвинений в инакомыслии путем диспутов и домашних бесед, Стефан Яворский решил показать, как власти должны действовать в условиях объявленной свободы вероисповедания, и приказал арестовать одного из еретиков.

Москва и Петербург

Единомышленник и собеседник Тверитинова Иван Максимов, с которым Дмитрий Евдокимович любил беседовать по латыни, успел дойти до философского класса славяно-латинских школ при Заиконоспасском монастыре к 21 апреля 1713 года, когда Стефан Яворский начертал резолюцию на доносе префекта Иоасафа. Донос гласил, что Максимов неведомо от кого научился еретичеству и, оставив православие, «повергнул» многих своих товарищей в лютеранство и кальвинизм. Митрополит повелел допросить еретика в Духовном патриаршем приказе. На следующий день указ был выполнен, но Максимов начисто отрицал свою вину. Интересно, что, как и Тверитинов, он не надеялся, что на русского может распространяться объявленное царем право выбора веры и даже не пытался выдать себя за ортодоксального протестанта. Максимов ссылался на то, что ежегодно причащался святых тайн, ни в чем не расходился с православной церковью «и не учит на люторскую и кальвинскую веру». Отказался Максимов и назвать своих «сообщников».

Однако московское духовенство, выполняя точные приказы Яворского, развернуло энергичные сыскные дейст-

вия, давшие результаты. Через несколько дней в деле еретиков появились показания администраторов, учителей и учеников славяно-латинских школ — всего двадцати одного человека — и материалы обыска в доме Максимова, служившие для его «обличения». Митрополиту Стефану была передана также жалоба отца Ивана, попа Максима, с просьбой «довольно» наказать его сына. Заточенному в колодничьей палате на патриаршем дворе еретику было частным образом предложено признать вину и выдать сообщников, за что обещано помилование, а в противном случае — жестокие пытки. Максимов молчал, и на его деле появилась новая резолюция Яворского: «В розыск».

30 апреля 1713 года еретик был брошен в страшный застенок Преображенского приказа, ведавшего политическим розыском. Тут от понял смысл угрозы, что если не оговорит Тверитинова с товарищами — «то-де умрет на пытках». Первую пытку и допросы Максимов выдержал, признав лишь, что выражал сомнение в таинстве пресуществления спьяну, а о непоклонении иконам и мощам говорил, наслушавшись двух шведских пасторов в Нарве и Москве. Однако к 11 мая мастера заплечных дел добились подробных признательных показаний: князь Федор Юрьевич Ромодановский, кровожадности и жестокости которого удивлялся сам царь Петр Алексеевич, знал свое дело.

В «признании» Ивана Максимова практически ничего не говорится о сути его «злого и противного церкви святой смышления», которое еретик ныне «ногами попирает», зато по пунктам обвинены шесть «противников церкви святой» и дано обещание остальных «всех объявить и никого не покрыть». Максимов оговорил, причем с важными для дела подробностями, торговца Овощного ряда Никиту Мартынова, торгового человека Михаила Минина, фискала Михаила Андреевича Косого, цирюльника Фому Иванова и хлебопродавца Лариона Васильева. Главным ерети-

ком, как и планировалось клевретами митрополита, был назван Тверитинов.

«Из русских людей,— признавал Максимов,— лекарь Дмитрей Евдокимов самый первый начальник и учитель», соблазнивший остальных в свои ереси, тут же в показании перечисленные. Из остальных многих еретиков, в диком страхе перед пыткой писал Максимов, «ныне от скорби великой и от помрачения и забытия ума моего колико могох — толико упамятовал; а егда здрав буду — и иных припамятую». Посмотрев, что сделали с Максимовым, подробные показания дал и схваченный вскоре Никита Мартынов.

Поначалу он пробовал запираться, убеждая Ромодановского, будто общался с Максимовым лишь для совершенствования в самостоятельно изученной латинской грамоте. Затем рассказал о еретических проповедях Тверитинова в Овощном ряду, к которым был якобы непричастен, но вскоре сознался и в своем «великом сумнительстве» о поклонении иконам. Следствию этого показалось мало, и допрашиваемый добавил еще несколько обвинений в адрес Тверитинова. Теперь, когда Мартынов увяз, Ромодановский вырвал у него показания на лиц, упомянутых Максимовым — только на них, и не потому, что следствие никого более не подозревало, а скорее потому, что считало круг «злодеев» достаточным.

Совсем по-иному вел себя Фома Иванов, самолично явившийся в Преображенский приказ. Он начисто отверг причастность к ереси всех лиц, включая Максимова и Мартынова, знакомство с которыми объяснил тем, что они-де брились у него в знаменитой цирюльне на Всесвятском мосту.

Фома мужественно утверждал за собой право иметь евангельские взгляды: «Я написанным иконам и рукотворным образам, которые отлиты из злата и серебра и на камнях вырезаны, и телам, что называются святыми мощами, не поклоняюсь и их не почитаю. Тела и крови Христовой

Князь Я. Ф. Долгоруков

не почитаю и за истину не ставлю, святых тайн не причащаюсь и не исповедаюсь лет с двадцать, ибо читаю Писание, которое все это запрещает!»

Преображенский писарь с изумлением записывал подробное обоснование Фомой Ивановым его взглядов, а Ромодановский пришел даже в некоторую растерянность от такого оборота дела. На всякий случай он отправил Фому к митрополиту Стефану — не сможет ли тот «обратить» еретика. Яворский, разумеется, отослал цирюльника обратно в застенок, где уже томились родственники его, Яворского, врагов: жена и сын фискала Косого, жена фискала Минина, братья Тверитинова. Ромодановский

тщетно выпытывал у них местонахождение главных обвиняемых. У жены Косого Натальи ему удалось узнать, что в 1682 году (во время Московского восстания) Михаил Андреевич с десятью каменщиками был под арестом в приказе Каменных дел, оттуда попал в Сибирский приказ и затем в Сибирь «без розыску и без наказанья». В Сибири Косой провел пять лет, после чего по челобитью своей матери был возвращен в столицу. Немедля Ромодановский получил справки из старых приказных дел о том, что в Сибирь Косой попал за участие в народном восстании, а вернулся из Тобольска в Москву без отпускной грамоты. Это был уже криминал, который можно было использовать в политической игре против московских фискалов и их петербургских покровителей.

Ромодановский не докопался, правда, до того, что по возвращении из ссылки Косой поступил в стрелецкую службу и был верен «петровцам» при свержении царевны Софьи в 1689 году. Не знал он и главного — куда делись ныне фискалы и Тверитинов. А они, пока шел розыск, были уже в Санкт-Петербурге и жаловались на самоуправство московских властей самому первоприсутствующему члену правительствующего Сената князю Якову Федоровичу Долгорукову, человеку, привыкшему отстаивать свое мнение, невзирая на лица, в том числе августейшие.

Еще в 80-х годах XVII века Франция была потрясена смелостью, с которой русский посол Долгоруков говорил с «королем-солнцем». Гравюры с изображением могучей фигуры князя Якова в тот момент, когда он заявляет Людовику, что его не заботит королевский гнев, а испугать может лишь неисполнение долга перед Россией, дошли и до Испании, где русского посла ждала триумфальная встреча. Бывал Долгоруков и в других странах, не всегда добровольно, но постоянно встречая хороший прием. Взятому путем измены в плен шведами, ему пришлось захватить в Стокгольме неприятельский корабль, чтобы с отрядом освобожденных товарищей прорваться на родину.

Овеянный славой военных, административных и дипломатических успехов, осыпанный наградами и чинами, Яков Федорович не переставал резать правду-матку в глаза Петру I, который неоднократно приходил в ужасный гнев, но не мог удалить редкостно честного приближенного.

Выслушав московских еретиков, Долгоруков не стал узнавать ничьего мнения, а сказал попросту: «Надейтесь! Я вас оборону». И Косой с Тверитиновым и Мининым в безопасности зажили в столице. Купцы-фискалы, видимо, продолжали свои дела. Нашел практику и новых знакомых, в том числе «в верхах», Дмитрий Евдокимович. Он подружился с сенатором Михаилом Самариным и архимандритом александро-невским Феодосием, свободно рассуждал о религии в доме и загородной усадьбе вице-губернатора Курбатова, лечил комиссара Сергеева и других влиятельных лиц. Побывавший в столице Ершов хорошо запомнил, как Тверитинов, издеваясь над суевериями, от хохота повалился на постель дьяка Степана Тихменева, и другие подобные эпизоды.

Несмотря на разлуку с семьей и урон врачебной практике, Дмитрий Евдокимович не имел причин впадать в мрачное настроение, ибо Стефан Яворский и Ф. Ю. Ромодановский, потребовавшие прислать его с товарищами в Москву к розыску, получили из Петербурга суровый отказ. Кровожадный и вечно пьяный петровский любимчик «князь-кесарь» Ромодановский вызывал у сенаторов опасения, а у Долгорукова — омерзение. Хотя Т. Н. Стрешнев, Ф. М. Апраксин, А. Д. Меншиков и московский сенатор Мусин-Пушкин склонны были поддержать Яворского в пику своему «презусу» (первоприсутствующему в Сенате.— *А. Б.*) князю Якову, тот мигом окоротил их, напомнив, что местоблюститель патриаршего престола вызвал недавно высочайший гнев тем, что в проповедях не только противился царской воле, ругая фискалов, но хвалил и жалел уже находящегося за границей царевича Алексея Петрови-

Петербург XVIII века

ча! Сенат склонился перед Долгоруковым и утвердил желательный ему доклад Петру I.

Летом 1713 года велено было дело о еретиках со всеми обвиняемыми выслать в столицу для рассмотрения в Сенате. Митрополит Стефан пытался повлиять на решение правительства, направив 13 августа лично Петру послание, в котором хитроумно называл ересь раскольничеством, превозносящимся над «мудрейшими и смысленнейшими», угрожал «от малых сих искр большим пожаром» и повреждением души «верному народу». Однако Петр I не отреагировал на запугивание и предоставил Сенату вести дело своим чередом. А Сенат не видел смысла торопиться: принял дело и людей 20 сентября, постановил «роспросить их вновь» 30-го, «роспросил» 6 октября.

Школьник Иван Максимов сказал: «Пребывает-де он в православной христианской кафолической вере, и противности никакой не чинит, и противников-де никого не знает». Стоя перед сенаторами, обвиняемый заявил, что свидетели оклеветали его по указанию префекта Иоасафа, мстившего за поданную в 1712 году челобитную Максимова о незаконном удержании школьного жалованья префектом и архимандритом Феофилактом Лопатинским. А винился Иван и оговорил других в Преображенском приказе, обезумев от жестоких пыток.

Точно так же отказался от прежних показаний торговец Никита Мартынов, «признававшийся» Ромодановскому «в беспамятстве от страху». Такую же формулировку («на себя сказал в безпамятстве, в великом страхе») избрал цирюльник Фома Иванов, имевший достаточно времени, чтобы убедиться в бессмысленности открытого сопротивления. Показания всех трех лиц, присланных из Преображенского приказа, были в Сенате записаны гораздо подробнее и точнее, чем это сделали «мастера» Ромодановского.

Столь же подробную речь держал к сенаторам Тверитинов, подтвердив свое православие тем, что почти каждый год исповедуется и причащается. Что же касается диспутов, то они устраивались «за волею господина тайнаго советника графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина и за принуждением московскаго вице-губернатора господина Ершова. А в тех-де своих диспутах ни единаго слова не говорил он от своего смышления... И таковые диспуты имел он не противляяся святей соборной церкви... оговорясь, что он, Дмитрей, в лице люторском». Тверитинов указал, что и его оппонент Лопатинский выступал временами «в лице люторском», и рассказал о принуждении Лопатинским Ивана Максимова к клевете на него, Тверитинова. Немедленно заслушанный Максимов подтвердил, что его еще до пыток принуждали оклеветать Тверитинова.

Поскольку первое слушание прошло в пользу обвиня-

емых, Сенат тем более не стал торопиться с приговором. Только 7 ноября он заслушал показания фискала Михаила Минина, а 9 ноября — Михаила Косого. Оба подробно рассказали о знакомстве с другими обвиняемыми и подтвердили свое православие. Можно было бы замять дело, но Долгоруков закусил удила и жаждал полной победы. 5 февраля 1714 года в Москву была послана грамота с просьбой к митрополиту Стефану взять показания о Тверитинове у его духовника и приходского священника. Видимо, лица, которые должны были дать показания, были, с точки зрения Дмитрия Евдокимовича, вполне надежными, ибо показаний духовников других подозреваемых не запрашивали. Об этом говорит и содержание присланных показаний.

Священник церкви Успения Богородицы на Покровке в Котельниках Иван Семенов с причтом сказали, что Тверитинов, живя у них в приходе, прихаживал к литургии, вечерне и утрене, никакого противления Церкви не выказывая. Священник церкви Преображения на Глинищах Потапий Логинов сказал, что за последние годы (кроме 1712 г.) Тверитинов в Великие посты бывал у него на исповеди, не причащаясь святых тайн, в дом его призывал и принимал без противления, посещал церковные службы время от времени и противности догаматам церковным не выказывал. Вдобавок александро-невский архимандрит Феодосий Яновский подал в Сенат справку, что Тверитинов православен, в Великий пост 1714 года принял у него святое причастие.

«В прошлом 1713 году апреля в последних числах,— писал Тверитинов в Сенат 23 марта 1714 года,— оклеветан я в противности святой Церкви напрасно, а по тому делу и по допросам отца моего духовного и приходского священника с причетники противности во мне ко святой Церкви никакой не явилось. Да и в нынешнем 1714 году... святых таин сподобился... И из-за того неправеднаго оклеветания да повелит правительствующий Сенат дать мне великого государя указ для оправдания, чтобы мне в том злом имени

Митрополит Стефан Яворский

не быть и меня по тому делу учинить свободна. И о том правительствующий Сенат что повелит».

Третьего июня 1714 года сенаторы подписали приговор по делу еретиков. Фискалы были полностью выведены из-под удара и даже не упоминались, Тверитинов оправдан. Более того, митрополит Стефан обязывался в соборной церкви в торжественный день всенародно объявить Дмитрия Евдокимовича невиновным, «дабы тем объявлением об нем, Дмитрее, прежнее всенародное мнение искоренить, и учинить его свободным». Максимова и Мартыно-

ва митрополит должен был «освидетельствовать духовно, истинно ли они православную кафолическую веру содержат твердо», и, взяв у них письменные исповедания, в торжественный день в соборе «велеть им самим о себе объявить, что они в православной кафолической вере... пребывают твердо, без сомнения, дабы тем об них народное мнение искоренить, и потом учинить их свободных, и буде у кого дворы и животы отписаны — и те со описанием отдать им с росписками».

Одного лишь Фому Иванова, который «по розыску явился неисправен и под многим сомнением», требовалось прежде «исправить» и лишь затем позволить ему самому обличить в церкви «прежнее свое безумное сомнение... И как он то все сам о себе объявит — и ево тако же учинить свободным». Засим всех названных в приговоре в сопровождении урядника отослали в Москву, куда выехал и князь Яков Федорович Долгоруков занять по очереди место члена Московской сенатской канцелярии (а по мнению сторонников Яворского — для досаждения митрополиту). Борьба, казалось, кончена — но она только начиналась всерьез.

Князь Яков со своей прямотой хорош был в открытом споре, но не в церковной интриге. Присланных из Петербурга еретиков митрополит Стефан принял, как арестантов, и держал в заточении в строгой изоляции. Делая вид, что исполняет сенатский указ, Яворский принял от них исповедания, причем лишь Фома Иванов (согласно указу) слегка покаялся, а Тверитинов четко заявил, что «противности к святей Церкви во мне никакой не явилось». 19 июля митрополит наложил на исповедания резолюцию, что они должны быть объявлены в ближайший святой пост на Успение Богородицы.

Тем временем в канцелярии митрополита кипела работа над добытыми для Яворского «тетрадями» Тверитинова и

«листом», на котором Дмитрий Евдокимович кратко изложил содержание «тетрадей». Против каждого раздела выписок Тверитинова Яворский делал латинские замечания, согласно которым сотрудники изобличали затем тайные злодейские мысли еретика. Между 21 и 29 июля митрополит Стефан издал указ, будто бы рукописи Тверитинова свидетельствуют о его явном сопротивлении православной церкви, «безумные еретики» (кроме Иванова) вместо требовавшегося от них сенатским указом «покаяния» принесли ложные «исповедания» (здесь митрополит лукавит.— *А. Б.*); следовательно, необходимо продолжить сыск о ереси расспросами духовных отцов и приходских священников всех обвиняемых.

Незамедлительно изданное «Увещание к православным» было направлено персонально против Тверитинова. Видя в его победе на сенатском суде угрозу для прерогатив духовной власти, Стефан Яворский от имени освященного собора безапелляционно объявил Дмитрия Евдокимовича виновным. «Тверитинов лекарь телам, душам же губитель, который снаружи шкуру овчую являет, то есть благочестивым представляется, внутри же волк хищный, ересью помраченный, и иных многих тем же губительством повредивший, и ныне вредить не перестающий!»

На беззаконного злодея, лжеца и непокорного церкви еретика каждый православный обязывался доносить под страхом отлучения и проклятия. При этом Яворский лицемерно призывал «не думать, что сие увещевание есть страсть от ярости или ревности не по разуму», убеждал, что жестокость к еретикам есть обязанность доброго пастыря. Списки «Увещания» были немедленно расклеены на всех церковных дверях, но митрополит не стал дожидаться добровольных доносов. Уже 29 июля к нему доставили для допроса священников и дьяконов упоминавшихся приходских церквей, которые подтвердили свои прежние показания в пользу Тверитинова, но признали, что он держал в доме «лист» с библейскими заповедями. Это-то и

требовалось: префект славяно-латинских школ Гавриил тут же заявил, что «листу» Тверитинов кланялся вместо иконы и вообще «ожесточен в неверии». Еще более усугубил «иконоборческую» сторону ереси Тверитинова поп церкви Успения Богородицы и Николая Чудотворца Георгий Кириллов, также особо обративший внимание на «лист».

Видя, что расследование развивается в нужную сторону, Яворский занял твердую позицию по отношению к светской юрисдикции. Обращение Тверитинова на имя государя царя о незаконном содержании его в Духовном приказе, с просьбой об освобождении под расписку митрополит попросту «взял к делу»; а чтобы Долгоруков своей властью не освободил хотя бы Дмитрия Евдокимовича, Яворский 11 августа повелел скрытно разбросать «колодников» по подземельям разных московских монастырей. Заключенным было объявлено, что условием «соборного прощения и разрешения» может быть только «истинное о тех своих ересях покаяние». Каждый должен был сказать «от кого он тех ересей научился, и кого имянно научил, и сколько их, и где живут в таких же ересях пребывающие». Затем каждый должен был покаяться в винах и предоставить свою судьбу на благоусмотрение духовных властей.

Однако еретики стояли (хотя и сидели в темницах) крепко. 30 августа Иван Максимов демонстративно адресовал свою «истину и покаяние» архимандриту Андроникова монастыря, отметив, что пишет по царскому указу (а не повелению митрополита). «Я ересей ни от кого не учился, и еретичества за собой никакого не имею, и еретиков я не знаю», заявил узник. А покаяние он приносил в том, что, общаясь с лютеранами, «смутился» и хотел узнать от разных людей, как опровергнуть их мнение; православные «же возмнеша за то быти мя под сумнением». Теперь, придя в нищету и уже два года оторванный от «свободных наук», Максимов проклинает всякие рассуждения и разговоры.

Никита Мартынов твердо написал Стефану Яворскому, что признает основные православные догматы: «Иконоборства не имею, ересям не учился ни от кого, также и сам никаких людей не учил, и где живут проклятые еретики, не знаю». Дмитрий Тверитинов завернул еще круче, обвинив вице-губернатора Ершова, что тот «принудил меня диспуты иметь от лица лютерского, чином школьным». «И после тех диспут обнесен (оклеветан.— *А. Б.*) я к вашему архиерейству, будто держу предание люторского согласия, а не восточной Церкви, и для того разорен напрасно» (Тверитинов действительно был ограблен духовными властями, забравшими, в частности, его библиотеку). Дмитрий Евдокимович кратко проклял «иконоборную ересь» и пространно обличил клеветников.

Сильно подействовали утеснения на цирюльника Фому Иванова. Он также написал «покаяние», в котором в действительности отвергал все обвинения. Но деятельная натура требовала действия, ему трудно было заниматься увертками и притворством. Похоже, что клевреты митрополита учли горячий характер Иванова для устройства провокации. Его держали под рукой, в Чудовском монастыре, и намеренно унижали, таская в цепях на церковные службы. Кроме того, в келье узника каким-то образом оказался огромный нож-косарь. Утром 5 октября Иванов сумел тайно (!) пронести этот нож в церковь и в исступлении изрубил им обложенный серебром образ святого Алексея митрополита.

Образ находился перед правым клиросом за железной решеткой и добраться до него, а тем более изрубить его так основательно, как сделал Иванов, было нелегко. Оказалось, однако, что закованный в цепи узник во время заутрени стоял в этом месте один «и дотуду рубил и ломал, пока, услышав необычный стук, присутствующие в той церкви причетники, пономари и прочие, придя, не возбранили». Наконец-то русское «иконоборчество» выявило себя реальным поступком! Теперь Стефан Яворский, собравший

за четыре месяца около 80 доносов и распросных речей против Тверитинова с товарищами (доныне сохранилось 64 документа), мог начать над ними церковный суд.

Но Яков Федорович не дремал. Велев немедленно схватить Фому и доставить в застенок, князь, теперь уже пользуясь своей государственной властью, приказал привести туда же Тверитинова «и увещевати Фому ко благочестию». Так Долгоруков не только отделял Дмитрия Евдокимовича от явного иконоборца, но и оправдывал его как помогающего обратить еретика к благочестию. Среди московской партии начался переполох. Стольник Михайла Петрович Меньшой-Измайлов со всех ног кинулся из дворца Долгорукова к Ершову «и объявил о том их совете имянно, что они тем хотят спасти Димитрия от смерти и вины и что князь уже поехал в застенок!»

Ершов без лечения Тверитинова сильно страдал, особенно ногами, но пренебрег здоровьем и вскоре тоже прибыл в застенок. На Житном дворе, где велось разбирательство, Фома Иванов уже висел на дыбе, а Дмитрий Евдокимович «увещевал его ко благочестию».

«Что сие творится! — возопил вице-губернатор,— сатана или дьявол приводит во благочестие! Дело смеха достойное и на свете неслыханное! Или нет духовных и учительных персон, кому удобнее и приличнее увещевать, чем главному еретику!? По всему видно, что сие фикция есть, а не прямое дело!»

Крики Ершова взбесили Долгорукова, и он пошел вон, не сказав ни слова о том, как вести расследование и кончать розыск, даже куда заключить еретиков. Но клевреты Яворского и сами это знали. Посмеявшись над провалившимся замыслом сенатора, они 24 октября 1714 года организовали заседание освященного собора, пригласив на него множество светских лиц и самого Долгорукова.

«Я не поеду и архиереям сего чинить не велю!» — отвечал князь, но Яворский закусил удила, и его трудно было остановить. «Не возмог я больше ожидать их исправления

и истинного покаяния,— писал митрополит царю Петру о еретиках,— также и опасался, чтобы еще какого-нибудь лукавого дела на поругание святой апостольской церкви и на соблазн иным не сотворили. Того ради по общему архиереев зде (в Москве) сущих совету собралися мы в патриаршую Крестовую... явно их обличить и явно о них суд церковный по званию изречь».

Приговор освященного собора, развешанный вскоре на церковных дверях во всех московских приходах, объявил страшными врагами церкви «ересем начальника и лжеучителя их» Тверитинова, затем — Косого, якобы желавшего устроить против церкви такой бунт, как в Московское восстание 1682 года, и лишь в третьих — иконоборца Иванова. Они отлучались от церкви, предавались проклятию и выдавались для казни гражданскому суду. Максимов, Мартынов и Минин также «отдавались» в руки светской власти, которой рекомендовалось «богоненавистные еретические плевелы конечно истребити» и ни в коем случае не давать их «коварству» свободы, но не проклинались, «понеже они по делу сему ученики оных являются, а не ересеначальники и неизлиха ревнители сего злоумствования».

Освященный собор не особо задумывался, как его решение будет воспринято светской властью. Приговор Сената был отброшен с оскорбительной для правительства формулой, что еретики «суд гражданский обольстили». Но уже 28 октября, когда Стефан Яворский писал Петру I о своих деяниях относительно еретиков, митрополит явно боялся совершенного под его началом покушения на фискалов. Он понимал, что погорячился, когда предал проклятию еще и архимандрита основанного царем Александро-Невского монастыря Феодосия. К счастью, Стефан вовремя опомнился и не включил это проклятие в расклеенное на церковных дверях соборное постановление. В послании к Петру I Яворский вообще не упомянул об иных обвиняемых, кроме Иванова и Тверитинова, намеренно

поставив явного иконоборца на первое место. Подобный поступку Фомы Иванова бунт должен был разгневать государя. Митрополит рассчитывал, что убедит Петра, будто он действовал исключительно с санкции Сената и лично тайного советника князя Я. Ф. Долгорукова. Но Яворский просчитался.

Митрополит торжествовал победу, когда 29 ноября 1714 года Долгоруков и Салтыков приговорили сжечь Федора Иванова на Красной площади. Обоняя аромат горящего в срубе мяса, Стефан Яворский горделиво думал об унижении Долгорукова, нередко подавлявшего мощью своей личности самого царя. Он недооценил Якова Федоровича. Вскоре митрополиту было сообщено об указе Сената от 15 декабря о его незамедлительном приезде в Санкт-Петербург вместе с еретиками и всеми доказательствами по «делу о раскольниках». Яворский заметался. 23 декабря он написал Петру I прошение «уволить его от пребытия в Санкт-Петербург» и отпустить в Нежин для освящения новой церкви.

Заметались и другие лица, алкавшие крови еретиков. Михаил Андреевич Косой уже спешил на помощь заточенным единомышленникам. В то время когда Яворский собирал доносы на Тверитинова с товарищами, фискал успел обличить перед Петром казнокрадство ряда столичных чиновников, а когда государь убедился в точности его доносов — известил о хищениях вице-губернатора Ершова и Леонтия Магницкого в Москве. Ершову было велено незамедлительно явиться для расследования в Петербург, а Магницкий с сообщниками был отправлен в столицу под конвоем. Правда, Ершову и Магницкому удалось выйти сухими из воды, но нового сенатского суда над еретиками они дожидались с трепетом.

Монах Пафнутий, отданный под начало александроневскому архимандриту, плакался Магницкому в ужасе, что Феодосий его отравит. «Он есть политик,— успокаивал Магницкий, объясняя Пафнутию нрав Феодосия,— явно

зла не сотворит, только надобно с ним обхождение иметь опасное и жить с ним не явно в противность, но лицемерно... и объявил ему, Пафнутию, что он, Феодосий, ему, Магницкому, издавна есть друг». Пока «друга» не удалось уничтожить, Магницкий рекомендовал Пафнутию у Феодосия «жить лицемерно вместо шпика».

Столица была пронизана слухами, что еще неизвестно, кто победит на суде — православные или еретики. Однажды дневальный подьячий Юрия Нелединского дал знать Ершову, Магницкому, Пафнутию и златоустовскому архимандриту Антонию, будто генерал-адмирал Ф. М. Апраксин говорил его хозяину с великой тугою и сожалением: «Я подлинно знаю, что напрасно царскому величеству бунтовщиками оклеветаны митрополит рязанский и с ним человек со сто — подлинно напрасно пропадают!» — и, пав головой на стол, сенатор плакал о судьбе Яворского и его сторонников.

Люди Яворского старались сохранить в тайне эти ужасные вести, чтобы не запугать других, но рассуждали между собой, «яко не просто адмирал плакал, знатно-де царское величество оную клевету принял — и были в страхе. И в те же дни подал Димитрий еретик к делу доношение, что и сам митрополит рязанский еретическую книгу напечатал». Так оно и было — если Прокопович склонялся к протестантизму, то Яворский — к католицизму. Все, кто обвинял еретиков, сами, с точки зрения ортодоксального православия, были нечисты. Но участники дела трепетали не из-за богословия, а в неведении исхода придворной борьбы, где столкнулись сенаторы Долгоруков и Самарин с одной стороны, Меншиков, Апраксин, Мусин-Пушкин и Стрешнев — с другой. Петр I держался в стороне от этого дела, как подозревали клевреты Яворского — для того, чтобы «устраниться от всенародного мнения», в действительности желая осуждения местоблюстителя патриаршего престола Стефана как противника царской воли.

«1715 году марта в 21-й день в канцелярии Сената был консилиум и слушали дела иконоборного, по которому держится лекарь Дмитрий Тверитинов с товарищи. А в том консилиуме были: преосвященный Стефан митрополит рязанский и муромский; боярин князь Петр Иванович Прозоровский; сенаторы и тайные советники: генерал-плениипотенциар криге-комиссар князь Яков Федорович Долгорукой, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Тихон Никитич Стрешнев, генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин; фельдмаршалы: Борис Петрович Шереметев, светлейший князь Александр Данилович Меншиков; государственный канцлер граф Гаврило Иванович Головкин; действительный статский советник князь Григорий Федорович Долгорукой; сенатор князь Михайло Володимерович Долгорукой; подканцлер барон Петр Павлович Шафиров; тайный советник Петр Андреевич Толстой; сенатор Михайло Михайлович Самарин; губернаторы: киевский князь Дмитрий Михайлович Голицын, московский Алексей Петрович Салтыков, казанский Петр Самойлович Салтыков».

Петр I был в Петергофе. В палате, где заседал Сенат, по его приказу собрались штатские и военные чины. Мундиры разных родов сухопутных войск мешались с военно-морскими. Им противостояли сутаны спутников Яворского: архимандритов и иеромонахов, монахов и священников. Более ста персон: сенаторы, фельдмаршалы, генералы, бригадиры, губернаторы и вице-губернаторы — едва вмещались в палате. Большинство стояло, ибо сесть было негде. Атмосфера была накалена. В протоколе сенатского консилиума, продолжавшегося довольно долго, сказано лишь, что Стефан Яворский предъявил «тетради», «лист» и лютеранский катехизис, причем взятые не у Тверитинова, а в доме Михаила Андреевича Косого, у златоустовского архимандрита Антония и старца Пафнутия.

Писари попросту не могли зафиксировать на бумаге бóльшую часть высказываний, ибо заседание с самого начала шло «не мирно и не чинно». Светские лица ревностно

поносили и укоряли митрополита рязанского в злобе, гордыне, клевете и подкупе свидетелей, посягательстве на фискалов. Глотки военных отнюдь не уступали духовным в зычности «бесчинного крика». Яворский вынужден был оправдываться в распространении еретической книги. «Вы в тех делах не судьи,— кричал он в ответ сенаторам,— судить вам только тех надлежит, кого мы пришлем вам, уже духовно осудив, как Дмитрия. А вы хотите и нас судить — это не в вашей должности! Меня и эту книгу пусть судит духовенство, а не вы!»

Слова Яворского тонули в возмущенных криках, так что их часто и не понять было. Только Меншиков и Апраксин «говорили многие извинения» митрополиту и напоминали собравшимся, «что царское величество повелел по настоящему делу суд творити», то есть судить еретиков, а не Яворского. Они шесть раз удерживали митрополита, порывавшегося в великом гневе и раздражении выйти из канцелярии Сената. Видя критическое положение владыки, иеродьякон Пафнутий начал во весь голос кричать: «Господа, послушайте!» Так он кричал раз двадцать, пока не установилась относительная тишина.

— Сей еретик,— закричал Пафнутий, тыча пальцем в Тверитинова,— не только матери нашей церкви враг, но и всему государству Всероссийскому превеликий злодей!

Немедленно в душном, набитом разгоряченными людьми зале установилось молчание. Все знали тяжесть подобного обвинения.

— Сие слово великое и тяжкое есть,— произнес боярин Тихон Никитич Стрешнев в полной тишине,— надобно его рассмотреть.

— Скажи нам,— презрительно бросил Пафнутию Долгоруков,— как он всему государству злодей? Чернечишко, плут,— заметил князь через некоторое время, когда Пафнутий указал места в «тетрадях» Тверитинова, которые могли, при больном воображении, толковаться против России,— ты за склянку вина душу свою продашь!

Шум и крики возобновились и продолжались уже до конца заседания. Петр I, которому Меншиков и Апраксин не преминули донести о событиях, своей рукой написал сенаторам, чтобы вести суд правильный, по предложенному делу не отвлекаясь и благочинно, без крика. Послание возымело эффект. На следующий день, 22 марта, в протоколе сенатского консилиума появились связные записи, хотя сам Меншиков не удержался от перепалки с Тверитиновым, причем не в силах «препреть еретика», пришел в такой раж, что завопил, обращаясь к Сенату: «Дайте мне его в застенок — одним часом правду сыщу!»

Пламенные обличения свидетелей обвинения разбивались о тот факт, что Тверитинов и Косой не отрицали принадлежности им «листов» и «тетрадей», но не признавали их доказательствами еретичества. Сильное впечатление произвел на присутствующих безыскусный рассказ Максимова о том, как ему под пытками предложили оговорить «еретиков» по заранее составленному кем-то списку.

К третьему заседанию, 28 марта, люди Яворского приготовили два послания новгородского митрополита Иова в поддержку борьбы с еретиками и начали поиски некоего еретического письма Михаила Косого Тверитинову. На заседании вновь развернулась баталия между Долгоруковым и его друзьями — и придворной группировкой Меншикова, Апраксина и Головкина. Свидетели споров столь высоких персон содрогались от града обвинений, «противных и досадительных речений», обрушиваемых ими друг на друга. Если бы не влияние на ход дела Петра I, который «просто повелел судить» и стал на сторону Яворского, «то бы конечно православных сторону клеветой учинили виноватой, и было бы многое кровопролитие, и безвинное многим живота лишение», писал перепуганный Магницкий.

Долгоруков не желал «просто судить» (или яснее — просто засудить) Тверитинова и Косого с товарищами. Потому по их челобитной он добился царского разрешения дать всем подсудимым очные ставки со свидетелями обви-

нения, пообещав Петру I, что «в тех очных ставках явится от многих противность к его царскому величеству». Мнение судей все более клонилось на сторону обвиняемых, и 13 мая, когда было назначено слушание в Сенате очных ставок, Стефан Яворский был с позором изгнан с заседания.

— Чего ради прибыл без повестки?! — закричали сенаторы, когда митрополит вслед за свидетелями вошел в зал.— Когда будешь извещен, тогда и приезжай!

— Повещено мне именным указом его величества из Москвы ради сего дела прибыть, и сих церковных сынов и верных беззлобных овец,— говорил Яворский, показывая на свидетелей обвинения,— должен я не оставить.

— Они сами за себя могут говорить, а тебе дела нет!

— По сему церковному делу моя должность больше, чем ваша. Для чего с такими явными и сущими еретиками каждого свидетеля особо, как овечку перед волком, ставить? Да еще без пастыря? Нет, я буду присутствовать и их не оставлю!

— Ты поди вон, а очным ставкам не мешай! — дружно закричал Сенат.

— Очным ставкам мешать не буду, а присутствовать буду и не уйду, если силой меня не изгоните! — твердил Яворский в ответ на брань и укоризны.

Но крики «Поди вон!» усиливались, и митрополиту вместе с сопровождавшими его духовными персонами пришлось уйти.

— Побегите и слушайте,— крикнул Долгоруков секретарям,— что архиерей к народу говорит!

— Ничего не говорит, только плачет,— сказали секретари, проводившие Яворского до кареты.

— Что с ним делать? — сокрушенно вопросил коллег Долгоруков, не поймавший митрополита на призыве к возмущению.— Он нас, почитай, проклял, да еще и нажалуется государю, что мы его выгнали!

Яворский, конечно, нажаловался, но Сенат был не лы-

ком шит: сообщил Петру, что слушались другие дела, а митрополит пришел и стал мешать, потому и велели ему выйти вон; к тому же митрополит сердит, горд и упрям, дело при нем вести невозможно. Петр I велел слушать очные ставки без митрополита, чем поверг сторонников Яворского в леденящий ужас. Магницкий метнулся на поклон к обер-фискалу Нестерову, имевшему зуб на Косого. Василий Ершов, Антоний архимандрит златоустовский и иеродьякон Пафнутий, в свою очередь, умоляли Магницкого, выступавшего на очной ставке первым, «чтобы по своему острожелчию кого из знатных в Сенате не обесчестил и говорил бы со смирением», иначе всех подведешь «и сам прежде всех погибнешь!»

«Ну, Магницкий, для чего вы ложно свидетельствовали на Димитрия с товарищами, будто они еретики?» — задал первый вопрос Долгоруков на заседании 16 мая.

Преодолевая «великое зазрение и страх, не помня себя в дисперации от страха», Магницкий все же начал пространно вещать о ереси Тверитинова и даже, когда Долгоруков и Самарин заспорили с обер-секретарем Щукиным, Головкиным и Апраксиным, обругал князя Якова Федоровича за «неправый доклад» государю. Тут Магницкий чуть не умер от страха, но грозы не последовало, поскольку Долгоруков любил смелое слово. Магницкий не понимал, почему «такой гордый и высококредитный, к тому еще злобный, а против таких слов умолчал», но, видя Долгорукова «не гневающегося», продолжил обличения.

Лишь один раз князь прервал долгую речь свидетеля: «Доколе ему проповедь перед нами говорить, слово в слово как проповедь!» Но говорить не запретил.

Терпеливо слушал Магницкого и Тверитинов, лишь один раз, по требованию Апраксина, задавший свидетелю обвинения вопрос по существу: «Видел ли ты меня когда-нибудь в церкви?» Магницкий вынужден был признать, что Тверитинов ходит в церковь, и смог ответить на этот разительный аргумент против обвинения в еретичестве лишь

бранью. Общее настроение сенаторов было таково, что Мусин-Пушкин с перепугу начал отрицать, что дискутировал с Тверитиновым и вообще видел его «тетради». Магницкий вызвал смех сенаторов, приперев Мусина-Пушкина к стенке ссылками на многочисленных свидетелей, и насмешил еще больше, назвав слова апостола Павла «Божиим указом»: «Благодарим за такие повести»,— сказали присутствующие, прерывая многочасовую речь Магницкого.

В протокол было записано возражение Тверитинова, что описанные свидетелем диспуты были организованы группой сторонников Яворского с целью обвинения фискалов. Замешанный в этом деле Ершов испугался очной ставки и умолил сенаторов позволить ему ответить на обвинения Тверитинова письменно. Вице-губернатор над своим ответом «трудился с великим трудом дней с пять», впрочем, без особого успеха. Очные ставки Тверитинова со свидетелями обвинения длились до 22 июля 1715 года и, по-видимому, не дали оснований к осуждению еретика.

Успеха добился Магницкий, по доверенности с которым обер-фискал Нестеров сделал в Сенате заявление о наличии у некоторого лица обличающего Косого письма. Сенат дал санкцию на обыск, и письмо (вопросы и ответы о вере) было изъято. Как и рассчитывали Магницкий с Нестеровым, письменный документ был для сенаторов многократно важнее словопрений. На этом дело могло бы и кончиться, если бы Долгоруков не приостановил его производство. Но люди Яворского и сам местоблюститель патриаршего престола не унимались. 22 января 1716 года они добились от Петра I именного указа с ясно сформулированным обвинительным приговором еретикам.

«Указ господам Сенату. По делу Дмитрея Тверитинова, розыскав, и оное конечно вершить, и которые по тому делу приносят или принесут вины свои, тех разослать к архиереом в служение при их домах, и чтобы они (архиереи.— *А. Б.)* имели за ними крепкий присмотр, дабы они непоколеблемы были в вере. А которые не принесут вин

КАМЕНЬ ВѢРЫ

«Камень веры» Стефана Яворского

своих, и тех казнить смертию. Под тем приписано его царского величества собственною рукою: Петр».

Долгоруков не подчинился и этому указу. 5 мая 1716 года граф Апраксин специально донес Петру I, что дело о «злодействах» Тверитинова с товарищами «так долгое время и до сего числа не только не завершено, но и не слушано и не разыскивано за самовластной противностью

господина сенатора, генерала-пленипотенциара крикс-комиссара князя Долгорукова, который неединократно при других господах сенаторах и при господине генеральном ревизоре бригадире Зотове говорил, что-де я того дела слушать и вершить не хочу и в том ответ дам я».

Долгоруков так и не позволил Сенату осудить еретиков. 29 ноября 1717 года трое — Тверитинов, часовщик Кудрин и торговец Мартынов — были осуждены именным указом Петра I: «лекарю Дмитрею Тверитинову быть в доме преосвященного Стефана, митрополита рязанского и муромского, в лекарской службе, а часовника Кудрина и купецкого сына Мартынова послать к другим архиереям и велети им быть у них в службах, по их рассмотрениям». Долгая борьба между Москвой и Петербургом завершилась своеобразным перемирием: против Тверитинова и его товарищей не было выдвинуто никаких обвинений и архиереям предлагалось попросту наблюдать за отданными им в службу: «ежели у них в православной христианской вере есть какое сомнение, и от того их сомнения отводить и за ними того велеть смотреть». Разумеется, Тверитинову, Кудрину и Мартынову от этого было не легче.

Но Тверитинов не сдавался. Он боролся еще многие годы, пока 1 февраля 1723 года святейший Синод не принял определение о снятии с него церковного отлучения и проклятия. Уже 10 февраля в московском Успенском соборе Дмитрий Евдокимович торжественно прочитал свое «исповедание веры», отрекаясь не от еретических взглядов, а от того лишь, что некогда вел диспуты «от стороны лютерской». Приобщаясь к православной церкви, Тверитинов зарекался на будущее рассуждать о религии. Одновременно он просил вычеркнуть упоминание о нем в книге Яворского «Камень веры».

Эта просьба выполнена не была. Напротив, при издании «Камня веры» в 1728 году в предисловии Феофилакта Лопатинского: «Сказание о творце книги сея... вина и случай написания сей книги» — подробно рассказывалось о

деле против еретиков во главе с Тверитиновым. Но указом святейшего Синода было запрещено проклинать Дмитрия Евдокимовича и его товарищей в московских церквах. После того как Тверитинов умолк, борьба развернулась с новой силой. В городе Серпухове последователи еретика жили «во всяком довольстве потому, что они друг друга снабдевают». Группа еретиков-иконоборцев во главе с Настасьей Зимихиной подверглась гонениям ортодоксов; в 1724 году та же участь постигла Алексея Попова; в 1726 году еретика Артемия Иванова изловили в Астрахани. «Камень веры», изданный большим по тем временам тиражом в 1200 экземпляров, имел такую популярность, что в 1729 году потребовалось его переиздание.

Многим импонировало убеждение Яворского, что единственным наказанием еретикам должна быть смерть, более того, «самим еретикам полезно умереть». Но лютая нетерпимость к инакомыслию оборачивалась и против самого автора «Камня веры». Тверитинов освободился от отлучения почти немедленно после кончины митрополита 27 ноября 1722 года. В 1731 году в осуждение взглядов Стефана напечатано латинское сочинение Мосгейма; доминиканец Рибейра еще более усугубил обвинения Яворского в пристрастии к католичеству, пытаясь защитить его в другом латинском трактате. На протяжении царствования императрицы Анны Иоанновны «Камень веры» считался запрещенной книгой. Когда в 1740 году Феофилакт Лопатинский выступил в полемике в защиту Яворского с сочинением «Апокризис, или Ответ на писание ответно Франциска Буддея», он подвергся преследованиям со стороны Бирона. Только Анна Леопольдовна возвратила Лопатинского из заключения и вернула ему архиерейский сан, в котором Феофилакт вскоре умер (6 мая 1741 года). Взаимоистребление верующих по обвинению в ереси «неукротимо продолжалося».

Глава 9

Крепостной мыслитель Федор Подшивалов

Извозчики.
Париж начала XIX в.

«Крепостные (крепостное состояние). Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить с первого взгляда».

А. Х. Бенкендорф

В 1827 году, когда граф Бенкендорф включил сие наблюдение в ежегодный отчет III отделения е. и. в. канцелярии и корпуса жандармов (опубликованный в «Красном архиве» № 6 за 1929 год), он был не одинок в своем мнении. К чести русского дворянства следует заметить, что оно уже начало поворачиваться к «простонародной», крестьянской культуре, сознательно знакомиться с мыслями и чувствованиями крепостных. Мало кто, однако, догадался заглянуть с этой целью в свою лакейскую. Оторванные от земли и презираемые «дворовые» крепостные, все эти Ваньки, Митьки, Петьки и Палашки, назначенные подать барину платье, стянуть сапоги и принести свечу, даже в прогрессивной литературе остались в образе (в лучшем случае) верных псов, забавлявших героев-бар своими прибаутками или ворчанием, а также смешными разговорами на кухне.

На такую кухню в санкт-петербургском доме его сиятельства графа Румянцева мы и проследуем. В начале мая 1830 года двое крепостных Румянцева — официант Григорий Иванов и повар Леонтий Дмитриев — беседовали здесь с крепостным поваром князя А. Я. Лобанова-Ростовского Федором Подшиваловым, служившим «по паспорту» от хозяина у конной гвардии полковника Захоржевского. Если бы хозяева услышали разговор дворо-

Крестьянские дети

вых, то не нашли бы причин для смеха. Слуги энергично спорили о прочитанных ими книгах Вольтера, Мильтона и других авторов, которые нравились Иванову и Дмитриеву, а Подшивалову казались исполненными пустяков.

«Ты сумасшедший!» — говорили слуги Румянцева Подшивалову.

«Нет,— оправдывался он,— просто я не могу найти в книгах ответов на вопросы, которые занимают меня дни и ночи. С марта месяца сего года силился я слабым моим

рассудком постигнуть начала или причины бедствий рода человеческого, и в особенности народов, страждущих от деспотизма. От непросвещения ли людей это происходит, или законы Божеские и гражданские, обуздывая греховные страсти, были тому причиной? Размышляя о сем предмете, искал я книг и сочинений, которые бы способствовали достижению моей цели. Но ни одной книги еще я не нашел такой, чтобы с моими мнениями была сходна».— Подшивалов умолк, но товарищи еще раз дружно заявили, что он совсем сдурел, рассуждая о подобных предметах. Не найдя понимания и здесь, Федор поплелся домой, в каморку, которую снимал у прачки.

Мысли его неслись вихрем, не давая спать. Все тридцать шесть лет, прожитых Подшиваловым, были проведены в рабстве. Он помнил себя с семилетнего возраста. Мать была крепостной, бродячей солдаткой, жила с младенцем Федором нищей при дороге. Ей повезло — крепкий хозяйственный мужик Иван Подшивалов, державший харчевню и питейный дом в одном из сел Вяземского округа Смоленской губернии, взял нищенку в работницы. Вскоре они стали жить как муж с женой. Подшивалов считал ребенка за своего, а мать Федора в короткое время родила еще одного сына и четырех дочерей. Все они по отцу были крепостными княгини Александры Николаевны Лобановой-Ростовской.

Хозяйка не наезжала в село, где полновластно распоряжался управитель Гамов, требовавший с отца Федора все больше и больше денег. Пришло время, когда Иван Подшивалов не мог уже удовлетворить алчность управителя — семья умножилась, дети подросли, требовали пищи, одежды, обуви... Федор помнил, как Гамов приказывал при каждом месячном отчете бить отца и мать немилосердно розгами, батогами, кнутами. Дети кричали и плакали, желая жалостными воплями и слезами подвигнуть мучителя их родителей к милосердию — но тщетно.

«В чем вы повинны?» — спрашивали дети родителей. «Богу весть, дитятко,— отвечали те,— что делать, Бог терпел и нам велел». Безропотно снося побои, отец Федора заболел чахоткой. Видя, что может утратить источник дохода, управляющий перевел Ивана Подшивалова на оброк, но поздно — спустя год мужик помер. Мать пошла работать в солдатский дом. Семья жила голодно, но Федор смог целый год проучиться в приходской школе. Несчастья не прекращались. Сестра Подшивалова прогневала управителя, и тот отправил ее скованной в самую трудную и черную работу на винокуренный завод, где утром и вечером ее ежедневно секли розгами.

Однажды сестра сумела сбежать в другое село, к тетке. Тогда на допрос поволокли мать Федора. Управляющий допрашивал ее с разнообразными и мучительными пытками, надев на шею рогатки и забив ноги в колодки. На шею матери к тому же повесили цепь с замком, а другой конец цепи был вбит в плаху весом до двух пудов. Страшные картины одна за другой проходили перед мысленным взором крепостного повара, метавшегося на своей жесткой постели.

«Боги праведные! — взывал Подшивалов.— Избавьте от этого мучительного Бога, который всем велел терпеть и мучаться! Владыка всемогущий, когда ты пошлешь прекратить несчастное сие наследство, а ты, мучитель, доколе еще будешь путать род человеческий в своих сетях и слепить, как лягушек болотных? Нет, время уже прекратить сие мучение!»

«Какими я должен почитать родителей своих? — вопрошал себя крепостной.— Не иначе как медведями и извергами детей своих, ибо они сызмальства вколачивали нам в голову такую чепуху, что есть сатана, который в будущем веке будет нас варить в котлах. За что же, спроси? Чтобы повиновались здесь своим господам, которые и на этом свете не позабывают нас потчевать дубиною!»

Эту дубину Подшивалов хорошо прочувствовал с детства. На десятом году жизни приказчик отдал его в ткацкую фабрику. Через год голодный и постоянно избиваемый мальчишка уже стоял за станком, изготовляя ровное пятичетвертное полотно. На четырнадцатом году от непосильной работы и постоянного страха наказания он начал харкать кровью. Так продолжалось еще около года. В отчаянии Федор вызвался поехать в Петербург, куда хозяин велел отправить крепостного для научения поварскому искусству. Видя, что на фабрике Подшивалов все равно скоро помрет, управляющий отпустил его в столицу, в кухню князя Андрея Николаевича Долгорукова.

Жизнь дворни тоже была нелегка, но за год учения толковый парнишка немного оправился. Тогда его отдали в поварскую службу к итальянцу Деликати и мамзель Терезе, мучения слуг которых тщетно вопияли к небу. Хозяин бил слугу ножом, хозяйка избивала ежедневно. Однажды мамзель Тереза била Федора столь остервенело, что забрызгала кровью всю комнату. Так продолжалось четыре с половиной года. Наконец итальянец уехал, а крепостного возвратили в Смоленскую губернию в село Александровское, где жила тогда княгиня Лобанова-Ростовская.

Через год княгиня уступила дворового повара графу Н. П. Панину в село Дугино. Спустя два года Подшивалов был послан «по паспорту» на заработки в Москву, где служил у «высокопревосходительной старушки» М. Я. Салтыковой и других хозяев еще почти два года, после чего был возвращен в деревню.

Немалые события происходили за те годы в мире. Наполеон побывал в Москве, а русские войска — в Париже, народ совершал великие подвиги, карта Европы перекраивалась, но Подшивалов и его товарищи знали лишь кухню, лакейскую и конюшни, где их пороли. Петербург ли, Москва или деревня — везде Федор видел лишь кошмарные картины рабства. Правда, молодой

князь, вновь взявший повара в Петербург, сделался нездоров и поехал лечиться в Париж. Но после долгого путешествия через Мариенбад и Францбрун Подшивалов пробыл во французской столице всего три недели. Лобанов-Ростовский решил, что повар в его дворне излишен, и отправил Федора морем в Петербург, куда тот и доплыл за 33 дня, чуть не погибнув в четырехдневном шторме.

Год Подшивалов «по паспорту» проработал на князя А. П. Гагарина, пока возвратившийся князь не взял обратно свое живое имущество. Однако в Петербурге Лобанов-Ростовский скучал и вновь поехал в Париж. Подшивалов готовил ему яства до Германии, откуда был отослан назад. В Петербурге, служа у лейб-драгунского офицера Трейлебена, Федор был свидетелем восстания декабристов. Тут вскоре вернулся князь и взял повара с собой в Москву на коронацию Николая I, а при возвращении своем в столицу года на полтора сдал Подшивалова внаем в Москве.

Так многие годы передавался крепостной, как вещь, из рук в руки. «Что вы пожелаете с нами делать, то и делаете,— думал Подшивалов о своих многочисленных хозяевах.— Вы вольны в моем имуществе и даже в теле. И душа нередко вам попадается в жертву. И переносит иной не меньше Иисуса, только-только на кресте не бывает». Впрочем, «из господ есть и таких много, которые дерут с подданного шкуру розгами и плетьми, растянувши как Христа... Оный стонет болезненным и жалостным сострадательным голосом, желает, как бы скорее господина своего подвигнуть к жалости и освободиться от терпимого им мучения. А господин, вместо того чтобы сжалиться, во время истязания бьет его палкою по голове и по плечам и концом оной заграждает ему уста, дабы он не отвечал ему истины. Ибо всякий господин еще малолетний приучен, чтобы подданный не отвечал ему правды».

Почему люди должны терпеть на земле смертную муку и жить в аду, из которого один выход — в могилу?

«Откуда еще глупость взята продавать и покупать тварей, подобных самим себе? Откудова этот манер взяли? Должно быть, от Иосифовых братьев, которые продали брата своего Иосифа в Египет». Господа в этом случае «играют роль Иуды. А которого продают — тот занимает роль Исуса Христа и мучается до тех пор, покудова перепродадут другому мучителю, и так — третьему. И до тех пор переходит из рук в руки, покудова от несносного человеку труда и разнообразных мук помирает. Только при смерти радуется, что прямехонько в рай, то есть в будущий век, приготовленный могилокопателями».

Подшивалов не мог понять, почему, в силу какого закона барин проматывает в разврате и проигрывает в карты приобретенное тысячами людей, работающих в кровавом поте лица своего, почему «один скачет, а тысячи плачут»? «Первый не знает, куда расточить ваши трудами приобретенные имения, а последний средств не изберет, откудова бы достать оные. Видите ли, первый делает бал, а с последнего дерут шкуру за недоимки оброка. Первый едет лечиться на теплые воды от болезни, причиненной ему от излишнего роскошества, а последний и тут неправ: он должен дать денег ему на излечение. Первый, не дожимши до своего времени, от непомерной роскоши переселяется в прежнее свое жилище (т. е. в землю.— *А. Б.*), а последний тоже ему следует от непомерных трудов».

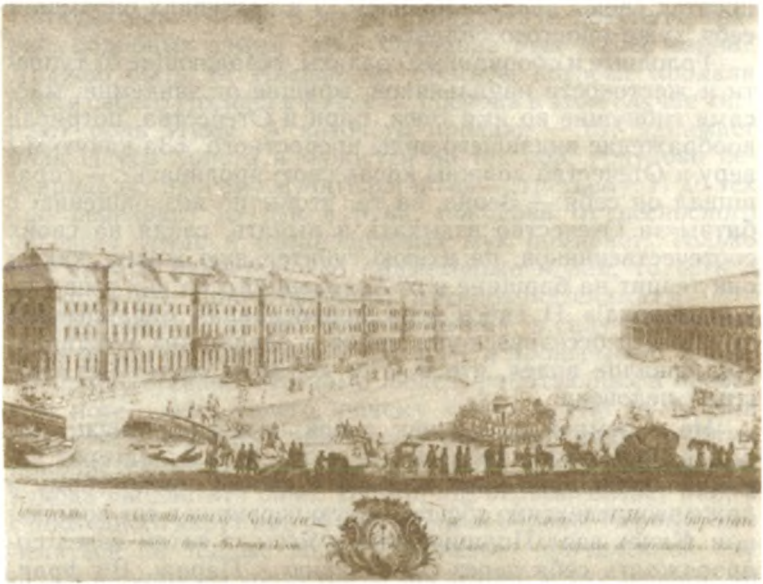
К 1828 году Подшивалов побывал во всех кругах земного крепостнического ада, кроме солдатчины. Но тут его хозяин как раз отправился в поход в турецкую кампанию, прихватив собственного повара. Федор побывал под Журжой и Рущуком, Туртукаем и Браиловым. Он насмотрелся на офицеров, которым приходилось не болтать в столичных гостиных, а командовать людьми, «испытанными в практике и довольно перенесшими худа и добра». Среди этих «теперешних наших природных благородиев нередко случается,— думал Подшивалов,— что происходит какой-нибудь глупец или и совсем дурак, только и пре-

носится своим происхождением, а в поступках оказывает себя хуже простого солдата».

Голодные и оборванные солдаты, страдающие от тупости и жестокости начальников, мрущие от эпидемий, массами гибнущие во имя Бога, царя и Отечества, потрясли воображение видавшего виды крепостного. «За какую мы веру и Отечество должны кровь свою проливать? — спрашивал он себя.— Верно, за то, чтобы по возвращению с битвы за Отечество вздыхать и рыдать, глядя на своих соотечественников, на ихнюю губительную жизнь, какую они терпят на барщине и от наложенного на них господином оброка!» И здесь вера православная оправдывала терпение и бессловесность рабов в солдатских мундирах. Подшивалов видел, что в этом «Старом свете» нет спасения человеку.

Но в земной ад проник лучик надежды. Князь Лобанов-Ростовский, заболев при смотре войск в лагерях ногами, неожиданно явил милость к своему крепостному и даже неопределенно обещал некую перемену в его положении. Князь взял Подшивалова в Яссы, а затем велел сопровождать себя через Швейцарию в Париж. Во французской столице приезжие остановились на улице Рю Солезар. Федор тщательно ухаживал за больным хозяином. Немного оправившись и отдохнув, князь забыл свои обещания и отдал Подшивалова учиться изготовлять сухие пирожные, которыми желал лакомиться в России.

Воздух свободы пьянил крепостного. Он нагрубил князю и пошел во французскую полицию, чтобы просить убежища. Но по дороге Подшивалов заколебался. Он вспомнил, что никогда уже не сможет возвратиться домой и увидеть родину. В конце концов любовь к России возобладала: Федор вернулся к князю и попросил у него прощения за дерзость. Лобанов-Ростовский немедленно отправил крепостного на родину, не пожалев даже денег на дилижанс и обещая полное прощение, если ценный раб доедет до России.



Санкт-Петербург

Подшивалов оправдал ожидания хозяина и явился в Петербург к брату князя. Но жить в мире крепостных и хозяев стало для него невыносимым. Возмущение мыслей и чувств было так велико, что дворовый тяжко заболел и три месяца пролежал в Обуховской больнице в жестокой лихорадке. Немного оправившись, он нанялся к полковнику Захоржевскому, ибо должен был зарабатывать деньги на оброк Лобанову-Ростовскому.

Смятение мыслей не утихало. Где правда? Что есть Бог и что есть Человек? Кто спасет миллионы рабов от уготованного им на земле ада? Ни книги, ни люди не давали ответов. Ночью, после разговора с крепостными гра-

фа Румянцева, когда Подшивалов забылся в беспокойном сне, ему явилось яркое видение.

Крепостной увидел себя вознесенным на страшную высоту, в самый свод небес, где сверкала алмазная луна, утвержденная на диком камне. Небывалый свет сиял здесь, и необыкновенный голос рек: «Здесь пребывает свет чистый и праведный». И еще многое говорил голос, из чего Подшивалов внезапно понял, что для просвещения народа он сам должен написать наставительные книги. За просветлением все бедствия несчастной России ринулись в видениях новому посланнику Божию Федору. Он видел остров, окруженный морем, превращенный в большую тюрьму, слышал звон цепей великого множества невольников, он бродил среди фабрик и в тесном коридоре крушил кости фабрикантов. Через малое оконце смотрел Федор, как на каменной мостовой большой площади лежит срубленное и обтесанное дерево — нет, не дерево, а гигантский человек лежит, и стонет, и ужасным образом просит: «Предайте смерти»,— а рядом сквозь камни уже пробивается молодое дерево с набухающими почками, образ его нового учения, которое велено свыше нести подневольным...

Душа Подшивалова испытывала необыкновенный, сверхъестественный подъем, он с великим движением и побуждением принялся за перо. 6 мая 1830 года в 12 часов дня начата была книга «Новый свет и законы его». Федор писал ее в течение двух недель, «не вкушая почти пищи и сна». Открытыми глазами глядя на мир, он начал со статьи «Приношение жертвы» — «о свойствах и качествах человека». Подшивалов взялся доказать, что мир порабощения, «Старый свет», должен быть сломан до основания, и открыть читателю дорогу к «Новому свету» свободы, равенства, братства, гуманному миру, соответствующему самой природе человека.

«Когда же настанет время,— спрашивает Подшивалов всех порабощенных,— когда нам господа наши оброк зап-

латят или шкуры наши, содранные с несчастных по причине большого просвещения, отдадут? Верно скажут: на том свете. Я знал наперед, что они точно так скажут. Все наши законы на этом основаны. Боги праведные! Будет ли конец мукам, ежеминутно угнетающим сраженное мое сердце от вашего заблуждения? Бедные черви, по земле пресмыкающие! Неужели вы не чувствуете тягости вашего мучения?!»

«Черта или сатаны, который бы мучал в аду народ за грехи,— говорит прозревший крепостной,— никогда не было. Это было только для того верующим сказано, чтобы они надеялись на будущее. Ибо это для того было еще сказано, чтоб удобнее всякого во Христа верующего свободнее привести к повиновению господам и чтоб они без всякого упорства мучились».

Для чего, как рассказывает Евангелие, чудесно родился Христос? — спрашивает Подшивалов. «Для того только, чтобы быть мучиму и распяту на кресте, и чтобы весь род человеческий пострадал, подобно ему. Только он мучился, может быть, 12 часов, а весь род человеческий должен мучим быть 1829 лет и семь месяцев. Хорошо же он над нами подшутил!»

Крест на шее верующего, думал новый проповедник,— только оправдание для плети помещика. «Мы носим на себе крестное его знамение только за то... что вывел нас из одного заблуждения (язычества.— *А. Б.*) и ввергнул нас во вторую напасть, не менее ужасную. И велел всем нам мучиться, то есть: на том свете заплатят! Заплати мне здесь — а на том свете пущай господину заплатят».

«Знайте,— говорит Подшивалов крепостным,— что теперь аду и раю нету, да никогда его и не бывало, и надеялись мы на них совсем напрасно». «А душа,— отвечает он сомневающемуся,— которую ты называл душой, во время твоего последнего издыхания остается в воздухе и превращается в ничто».

Автор призывал людей перестать поклоняться всему,

из чего христианство сковало звенья рабских цепей: «Христу, матерям божиим и всем святым». Что случилось со святыми, иронически спрашивает Подшивалов, «отчего их больше не является? Оттого, что стало много таких людей, которые смотрят собственными своими глазами, и видят, что такое мощи, и слепо не верят этим глупым бредням». Так что же такое, эти нетленные мощи? — «Если они теперь и есть, то знайте, что они до сих пор поддерживаемы были спиртами и прочими тому подобными веществами для того только, дабы удобнее было ими слепить хорошенько народ и делать из умных безумными, то есть дураками и подобными бессмысленным скотам, то есть попросту глумить народ».

Господа, поедавшие приготовленные Подшиваловым яства и в своих богатых гостиных выдумывавшие усовершенствованные формы веры, несказанно удивились бы, узнав, что, пока они придумывают тайные знаки и обряды, нелепые одеяния и побрякушки, дворовый человек успел объявить христианство наиболее общей санкцией общества угнетения. «Все наши законы взяты от Исуса Христа, ибо они основаны на мучении» — мученичестве большинства и неправедном обогащении немногих. «А от стремления избежать мучения произошла ложь, а от лжи родилось корыстолюбие и всякая неправда, так что теперь совершенный ад на земле — обман, разврат, самолюбие, роскошь, ненависть, вражда». Так, обещая рай на небе, Христос воздвиг ад на земле.

Учение о потустороннем воздаянии, когда духовенство снимает с человека ответственность за поступки на земле, «связывая и разрешая» в загробной жизни — усиливает пороки, порожденные мучением. «Итак,— утверждает Подшивалов,— если бы не надеялись на будущее, а разрешали бы здесь, наверное, лучше бы было. А то все упование наше возлагаем на будущие два мнимые царства — ад и рай,— выдуманные Исусом, и на всю его путаницу».

«Так где же будет правда? Пора ее найти. Пришло время сотворить Новый свет на земле нашей и отыскать правду». Старый свет подготовил свою гибель. «Пришло то самое время, что вы прежде называли светопреставлением». И Подшивалов, «возмутив болото», в которое было затянуто сознание народа, призывал:

«Проснитесь, братья, воспряньте от сна вашего! Плотина напряглась и больше уже не в силах в себя вместить прибылой воды. Она старается всеми неправедными силами заваливать все прососавшиеся скважины, гатить — то мусором, то навозом; и вот-вот зараз обрушится!»

Федор Подшивалов не призывал разрушать храмы: в них должна была проповедоваться новая вера — вера людей, напоенных воздухом свободы — «последняя вера, в которую все нации и все умные люди веровать будут, то есть истинному Богу, то есть творцу неба и земли». Люди будут веровать в то, что мироздание стоит на трех столпах, это: 1) «Бог — существо неисповедимое и непостижное ни одному смертному на земном шаре»; 2) «натура, которою управляет Бог по своему произволению»; 3) «истина, которою управляет натура».

Проповедник смеется над библейским представлением о сотворении человека: «Желаю я знать, каким бы это образом первый человек сделан был из песку. А когда Бог на него дунул, то он встал и не рассыпался». «Первоначальные люди» — продукты природы («натуры»), возникшие, как и все сущее, по божественному замыслу, а «не Адам и Ева, которых искусил змей». Они обитали на земле издревле, гораздо раньше того, когда «Ной выдумывал свои бредни».

Человек — продукт природы, подчиняющийся ее законам («истине») и родственный не только животным, но и растениям. Люди созданы «равными один другому и подобными друг другу, как братья единокровные и одним временем созданные». Место человека как венца природы диктует его свойства и качества, первое из которых — разу-

мение равенства и братства людей, их независимости и свободы. Принуждение противно человеческой природе и низводит народ в скотский уровень. Подшивалов поэтически описал, сколь прекрасны были первые люди, жившие в отношениях братства, равенства и свободы.

Свободному труду равных не могли не соответствовать удивительные, изобильные дары природы. «Если вы,— обещает проповедник,— будете в точности соблюдать все законы и уставы единого Бога и веровать в единого его, то я надеюсь, что через недолгое время климат наш переменится и морозов таких не будет, я полагаю. Так что в нашем климате не только будут родиться разные фрукты, но даже самый виноград, то есть совершенный рай будет на земле».

Общество равенства — это и есть общество изобилия. «Да познаем самих себя,— призывает Подшивалов,— для чего мы произведены на свет?! Для того ли, чтоб царствовать и веселиться, или чтоб всю жизнь страдать и мучиться? Я скажу — что царствовать и веселиться!» И в другом месте подчеркнул свою мысль: «Человек родится совсем не для того, чтобы он мучился или кто бы его мучил, а человек единственно для того родился, дабы он украшал природу и землю, и прославлял бы создателя своего, и был бы в совершенном виде человека для украшения природы».

Что же надо сделать, чтобы разрушился «Старый» и воссиял «Новый свет»? Подшивалов считал необходимым распространить свое учение среди народа, чтобы люди опомнились и пришли в себя. «Только прошу вас моим Богом, равно и вашим, не бунтоваться»,— призывал он крепостных. Тот, кто скорее уверует, тот и без бунта почувствует «свободу внутреннюю и душевную». «Ведь тут тягость, кажется, небольшая,— уговаривает он читателя,— сказать, что не верую больше Христу, и его святым, и матерям божиим, и исполнить, что сказал».

Исполнить, то есть не считать более свои мучения

божьей волей, выйти из тупой покорности господам. «Вот и вся затруднительность»,— поставить каждого крепостника перед фактом бесповоротного отказа от всякого подчинения и зависимости.— «И всякий уволен будет от своего господина, и всякий будет сам себе господин».

Одновременно Подшивалов составил «Требование» к властям об издании «полномочного указа» об отмене крепостного права. Не очень, по-видимому, рассчитывая на российского самодержца, «Феодор, посланник Божий», требовал, чтобы за соблюдение указа поручились четыре иностранных государя, прежде всего короли французский и прусский, «ибо они свет прежде нас увидели и они здраво и хорошо об этом могут судить». Затем указ должен был подписать император Николай I и «законодатель духовенства». Последнее было необходимо, чтобы нижние духовные чины безоговорочно приняли для проповеди в церквах сочинения «посланника Божия».

По получении указа каждый помещик должен расписаться в согласии с ним и приказать приказчикам безоговорочно выполнять повеление Федора. «Знайте же и разумейте,— объяснял Подшивалов механизм освобождения,— что земля будет разделена по душам или по тяглам (налоговым ставкам.— *А. Б.*). Так, например: господин имел 2000 мучеников, в том числе дворовых людей, а земли имел он 40 000 десятин. Следственно, на всякого человека или душу приходится по двадцати десятин, и так разделить должно. И всякий из них владеющий землей может управлять ею, как ему заблагорассудится».

Отныне крестьяне должны подчиняться только государю, иметь право землю «продать и внаем отдать» — то есть работающие в городах не обязательно должны бросать свои занятия. Все люди должны платить налоги, в случае необходимости выполнять общеполезные работы, участвовать в военной службе. В противовес коллективистским и коммунистическим утопиям, весьма распространенным в народных массах России XIX века, Подши-

валов убеждал, что личная польза не противоречит общественной:

«Если случится труд и работа для общего блага и пользы своей — сие не порок потрудиться для собственной пользы своей, ибо что ты приобретешь через труд твой — то все твое: тогда ты будешь сам себе господин».

В «Новом свете» отменяются все привилегии, кроме права наследования трона членами царской семьи. Из господ те, кто не служит, могут получить равный с крестьянами надел земли. Однако такой помещик «уже обижаться не может, что земледелием его сравняли с простым мужиком, ибо он должен знать, что недостаток оной (земли.— *А. Б.*) дополняется умеренным годовым жалованьем» из казны. Это касается одного поколения — жена и дети умершего бывшего помещика получают умеренную пенсию, дети воспитываются на казенный счет, но на землю претендовать не могут. То же касается и служащих дворян; при разделе они имеют право на несколько большую, чем у крестьян, долю земли, которая после их смерти отписывается на государя.

Подшивалов не обольщался, что дворяне станут примерными земледельцами. «Когда вы не привыкли ее (землю.— *А. Б.*) обрабатывать, наймите или отдайте напрокат». Организация государственной службы также регламентировалась «посланником Божиим» весьма подробно на основе отказа от всяческих привилегий. «Итак, кто и чему будет достоин и кто чего заслужит — тот то и получит». Если солдат достоин стать генералом — то должен им стать. Если генерал не годен ни к чему, кроме как чистить армейские нужники,— пусть и служит «прохвостом». Никто не может «присваивать себе отцовские заслуги и числиться наследником его чина».

При такой организации государства и общества «в «Новом свете» и государь будет за подданными его смотреть совсем иначе, ибо законы будут новые и веровать будем единому Богу. Мучиться тогда никто из вас не будет,

да и мучить вас некому будет, потому что Христа больше нету».

В Государстве Правды, где отсутствует принуждение и порождаемые им человеческие пороки, законы будут естественно вытекать из природы человека и воспитание в значительной мере заменит юриспруденцию. Но на переходное время «к достижению всеобщего порядка и к скорейшему успеху Божьего желания» Подшивалов позаботился вывести общие юридические принципы — «заповеди». Люди обязаны: работать и трудиться; платить налоги; почитать и содержать престарелых родителей; помогать попавшим в беду или нетрудоспособным; любить других «как самого себя» и быть снисходительными; соблюдать умеренность в супружеской жизни.

Новый суд станет судить по законам, «изданным 1830-го года государем нашим» — «то есть судить по истинной правде, без всяких с вас взяток», жестко защищая личность и трудовую собственность. Убийство карается смертью. «Если кто тебя ударит в ланиту занапрасно, тут не оставляй должникам нашим, а отдай ему такожди, как и он тебе, то есть чтобы он с тобою расквитался на этом свете». Нанесение вреда имуществу и кража до двух раз карается усиленным наказанием, а на третий — высшей мерой.

В «Новом свете» будет жить новое, «высокое племя людей», произведенное во взаимной любви мужчин и женщин. Подшивалов ярко описывал красоту взаимного влечения полов, утверждая, что «принужденное супружество, равно и принужденная любовь никогда благополучна быть не может». Бог дал мужчинам и женщинам «такие чувства, дабы они любили друг друга по своей воле и казались бы приятными друг другу, дабы чувства их и дела равновесно согласны были к произведению рода человеческого и жизни его на земле».

Он считал, что мужчины должны вступать в брак не ранее 24-летнего возраста, а женщины — 15-летнего, «ина-

че без этого добрый плод быть не может». «И в пьяном образе,— советовал проповедник,— с законной своей женой не иметь никакого плотискупительного действия, ибо в таком случае произведенный плод ваш всегда будет иметь в себе какой-нибудь недостаток. Например, будет дурак, или пьяница, или человекоубийца, или завистлив, ненавистлив, или зол, или слишком самолюбив, или слаб сложением тела и здоровья, даже совсем может родиться какой-нибудь урод или калека».

В воспитании детей, по словам Подшивалова, особенно важно «в малолетстве их не заронить в сердца их искры ненависти друг на друга», не выделять одного любимца, но равно и справедливо поощрять на учение и помощь отцу и матери в домашних работах. Главное, родители должны дать детям понимание, «что мы не в числе скотов». Домашнее образование должно дополняться всеобщим школьным, «по меньшей мере классов до трех». Затем, на протяжении всей жизни, человек должен совершенствоваться, по назначенным дням приходя в Божий храм. Духовным наставникам народа следует «читать в храме божием хорошие поучения, как надо жить в Новом свете и соблюдать тот порядок по врожденному человеку свойству от натуры».

Подшивалов не мог удержать в себе радость открытия «Нового света». Обращаясь к народу письменно, Федор говорил о своей работе, своих мыслях друзьям. Официант Григорий Иванов пришел от рассказанного в восторг, но советовал не распространяться о «Новом свете» перед другими. Повар Леонтий Дмитриев то жалел Подшивалова, то называл сумасшедшим. Другой слушатель — повар графа Кушелева Яков — говорил, что после разговоров с Подшиваловым «вскоре почувствовал благодать Божию». Разговаривал Федор и с дворовым князя Лобанова-Ростовского Александром, и с другими людьми.

Крепостные единодушно мечтали о воле, убеждая Подшивалова в истинности и осуществимости его идей. «Те-

Император Николай I

перь я наверное знаю,— писал проповедник,— что эта искра Божия тлится во многих сердцах человеческих и никогда угаснуть не может, ибо она родилась и напечаталась на всех сердцах человеческих!» Но те из друзей Подшивалова, кто задумывался о путях освобождения, предостерегали мечтателя: «Тогда это может быть, когда здесь польются кровавые реки, а иначе воля искуплена быть не может».

Вернувшись после одного из таких разговоров в свою каморку, Подшивалов горестно задумался. Кровавые реки не были желательным путем в «Новый свет». Ведь

это была бы кровь не только господ, но его братьев-крепостных. Да и приведет ли взрыв народного гнева к истинному освобождению, не окажутся ли бывшие крепостные в еще худшей кабале?

«В этом озере,— думал Подшивалов о крепостной России,— рыбе хорошей водиться никак было не можно. Отчего же? Оттого — мутна от непросвещения. Отчего же красна и солона? Ведь это должно знать. Это же краска, которую братья наши достают у нас из носу, изо рту, из спины — вот какая это краска! Отчего же солона? Оттого, что, если об этом хорошенько подумаешь и погадаешь, сердце стеснится, слеза навернется... сей час узнаешь, отчего она солона.

Итак, подумай... как же не должно рыбе радоваться такой хорошей воде? Она прыгает кверху, смотрит на плотину, скоро ль она обрушится: вот-вот пойдем гулять! А того, глупая, не подумает, что если не приготовишь хорошей и ровной и надежной лощины заблаговремя, то раскидает ее от большого стремления воды по лугам и по болотам и достанется (рыба.— *А. Б.*) опять в жертву цаплям и воронам, а иначе совсем обмелеет — и так может пропасть!»

Нет, думал Подшивалов, стихийного бунта следует избежать. Царь, если его убедить, если показать ему невозможность дальнейшего царствования в крепостной России, перестанет опираться на дворянство и издаст справедливый указ о воле. Одно за другим Федор пишет письма Николаю I —17 мая, 19 мая, 12 июня...

«Я писал к тебе об указании законов... И сказал я, что ты не прежде их должен увидеть, как пройдя две немалотрудные дороги; они для умного, государь, совсем не трудны. Эти две дороги означают две картины твоего государства» — картину страшного крепостничества и картину преображенной свободной страны. Царь не должен колебаться в выборе: «Ваше государство находится не в дальнем расстоянии от большого несчастья».

А. Х. Бенкендорф

Русь напоминает мельницу. «Мельник наш рожь всю перемолол, да и муки остается очень мало. Он думает, что же он будет молоть и что будет есть, да еще и то пришло в ум, чем он мирян будет кормить? Задумался так-так крепко, так его тронуло, что начал изнемогать духом. И как бы после большого труда заснул плотно. А того ему и в головушку не пришло, чтоб в таком случае отворить побольше ставень, когда нечего молоть, чем скоплять больше напрасно болотной воды...

И так-то, государь, если ты за благо не сочтешь мое уведомление, то тогда — прощай плотина, и с мельником на печи лежащим,— все потрет и поломает. Тогда и мельник хватится, да уже будет поздно. Тогда и тунеядцы его ничего не сделают. Посмотри, государь, кажется, это за шутку счесть нельзя... Скажу тебе наперед, чтобы не случилось и того, около чего мы в зимнее время с помощью дров согреваемся, чтоб не было того с землею и водою без помощи древесной» — то есть готов уже вспыхнуть в России пожар народного восстания!

Убежденный, что у государя нет иного пути, как внять предостережению, Подшивалов подписывает письма и ждет ответа: «Я квартирую в доме графа Сиверса в Почтамской улице, нанимаю квартиру у прачки. Номер дому — 186-й». Подшивалов ждет царских посланцев, но понимает и меру риска. «Я знаю наперед, дай Бог, чтоб и я не был бы так мучим за правду, как сам Исус страдал за веру. Почувствуйте, мученики, чему, чему я себя подвергаю за ваше спасение!» Взывая: «Пришли, государь, за мной»,— Федор признается себе: «Я знаю наперед, что не простят, а осудят на вечное мучение».

«О смерти своей я не беспокоюсь. Я ее уже видел, она от меня бегает, когда я к ней приближаюсь. Она для меня совсем не страшна». Подшивалов боится лишь того, что не вынесет мучений, что его заставят отречься от «Нового света». «Если я теперь по какому бы то ни было притеснению или какой-нибудь пытке скажу, что я это выдумал — то я уверен, что Бог так без возмездия не оставит. Он меня накажет, или того, кто меня к оному принуждал... Бог не оставит без наказания того допросчика или выпытчика».

Прошло не более десяти дней со времени отправки последнего письма, как за Подшиваловым пришли. Жандармы доставили крепостного мыслителя к Бенкендорфу, который лично возглавил следствие. Расследование было проведено со всей основательностью. Только 25 июля

1830 года Бенкендорф доложил о его результатах Николаю I.

«Считая себя вдохновенным свыше,— писал Бенкендорф,— подследственный говорит смело и без малейшей застенчивости о своем плане». Подшивалов «после некоторых убеждений вручил мне несколько тетрадей, написанных его рукою и заключающих в себе его тайну... Подшивалов отвергает Христа Спасителя, предлагает уничтожение веры христианской, расстраивает все связи гражданские и проповедует свободу состояний. Весьма естественно, что все им излагаемое перепутано разглагольствованием, свойственным необразованному человеку, который от многого чтения помешался...»

Как видим, смелость мысли Подшивалова и на Бенкендорфа произвела то же впечатление, что на повара графа Румянцева. Вместе с тем Бенкендорф сумел оценить опасность проповеди «Нового света»: «Полагая, что свободное обращение подобного человека между простолюдинами не может не подать поводу к различным соблазнам, превратным толкам и вредным впечатлениям, осмеливаюсь испрашивать высочайшего вашего императорского величества повеления на помещение Подшивалова в какой-либо отдаленный монастырь, под особое наблюдение местного духовного начальства, которому и поставить в обязанность обратить его благоразумными увещаниями на спасительный путь религии».

Николай I согласился с Бенкендорфом и 27 июля 1830 года повелел: «Поместить Подшивалова в Соловецком монастыре под наблюдением духовного начальства». По представлению обер-прокурора Синод постановил, «чтобы означенный дворовый человек Подшивалов» находился в заключении в соловецкой тюрьме «согласно прежним Святейшего Синода о подобных людях предписаниям, при том содействовать посредством увещания к обращению его на путь религии и о успехе том и о поведении его рапортовать Святейшему Синоду по третям года».

Однако ожидать требуемого «успеха» Синоду пришлось более девяти лет. 3 сентября 1830 года Подшивалов перешагнул порог камеры в Соловецком монастыре и лишь 19 декабря 1839 года по распоряжению архангельского военного губернатора был отправлен в Тобольский приказ для ссылки в Сибирь. Энергичный соловецкий архимандрит Досифей поспешил, когда уже через месяц заточения Подшивалова сообщил Синоду о «раскаянии» проповедника свободы. Архимандрит не обратил внимания на то, что в полученном им «Объяснении» узника, наряду с просьбой к царю о «милостивом прощении» продолжают звучать рассуждения о «бедствиях рода человеческого» и «в особенности страждущих от деспотизма».

Действительно, «раскаявшись», Подшивалов несколько месяцев спустя продолжал говорить о своих «нелепых» (по определению Досифея) снах; «оный Подшивалов паки в рассудке своем стал метаться». Только на седьмом году заточения автора «Нового света» новый архимандрит Иларий заставил его подписать покаяние, составленное в самом казенном духе. Но сам Иларий, по-видимому, не слишком доверял смирению Подшивалова. Еще без малого три года он проверял «твердость» раскаяния узника, пока 3 июня 1839 года не обратился в Синод с прошением о его освобождении.

Николай I распорядился вернуть крепостного князю Лобанову-Ростовскому с условием, чтобы Подшивалов не проживал в столицах. Хозяин отказался от этого. Зная своего раба лучше других, он предупреждал власти, что «Подшивалов может возобновить прежние свои поступки и развращать других крестьян». Вслед за многими русскими вольнодумцами и правдоискателями Федор Подшивалов пошел по этапу в Сибирь, унося с собой мечту о «Новом свете», царстве свободы и правды.

«А если я теперь в обхождении с людьми лгу,— писал крепостной мыслитель,— то на то есть причина: сберечь мою жизнь и порядок для общего блага...»

Глава 10

Судьба профессора духовной академии

Н. Ф. Каптерев
и его труды

Ученая деятельность Николая Федоровича Каптерева, по словам академика М. А. Дьяконова, «являлась его жизненным подвигом, полным лишений и жертв, но в конце концов доставившим покойному заслуженный ученый триумф. Правда, лаврами, увенчавшими главу и чело ученого подвижника, были лишь седина и морщины; но благодаря тому что он до них дожил, он мог лично убедиться в победе добытых им истин над упорными стремлениями сильных противников затмить их». Несмотря на травлю Каптерева консервативными силами, продолжавшуюся не один десяток лет — подтверждал эту оценку другой крупный историк М. Д. Приселков — целое поколение исследователей воспитывалось на его ученых трудах.

Вступая в жизнь, будущий выдающийся историк православной церкви отнюдь не рассчитывал на такую участь. Николай Федорович родился в селе Кленове Подольского уезда Московской губернии 8 июля 1847 года. Отец его был сельским священником и думал, что сын пойдет по его стопам. Юный Каптерев окончил звенигородское духовное училище, затем Вифанскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию.

Годы учения в Академии (1868—1872) оказали решающее влияние на выбор Каптеревым жизненного пути.

В то время Академия давала ученикам богатые и разносторонние знания, но в гораздо меньшей мере развивала исследовательские способности, особенно в области исторической науки. Для немногих студентов, увлеченных историей, благим примером стала самоотверженная работа нового ректора Академии А. В. Горского по описанию славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Личное общение с протоиереем Горским, чтение его тщательно выполненных трудов по ранней истории русского православия не столько знакомило Каптерева с современными методами исследования, сколько давало нравственный пример объективного, независимого от каких-либо привходящих соображений отношения к прошлому.

Сразу по окончании курса Николай Федорович был оставлен при Академии для подготовки магистерской диссертации. В 1874 году его монография «Светские архиерейские чиновники в древней Руси» была опубликована и блестяще защищена на открытом магистерском диспуте в Московской духовной академии. О защите диссертации приват-доцента Каптерева дала отчет газета «Современные известия» (1874, № 266), А. В. Горский в личном письме в самых лестных выражениях оценил научные заслуги ученика.

Труд этот не утратил значения до сего дня. Начинающий исследователь сумел разобраться в сложнейшей структуре административного и хозяйственного церковного организма с древнейших времен до патриарших приказов XVII века, разграничить функции множества разномастных чиновников, от архиерейских бояр и дьяков до сельских десятильников. Но самого Каптерева такого рода работа уже не удовлетворяла. Она была выполнена по множеству источников опубликованных, а Николая Федоровича влекли к себе неизведанные сокровища архивов.

Вслед за своим учителем Каптерев на годы и десятилетия погрузился в исследование документов, к большинству которых столетиями не прикасалась рука ученого.

Используя любую возможность, доцент кафедры древней гражданской истории Московской духовной академии спешил из Сергиева-Посада в столицу, в Московский главный архив Министерства иностранных дел, где для него уже были приготовлены новые кипы государственных и церковных документов XVI—XVII веков.

Обращение к архивам — весьма опасная вещь для установившихся исторических воззрений. И сейчас, заказав документы фондов бывшего Московского главного архива Министерства иностранных дел в Центральном государственном архиве древних актов на Большой Пироговской улице, нередко приходится переписывать страницы и целые главы отечественной истории, встречая естественное сопротивление людей, привыкших к старым истинам. Войдя в архив, Каптерев раз и навсегда решил для себя нравственную проблему историка, вынужденного сочетать новые знания со старыми представлениями: он будет ясно и точно излагать подлинные исторические сведения, невзирая на реакцию консерваторов. Как легко предположить, реакция была бурной.

Перенесемся мысленно в осень 1888 года, в Сергиев-Посад, где в казенной академической квартире Николай Федорович пишет «Оправдание на несправедливые обвинения»— статью в форме письма редакции журнала «Православное обозрение» (вышла в № 8 и 9). Каптерев защищает научный труд и старается не выходить за рамки академического спора.

«В 1887 году мы начали печатать в «Православном обозрении» свое исследование под заглавием: «Патриарх Никон как церковный реформатор и его противники». Но еще прежде, чем мы окончили печатание статей, касающихся времени патриарха Иосифа (то есть самых первых частей монографии.— *А. Б.*), против нас выступил профессор Субботин в своем журнале «Братское слово»

(№ 6, стр. 468—475). Доказательств против нас в этих первых возражениях г. Субботина мы не нашли, если не считать доказательством то обвинение, что мы употребили о Никоне выражение «реформатор» и, следовательно, внесли его «в число таких же деятелей, что и Лютер».

«Несправедливость этого обвинения, думаем, ясна без разъяснений»,— написал Каптерев. Однако подумал, что она должна быть ясна всем читателям журнала, а не только специалистам, и не поленился перечислить в сноске тома и страницы известных исторических трудов, где по отношению к Никону уже применялось слово «реформатор». «О возражениях подобного рода,— продолжал Николай Федорович,— мы, конечно, вовсе бы и не упомянули здесь, если бы г. Субботин не сделал во второй статейке попытки указать, как он выражается, два-три ученых наших промаха» *.

При разборе конкретных замечаний оппонента Каптерев становится беспощаден. С фактами в руках он не только бьет, но и высмеивает противника, доказывает, что профессор Н. И. Субботин «отнесся к делу вовсе не так... как бы следовало отнестить серьезному ученому». Николай Федорович многократно показывает, что Субботин уже не раз и не два противоречил сам себе, стараясь доказать каждый раз ту мысль, которую ему было выгодно доказывать. В силу этого «можно ли, не изменяя хотя бы самым элементарным требованиям науки, принять мнения господина Субботина по затронутым им вопросам или заменить ими мнения, нами высказанные?»— риторически вопрошает Каптерев.

«Какого рода эти указания наших ученых промахов со стороны знатока раскола — г. Субботина, хорошо видно,

---

* «Вторая статейка» Н. И. Субботина: О перстосложении для крестного знамения (разбор статьи г. Каптерева) // Братское слово. 1887. № 18. С. 598—612; № 19. С. 693—715; № 20. С. 764—798; 1888. № 5. С. 338—369.

например, из следующего факта. Об известном поборнике никоновских церковных исправлений, рязанском архиепископе Иларионе, мы сказали в своей статье, что Иларион сначала был белым священником в селе Лыскове. Г. Субботин, как специалист по истории раскола, авторитетно замечает на это, что Иларион *был не мирским священником, а иеромонахом, и игуменом, о чем упоминает Аввакум в своем Житии...** Приведенное место... показывает только, что в то время, о котором рассказывает Аввакум, Иларион уже был игуменом, но это, конечно, нисколько не мешало ему ранее быть белым священником. А чтобы уверить нашего специалиста в том, что Иларион рязанский ранее своего игуменства действительно был белым священником в селе Лыскове, мы советуем ему заглянуть в следующий шестой том «Материалов для истории раскола» Н.Субботина, где на 195—196 страницах он может прочесть следующее свидетельство об Иларионе дьякона Федора: *Ларион поп бысть на Лыскове селе под Нижним, и овдове, и постриженся, и бысть игуменом у Макарья на желтых песках.* Не мешало бы профессору Субботину получше знать свои собственные издания».

Каптерев бил оппонента сильно, но по сравнению с бранным тоном статей Субботина сохранял достаточно выдержки. Если Субботин писал «для обличения ли его (Каптерева.— *А.Б.*) невежества, или для обличения его недобросовестности», то Николай Федорович предоставлял рассудить спор читателям. Лишь в одном месте тон Каптерева становится откровенно насмешливым — там, где он говорит о поводе написания опровержительных статей Субботина.

«Первая ошибка нашего ученого критика заключается в том, что он с задачею и целию нашего исследования

---

* Опубликованном в 5 томе «Материалов» Субботина (с. 95).— *А. Б.*

познакомился не через чтение и изучение самого исследования, а иным путем, в высшей степени своеобразным. О цели нашего исследования, заявляет сам г.Субботин, он будто бы вполне достоверно узнал от некоего «достопочтенного гражданина Павловского посада, ревнителя православия», который, повествует г. Субботин, «даже нарочно приезжал повидаться с нами (то есть г. Субботиным) и передать нам эти, крайне смутившие и огорчившие его (то есть «достопочтенного гражданина Павловского посада, ревнителя православия») слухи; что цель сочинения (разумеется, Каптерева) *втоптать в грязь, уничтожить Субботина*» («Братское слово», 1887 г., стр.469). Заручившись этим сведением о цели нашего исследования из такого довольно оригинального для ученого источника, г. Субботин, естественно, должен был отнестись к нашему исследованию крайне враждебно...

Нам остается, иронизирует Каптерев, пожалеть о роковом визите достопочтенного гражданина Павловского посада и о роковой его беседе с нашим специалистом. Не приезжай он в Сергиевский посад и не сообщи он нашему критику, что цель нашего сочинения «втоптать в грязь, уничтожить Субботина», г.Субботин сам, может быть, и не догадался бы об истинной цели нашего исследования и не взялся бы за перо, чтобы уничтожить нас своею всепобеждающею ученостью».

Насмешливый тон Николая Федоровича был вполне понятен для современных ему читателей. Ведь профессор Н. И. Субботин уже много лет, еще тогда, когда Каптерев проходил академический курс, возглавлял кафедру истории и обличения русского раскола в Московской духовной академии! Этот воинственный профессор настолько тщательно следил за соответствием исторических взглядов ученых тогдашней весьма упрощенной официальной концепции раскола, что его рьяным нападкам подвергались даже тома Истории России С. М. Соловьева и Истории русской церкви Е. Е. Голубинского. По долгу службы и

внутреннему призванию Субботин не мог упустить из виду многолетнюю исследовательскую работу Каптерева, близкую к сфере интересов профессора.

Активность поиска Субботиным «противников православия» объяснялась особенностями его карьеры. Как и Каптерев, он родился в семье священника (13 ноября 1827 года в городе Шуе), окончил Московскую духовную академию, но не был оставлен при ней, а определен в 1852 году преподавателем церковной истории и канонического права в Вифанскую духовную семинарию. Казалось, ученая карьера Субботина не складывается — но вдруг три года спустя он получил кафедру истории и обличения раскола в Академии и лишь затем, в 1858 году, опубликовал свою магистерскую диссертацию «Об отношениях духовенства русского к князьям с XI до половины XV века» (М.), проникнутую верноподданническим духом.

Свою репутацию Субботин поддержал рядом работ, в том числе: «О православии греческой церкви» (М., 1865), доказывавшей превосходство греческого обряда над русским (который отстаивали староверы); «Новый раскол в расколе» (М., 1867) и особенно «Раскол как орудие враждебных России партий» (М., 1867). Охранительно-полемические и даже откровенно доносительные (в том числе «конфиденциальные» *) работы весьма отвлекали Субботина от ученой деятельности, что не помешало ему защищать в 1874 году докторскую диссертацию, уже пребывая в звании профессора **.

С этого времени деятельность Н. И. Субботина более четко разделяется на две сферы. Одна из них — моногра-

---

* См., например: Отзывы профессоров Субботина, Никольского, Ивановского, Воскресенского, Макария архиепископа литовского о нуждах единоверия и разделении сект на более и менее вредные. Конфиденциальные издания. М.; Спб., 1870—1880-е гг.

** Происхождение ныне существующей у старообрядцев так называемой австрийской или белокриницкой епархии. М., 1874. По этой теме Субботин издал затем еще несколько исследований и публикаций.

фические исследования, в основном развивавшие тему докторской диссертации, и солидные публикации документов, среди которых выделяется издание «Материалов по истории раскола за первое время его существования» (М., 1874—1894. Т. 1—9). Другая — публицистическая деятельность весьма одиозного характера, сотрудничество в «Русском вестнике», «Московских ведомостях», «Душеполезном чтении», «Страннике», «Библиотеке для чтения». Являясь секретарем совета Братства Петра-митрополита, созданного для искоренения староверчества и сектантства, Субботин возглавлял редакцию журнала этого совета «Братское слово», выходившего в 1875—1876 и 1888—1899 годах, и заполнял его страницы писаниями, которые являлись образчиками консерватизма, религиозной и политической нетерпимости.

«Вторжение» ученых исследований Каптерева в отношения официальной церкви и староверов создавало угрозу для Субботина как профессионала-историка и видного представителя охранительной идеи. Никого не могли обмануть сказки о внезапном явлении «достопочтенного гражданина Павловского посада, ревнителя православия», вызвавшем в «Братском слове» бурю против Каптерева. Гораздо менее было известно, что предусмотрительный Субботин начал настоящую войну с Каптеревым на пять лет раньше, еще в 1883 году, когда Николай Федорович стал, по обычаю того времени, по главам печатать в журнале «Чтения в обществе любителей духовного просвещения» работу, которая была плодом десятилетних архивных изысканий.

Монография именовалась «Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях» и рассматривалась автором в качестве докторской диссертации. Уже на третьей главе, называвшейся «Перенесение в Москву святыни с востока», ее печатание было приостановлено. Духовный цензор архимандрит Амфилохий возмутился приведенными в ней архивными сведениями, что

среди мощей и других священных реликвий, за которые приезжие с востока духовные лица получали от московского правительства солидную «денежную дачу», были дерзкие подделки. Как же так — ведь «эта святыня» и ныне хранится в Архангельском соборе и почитается верующими?! Значит, книга Каптерева дискредитирует святыню и не может быть издана.

Тогда редактор «Чтений» протоиерей Рождественский принес запрещенную цензурой к печати главу московскому митрополиту Иоанникию, который приказал продолжить печатание монографии со знаменательным заявлением, что, как это ни печально, автор прав, так как основывается на подлинных архивных документах, против которых спорить нельзя. Монография была напечатана, а в 1885 году вышла отдельным изданием. Еще до этого она была представлена Каптеревым в совет Московской духовной академии для получения степени доктора церковной истории. Тут-то и поджидал Каптерева профессор Субботин, категорически воспротивившийся принятию диссертации к защите.

«Дело,— по объяснению самого Каптерева,— заключалось в следующем. Изучая в течение нескольких лет в Большом московском архиве министерства иностранных дел так называемые Греческие дела, Греческие статейные списки *, Турецкие дела, Турецкие статейные списки, у меня невольно составилось такое убеждение, что русские, присматриваясь к грекам, когда в Москву с XVI века стали приезжать за милостынею греческие патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты и пр., имели, со своей точки зрения, основания подозрительно относиться к тогдашнему греческому благочестию и отчасти даже к тогдашнему греческому правоверию. На основании именно специального изучения сношений Моск-

* Статейными списками назывались черновые дела по внешним сношениям, которые затем обрабатывались в «книги».

вы с православным востоком, особенно за XVII век, я пришел к тому заключению, что патриарху Никону не следовало слишком доверчиво относиться к приезжавшим в Москву грекам и по их указаниям исправлять наши древние церковные чины и книги.

Но что особенно важно, иллюстрирует Каптерев свой убийственный для «обличителей» старого обряда вывод, в архиве мне удалось найти подлинное следственное дело об известном книжном справщике при Никоне — Арсении-греке, который был сослан нашим правительством под строгий начал «для исправления его православной веры» в Соловецкий монастырь. Но Никон, как известно (ибо за это его обличали вожди староверов еще в XVII веке.— *А.Б.*), взял Арсения из Соловецкого монастыря, привез его в Москву и здесь поручил ему исправление русских церковных книг.

Противники Никоновской реформы постоянно заявляли, что Арсений-грек —'воспитанник иезуитов и латынник и что такому сомнительному человеку никак не следует поручать справу (редактирование.— *А.Б.*) наших церковных книг, так как он может только испортить их, а не исправить. Все эти обвинения и нападки на книжного справщика Арсения-грека считались доселе несправедливыми, порожденными слепою ненавистью невежественных противников церковной реформы Никона, которые образованного и православного грека, выдвинутого Никоном, тенденциозно ославили еретиком.

Но найденное мною в архиве подлинное следственное дело об Арсении-греке, констатировал Николай Федорович, неожиданно вполне подтвердило справедливость старообрядческих обвинений против Арсения. Из следственного дела оказывается, что Арсений, по его собственному сознанию на следствии, действительно был учеником иезуитов и, отказавшись от православия, принял латинство, а по возвращении в Константинополь был обращен в мусульманство, почему московское прави-

тельство и сослало его в заточение в Соловецкий монастырь».

Выражаясь по-иному, обличители староверов с Субботиным во главе дружно плюхнулись в лужу. Каптерев продолжал: «Понятно, что со стороны Никона было очень нетактично брать к себе такого крайне сомнительного в глазах русского общества человека, а тем более было крайнею неосторожностию поручить Арсению исправление русских церковных книг. Ввиду указанных фактов я и высказал в своем исследовании ту мысль, что церковная реформа Никона (а значит, и вся обличительная деятельность кафедры Субботина.— *А.Б.*) нуждается в пересмотре и проверке, и что на некоторые, по крайней мере, заявления ее противников никак нельзя смотреть только как на продукт невежества и клеветы».

К чести совета Академии и ее ректора, пламенные обличения Субботина не возымели действия. Каптерев смог ограничиться тем, что убрал из некоторых «официальных» экземпляров книги свое краткое замечание о реформе Никона, второстепенное для главной темы. Совет Московской духовной академии присудил Николаю Федоровичу степень доктора церковной истории, Синод утвердил это решение совета. Либеральный профессор (впоследствии академик) А. Н. Пыпин в одном из популярнейших передовых журналов — «Вестнике Европы» (№ 5. С. 258—320) — в самых благожелательных выражениях изложил содержание церковно-исторического исследования Каптерева («Греки в Московском царстве»). Монографию приветствовали «Юридический вестник» (№ 10. С. 359—361) и журнал «Новь» (Т. III. № 10. С. 585), а в следующем году — «Исторический вестник» (№ 1. С. 228—231) и «Русская старина» (Т. 50. № 5). Тираж разошелся с необычайной для такого рода книг быстротой.

Однако на этот раз восторжествовал Субботин. Не вступая в дискуссию, он обратился непосредственно к хорошо знакомому с ним обер-прокурору Синода К. П. По-

бедоносцеву, который не посрамил своей славы самого оголтелого реакционера, отменив решение Синода и отказавшись утвердить Каптерева в докторской степени на том основании, что тот якобы непочтительно отзывается о матери нашей греческой церкви. Человек верующий, Николай Федорович не делал в книге никаких подобных отзывов, а высказывался лишь об отдельных греческих авантюристах, приезжавших за «милостыней» в Москву. Но степени доктора церковной истории он был лишен.

Урок не пошел Каптереву впрок. Он решил продолжать исследование в избранном направлении, тем более что совет Академии поддержал его, поощрив званием экстраординарного профессора, несмотря на отсутствие докторской степени. Это свидетельствовало о решительном предпочтении, которое большинство профессоров Академии отдавали конкретным, фактическим исследованиям, а не спекулятивной исторической публицистике. Разумеется, Субботин и его сторонники были настороже и готовились во всеоружии доносительной критики встретить новые ученые шаги Каптерева.

Как мы видели, обвинения против Николая Федоровича носили частный характер, не касаясь содержания книги в целом. Между тем значение его монографии отнюдь не сводилось к пересмотру отдельных моментов церковной истории на основе архивных документов. Каптерев подошел к сложным церковно-историческим процессам как к элементу гражданской истории. Он не был здесь пионером. Достаточно вспомнить вышедшие за десятилетия до этого исследования историка-демократа Афанасия Петровича Щапова, показывавшие раскол как народное движение, как «смелый протест против подушных переписей, податей и «даней многих», против рекрутства, крепостного права, областного начальства и т.п.». Однако даже Щапов оставался в рамках официального понимания доктрины раскола как следствия «невежества масс», их неспособности усвоить смысл реформ патриар а Никона.

К уяснению смысла этих реформ и направил свое начатое издалека исследование Каптерев.

В основу обобщения огромного архивного материала он положил представления о взаимоотношениях России с православным Востоком, реально бытовавшие в русском обществе XVI—XVII веков, изучая одновременно и изменения этих представлений, и, в особенности, их соотношение с действительностью. Итак, что думали русские люди и можно ли их назвать «невеждами»? В соответствии с этой невысказанной мыслью Николай Федорович расположил материал монографии по трем разделам. В первом он рассмотрел широко распространившуюся в публицистической литературе после падения Константинополя теорию «Москва — третий Рим», проанализировав в отдельных главах соборное утверждение в России царского венчания, утверждение патриаршества и перенесение в Москву православных святынь с востока,— то есть те события, на которых русские мыслители справедливо, как выяснилось, основывали идею о переходе центра мирового православия в Россию.

Во втором разделе исследована мысль о том, что русский царь есть опора и покровитель всего восточного православия. Здесь на огромном материале раскрыты благотворительная деятельность московского правительства, злоупотребления ею со стороны многообразных просителей милостыни, ограничительные меры для борьбы с этими злоупотреблениями и, наконец, широкое использование московским правительством представителей восточной церковной иерархии в качестве своих политических агентов.

Тезис о том, что русское благочестие есть высшее и совершеннейшее в целом мире, развернут в четырех главах. Первые из них показывают, какие кардинальные перемены в церковном сознании происходили в связи с реформами Никона, в результате которых открыто признавалась «несостоятельность предшествующей русской

церковной жизни и безусловное превосходство греков в делах веры и благочестия над русскими». А в последней главе Каптерев рисует яркую картину безуспешности борьбы греков и русских «грекофилов» с развитием национальной мысли и проникновением западного влияния, показывает их упадок в конце XVII — начале XVIII века.

При всей убийственности материалов о поведении и нравах греческого православного духовенства на Востоке и при приезде его представителей в Россию Николай Федорович отнюдь не выглядит ненавистником греков, среди которых находит примеры подлинного благочестия и мудрости. Его гораздо больше занимает вопрос о том, насколько верен был признанный официальной церковью в результате реформ Никона тезис о «несостоятельности предшествующей русской церковной жизни». Изучению этого вопроса Каптерев посвятил новое многолетнее архивное исследование, первые же главы которого, как мы помним, печатавшиеся в «Православном обозрении» за 1887 год, немедленно вызвали нападки Субботина.

Как ученый формулировал для себя задачу работы «Патриарх Никон как церковный реформатор и его противники»? Мы можем использовать для ответа на этот вопрос свидетельство самого Николая Федоровича, опубликованное гораздо позже.

«До сих пор,— иронически замечает ученый,— история возникновения у нас старообрядчества изучалась и писалась по преимуществу полемистами с расколом, которые, в большинстве случаев, изучали события с тенденциозно-полемической точки зрения, старались видеть и находить в них только то, что содействовало и помогало их полемике со старообрядцами, поставленной ими очень своеобразно.

Тогдашние полемисты с расколом на вопрос, откуда и как произошли у нас искажения древних православных чинов и обрядов и каким образом эти искаженные чины и обряды попали в наши церковно-богослужебные книги, обыкновенно отвечали: древние православные обряды и

чины исказило вековое русское невежество, а в наши печатные церковные книги они внесены были при патриархе Иосифе невежественными книжными справщиками Аввакумом, Нероновым, Лазарем и другими, которые, восставая потом против реформы Никона, в существе дела отстаивали только творение своих собственных невежественных рук.

Между тем...— констатировал Николай Федорович — мною ясно было показано, что Аввакум, Неронов, Лазарь и другие никогда не были книжными справщиками и вообще никогда к книжной справе никакого отношения не имели... На вопрос, необходимо отсюда возникший: кто же, в таком случае, и когда испортил наши древние церковные чины и обряды, которые потом Никону пришлось исправлять, мною был дан такой ответ: древние наши церковные чины и обряды никогда никем у нас не искажались и не портились, а существовали в том самом виде, как мы, вместе с христианством, приняли их от греков (при Владимире Святом.— *А.Б.*), только у греков некоторые из них позднее изменились, а мы остались при старых, неизмененных, почему впоследствии и явилась рознь между московскими церковными чинами и обрядами и позднейшими греческими.

Это свое общее положение я иллюстрировал на форме перстосложения для крестного знамения, причем выяснил, что в христианской церкви древнейшею формою перстосложения было единоперстие, а потом единоперстие у православных греков заменено было двоеперстием, которое мы от них и заимствовали при своем обращении в христианство. И в то время как греки не остановились и на двоеперстии, а позднее заменили его у себя троеперстием, русские остались при прежнем, воспринятом ими от греков, двуперстии, которое и было у нас, до Никона, господствующим обычаем».

Читатель, даже незнакомый с церковными обрядами, легко может представить себе значение этого вывода,

взглянув на картину «Боярыня Морозова», где страдалица за старую веру демонстрирует народу свое кредо, показывая на скованной руке два сложенных вместе перста крестного знамения. «Самым замечательным открытием для науки,— писал в некрологе по случаю смерти Каптерева видный историк М. Д. Приселков,—... открытием, прочно и решительно усвоенным как друзьями, так, кажется, и врагами, я считаю указание Николая Федоровича на то обстоятельство, что старый русский обряд (двуперстие, сугубая аллилуйя и проч.)... был в действительности старый вселенский... Троеперстие же и трегубая аллилуйя оказались позднейшим новшеством XV—XVI веков» («Русский исторический журнал», 1918. № 5. С. 316).

Проще говоря, оказалось, что истовые обличители раскола уже не одно столетие обличали сами себя! Понятно, какое впечатление произвела публикация первых глав работы Каптерева на Субботина, членов Братства св. Петра-митрополита и прочих «миссионеров — официальных полемистов с расколоучителями». На миссионерских съездах раздавались даже требования привлечь автора к суду. Субботин в «Братском слове» обрушил на Каптерева столь злобные обвинения, что тот вынужден был прервать издание своей работы, не успев подойти к вопросу о реформах Никона, и печатать вместо этого «Оправдание на несправедливые обвинения».

Субботин и не думал полемизировать по существу поднятых в исследовании вопросов. Ловко обойдя мели и рифы архивных документов, он, по словам Каптерева, «решительно уверяет своих читателей в том, что будто бы наша теория перстосложения «совпадает с учением раскольников». Для этого Субботин выхватывает у Каптерева отдельные положения и интерпретирует их самым свободным образом.

«В качестве ученого и беспристрастного критика,— поясняет Николай Федорович Каптерев неувядаемый до сих пор метод научно-погромной критики,— г.Субботин из-

влекает обыкновенно из разбираемого им трактата одну какую-нибудь отдельную фразу, безотносительно к общему смыслу и характеру целого рассуждения, и начинает ее всячески перевертывать, чтобы как-нибудь выжать из нее тот смысл, какой ему нужен, но какого она в себе вовсе и не заключает. С этой целью он строит целый ряд своих собственных произвольных догадок и выводов, которые, приурочив как-нибудь к выхваченной им отдельной фразе, он решительно и авторитетно выдает за мнение разбираемого им автора. А затем уже он научно и важно начинает доказывать всю нелепость им же самим измышленного и насильственно навязанного автору мнения. Этим ученым приемом г.Субботин в полной мере воспользовался при разборе нашей книги».

Субботин стремился показать, что Каптерев — не православный, а Николай Федорович подробно и аккуратно разбирал в своем ответе источники оппонента, показав, что все они свидетельствуют в его, Каптерева, пользу. Вообще чем дальше он разбирает «опровержения» Субботина, тем становится спокойнее и выдержаннее. Он даже отказывается от заключительного вывода, предоставляя читателю самому решать, верить ли разгромленной аргументации оппонента, или «допустить, что профессор Субботин совсем неверно представляет себе все то дело, о котором он взялся говорить в своей критической статье».

«Из моего ответа,— вспоминал позже Каптерев,— г. Субботин убедился, что научно-литературным путем подорвать правильность моих воззрений и доказать правоту свою — дело едва ли возможное. Тогда он прибегнул к другому способу, чтобы заставить меня замолчать окончательно. Человек, близко знакомый тогдашнему обер-прокурору Св. Синода и его помощнику (Саблеру.— *А.Б.*), он представил им начавшееся печатанием мое исследование как очень вредное для православной церкви, а мою личность как неудобную для профессуры в духовной академии. Выгнать меня из академии ему, однако, не уда-

лось, но цензор журнала *Православное обозрение*, свящ. Ив. Дм. Петропавловский, получил приказание от К. П. Победоносцева не допускать к дальнейшему печатанию моего исследования о патриархе Никоне, почему оно и было прекращено печатанием, остановившись только на времени патриарха Иосифа».

Тем не менее та часть исследования, которая была уже пропущена цензурой, вышла в 1887 году отдельной книгой под названием «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа». Это событие было отмечено прогрессивной научной общественностью рецензиями в «Русской мысли» (1888. Кн. 2. Отд. 3. С. 71—74), «Русском вестнике» (1888. № 4) и «Историческом вестнике» (1888. № 6. С. 701—704). Травля Каптерева привлекла общественное внимание к его чисто научным трудам, взгляды Николая Федоровича получили, благодаря стараниям Субботина и К°, широкое распространение.

Вполне определенным политическим жестом было присуждение в 1888 году малой Уваровской премии Академии наук предшествующей монографии Николая Федоровича: «Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях». Полемизируя с избранным Каптеревым принципом систематизации архивного материала, официальный рецензент, известный историк церкви П. В. Знаменский признал выдающуюся эрудицию и замечательный ученый талант автора, подробно осветил сделанный им крупный вклад в историю православия. Изложение обширного отзыва Знаменского было опубликовано в популярном «Журнале министерства народного просвещения» (Ч. 260. 1888. Ноябрь. Отд. 4. С. 2—10); затем отзыв был дважды опубликован полностью.

Несмотря на поддержку научной общественности и сочувствие большинства профессоров, Николай Федорович не мог защитить в качестве докторской диссертации в Московской духовной академии книгу, лишь наполовину

(да и то по неразворотливости властей) пропущенную духовной цензурой. Правда, было много университетов, где его научные заслуги могли быть отмечены ученой степенью, но для Николая Федоровича было важно одержать победу в Alma mater. Он вновь направил свои стопы в архив, не отвлекаясь на развернувшуюся вокруг его взглядов полемику.

В то время, когда самому Каптереву выступать по проблемам реформ Никона было высочайше запрещено, И. Т. Никифоровский издал монографию «Несколько слов относительно взгляда Н. Каптерева на перстосложение древних киевлян, сербов и греков» (Спб., 1891), расширявшую круг источников о древнерусской обрядности. Тогда и Н. И. Субботин собрал в единую книгу «О перстосложении для крестного знамения» (М., 1891) свои прежние статьи. Наконец, известный историк русской церкви Е. Е. Голубинский вмешался в спор, опубликовав солидное исследование «К нашей полемике со старообрядцами» (М., 1892), в котором целым рядом новых данных подтверждал правильность взглядов Каптерева на старый русский обряд.

Очередная (третья по счету) докторская диссертация Николая Федоровича Каптерева «Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством 1669—1707 гг.» (М., 1891), по словам автора, «не затрагивала никаких острых вопросов». На первый взгляд это так. Даже Субботин с компанией не нашли в этой работе никаких зацепок, чтобы воспротивиться присуждению советом Московской духовной академии и утверждению Синодом степени доктора церковной истории ее автору. По сути, речь шла о документальной картине политической службы греческих архиереев московскому правительству, службе, которую самые официозные историки не могли не одобрить, несмотря на то что сами свирепо обличали за подобную «службу» другим государствам католическое и униатское духовенство.

Между тем Николай Федорович просто документально подтверждал, что тот высший церковный авторитет, который столь превозносили духовные и светские власти в России, был авторитетом на содержании, авторитетом, направленным на подавление внутри России ростков передовой мысли. Сухость, предельно близкая к источникам манера изложения Н. Ф. Каптерева, как справедливо заметил М. Д. Приселков,— «искусственный прием, воспитанный придирчивою требовательностью духовной школы и духовной ученой атмосферы, где даже эти сухие и точные страницы передачи материала и осторожные, всегда обоснованные пояснения к ним — вызывали толкования, заподазривания и перетолкования» (Русский исторический журнал. 1918. № 5. С. 315).

Против изложения Каптеревым документов, свидетельствовавших о навязывании иерусалимским патриархом Досифеем самых реакционных взглядов русским светским и церковным властям, не мог возразить и Субботин. Тот факт, что греческие православные иерархи являлись, по существу, платными агентами русского правительства, вполне удовлетворял сторонников охранительной идеи. Другое дело, что прогрессивная общественность из тех же фактов делала иные нравственные выводы. Как бы то ни было, монография Каптерева, основные положения которой были опубликованы в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (1891. Кн. 2. Отд. 1. С. I—XIV, 1—91), получила в целом благожелательные отзывы в самых разных журналах 1892 года: «Страннике» (№ 3), «Славянском обозрении» (Т. 1. № 2), «Русском обозрении» (Кн. 2), а также развернутую рецензию в «Журнале министерства народного просвещения» (1896. № 11).

Наивно полагать, что люди типа Субботина при господстве Победоносцева могли упустить малейшую зацепку для окончательного лишения Каптерева возможности продолжать научную работу. Николай Федорович соблюдал крайнюю осторожность, чтобы не погубить,

чтобы донести до читателя плоды своих новых замечательных архивных изысканий. Выпуская в 1895 году фундаментальную монографию «Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVIII столетия» (Спб.), он вынужден был сделать лукавую оговорку: «При написании очерка сношений иерусалимских патриархов с русским правительством мы имели в виду объективно и строго документально изложить исторический ход этих сношений, представить, как было дело за взятое нами время почти исключительно словами самих документов, не вдаваясь в критику, в какие-либо особые выводы и обобщения, почему на наш очерк следует смотреть почти как на сборник по данному предмету рукописных документов, доселе почти не изданных, доселе мало или совсем еще не известных».

Однако рецензенты отметили исследовательский, новаторский характер монографии, рассмотрев ее с разных точек зрения в «Историческом вестнике» (1886. Июль. С. 225—226), «Журнале министерства народного просвещения» (1896. Ч. 308. Ноябрь. Отд. 2. С. 127—138), «Историческом вестнике» (1896. № 7. С. 225) и «Русском вестнике» (1897. № 10. С. 348—350). Несколько меньшее внимание («Исторический вестник». 1898. № 11. С. 788—792) привлек второй том монографии: «Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством в текущем столетии (1815—1844 гг.)» (Спб., 1898).

Любопытно, что только издание предельно объективизированных «Сношений» позволило Николаю Федоровичу получить в 1896 году звание ординарного профессора Академии, а в 1898 году — заслуженного профессора. Каптерев хотел доказать — и доказал, что, несмотря на происки реакционеров, в Московской духовной академии может развиваться объективная, построенная на строгих фактах историческая наука. Так продолжалось до тех пор, пока невыносимо душная атмосфера и в Академии, и во всей стране не очистилась грозой 1905 года.

Профессор Субботин умер, и с ним ушла целая эпоха церковной историографии. Николай Федорович покинул стены Академии и в 1906 году был избран городским старостой Сергиева-Посада. Отныне общественная деятельность занимала значительную часть его времени. Но — вполне естественное явление — воздух свободы придал Каптереву новые силы. Уже в 1906 году, в условиях бесцензурья, Николай Федорович публикует в Сергиеве-Посаде монографию «Царь и церковные московские соборы XVI и XVII столетий», в которой показывает страшный процесс подминания светской властью всех элементов церковной самостоятельности, процесс превращения церкви в духовно-полицейский департамент.

Ретрограды от церковной истории с ужасом, а прогрессивная общественность с восторгом узнают, что годы молчания не были для Каптерева годами покорности. Из планировавшейся в 1887 году монографии, с исключением опубликованной части, вышло великолепное двухтомное исследование «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» (Сергиев-Посад, 1909—1912). В обычной для него суховатой манере Николай Федорович срывает в ней покровы таинственности и пиетета перед властью с темных сторон жизни государева и патриаршего двора. С помощью архивных материалов он осветил тайные пружины принятия решений, приведших к расколу русской православной церкви. Ни до, ни после этой монографии не было исследования, столь ясно показывающего механизм взаимоотношений светской и духовной власти в России в XVII столетии, характеры и убеждения главных действующих лиц грандиозной исторической драмы.

С чем-то в работе Каптерева можно не соглашаться, что-то уточнять или пересматривать — такова закономерность исторического познания. Но когда читаешь страницы, на которых ученый спокойно излагает материалы о том, что главные участники церковного суда над патриар-

хом Никоном и протопопом Аввакумом были не действительные восточные патриархи, а сверженные со своих престолов авантюристы, которых царское правительство лишь впоследствии, с помощью турецких властей и мусульманского великого муфтия, водворило на патриаршие престолы на востоке, понимаешь, почему консерваторы от церковной истории десятилетиями с таким старанием затыкали Каптереву рот.

Отклики научной общественности последовали уже на выход первого тома монографии. А. Кизеветтер в «Русской мысли» (1910. Кн. 1. Отд. 3. С. 7—9; 1911. Кн. 11. Отд. 4. С. 410—412), И. Соколов в «Историческом вестнике» (1910. № 4. С. 330—334) и другие с восторгом приняли новое исследование. 17 ноября 1910 года Каптерев был избран членом-корреспондентом Академии наук. После выхода — также высоко оцененного рецензентами второго тома — монографии была присуждена главная награда имени графа Уварова — одна из почетнейших премий Академии наук.

Признанием полного торжества научных воззрений Николая Федоровича стал прием, оказанный научной общественностью переизданиям его опальных книг: «Патриарха Никона и его противников» в 1913 и «Характера отношений» в 1914 году. В предисловиях к этим переизданиям Каптерев с характерной для него сдержанностью поведал читателям нового поколения назидательную историю преследований, обрушившихся на его научные работы в конце прошлого века. Вероятно, ученый порадовал бы читателей новыми замечательными трудами, если бы общественный долг не призвал его к иному служению России. В 1912 году Каптерев был избран одним из шести депутатов Четвертой Государственной думы (1912—1917 гг.) от Московской губернии. Он представлял в Думе партию прогрессистов, что вполне соответствовало его политическим воззрениям. Скончался Николай Федорович 31 декабря 1917 года. Несмотря на сложное, бурное время,

Академия наук почтила его память заседанием 10 апреля (28 марта по новому стилю) 1918 года.

«Таковы результаты ученых исследований Николая Федоровича Каптерева,— подвел итог своей прощальной речи академик М. А. Дьяконов.— Их истина и непоколебимость теперь составляют достояние науки. В этом автор мог убедиться еще лично, и это явилось единственной наградой за ученый подвиг целой жизни: он мог спокойно умереть с сознанием исполненного ученого долга».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

К ГЛАВЕ 1. ПЕРВЫЕ ЕРЕТИКИ НА РУСИ

Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополитов... Спб., 1871. С. 47, 81—82 и др.; *Клибанов А. И.* Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960. С. 85, 95—96, 113—149; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 351—352; Описание ростовского ставропигиального первоклассного Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря. Спб., 1849. С. 6; Русская историческая библиотека. Спб., 1908. Т. VI. Стб. 86—88, 97—99. Приложение. Стб. 188.

К ГЛАВЕ 2. НОВГОРОДСКИЕ И МОСКОВСКИЕ ЕРЕТИКИ КОНЦА XV ВЕКА

Барбаро и Контарини о России. М., 1971; *Бегунов Ю. К.* Соборные приговоры как источник по истории новгородско-московской ереси. ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. XIII; *Зимин А. А.* Россия на рубеже XV—XVI столетий (очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 76—92, 197—232; *Казакова Н. А., Лурье Я. С.* Антифеодальные еретические движения на Руси в XIV — начале XVI в. М.; Л., 1955; *Клибанов А. И.* Реформационное движение в России в XIV— первой половине XVI в. М., 1960. С. 167—176, 216—251; Полное собрание русских летописей. Т. 28. С. 337; см. также: Т. 6. С. 244; Т. 26. С. 296—297.

К ГЛАВЕ 3. ФЕОДОСИЙ КОСОЙ И ДРУГИЕ ВОЛЬНОДУМЦЫ

Зимин А. А. Пересветов и его современники. М., 1958. С. 153—168, 182—214; *Его же.* Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 323—363;

Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977. С. 55—82; *Он же.* Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960. С. 252—302.

К ГЛАВЕ 4. МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП И ИВАН ГРОЗНЫЙ

Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964; Жития святых Российской церкви. 1857. Январь. С. 50—150; *Леонид,* архим. Жизнь святого Филиппа, митрополита Московского и всея России. М., 1861; Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Спб., 1898. Вып. IV. Ч. II. С. 9—13; *Федотов Г. П.* Святой Филипп, митрополит Московский. Париж, 1928.

К ГЛАВЕ 5. НИКОН

Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии святейшего Никона, патриарха московского и всея России, написанное клириком его. Изд. 2-е. М., 1908 (с издания 1817 г., сличенного с тремя древнейшими списками); *Он же.* Краткое известие о рождении, воспитании и житии святейшего Никона, патриарха московского и всея Руси. М., 1881 (переиздание того же памятника по Воскресенской рукописи XVII в.); *Забелин И. Е.* Письмо окольничего Богдана Матвеевича Хитрово к патриарху Никону. 1654 г. // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1847, № 9; Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Спб., 1861. Т. 2; Переписка святейшего патриарха Никона с митрополитом иконийским Афанасием и грамотоносцем иерусалимского патриарха Нектария Севастьяном или Саввою Дмитриевым // Русский архив. 1873. Т. 2; Переписная книга домовой казны патриарха Никона, составленная... Родионом Матвеевичем Стрешневым и... Александром Дуровым. б/м и б/г; *Леонид* (Кавелин), архим. Дьякон Луговской по Татищеву писатель XVII века и его сочинение «О суде над патриархом Никоном». Спб., 1895 (здесь же: «Разрядная записка о пришествии вселенских патриархов в царствующий град Москву» 1666 г.); Ответы Паисия, патриарха константинопольского, на вопросы Никона, патриарха московского и всея Руси // Христианское чтение. 1881. Кн. I; Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. Изд. 3-е. М., 1895; Дело о патриархе Никоне. Спб., 1897; *Алеппский Павел.* Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в. // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1898, кн. III;

Филарет (Гумилевский), архиепископ черниговский. История русской церкви. Период IV, 1588—1720 гг. Изд. 4-е. Чернигов, 1862; *Варлаам*, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове и Кирилло-Белозерском монастырях, по актам последнего и описание сих актов. М., 1858; *Щапов А. П.* Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII и первой половине XVIII в. Казань, 1858; *Аполлос*, архим. Начертание жития и деяний Никона, патриарха московского и всея Руси. Вновь исправленное и дополненное с приложением переписок Никона с царем Алексеем Михайловичем и важнейших грамот. М., 1859; *Субботин Н. И.* Дело патриарха Никона. М., 1862; *Он же.* Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1874. Т. I; *Горчаков М. И.* Монастырский приказ (1649—1725). Опыт церковно-юридического исследования. Спб., 1868; *Он же.* О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. Синода. Спб., 1871; *Palmer W.* The patriarch and the tsar. Vol. 1—6. L., 1871—1876; *Белокуров С. А.* Собирание патриархом Никоном книг с Востока. Спб., б/г.; *Он же.* Дела святейшего Никона патриарха, паче же рещи дела врачебные // *Белокуров С. А.* Материалы для русской истории. М., 1888; *Михайловский С. В.* Жизнь святейшего Никона патриарха всероссийского. Изд. 2-е. М., 1907 (первое изд. 1878 г.); *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Спб., 1886; т. II; *Николаевский П. Ф.* Путешествие новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа. Спб., 1885; *Иконников В. С.* Новые материалы и труды о патриархе Никоне. Киев, 1888; *Жизневский А. К.* Поход великого государя святейшего Никона патриарха московского всея Великия и Малыя и Белыя России в 1656 г. в Тверь, Вязьму и Иверский монастырь. Тверь, 1889; *Бычков А. А.* Патриарх Никон. Биографический очерк. Спб., 1891; *Сергиевский Н. А.* Святейший всероссийский патриарх Никон. Его жизнь, деятельность, заточение и кончина. М., 1894; *Спасовоздвиженский.* Никон патриарх всероссийский. Историческое повествование. М., 1895; *Смирнов П. С.* История русского раскола старообрядчества. Спб., 1895; *Он же.* Внутренние вопросы в расколе в XVII в. Спб., 1898; *Бриллиантов И.* Патриарх Никон в заточении на Белоозере. Спб., 1891; *Каптерев Н. Ф.* Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М., 1874; *Он же.* Патриарх Никон как церковный реформатор // Православное обозрение. 1887; *Он же.* Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством. Спб., 1895. Ч. I; *Он же.* Царь и церковные московские соборы XVI и XVII столетий. Сергиев-Посад, 1906; *Он же.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев-Посад, 1909—1912. Т. 1—2; *Он же.* Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Изд. 2-е. Сергиев-Посад, 1913; *Он же.* Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII вв. Изд. 2-е. Сергиев-Посад, 1914; *Перетц В. Н.* Слухи

и толки о патриархе Никоне в литературной обработке писателей XVII—XVIII вв. // Известия II отделения императорской Академии наук. 1900. Т. V. Кн. I; *Голубцов А. П.* Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908; *Чирецкий.* Патриарх Никон, его жизнь и деятельность. Биографический очерк. Спб., 1908; *Зызыкин М. В.* Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. Варшава, 1931—1939. Ч. 1—3; *Устюгов Н. В., Чаев Н. С.* Русская церковь в XVII в. // Русское государство в XVII в. М., 1961; *Позднеев А. В.* Никоновская школа песенной поэзии // Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Л., 1961. Т. 17; *Алферова Г. В.* К вопросу о строительной деятельности патриарха Никона // Архитектурное наследство. Сб. 18. М., 1969; *Белоброва О. А.* Челобитная иконников Крестного онежского монастыря патриарху Никону // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976; *Козлов О. Ф.* Дело Никона // Вопросы истории. 1976. № 1; *Кошелева О. Е.* Боярство и дело патриарха Никона // Проблемы истории СССР. М., 1982. Вып. 12; *Гунн Г. П.* Патриарх Никон и Елиазар Анзерский // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского дома. Л., 1985.

К ГЛАВЕ 6. СОЛОВЕЦКИЕ СИДЕЛЬЦЫ

[*Денисов С.*] История о отцех и страдальцех соловецких. М., 1721 (и другие изд.); Летописец Соловецкого монастыря... М., 1790; Летописец Соловецкий, или Краткое описание... М., 1815; Летописец Соловецкий на четыре столетия... Изд. 3-е. М., 1833; Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. Спб., 1836. Т. 4; Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Спб., 1842. Т. 4; Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских. М., 1846. Кн. 3. Отд. 5; 1869. Кн. 4. Отд. 5; 1883. Кн. 4. Отд. 5; 1884. Кн. 1. Отд. 5; 1887. Кн. 1. Отд. 5 (то же см.: Библиотека и архив Соловецкого монастыря после осады, 1676 г. // *Барсуков С. А.* Материалы для русской истории. М., 1888. С. 1—80); Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Спб., 1853. Т. 5; Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. Спб., 1862; *Субботин Н.* Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1878. Кн. III; Летопись занятий Археографической комиссии, за 1911 г. Спб., 1912. Вып. 24 (то же см.: *Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества. Спб., 1912); *Никольский Н. К.* Сочинения соловецкого инока Германа Фирсова по неизданным текстам. К истории северо-русской литературы XVII в. // Памятники древнерусской письменности и искусства. Спб., 1916; *Бубнов Н. Ю.* Неизвестная челобитная дьякона

Игнатия Соловецкого царю Федору Алексеевичу // Рукописное наследие Древней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 1972; *Он же.* «Сказание... о новых книгах» (1667 г.) — источник Пятой соловецкой челобитной // АН СССР. Библиотека. Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей и редкой книги. 1985 г. Л., 1987; *Демкова Н. С.* Из истории ранней старообрядческой литературы. IV. «Исповедание» Игнатия Соловецкого (1682 г.) и отклики современников на разгром Соловецкого монастыря царскими войсками в 1676 г. // Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Л., 1983. Т. 37; Повесть о Соловецком восстании. Факсимиле рукописи XVIII в. «Описание лицевое осады и разорения монастыря Соловецкого. Подготовка текста Н. Н. Розова и М. И. Автократовой. М., 1982; *Досифей,* архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. 1; *Казанский П. С.* Кто были виновники соловецкого возмущения от 1666 до 1676 года // Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских. М., 1867. Кн. 4; *Мелетий,* архим. Историческое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1881; *Сырцов И. Я.* Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII веке. Казань, 1880 (то же: Кострома, 1888); История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. Спб., 1899; *Молчанов А.* Бунт соловецких монахов и его значение для раскола вообще и в частности для раскола поморский // Памятная книжка Архангельской губернии за 1909 г. Архангельск, 1909; *Савич А. А.* Соловецкая вотчина XV—XVII вв. (Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере в древней Руси.) Пермь, 1927; *Барсуков Н. А.* Соловецкое восстание (1668—1676 гг.). Петрозаводск, 1954; *Фруменков Г. Г.* Соловецкий монастырь и оборона Поморья в XVI—XIX вв. Архангельск, 1963; *Он же.* Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI—XIX вв. Там же, 1975; *Он же.* Узники Соловецкого монастыря. Архангельск, 1965; *Борисов А. М.* Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монастырями в XVI—XVII веках. Петрозаводск, 1966; *Богуславский Г. А.* Острова Соловецкие. Изд. 3-е. Архангельск, 1978; *Скопин В. В., Щенникова Л. А.* Архитектурно-художественный ансамбль Соловецкого монастыря. М., 1982; *Фролов А. И.* Соловецкие острова. Альбом. М., 1985; *Домашев А. Д., Дроздова Т. Н.* Северное чудо — Соловецкая крепость. М., 1985.

К ГЛАВЕ 7. РАСКОЛЬНИКИ-НЕКРАСОВЦЫ

Буганов В. И. Булавин. М., 1988. С. 274—303; Булавинское восстание. М., 1935; *Короленко П. П.* Некрасовские казаки // Известия общества любителей изучения Кубанской области. Екатеринодар, 1800. Вып. 2;

Новые материалы о восстании на Дону и в Центральной России в 1707—1709 гг.. // Материалы по истории СССР. V. Документы по истории XVIII века. М., 1957; *Подъяпольская Е. П.* Восстание Булавина. 1707—1709. М., 1962; Песни казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону. 1947; Русские народные песни казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону. 1958; Фольклор Дона. Сб. 2. Ростов-на-Дону, 1941.

К ГЛАВЕ 8. СЦЕНЫ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ. ДМИТРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ ТВЕРИТИНОВ, ЕГО ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Стефан Яворский, митрополит рязанский и муромский. Камень веры / Предисл. Феофилакта Лопатинского. М., 1728, 1729, 1749; Киев, 1730; *Он же.* Проповеди. М., 1804. Ч. I—II; *Терновский Ф.* Следственное дело о московских еретиках в царствование Петра I и полемические сочинения против них. М., 1863 (в Приложении: Материалы по делу о Тверитинове); Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода. Спб., 1868. Т. 1 (с публикацией документов и сочинений); Записка Леонтия Магницкого по делу Тверитинова // Памятники древней письменности. Спб., 1882. Вып. 38 (в Приложениях: Документы, относящиеся к делу обвиняемого в иконоборстве лекаря Дмитрия Тверитинова); *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1962. Т. 8. Кн. 16. С. 562—568; *Тихонравов Н. С.* Московские вольнодумцы начала XVIII в. и Стефан Яворский // Сочинения. М., 1898. Т. 2; *Морев И.* «Камень веры» митрополита Стефана Яворского, его место среди отечественных противопротестантских сочинений и характеристические особенности его догматических воззрений. Спб., 1904; *Никольский В. А.* Из истории наших религиозных движений. Московский «евангелист» Дмитрий Тверитинов // Прилож. к журналу «Религия и жизнь» за 1907 год; *Корецкий В. И.* Вольнодумец XVIII века Дмитрий Тверитинов // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1964. Вып. XII; *Смилянская Е. Б.* Ересь Д. Тверитинова и московское общество начала XVIII в. // Проблемы истории СССР. М., 1982. Вып. XII.

К ГЛАВЕ 9. КРЕПОСТНОЙ МЫСЛИТЕЛЬ ФЕДОР ПОДШИВАЛОВ

Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы (XIX век). М., 1966; *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. XIX век. М., 1978.

К ГЛАВЕ 10. СУДЬБА ПРОФЕССОРА ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Отчет о 30-м присуждении наград графа Уварова. Спб., 1889. С. 20—59; Записки имп. Академии наук. 1890. Т. 61. Кн. 2. С. 2—10, 20—59; Русское богатство. 1910. № 2. Отд. 2. С. 137—140; 1912. № 1. Отд. 2. С. 154—160; Журнал министерства народного просвещения. 1913. № 8. Отд. 2. С. 278—313 и др. (рецензия В. Дружинина); Отчет о 54-м присуждении наград графа Уварова. Пг., 1915. С. 13—42 и др. (рецензия П. В. Знаменского); *Дьяконов М. А.* Николай Федорович Каптерев. 1847—1917. Некролог // Известия Российской Академии наук. 1918. 6 серия. № 8. Пг. С. 741—748.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие * . 5

Глава 1. Первые еретики на Руси . 11

Глава 2. Новгородские и московские еретики конца XV века 35

Глава 3. Феодосий и Косой и другие вольнодумцы 67

Глава 4. Митрополит Филипп и Иван Грозный 85

Глава 5. Никон * . 111

В ссылке 112
Царское прощение . 118
Царское обещание . 122
Два меча 126
Выбор. Между ревнителями благочестия и греками . 130
На новгородской митрополии . . . 145
Восстание 154
Расправа с ревнителями и обрядовые реформы 161
На вершине власти 175
Против царя . . . 190
Исход из Москвы 193
Противостояние . . . 200
Низвержение . . . 208
Мера жизни 223

Глава 6. Соловецкие сидельцы * . 229

Путь на Соловки . . 230

---

* Материалы, отмеченные звездочкой, написаны А. П. Богдановым.

Беломорское чудо . 243
Январь 1653 года 253
10 июля 1657 года 259
Лето 1660 года 265
Зима 1663 года . . . 275
Конец октября 1666 года 283
23 февраля 1668 года 310
Июнь 1672 года . . . 326
16 сентября 1674 года 342
22 января 1676 года 352
Победители . . . 364

Глава 7. Раскольники-некрасовцы. . . . 369

Глава 8. Сцены петровского времени. Дмитрий Евдокимович Тверитинов, его друзья и враги * 385
Начало пути 386
Критический разум 389
Учение . . . 405
Диспут 413
Москва и Петербург 439

Глава 9. Крепостной мыслитель Федор Подшивалов * 467

Глава 10. Судьба профессора духовной академии * . 493

Примечания . . . 518

Виктор Иванович Буганов
Андрей Петрович Богданов

БУНТАРИ И ПРАВДОИСКАТЕЛИ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Заведующий редакцией О. А. Белов
Редактор Н. А. Баранова
Младший редактор М. В. Архипенко
Художник И. К. Маслова
Художественный редактор А. А. Пчелкин
Технический редактор Т. Н. Иванова

ИБ № 7505

Сдано в набор 14.12.90. Подписано в печать 31.07.91. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,10. Уч.-изд. л. 23,65. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 1451. Цена 4 р. 70 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-17, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ЦРЬ
МОЛИТВА
УКАЗЪ

НАРОДЪ

4 р. 70 к.

Древнерусские еретики, святой митрополит Филипп, проповедник правды рабов Феодосий, патриарх Никон и соловецкие монахи-староверы, казаки-некрасовцы и доктор Тверитинов, крепостной повар и профессор Духовной академии — что за правду стремились они отыскать и защитить, даже путем бунта? Какая власть подняла против себя этих незаурядных людей?

Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви

Политиздат

Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви